И. Сельвинский

И. СЕЛЬВИНСКИЙ 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1974

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

собрание сочинений в шести томах

издательство
„художественная литература"

И. СЕЛЬВИНСКИЙ

ТОМ

6

О, ЮНОСТЬ МОЯ!

роман

Москва

1974

Р2
С29

Редакционная коллегия:
В. А. КОСОЛАПОВ, А. А. МИХАЙЛОВ,
С. С. НАРОВЧАТОВ, Л. А. ОЗЕРОВ,
О. С. РЕЗНИК, М. Б. ХРАПЧЕНКО

Примечания
О. Резника

Оформление художника
Е. Ганушкина

С $\frac{70302\text{-}342}{028(01)-74}$ Подп. изд.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В каждом городе свои утренние шумы. В Евпатории с шести часов начинался прибой. Он заменял городские часы. Первая же волна поправляла стрелки циферблата. Город окутывался шелковистым шелестом, если было лето, или зубовным скрежетом, если зима. Через сорок минут жителей будил ворчливый окрик пароходика «Чехов», совершавшего рейсы Одесса — Керчь. Еще через час по 1-й Продольной, 2-й Продольной, 3-й Продольной и прочим лишенным фантазии Продольным разносились бодрые голоса:

— Картошка! Картошка! Картошка!

— Точить ножи-ножницы!

— Молоко-о-о!..

Иногда по-татарски:

— Сучи-и-и!..

Иногда по-турецки. Почти песенка, воспевающая овощи:

— А джан чек бакла ким ер! Патлажан улаары... Бам йола... бам йо!

Два рослых гимназиста шли у самой пены прибоя.

По утрам гнилостные водоросли ранне-осеннего моря пахли винными яблоками, и этот чуть опьяняющий запах возбуждал ощущение беспричинного счастья. Но гимназисты были настроены очень серьезно.

— Как ты думаешь? — спросил товарища Сима Гринбах.— Эта песенка действительно принадлежит продавцу овощей?

— А кому же еще? — удивился Володя Шокарев.

— Кто их знает. Может быть, ее поет подполковник турецкой разведки? Время такое.

Юноши рассмеялись.

Из окон гимназии уже гремели рявкающие громы геликона, мягкие рулады трубы № 2, птичьи переливы флейты.

Гринбах шел, энергично раскачиваясь, как на палубе. Брюки-колокол и матросская тельняшка под расстегнутой

гимназической тужуркой выдавали его тайные мечты. Шокарев же вяло плелся, согнув руку в локте и безвольно распустив все пять пальцев.

У Евпатории два лица: весенне-летнее и осенне-зимнее. Летом курорт наводняли приезжие из Петербурга, Москвы, Киева, даже из Севастополя и Ялты, потому что нигде в Крыму нет такого свободного выхода к морю и такого золотого пляжа. Курортники сорили деньгами, жадно набрасывались на все, что продавалось, взвинчивая цены и загоняя испуганных туземцев в зимние поры. Приезжие — большей частью элегантные мужчины и нарядные женщины — самим стилем своим необычайно подходили ко всему облику крымского лета хотя бы уж тем, что, освобожденные от своих контор, банков, университетов и отданные всем стихиям, они становились чувственными, как сам пейзаж. А город был чувственным: много солнца, много моря, много дюн. Чувственными были дельфины, фыркающие от наслаждения, рыбы, выскакивающие из воды; чувственным был азиатский базар: его дыни с таким нежным ароматом, что спорить с ним могли только лилии; его груши дюшес, истекающие медовым соком; его помидоры, иногда холодные, маленькие и острые, как детские язычки, иногда горячие, пышные, раздобревшие, в красных и оранжевых сарафанах. Чувственным был пляж, на котором томились женщины. Их возлюбленным было солнце, древнее семитское божество: Шамаш.

Но зимой это был город гимназистов и рыбаков.

Гринбах и Шокарев вошли в темный длинный коридор. По дороге Гринбах застегнулся, конечно, до самого горла.

В рекреационном зале висел на стене огромный портрет Николая II, одетого в мундир кавалергарда, белый с золотом. Бывший император к этому времени находился уже под арестом, вместо него полагалось бы висеть Сейдамету с его неизменной феской. Хотя даже в Турции феска означала эмблему реакционного режима и подвергалась гонению, этот алый с черной кистью головной убор намекал на турецкую ориентацию и был весьма угоден султану. Его высокопревосходительство Джефер Сейдамет занимал пост председателя директории Крыма, объявившего в 1917 году независимость. Господина председателя поддерживала татарская партия «милли фирка», ему подчинялся крымский парламент — курултай, поэтому Джефер обладал неоспоримым правом замены своей персоной бывшего российского монарха на крюке гимназического

зала, тем более что Крым считался уже «заграницей». Но висел почему-то по-прежнему Николай. Висел на всякий случай: а вдруг царизм вернется. Но в конце концов не все ли равно, кто в раме? Главная беда — нет веры ни в царя, ни в Керенского, ни в Сейдамета! Остальное мелочи.

В зале, несмотря на воскресенье и ранний час, упражнялся небольшой гимназический оркестр: готовился бал в женской гимназии. Пока звучали польки, венгерки, даже вальсы, все шло благополучно. Но вот потребовался солист: в программе стояла песня Леля из «Снегурочки». Несколько храбрецов, в том числе Володя Шокарев, пытались было взять мелодию с маху, но, хотя Володя был сыном миллионера, играл он с фальшивинкой.

Сима Гринбах, пришедший сюда только для того, чтобы послушать репетицию, сказал:

— Мальчики! Эту песню может сыграть только Леська Бредихин.

— Ты уверен?

— Абсолютно.

— А корнет я ему дам свой собственный,— обрадовался Шокарев.— У моего совершенно серебряный звук.

— А почему Бредихина сегодня нет на репетиции? — раздраженно спросил инспектор.

— Он не хочет сидеть на балу с музыкантами. Предпочитает сам танцевать.

— Но хотя бы для концерта может он исполнить песню Леля? — уже гневно воскликнул инспектор.

— Уговорим!

— Я вас очень прошу. Иначе он получит четверку по поведению.

— Уговорим. Правда, Сима?

— Авелла!

— И чтоб я этого «авелла» больше не слышал! — загремел инспектор.— Что за жаргон?

Шокарев и Гринбах вышли на улицу и снова побрели вдоль моря. Их обдавало водяной пылью и мокрым песком.

Море — самое основное, ежеминутное, непреходящее событие города. Если говорить о градостроительстве, то море — главная площадь Евпатории, как Плас-де-ля-Конкорд в Париже или Трафальгарская в Лондоне. Огромная, как бы асфальтированная голубо-сизо-синим блеском, начиналась она небольшим сравнительно собором, но завершалась на горизонте колоссальным зданием Чатырдага,

который вписывался в Евпаторию, как небоскреб «Эмпайр» в Нью-Йорк.

Море кормило всех: и хозяев маленьких шхун, и полуголых боцманов, пропившихся до креста, и «разовых» матросов, нанимавшихся на один рейс,— классических одесских босяков. Кормило море и владельцев отелей, гостиниц, меблирашек, водолечебниц, санаториев с их собственными пляжами и целой армией врачей, сестер, санитаров, швейцаров, комиссионеров. Хуже всех море кормило рыбаков.

И все же хорошо едят на Крымском побережье! Сегодня, например, у Бредихиных на обед будет суп из крабов с кореньями, а на второе — плов из мидий с лавровым листом и перцем. Изысканность этого меню объяснялась тем, что мясо на базаре стоило два рубля николаевскими деньгами, а крабы и мидии Леська добывал сам.

Сегодня, как и в любое воскресенье, когда не надо было идти в гимназию, Леська выбежал из хаты ни свет ни заря. Дедушка в сарае вывешивал для вяления кефаль, а бабушка стирала белье в огромной лохани, и руки ее тонули в разноцветных пузырях.

Леська босиком побежал к сараю: там у стены врыт столб, на котором висел мешок тяжелого морского песка. Елисей остановился перед ним в боксерской стойке и пять минут осыпал его тяжелыми ударами.

Потом Леська побежал к пляжу. Пузатая плоскодонка ждала его на берегу напряженно, как собака. Юноша бросил в нее весла и взглянул на далекий Чатырдаг. Мир был объят синевой: вода, горы, небо.

Леська закатал штаны до колен и сдвинул плечом шаланду в море. Неуклюжая, некрашеная, грубо смоленная шаланда, почуя волну, сразу же стала плавной и полной своеобразной прелести. Леська захлюпал по весенней воде, прянул животом на борт, перекинулся на банку и взялся за весла. Греб он быстро. Шаланда летела, как шлюпка военного корабля. Во всяком случае, так Леське казалось.

Что у него сейчас на душе? Такое замечательное? Вдохновенное такое? Гульнара! Он не смел себе в этом признаться: ведь она всего-навсего в четвертом классе, а он — в седьмом. Есть между ними и другая пропасть, но о ней Леська почему-то не думал. А думать надо было. Гульнара — дочь уездного предводителя дворянства Сеид-бея Булатова, а Леська — сирота, внук простого рыбака.

Хата деда находилась на территории дачевладения Сеид-бея и казалась черной заплатой на великолепной кремовой вилле. Эта хата, словно песчинка, торчала в глазу предводителя. Каких только денег он не предлагал старику, каких только благ не сулил! Петропалыч — так называли деда все на берегу — был неумолим. Тут жили его отец и дед, и он будет жить тут. Что поделаешь с этим упрямым водяным!

Еще совсем недавно здесь, на диком пляже, стоял рыбачий поселок. Но когда начали строить железную дорогу Евпатория — Сарабуз, Сеид-бей мгновенно сообразил, что цены на землю сразу же поднимутся, скупил весь поселок и, построив на его месте свою виллу кремового цвета, окружил дачу целым караван-сараем жилых кабинок: дверь — окно, дверь — окно,— каждая по пятидесяти рублей в месяц. Двадцать кабинок — пять тысяч за сезон.

Все шло бы замечательно. Но тут он споткнулся о Петропалыча. Сеид-бей пригласил исправника, вызвал пристава, даже кликнул городового. Те орали, грозились, но у рыбака было железное право собственности на свой кусочек земли, и как ни бесился Сеид-бей, какие ни сулил Петропалычу кары, он ничего не мог поделать. Хата попрежнему чернела рядом с кремовой виллой. В хате жил Леська, в вилле — Гульнара.

Была ли Гульнара первой любовью Леськи?

Нет, осталось у юноши одно яркое воспоминание... Самое яркое за всю жизнь! Однажды на базарной площади рядом с каруселью появился балаган с плакатом: «Спешите видеть! Сирена!» У входа стояла огромная вывеска, на которой маляр аляповато, но впечатляюще нарисовал синее море, красный пароход на горизонте, а на переднем плане — русалку, которую этот пароход поймал гарпуном с длинным тросом. Народ ломился в балаган, чтобы увидеть живую русалку. Вломился и Андрон со своим племянником Леськой, которому совсем недавно исполнилось восемь лет.

Войдя внутрь, они увидели маленькую, задернутую занавесом эстраду. Когда народу набралось столько, что все стояли друг к другу вплотную, вышел какой-то дядька на деревянной ноге и объявил:

— Господа! Сейчас вы увидите морское чудо: живую русалку, пойманную мною лично в Черном море, недалеко от мыса Фиолент. Я капитан малого плавания. Прошу в этом убедиться.

Он вынул какой-то документ и стал показывать близстоящим. Действительно: в документе ясно было сказано, что он капитан малого плавания, и вклеенная фотография не оставляла в этом никакого сомнения. Доказав таким образом реальность существования сирены, капитан приказал:

— Занавес!

Занавес побежал в обе стороны, и перед публикой возникло необычайное зрелище: на ковре возлежала живая русалка — обнаженные плечи прикрыты солнечными волосами, а от пояса шел великолепный рыбий хвост сочно-зеленого цвета.

— Как тебя звать? — спросил дядька на деревянной ноге.

— Ундина,— ответила русалка мелодичным голосом, нежнее которого Леська никогда не слышал.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Где ты родилась?

— В Севастополе.

Народ не верил и верил, зачарованный и притихший.

— Это правда? — шепотом спросил Леська Андрона.

— А кто их знает!

— Почему не правда? — резко вмешался грек Анесты, известный в городе владелец невода и атаман рыбацкой артели.— У нас в «Одиссее» об этих сиренах очень точно говорится.

— Ты сам читал?

Анесты не ответил.

— А петь она умеет? — обратился к дядьке с ногой рыбак Панаиот.— Раз она сирена, должна петь.

— Она еще молоденькая. Не научилась.

Леська глядел на русалку во все глаза: Анесты говорит, что это правда, а он знает, что говорит.

А русалка рассматривала толпу голубыми, широко расставленными глазами, веки которых у висков казались вздернутыми. Такими же вздернутыми были и короткий нос, и рот, и подбородок с ямкой.

С тех пор эти черточки стали для Леськи образцом женской красоты.

Спустя несколько лет Елисей увидел в репродукции статую Венеры Милосской, но она не была курносой и не произвела на мальчика никакого впечатления.

— А рыбой ваша сирена пахнет? — спросил чей-то голос.

— Понюхай — узнаешь,— равнодушно ответил дядька.

Все засмеялись. Засмеялась и русалка.

На этом сеанс окончился.

У выхода продавали оклеенные ракушками маленькие шкатулки с цветной картинкой, изображавшей русалку Ундину. Андрон купил одну и отдал Леське.

— Подари бабушке. Она будет в ней держать иголки и нитки.

Зрители вышли на улицу и вскоре забыли о сирене. Но Леська запомнил ее на всю жизнь... Какой счастливый этот дядька с костылем! Он может взять русалку на колени, играть с ней во что-нибудь, разговаривать, целовать ее.

С тех пор Леська, выходя в море, всегда мечтал поймать русалку. Даже совсем взрослым юношей, уже твердо зная, что русалок не бывает, он все еще вглядывался в морскую дымку и, если на волнах качался буй, прежде всего думал: «А вдруг это голова русалки?»

Но сирена сиреной, а в Леськиной кумирне, где царила Гульнара, ей места не было. Гульнара для Леськи — та Единственная, о которой мечтают все юноши, но встретить которую посчастливилось только Леське. Конечно, ее выдадут замуж за какого-нибудь богатейшего мурзака, но для ее супруга она не будет Единственной: для этого нужно быть Леськой.

2

Гульнара...

Супруга Булатова Айшэ-ханым, моложавая, но уже потерявшая женственность и потому с утра затянутая и напудренная, сидит за столом вместе со своей старшей дочерью Розой, полное арабское имя которой Розия. Перед ними на столе расстилается богатый натюрморт татарской кухни: брынза, белая, как морская пена; слоистый пресный желтый сыр-качкавал; кефалевая икра, длинная и плотная, и баранья колбаса — суджук, спрессованная до прочности мореного дуба. Но главное — дымящаяся ягнячья головка, не слишком круто сваренная, сбрызнутая лимоном и осыпанная зеленым луком.

Мать и дочь завтракали медленно и лениво, потому что вчера плотно поужинали. Никакой беседы между

ними не велось, ибо они друг с другом были во всем согласны.

Но вот вбежала Гульнара:

— Мама! Князь Андрей убит!

— Не может быть! — всплеснула руками Айшэ-ханым.— Где?

— Под Аустерлицем.

Гульнара снова исчезла. Она впервые читала «Войну и мир» и аккуратно сообщала матери обо всех больших и малых событиях толстовской эпопеи.

— Почему ты не заставишь ее завтракать? Головка остынет,— сказала Розия.

— Ты права, дорогая. Позови ее.

Розия быстро встала и вышла из комнаты. Розии семнадцать лет. У нее девичий торс и женские бедра. И хотя такое сложение нельзя признать классическим, но эта пикантная особенность всем необычайно нравилась. Во всяком случае, Розия слыла красавицей.

Вот она приводит Гульнару.

Гульнаре четырнадцать лет. Она еще совсем ребенок. Но при взгляде на нее уже ясно, в какую страшную силу выльется ее детская миловидность. В Крыму два типа татар: одни — степняки, скуластые и узкоглазые, прямые потомки Золотой орды. Но приморские, расселенные между Судаком и Евпаторией,— явные правнуки генуэзцев и венецианцев, в разное время владевших побережьем. Булатовы происходили от них. Гульнара на первый взгляд типичная итальянка. Но все же что-то азиатское, степное, дикое неуловимо играло в ее лице. Синие ресницы, синяя челка, синие косы, жаркие глаза с хищными кровяными затеками — и в то же время короткий, как бы подточенный снизу носик, сладостная улыбка, которая вот-вот позовет на край света...

— Мамуха, я ошиблась! Князь Андрей не убит, а только ранен. Я перелистала много страниц и снова нашла его. Он разговаривает с Наташей Ростовой. Значит, не убит.

— Ну слава богу! — говорит Айшэ-ханым.

Гульнара быстро оглядела стол.

— А где же креветки?

— Какие креветки?

— Ну, те, которые мне приносит Леська.

Оказывается, тайна Леськиных выходов в море объяснялась вовсе не стремлением привезти бабушке крабов и мидий для обеда. Леська вставал ни свет ни заря,

вытаскивал сачком черно-зеленую морскую камку, в которой запутывались эти рачки, варил их в соленой воде и стремглав мчался к девочке с горячим газетным «фунтиком», издающим чудесный запах: надо было угадать время и попасть к самому завтраку. Но сегодня Леська почему-то запаздывал.

— Кстати, об этих Бредихиных,— начала Айшэ-ханым.— Не знаю, просто не знаю, что с ними делать!

Она приложила пальцы к вискам, точно одно упоминание о них вызывало головную боль.

— А зачем надо с ними что-нибудь делать? — неосторожно отозвалась Гульнара.

— Надо! — резко заявила Розия.— Ты ничего не понимаешь! Из-за этой хаты богатые люди не хотят жить на нашей даче, и мы должны брать за кабинки меньше, чем могли бы.

— На такие кабинки богачи не польстятся: они живут в «Дюльбере».

— Глупая! Что ты понимаешь? «Дюльбер» — гостиница. Какая там зелень?

— Люди едут в Евпаторию не ради зелени, а ради пляжа. А кто хочет зелени, пускай едет в Мисхор! — запальчиво возразила Гульнара.

— Девочки, не шумите...— с болезненной ноткой сказала мать.— Бог с ними, с богачами. Я просто не могу видеть, просто *видеть* не могу эту халупу рядом с нашей прекрасной виллой. Ну, за что это нам? Все смеются. Неужели в Крыму не найдется власти на этого ужасного старика?

— Но почему ужасного?

— Потому что ужасного! — с апломбом ответила Розия.

— И ничего не ужасного. Очень милый старик.

— Что значит — «милый старик»?

— Да, да, милый. Он хороший, он честный.

— Подумаешь, честный! Все честные!

— А воры?

— А воры в тюрьме сидят.

— Ну, знаешь... С тобой говорить — надо каши наесться.

— Что значит — «каши»? Почему — «наесться»?

Но Гульнара уже выскочила из-за стола и понеслась к злополучной хибарке.

— Авелла! — послышался чей-то призыв.

Гульнара остановилась: у ворот стояли Володя Шокарев и Сима Гринбах.

— Леська дома?

— Не знаю. Кажется, нет.

Юноши подошли ближе.

— Вот какое дело,— сказал Гринбах.— Леська вчера в классе не был, а есть новость.

— Какая?

— Бал в женской гимназии.

— Ну? А младших пустят?

— Не думаю,— улыбнулся Гринбах.— Только с шестого класса. Как всегда. Позвольте вам представить моего друга: Володя Красное Солнышко, он же Шокарев, сын богатых, но честных родителей.

— Очень приятно.

— А теперь он познакомит меня с вами.

Этот пошлый прием уличных донжуанов показался Гульнаре необычайно остроумным. Она засмеялась и уже весело поглядела на Гринбаха.

У Шокарева в руках отливал багряным глянцем футляр зернистой кожи.

— Что это у вас? — спросила Гульнара.

— Корнет-а-пистон. Труба такая. Перед балом дадут концерт, так вот Леське поручили сыграть песню Леля.

— Кого-кого?

— Леля.

— Это из «Снегурочки» Римского-Корсакова,— сказал Гринбах.— Знаете? «Туча со громом сговаривалась». Я ему и ноты принес.

— Ну, давайте сюда. Передам.

Гульнара поднесла к губам корнет и, раздув щеки, сильно дунула в мундштук. Труба хрюкнула поросенком. Все засмеялись.

— Это мой инструмент. Собственный,— сообщил Шокарев.

— Собственный? Значит, вы играете? Почему ж тогда Леська, а не вы приглашены на концерт?

Шокарев смутился еще больше.

— Потому что Леська играет хорошо, а я плохо.

— А с какой стати Шокареву играть хорошо? — засмеялся Гринбах.— У его отца пятнадцать миллионов.

— Ну и что же из этого?

— А то, что он все делает плохо, потому что ему ни к чему все делать хорошо, как нам, грешным.

— Самсон, перестань...— досадливо проворчал Шокарев.— Ты ведь знаешь, что это не так.

— Так, так! — чуть ли не закричал Гринбах.— Он очень способный парень, но ему не надо думать о том, кем он будет. Он все уже сделал, родившись сыном Шокарева, а не, допустим, Гринбаха или Бредихина.

— А я ведь догадалась родиться дочерью Булатова, и все-таки мне этого мало: я хочу быть знаменитой певицей.

— Браво! — зааплодировал Гринбах.— Вот, Володька, бери пример.

В лазоревом тумане возник силуэт человека, гребущего стоя.

— Елисей приехал!

Гульнара бросилась навстречу.

— Рачков привез?

— Не успел. За эту неделю наросло столько мидий, что никак не мог бросить: рву, рву, а их все больше и больше. Как нарочно.

Гульнара надула губы и пошла в дом.

— Погоди, Гульнара! Я сейчас все сделаю! Рачки-то ведь здесь, под рукой. Ну, чего ты, Гульнара?

Леська спрыгнул на песок и бросился за девочкой.

— Гульнара! — взывал Леська, даже не заметив Гринбаха и Шокарева.

Друзья переглянулись.

— Мир праху, старина,— сказал Гринбах.— Пойдем, Вольдемар?

— Пойдем.

— Симбурдалический тип! — заключил Гринбах.

Леська кивнул друзьям, так и не обнаружив их присутствия.

Корнет-а-пистон обладал великолепным звучанием и слушался малейшего дуновения. Казалось, подставь его под порыв ветра, и он отзовется мелодией.

Елисей попробовал гамму, потом укрепил ноты на стенном зеркальце, как на пюпитре, и собирался сыграть первую фразу.

Но тут он вспомнил, что к этому мундштуку прикоснулись губы Гульнары. Он видел это с шаланды.

Едва дыша, он поднес медь к губам. Потом не выдержал, издал глубокий вздох — корнет просто взревел от

боли. Тут только Леська понял, как тяжело он влюблен в Гульнару. Смешно сказать, но объяснила ему это медная труба. Однако Елисей тут же взял себя в руки и протрубил первые фразы:

Туча со громом сговаривалась:
— Ты греми, гром, а я дождь разолью.
Вспрыснем землю весенним дождем.
То-то цветики обрадуются.
Девки в лес пойдут за ягодами...

Гульнара... Нет, о ней нельзя думать: ей ведь всего четырнадцать лет. Впрочем, на Кавказе девочкам разрешается выходить замуж даже в тринадцать. А мы — Крым. Соседи. К тому же она татарка. Родственница черкесам, чеченцам, осетинам. Нет-нет, думать о ней нельзя. Все-таки мы Россия.

Туча со громом сговаривалась...

Но вот в нотах появилась музыкальная фиоритура, похожая на шестистопный усеченный хорей в поэзии. Когда Римский-Корсаков дал свою рукопись музыкантам, они не сумели сыграть эту фиоритуру.

Композитор в ярости спел ее так:

Римский-Корсаков совсем с ума сошел!

Вспомнив об этом анекдоте, который когда-то рассказал в гимназии учитель музыки, Леська поразился тому, как трудно входит в жизнь малейшее новшество в искусстве. Ну, что тут сложного? Теперь даже он, Леська, совсем, конечно, не музыкант, играет эту диковинную строчку совершенно свободно. В доказательство Елисей легко исполнил «Римского-Корсакова», который «с ума сошел».

Все шло хорошо. Еще полчаса-час — и он выучит Леля наизусть. Но тут вбежала Шурка, «чистая горничная» Булатовых.

— Леська! Барышня Роза Александровна велели, чтоб ты это самое... Перестал дуть в трубу.

— Перестал дуть? — вступилась бабушка.— А что же ему — смычком по трубе пиликать?

— Передай своей барышне...— грозно заворчал дед.

— А если у них от этого голова болит?

— Брысь! — заревел дед.

— Та чи вы? — удивилась Шурка и унеслась «докладать» барышне.

— Играй, Леська! Слышишь? Чтоб ты мне играл, сукин сын! — заорал дед на Леську с таким видом, точно это Леська прислал Шурку с приказом не дуть в трубу.— Ишь ты! Моду себе какую взяли! «Барышня велели»... Кому велишь?

Дед еще долго распространялся на эту тему. Но Елисей, уложив корнет в футляр и взяв под мышку ноты, вышел на воздух.

— Ты куда?

— На дикий пляж. Оттуда не так слышно.

Дед поглядел ему вслед и презрительно проворчал:

— Пеламида!

Пеламида — исключительно евпаторийское ругательство, и его надо объяснить.

Однажды к евпаторийским берегам пригнало огромный косяк неизвестной рыбы, очень похожей на макрель, но гораздо крупнее. Хозяйки бросились к рыбакам и мигом скупили весь улов. Еще бы! Кому не хочется поесть крупной макрели? Но дома выяснилось: мясо у новой рыбы темное, а по бокам даже бурое, на вкус же, прямо сказать,— кислое. Готовить эту рыбу никто не умел, и весь косяк Евпатория выбросила в мусорные ямы. Вскоре с Греческой улицы пришла весть, что рыба называется — *пеламида.* Так образовалось ругательство.

А издалека нежным золотом звучали фразы:

Туча со громом сговаривалась:
— Ты греми...
дождь, разолью.
...обрадуются.
Девки... за ягодами.

Дикий пляж, этот клочок пустыни, населенный каракуртами, черными тарантулами и рыжими мохнатыми фалангами, напоминал своими дюнами стадо сидящих верблюдов с гривкой на сытых горбах. Гривка была колючей травой, редкой, но довольно высокой. Пляж вплотную примыкал к курорту, но назывался «диким» потому, что за ним не ухаживали. Тут всегда было безлюдно, и Леська мог дуть в свой корнет изо всех сил.

Он и дул.

Но вскоре песня была выучена, и юноша уставился на далекий Чатырдаг, возникший над горизонтом, точно

голубоватый айсберг. Леська вспомнил стихи Мицкевича, который глядел на эту гору, может быть, с того самого места, где стоял Леська:

Я проложил свой смелый след,
Где для орла дороги нет,
И дремлет гром над глубиною,
И там, где над моей чалмою
Одна сверкала мне звезда,
То Чатырдаг был.

Пилигрим
А!

Это «А!» производило на Леську почему-то огромное впечатление.

— А! — сказал он громко.

— А? — откликнулся голосок, подобный эху.

Гульнара сидела на дюне. Она была в красном сарафане с крупным белым горохом. Под коленями сарафан был перехвачен резинкой, чтобы ветер не раздувал подола. В этом платье Гульнара смахивала на огромный гриб. К сожалению, мухомор. Но в Евпатории грибы не водились. Леська в них не разбирался, поэтому Гульнара ему казалась андерсеновской принцессой на горошине, точнее на горошинах.

— Зачем ты пришел сюда? — крикнула она.

— Да ведь вот... Ваша Роза велела...

— Какое тебе дело, что Роза? *Мне* надо было сказать!

Девочка на заднюшке съехала с дюны вниз. Плоские сандалии с пережабинами тут же наполнились крошечными ракушками, как водой. Гульнара подбежала к Леське, оперлась одной рукой на его плечо, а другой стала расстегивать язычки «босоножек» и вытряхивать песок.

— Тебе еще долго репетировать?

— А что?

— Ничего.

— Ты ко мне или так?

— Не знаю. Пойдем домой купаться.

— Зачем же домой? Давай здесь.

— Здесь мне стыдно.

— Почему? Разве ты голая?

— Нет, в купальнике.

— А тогда зачем не купаться здесь?

— Стыдно потому что.

— А дома?

— Там другое дело.

— Какое же именно?

— Не знаю. Другое.

Купальня принадлежала Булатовым и стояла как раз против виллы. Когда пришли домой, Леська развалился на песке, но раздеться не посмел, а Гульнара, гремя по дощечкам мостика, помчалась в кабину, одетую в паруса.

Через минуту она появилась у барьера в золотистом купальнике. Теперь девочка стала похожа на золотую рыбку. Не оглядываясь на Леську, она спустилась по ступенькам к воде и попробовала ножкой море. Талия у нее была такой тонкой, что просто не верилось, будто бывает такое, но переходила она в широкие плечи, откинутые назад, как крылья.

И вдруг бухнула в воду. Покуда круто клокотала пена, пока круги за кругами оплывали все мягче и просторнее, где-то совсем в стороне золотая стрела скользнула у самого дна от белого к голубому. Вот она повернула к берегу и раздвоилась: теперь уже плыли две Гульнары, тесно прижавшись друг к другу. И вдруг попали в струю подводного течения, и золотистые тела их как бы разъялись на бронзовые пятна, которые жили сами по себе, но держались все вместе. Сейчас Гульнара казалась уже стаей японских рыб.

Наконец черная головка вынырнула, встряхнула волосами, и девочка саженками, по-мальчишески поплыла к берегу.

— Ух, какая холодная! Зуб на зуб...

Вместе с прибрежной волной она выплеснулась на лиловую отмель и с разбегу кинулась в дюну греться. Обняв песок и подгребая его под грудь широкими охапками, Гульнара запорошила глаз.

— Не надо тереть! Что ты делаешь? Раскрой пальцами веко, гляди вниз и сплевывай. Это помогает!

Гульнара послушно раскрыла, глядела, сплевывала. Никакого облегчения.

— Постой! Я попробую вынуть языком.

Гульнара встала, Леська подошел к ней почти вплотную, вывернул верхнее веко, заметил песчинку и благополучно ее слизнул.

В эту минуту на крыльце появилась Шурка. Она охнула, чирикнула: «Та чи вы», исчезла — и тут же из розоватой мглы комнаты выбежал сам Сеид-бей.

— Гюльнар! — закричал старик по-татарски страшным голосом.

3

Бал начинался уже с подъезда. К приземистым колоннам женской гимназии подкатывали ландо, фаэтоны и пролетки. Из них выходили мамы с дочками или старшие сестры с младшими и, сойдя на тротуар, стремительно мчались в гардеробную, хотя до начала было еще довольно много времени. В гардеробной гимназисты встречали знакомых.

Ночь выдалась прохладная, и девушки оделись очень своеобразно: на плечи накинуто демисезонное манто, а то и легкая песцовая шубка, но на голову брошен невесомый тюлевый шарф, чтобы не испортить художественный шедевр куафера. В этом сочетании меха с тюлем, в смешении аромата «шанели» с «д'ором» или «сикламен ройялем», в этом мимолетном сверкании глаз и улыбок было что-то такое женственное, такое прелестное, без чего бал утратил бы свое обаяние. Концерты, танцы, ресторан — все это не шло ни в какое сравнение с прелюдом, как никакая реальность не идет в сравнение с мечтой.

Шокарев стоял, конечно, рядом с Гринбахом, и оба взволнованно глядели на прибывающих гимназисток. Лиза Авах, Тамара Извекова, Муся Волкова, Женя Соколова, сестры Тернавцевы, Нина Ботезат,— одна за другой, одна лучше другой, кивнув юношам в ответ на их поклоны, вдохновенно проносились в зал, точно за счастьем. А там уже гремел духовой оркестр, дамы обмахивались веерами, девушки, обмирая, чинно сидели рядом.

Но вот в вестибюле появился гимназист восьмого класса Артур Видакас, капитан спортивного кружка. Вошел он в голубой генеральской шинели на красной подкладке, и это никого не удивило: после революции можно было носить все, что угодно.

— Авелла!

— Здравствуй, Артур!

— Слыхали? В Севастополь приезжает правитель Крыма Джефер Сейдамет. В его честь все мужские гимназии побережья будут гоняться на гичках.

— И мы будем?

— Говорят тебе: *все* мужские гимназии. Ну, Самсон, держись! Ты у нас рулевой, и, конечно, тебе придется тренировать мальчиков.

Гринбах самоуверенно усмехнулся: команда на гичке знаменитая, тревожиться не о чем.

— Обставим по первое число! — сказал он молодецки.

Видакас не возражал. Действительно, соревноваться, в сущности, было не с кем: евпаторийцы — первоклассные моряки!

— А где Леська?

— За кулисами. Он ведь сегодня выступает на концерте.

Раздалось звяканье школьного колокольчика. Все хлынули в зал. Загремели стулья. Вскоре зазвонили вторично. В зале погасли люстры. Шарканье, кашель и шепот прекратились. Третий звонок!

На эстраду вышла учительница французского языка мадам Мартен и села у рояля. За ней вытолкнули бледного Леську. Как полагается, Леська поклонился директору. Вышло это у него несколько неловко.

— Равновесие потерял! — шепнула Муся Волкова соседке. Та прыснула. На них зашикали.

За Леськой появилась одна из классных дам в пенсне со шнуром и громко закричала по программке:

— Римский-Корсаков! Песня Леля из оперы «Снегурочка»! Исполняет на трубе ученик седьмого «а» класса Бредихин Елисей.

Леська с потерянным видом глядел в полутьму зрительного зала. В ушах у него все еще стоял крик Сеид-бея: «Гюльнар!» И вдруг на красной дорожке между рядами он увидел Розию. Неслышно и быстро шла она к самой рампе, затем резко свернула в сторону и уселась в кресло, предназначенное отцу ее, Сеид-бею.

В зале стояла гробовая тишина. Оказывается, мадам Мартен сыграла вступление, но Леська ничего не слышал. Мадам кашлянула, свирепо оглянулась на солиста и снова заиграла вступление, теперь уже просто барабаня по клавишам. Леська вздрогнул и, не отрывая глаз от Розии, поднес к губам инструмент. Тогда Розия достала из сумочки полуочищенный лимон в папиросной бумаге и хищно вгрызлась в него острыми зубами. Брызги разлетелись во все стороны. Лицо девушки исказилось. Сок побежал у нее по подбородку, и она старательно отирала его бумажкой. И тут Леська почувствовал во рту такую оскомину, что не мог собрать губы в амбушюр. Боясь опять пропустить свою секунду и услышать новый кашель мадам Мартен, он, не помня себя, дунул в трубу и вызвал из нее такой неприличный звук, что зал покатился со смеху. Мадам Мартен возмутилась. Она

была женой французского консула и шутить с собой не позволяла. Демонстративно захлопнув крышку рояля, мадам величественно уплыла за кулисы. Леське ничего другого не оставалось, как поплестись за ней. Правда, он успел на прощание поклониться директору поясным русским поклоном.

— В чем дело? — кинулись к нему за кулисами.

— Что случилось?

— Ты ведь так здорово играл на репетиции.

Но разве им объяснишь?

Леська вышел в коридор. Он собирался уходить.

— Леська! — услышал он вдруг.— Скорей сюда!

Его звали в какую-то комнату, единственную, где свет не был выключен. Там вокруг стола сидели и стояли его товарищи и пробовали силу с Артуром. Один за другим садились они против капитана и, сцепивши с ним ладони, пытались положить руку на стол. Но это им не удавалось.

— Ну-ка, Елисей! Теперь твоя очередь.

Леська всматривался в их лица и видел, что они ничего не знают о его провале. С облегченным вздохом ухватил он кисть Артура своей лапой рыбака и легко припечатал к столу.

— Э, нет! Это не считается! — возбужденно закричал Саша Листиков, которого прозвали Двадцать Тысяч.— Артур уже устал!

— Давай другую,— сказал Артур с таким покровительственным видом, точно первую он уже положил.

Левую руку Елисей уложил так же легко, как и правую.

— Третью давай! — засмеялся Гринбах.

— Нет, нет! Это же смешно! — заявил Саша.— Артур не левша, а Леська, может быть, левша. Условия неравные.

Все с этим согласились. Артур считался первым силачом, и победить его было теоретически невозможно. Была тут и другая причина. Отец Артура, корабельный мастер, построил для спортивного кружка небольшую яхту «Карамба». Считалось, будто строил ее кружок, а мастер только давал указания, но на самом деле строил мастер и оба его сына — Артур и Юка. Остальные в большей или меньшей степени мешали их работе. Кружок очень гордился яхтой, но принадлежала она, конечно, Видакасам, и если всякий и каждый будет класть руку Артура, он уйдет из кружка и заберет с собой яхту.

...«Немного отдохнем на этом месте»,— говаривал Пушкин иногда в самый разгар работы над рукописью.

Когда я думаю об этой схватке Бредихина с Видакасом, мне вспоминается басня: однажды Лев заявил на собрании животных, что отныне самым сильным зверем будет считаться Заяц. Животные аплодировали, фотографировали, поздравляли, желали. В упоении славой Заяц побрел в лес и попался на глаза Медведю, который тут же прихлопнул косого, как комара. Откуда же он мог знать, что этого нельзя делать? Ведь он на собрании не был.

Этим Медведем оказался Бредихин. Он тоже строил «Карамбу», но не видел связи между яхтой и рукой Артура.

Ах, Леся, Леся!.. Сколько раз и мне случалось в литературе класть и правые и левые руки, но всегда это не считалось, потому что я с бредихинской наивностью недооценивал связи между рукой соперника и Рукой, строившей Яхту.

Все, кроме Гринбаха, так единодушно вступились за Видакаса, что Леська на минуту и сам подумал: «А вдруг я и вправду левша! Саша зря не скажет».

Сашу Листикова прозвали Двадцать Тысяч за то, что он обещал себе жениться только на этой сумме. Незаурядная практичность Листикова всегда производила на Леську сильное впечатление.

Между тем разговор перешел уже на визит Сейдамета в Севастополь.

— Мальчики! — с упоением говорил Саша Листиков.— Моя тетя живет в Коктебеле, и я гощу у нее каждое лето. А вы знаете, из каких самоцветных камешков состоит коктебельский пляж? Так вот, за последние три года я собрал целую коллекцию сердоликов — розовых, красных, багровых, кровяных!

— Ну и что же?

— Хочу преподнести правителю Крыма.

Товарищи молчали — им было неловко за Сашу. Но тот ничего не чувствовал.

— А? Как вы думаете? Ведь спросит же Сейдамет: «А кто это преподнес мне такую прекрасную коллекцию?» — «Гимназист седьмого класса Листиков!» — отве-

тят ему. «Чего желает гимназист Листиков?» — «Путешествия по Кавказу!» — отвечу я ему.

О Леське забыли, и он снова вышел в коридор. Но тут его поджидала Розия. Она подлетела к Леське, приблизила к нему свое лицо, упоенное ненавистью, и зашептала вдохновенно, как гадалка:

— Я хочу, чтоб ты понял наконец, кто *ты* и кто *мы*! Из-за тебя папа отсылает Гульнарку в деревню.

— В какую деревню?

— Не твое дело! Оттуда он отвезет ее в Стамбул и выдаст замуж за турецкого принца. Папа — член партии «милли фирки», понимаешь? Он — депутат курултая, понимаешь? Его посылают в Турцию с дипломатическими полномочиями присоединить Крым к Оттоманской империи. Понимаешь? Тру-ту-ту-ту-ту. Понимаешь? Тру-ту-ту-ту-ту. Понимаешь? А кто такой ты?

Розия вернулась в зал. Концерт окончился, начались танцы. Леська подошел к открытой двери и, прислонясь к косяку, стал глядеть, сам не зная, почему не уходит.

«Что она тут наболтала? Крым к Турции? Ну, это еще бабушка надвое... а вот то, что Гульнару отсылают в деревню,— это вполне возможно. Надо будет спросить у Шуры — куда. Шурка все знает».

Оркестр играл мазурку. Танец трудный, и его в центре зала танцевала только одна пара: бывший гимназист прапорщик Пищиков и первая красавица города Лиза Авах. Леська глядел, обмирая от горя и завидуя прапорщику, который так замечательно стоял на одном колене, водя вокруг себя свою даму.

Потом заиграли венгерку, которую танцевали все. Все, кроме Бредихина. И вдруг почти над ухом тихонько запел чей-то баритон:

Я вам скажу,
я вам скажу
Один секрет,
один секрет:
Кого люблю,
Того здесь нет.

Леська обернулся: Гринбах!

— Почему не танцуешь?

— Так,— по-детски ответил Леська, только чтобы отвязаться.

Гринбах через весь зал разлетелся к Розии, скользя по паркету, как по льду. Леська угрюмо следил за ним

и вдруг улыбнулся: Розия ему отказала. Нисколько не смутившись, Самсон вернулся к дверям и сказал Шокареву, который вместе со всей компанией стоял за Бредихиным:

— Не из любопытства, а из любознательности: Володя, пригласи Розию.

— Зачем? Не хочу.

— Ну, сделай это для меня!

Для друга дорогого Шокарев мог сделать даже это. Лениво неся на весу руку с болтающейся кистью, он подошел к девушке и поклонился. Розия вспыхнула, вспыхнула ее мамаша Айшэ. Розия вскочила со стула, Айшэ приподнялась, хотя танцевать пригласили не ее. Шокарев обнял за талию партнершу. Когда эта пара проходила мимо Гринбаха, Самсон резко рассмеялся:

— Видали, что делают миллионы? Она их никогда не получит, но все-таки запах червонцев!

Шокарев проводил Розию до ее места и, бледный от негодования, направился к Гринбаху.

— Артур! — с шутовской величавостью произнес Гринбах.— Ты будешь моим секундантом.

Шокарев схватил его за рукав.

— Как ты смел оскорбить девушку?

— А как она смела оскорбить меня?

— Смела! Ты подъехал к ней на роликах. Дурака валял!

— Я тебя не валял.

Саша Двадцать Тысяч возмутился:

— Что за грубый юмор? К тому же человек сделал тебе одолжение, а ты хамишь. Я бы на его месте дал тебе по морде.

— А ну дай! — зарычал Гринбах и подставил Саше квадратный подбородок.

Саша струсил.

— Он сказал: «на его месте»! — засмеялся Улисс Канаки.— А на своем он бы этого не сделал.

Смех разрядил атмосферу.

— Ну, хочешь, я пойду к ней попрошу прощения?

— Не надо. Ты оскорбил не столько ее, сколько меня.

— Володя! Честное слово...

Но тут раздался клич Пищикова, дирижировавшего танцами:

— Греческая пляска!

Девушки вернулись к своим местам, на паркете остались одни мужчины. Положив правую руку на левое плечо соседа, они пошли по кругу, делая два шага вправо и один — влево.

— Плясать! — крикнул Канаки и, ухватив за руку Артура, потянул его за собой. Артур потянул Сашу. Саша — Петю Соколова, Соколов — Гринбаха, тот — Бредихина. Сначала Леська притопывал ногами только для того, чтобы не сбиться с ритма, но постепенно пляска захватила и его. В этом дружеском мужском жесте, объединившем всех танцующих, было что-то воинское, что-то от клятвы «все за одного, один за всех», что-то от извечной круговой поруки против всех стихий природы и варварства. Нет, что ни говори, а в мужчинах тоже есть свое обаяние. У Бредихина снова посветлело на душе.

Музыканты сложили свое медное и деревянное оружие. Публика ринулась к буфету. Пошли в буфет и приятели Бредихина. Как всегда в таких случаях, он постарался от них отделаться, потому что, как всегда, у него не было денег, а платить за себя он не позволял. «Мое серебро — это рыбешка,— думал он, надевая в гардеробе шинель.— В конце концов, я ведь не нищий». Но настроение у него все же упало. Трудно в восемнадцать лет, водясь с миллионерами и просто с зажиточными ребятами, не иметь за душой ни зеленого гроша.

— Не огорчайтесь, Бредихин!

Преподаватель фехтования поручик Анджеевский взял его под локоть и, выходя с ним из вестибюля на улицу, говорил:

— Неудача на эстраде — отнюдь не жизненная неудача. Хочу сообщить вам приятную весть: сегодня на педагогическом совете решено, что командовать гичкой на состязании в Севастополе будете вы.

— Как я?! А Гринбах?

— Но ведь он еврей...

4

Пять гимназистов сидели в турецкой бузне и пили мутный напиток из перебродившего пшена. Полутемная и до сырости прохладная каморка была увешана яркими плакатами, изображавшими эпизоды греко-турецкой войны.

Саша Листиков, лихо выпив стакан старой бузы, вообразил себя пьяным и по этой причине громко декламировал:

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что-нибудь соответствующее моменту.

— Обратите внимание! — обиженно прервал его Канаки.— На всех плакатах убиты одни греки.

— Зачем же? — возразил Артур.— Вон там, где сидит таракан, имеется один раненый турок.

— Целый турок?

Все засмеялись.

— Мне рассказывали,— лениво начал Шокарев,— что в музее Стокгольма Полтавская битва представлена как победа Швеции...

— И вообще! — запальчиво вступил Леська, точно ведя с кем-то застарелый спор.— И вообще! Все правительства врут, как могут. Вот, например, нам преподают, будто наши предки сами пошли к скандинавским пиратам просить, чтобы те ими правили: предки, видите ли, не могли между собой договориться.

— Но ведь об этом сказано в летописи.

— Никогда не поверю!

— Что значит — «не поверю»? Летопись говорит: «Страна наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Идите княжити...»

— Да-да. «...и володети нами». Знаю! Особенно нравится мне это «володети». Все народы жаждут воли, свободы, а наш хуже всех, что ли?

— Но ведь летопись!

— А кто ее писал? Дьячок какой-нибудь по указке князя. Исправляли историю, как хотели. А мы зубрим!

— Что же было на самом деле?

— По-моему, на самом деле норманны покорили Русь, как покорили Англию. Победили и стали «володети». Все ясно и просто. Но впоследствии князья наши посчитали сие обидным и пошли на то, чтобы объявить своих прадедов дураками, но не покоренными. Какая гордость: непокоренные дураки!

Все рассмеялись.

— Парень дело говорит! — прозвучал голос из-за соседнего столика.

Там сидели красивый, ладный матрос Виктор Груббе и нескладный, белобрысый Немич, ученик ремесленного училища.

— Я сказал, что парень говорит дело,— продолжал Виктор с митинговой хваткой, хотя не имел ни малейшего понятия о варягах.— Завралось правительство — спасу нет! А народу как? Я спрашиваю: как народу?

Гимназисты переглянулись. Видакас щелкнул пальцем по воротнику: выпил, дескать.

— Не вмешивайтесь в наш разговор! — высокомерно отрезал Канаки.— С вами никто не общается.

— А мы и не встреваем. Подумаешь!

Груббе метнул в Канаки горячий взгляд и стал наливать из бутылки в стакан. Бузы в бутылке уже не было, шло оттуда только сердитое шипение.

— Виктор, ты прав! — громко сказал Бредихин.— Народу нужна правда. Только правда. Правда во всем. В истории, в политике, в искусстве.

— А тебе не стыдно, Елисей, сидеть в такой компании? — спросил Виктор.

— Почему же стыдно? Это мои товарищи.

— Какие они тебе товарищи? Вот придут скоро настоящие товарищи, сразу увидишь, кто такие *эти!*

— Вы, наверное, большевик? — грозно спросил Саша Двадцать Тысяч.

— Тебя не спросился.

Повернувшись всем телом к Немичу, Виктор снова заговорил с митинговой интонацией:

— На Севере происходит мировая история. Керенский трещит по всем швам. Корнилов наступает — вроде он за народ, а на деле хочет восстановить Николашку. Ленинцы призывают рабочий класс! А тут, в Евпатории, никто ни черта пе чует. Курултай завели, крымское правительство, и считают, понимаешь, что тут у нас пуп земли. Но ничего, не дрейфь. Доберемся и до них.

Он резко встал, с шумом отодвинул стул и, бросив на прилавок керенку, пошел к двери. Бросок был таким шикарным, что керенка должна была бы зазвенеть, если б не была бумажкой. Сенька Немич подхватил свой кузнечный молот, с которым никогда не расставался, и нехотя побрел за Виктором. Он не допил своего стакана.

Шокарев. Послушайте, Виктор! (Так, кажется, вас зовут?)

Груббе. Ну, слушаю.

Шокарев. Вы, я вижу, человек идейный. Разумеется, большевик... А что, если дать вам миллион? Вы остались бы в лагере революции?

Груббе *(усмехаясь)*. А вы дайте, тогда посмотрим.

Он вышел на улицу, за ним Сенька. Дверь была с окном, и Сенька, захлопнув ее, погрозил гимназистам своим кузнечным молотом:

— Пеламиды!

Юноши, подавленные этой сценой, от которой вдруг повеяло дыханием эпохальных событий, некоторое время сидели молча.

— Странный напиток — буза! — сказал Саша, чтобы что-нибудь сказать.— Первые два глотка пьешь как будто ничего, а вся вкуснота начинается с третьего.

— Так ты бы сразу с третьего и пил,— посоветовал Артур.

— Я хочу поговорить о Самсоне Гринбахе,— сказал Шокарев.— Конечно, Леська — прекрасный моряк и вполне справится. Но Леська — моряк по опыту, да и просто потому, что он сын рыбака и внук рыбака. А Симка — мореход по вдохновению! Леська мечтает быть юристом, а этот хочет стать капитаном дальнего плавания.

— В капитаны евреев не пустят.

— Ну что же, он крестится. Можешь быть спокоен. Он убежденный атеист, и ему все равно, что там в паспорте написано.

— Почему нужно креститься? После революции все нации равны перед законом.

— А ты веришь в то, что так и останется? Вот уже Корнилов наступает на Петроград. Реставрация неминуема.

— Постойте, мальчики. Я ведь говорил о Гринбахе.

— Ну и мы о нем.

— Вернемся все-таки к теме. В конце концов дело не в том, кто из них лучше — Бредихин или Гринбах. Но заменить Самсона Леськой только потому, что Самсон — еврей, это такое безобразие!

— Верно, Володя,— сказал Бредихин.— И получается, что Груббе прав: в Петрограде творится великое, а здесь, в Евпатории, все идет по старинке, точно мы живем за границей. Да вот хоть возьмите наш седьмой класс: портрет Николая до сих пор висит.

— Ну это уже история! — возразил Саша Двадцать Тысяч.

— Неправда! — взволнованно вскричал Бредихин.— Сегодня, когда царизм только-только свергнут, это — политика, именно политика!

— Но что же нам делать с Гринбахом?

— Здесь нужен революционный акт,— сказал Бредихин.— Надо всем нам собраться и пойти к директору с протестом.

— На меня не рассчитывайте! — сказал Саша.— Я не пойду.

— Вот тебе раз! Почему?

— А как вы докажете, что Гринбаха отстранили именно потому, что он еврей?

— Мне сказал об этом поручик Анджеевский.

— А он откажется. Что тогда?

— Сашка прав.

— То-то и оно. Ваша революция превратится в самый простой гимназический бунт, и кое-кто может вылететь с «волчьим билетом».

— Как?! В наши дни?

— А почему бы и нет?

Буза была выпита, деньги уплачены. Юноши вышли на улицу и двинулись по Приморскому бульвару. По дороге встретился грек Хамбика со своими вареными креветками. Как не купить?

— Авелла, Хамбика!

— Авелла.

Хамбика, несомненно, самый красивый юноша в Евпатории. Но на нем были такие вопиющие лохмотья, что он казался скорее раздетым, чем одетым. Тряпье свисало с него, точно осенние серо-коричневые листья. Сквозь них светились плечо, грудь, кусок бедра, голые колени. Подуй крепкий ветер — листья умчатся, и останется бронзовая статуя, место которой на пьедестале. Однако об этом никто не догадывался.

Где-то у фотографического киоска стоял силомер. При нем не было хозяина, и гимназисты могли испробовать силу бесплатно. Первым нажал рычаг Артур. Стрелка показала 170. За ним нажал Канаки — 150, потом Шокарев — 140. Наконец, подошел Бредихин. Но пока он нажимал, Артур большими шагами ушел вперед, и только Саша, которому до всего было дело, остался наблюдать за результатом. Увидев цифру, отмеченную стрелкой, он помчался за ушедшими с криком:

— Леська выжал двести.

— Да ну?

— Ей-богу! Сам видел! Но аппарат, конечно, испорчен, иначе хозяин не оставил бы его на произвол судьбы.

Объяснение, как все у Саши, было логичным, и все успокоились: земной шар продолжал вращаться вокруг своей оси.

— Мальчики! Пошли на Катлык-базар!

— Зачем?

— Шашлыки есть.

Широкая площадь Катлык-базара была конским рынком. Это древнее торжище обслуживали лавчонки шорников, магазины скобяных товаров, амбары с овсом, а также караван-сараи, кофейни и чайханы.

На излучине Катлык-базара, где-то недалеко от элеватора, под вывеской «И. С. Шокарев» ютилась палатка, перед которой на жаровне шипели тронутые золотом шашлыки.

Хозяин палатки, красивый старик с шоколадным лицом и голубой от белизны бородкой, скомандовал: «Буюрун» [1],— и все принялись есть. Но тут хозяин узнал Шокарева. Достав железный шампур, нанизав на него, по крайней мере, три порции, затем насадив еще жареную почку и горячий помидор, он с восточной церемонностью преподнес все это сооружение смутившемуся Володе.

— Что вы? Зачем?

— Подарок.

— Не нужно! Право, не нужно!

— Кушай, не обижай старика, а то папе скажу.

Старик засмеялся сипло и с переливами, как часы перед боем, а Шокарев, покраснев, точно девушка, и оглядывая всех виноватыми глазами, взял шампур и начал давиться нежным барашком, не чувствуя ни вкуса, ни аромата. Плохо быть сыном миллионера!

— Смотри-ка! Они опять жрут!

По площади проходили Виктор Груббе, Сенька Немич и какой-то солидный мастеровой лет тридцати.

— Эй, лорды! Приятного лопанья! Дай бог подавиться!

— Прекратите! — приказал мастеровой.— Что это за хулиганство?

— Но ведь они только что пили бузу, товарищ Караев.

— А вам какое дело! Что, у вас других интересов нет, как только примечать, кто что ест?

Ребята замолчали. Все трое пересекли площадь ровным шагом, хоть не в строю, а в ногу. И странная вещь: их было всего три человека, но производили они впечатление отряда.

---

[1] Приглашение к еде *(татарск.)*.

— Что им здесь нужно? — тревожно спросил Листиков, который замечал каждую мелочь.

— А что?

— Мастерового я знаю: это Караев. В прошлом году он красил нам террасу. Маляр как маляр. Но при чем тут этот матрос и Сенька? И почему они пошли в татарский район? Таинственные вещи происходят в нашей Евпатории...

— Коммунизм на нас идет! Вот что происходит,— сказал Артур.

— Мальчики, а что такое коммунизм? Я хочу знать чисто теоретически. Кто что-нибудь об этом читал? — спросил Шокарев.

Никто не читал.

Шашлычник принес кофе в маленьких красномедных кастрюльках с длинными ручками. Черная жидкость и бронзовая пенка на ней источали удивительно уютный аромат.

— Ну а теперь что мы будем делать? — спросил Юка после того, как кофе был выпит.

— Мальчики! Сегодня суббота. Пошли в баню?

— Дело! Пошли!

— Постойте. А где же белье? — спросил Шокарев.

— Как! И ты с нами? У тебя ведь дома ванна.

— Все равно. Я тоже пойду. Вот только свежее белье...

— Какое белье? — воскликнул Канаки.— Зачем белье? Кто носит белье в сентябре? Трусики — вот наше белье! Мы — евпаторийцы!

Пошли. Впереди Артур, за ним другие. Шествие замыкал Шокарев. Настроение чудесное: сегодня суббота, уроков готовить не нужно, впереди — баня, завтра можно поспать подольше, к тому же на Морской улице блеснуло море в закате.

— Запева-ай! — скомандовал «капитан».

Листиков затянул, хор подтягивал:

При-ибежали в избу дети
    В штана-ах,
Второпях зовут отца
    Без штанов:
«Тя-атя, тятя, наши сети
    В штана-ах
При-итащили мертвеца
    Без штанов».

Прохожие останавливались и глядели на юношей с умилением: многие узнавали Шокарева. Но некоторые проходили мимо, угрюмо ворча:

— А еще гимназисты! Чему их там в гимназии учат!

Было уже темно. Дорога пошла сквозь полуразрушенные крепостные ворота по улице жестянщиков и свернула к захолустной гостинице «Одесса» с номерами по полтиннику и по рублю.

— А какая разница? — спрашивали приезжие.

— Пятьдесят копеек,— отвечал им швейцар.

Юноши шли, настроение чудесное, песня продолжалась.

— Господа! — воскликнул вечный заводила Саша.— Давайте вызовем Мусю.

— Давайте! — со смехом отозвались «господа» и тут же выстроились под балконом второго этажа опрятного каменного домика.

Саша взмахнул руками:

— Внимание! Раз, два, три!

И пятеро глоток, точно пять быков, вдруг замычали на весь переулок:

— Ммму-у-у-уся!

Тишина. Никакого отзвука.

— А может быть, Муськи дома нет?

— Дома. Вон в дверях свет.

— А ну-ка репетатум! Раз, два, три!

— Ммму-у-уся!

Дверь на балконе неслышно отворилась.

— Она, она! Мальчики, она!

И вдруг на гимназистов плюхнуло целое ведро холодной воды. Бредихин охнул, точно попал в прорубь: вся вода пришлась на него. А сверху уже несся могучий морской загиб первого сорта, ничего общего не имеющий с голоском несчастной Муси.

— Печенки-селезенки, христа-бога-душу-веру-за́кон хулиганская ваша рожа директора-инспектора классную вашу даму!!!

Юноши с хохотом бежали по переулку дальше.

— Кого окатило?

— Леську, одного Леську!

— Вот кого водичка любит! Недаром рыбак.

— Нет, вправду, неужели его одного? Леська, верно?

— Ничего! — сказал Листиков.— В бане обсушат и даже выутюжат. Не бывать бы счастью, да спасибо Мусиному папе.

Мокрый Леська глядел на хохочущих большими грустными глазами.

— Ну, чего глазенапы вылупил? — спросил Саша.— Денег нет? Напиши мне домашнее сочинение — двадцать дам. Хоть сейчас дам. Идет?

— Бери сорок! Сашка богатый: он же Двадцать Тысяч.

— А какое тебе сочинение?

— Такое, какое у всех: «О любви к отечеству и народной гордости» по Карамзину.

— Нет. Такого не могу. Я уже два написал.

— Тогда «Поэт мыслит образами» по Белинскому.

— Это можно.

— А когда?

— Послезавтра.

— Finis! — заключил Саша.

Турецкая баня, мраморная, круглая, с иллюминаторами в куполах, напоминала мечеть. Гимназисты очень ее любили. Накупив в кассе мыла и грецких губок, юноши прошли на ту половину, которая называлась «дворянской».

— Панаиот, буза есть? — спросил Шокарев.

— Есть, дворянины, есть!

— Пока одну!

— Один бутелка буза! — закричал Панаиот.

Пока Володя пил ледяную бузу из высокого граненого стакана, гимназисты разделись, сунули ноги в деревянные сандалии-«бабучи» и, нарочито громко звеня ими по мрамору, прошли в баню. Вскоре Шокарев услышал бодрый хор своих товарищей и даже различил запевалу — Листикова.

Песенка посвящалась директору гимназии и пользовалась в городе большой популярностью:

Хор

Чтоб тебя так, так тебя чтоб,
Чтоб тебя так, так тебя чтоб!

Запевала

Ах ты, Алешка, чтоб тебя так!
Ты знаменитый крымский байбак.
Ты лизоблюд, и ты блюдолиз,
Гнусный поклонничек Вер, Люд и Лиз.

Хор

Чтоб тебя так, так тебя чтоб,
Что тебя так, как тебя чтоб...

Шокарев вошел в баню. Свечи в округлых бокалах мерцали на стенах сквозь чудесный туман, как немыслимые бра какого-нибудь арабского халифа. Панаиот следил за

ними внимательно, и как только одна из них гасла или начинала коптить, он тут же заменял ее новой.

Шокарев подошел к своим.

— Володька! Мы здесь!

На плечах Артура уже прыгал банщик — неимоверно тощий перс, похожий на скелет беркута. Брезгливый Видакас-младший не допускал к себе перса — это единственное, чего он в бане не терпел. Вообще же баня была для него лучшим развлечением. Вот он уселся на мраморной лавке против Саши Двадцать Тысяч, и они принялись аккуратно плескать друг в друга холодной водой, точно играли в теннис. И только один Леська с намыленной головой задумчиво сидел над своей шайкой. Он думал о Гринбахе, которого все жалели и о котором все забыли.

Вскоре банщик ушел, а разморенный Артур остался лежать на теплом мраморе. Его охватило лирическое настроение, и он стал читать Блока:

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И, медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

Голос в банном пару звучал глухо, но стихи были прекрасны, и гимназисты зачарованно слушали, хоть и знали их наизусть:

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

— Ах, если бы встретить такую женщину! — вздохнул Канаки.

— Таких не встретишь,— прогудел ломающимся баском Юка.— Такие только в стихах.

— А ты откуда знаешь? Кого ты в жизни видел?

— Не видел, а знаю.

— Ну и дурак.

— Есть такие женщины,— сказал Артур.— Не может быть, чтоб их не было. А если их нет, тогда и жить не стоит.

— Но как же все-таки быть с Гринбахом? — спросил Леська, ни к кому не обращаясь.

5

Лебедино-белая с золотом яхта крымского правителя, стоя в Киленбухте, наблюдала за линией гичек, выстроившихся у противоположного берега. Матрос на мачте держит наготове флажки и ждет команды. Слева у трапа в кожаном кресле восседает председатель директории Крыма Джефер Сейдамет. Вокруг стоят члены правительства, адмиралы Черноморского флота, воинские начальники крымских городов и директора гимназий: евпаторийской, севастопольской, ялтинской, феодосийской, керченской.

Джефер Сейдамет обмахивался платком и нехорошо дышал: несмотря на октябрь, аллах послал зной.

На гичках с огромным нетерпением ожидали сигнала. Бредихин у руля евпаторийской лодки нервно оглядывал своих ребят. Загребными сидели Артур Видакас и Улисс Канаки. Обычно вместо Канаки сидел Бредихин.

Гринбаха не было: он сказался больным, да его, собственно, и не приглашали. Отставили и Сашу Листикова, как хиляка. Но он не растерялся и, приехав в Севастополь на собственные деньги, явился к директору и вручил ему коллекцию сердоликов для Сейдамета. Директор гимназии па борту яхты энергично проталкивался к правителю Крыма.

— Действительный статский советник, директор евпаторийской гимназии Самко!

— Очень приятно.

— Ваше высокопревосходительство! Гимназист седьмого «а» класса Листиков Александр просит передать вам в качестве дара эту коллекцию сердоликов, собранную им в течение последних лет.

— Вот прекрасный поступок ученика! — умиленно сказал Сейдамет.

— Бесспорно, ваше высокопревосходительство!

— Как его фамилия? Э... Цветков?

— Листиков, ваше высокопревосходительство.

— Листиков? Прекрасно.

— Раздалась команда: «На воду!»

Матрос просигналил флажками, все повернулись к линии гичек, и Сейдамет забыл о Листикове с его коллекцией. Но благодаря этой коллекции директор остался стоять подле Сейдамета. Так их и сфотографировали. Рядом.

Прогремела новая команда: «Полный вперед!» Матрос опять просигналил — и гички двинулись к яхте. Сначала

они шли вровень, как бы соблюдая цепь. Но вот одна стала резко отставать. Самко в тревоге поднял бинокль: «Слава богу, не моя...» Это на керченской лодке обломилось весло: слишком глубоко взяли. Через минуту на другой лодке — ялтинской — гребца «засосало» веслом, и, пока он выкарабкивался, она потеряла в темпе. Остальные три неслись дальше нос к носу. Слышен был уже счет рулевых: «Раз! Раз! Раз!»

Вдруг одна гичка как бы прыгнула вперед.

— Навались! — раздался клич Бредихина.

Теперь впереди всех шла евпаторийская команда. Гребцы напрягались так, что чуть не валились плечами на колени сидящих сзади. Лодка быстро опережала остальные лодки.

— Ваше высокопревосходительство! — прерывисто сказал Самко, утирая платком слезы.— Это... это наша... евпаторийская...

— Браво! — похвалил Сейдамет.— Вы образцовый директор. Этот ваш юноша Цветков, и теперь ваша лодка...

А лодка уже настолько приблизилась к яхте, что можно было прочитать надпись на ее носу: «Евпаторийская гимназия». Зеркальный блеск воды вдребезги разбивался о ее белый борт. Она летела совершенно ослепительная и как бы упоенная своей победой. Вот уже отчетливо обрисовалось напряженное Леськино лицо.

— Раз! Раз! Раз! Еще навались! Еще навались! — кричал он истошным хрипом.

— Ваше превосходительство... Гимназист Бредихин, ваше высоко... седьмой класс «а».

— Тоже седьмой? Образцово!

— Молодец рулевой! — привычным зыком, точно командуя, загремел один из адмиралов.— Обратите внимание на тактику: сначала он сдерживал своих гребцов, и они шли на одной линии с другими, а потом дал им полную слабину!

— Которая оказалась силой! — сострил Сейдамет.

Окружающие угодливо засмеялись.

— Совершенно справедливо! Именно!

— Удивительно метко сказано.

— Вы слышали? Сила оказалась это... как ее... слабостью!

— Блеск!

— И какая вера в своих ребят! — восхищался адмирал.— Как ясно он представлял себе их превосходство.

А ведь это был риск. Бо-ольшой риск! Отличный будет моряк.

— Отличный! — всхлипывал Самко, едва не рыдая.— Отличный. И учится хорошо: одна четверка по вниманию, остальные все пятерки.

— А почему по вниманию плох? Рассеян?

— Очень рассеян, ваше высокопревосходительство. Все о чем-то своем думает.

— Надо бы натянуть! — произнес с укоризной адмирал.— Ведь он сейчас проявил внимание очень высокого класса.

— Натянем! — восторженно засмеялся старик.— Это я вам обещаю.

Когда гичка находилась уже рядом с яхтой, Бредихин скомандовал: «Суши весла под рангоут!»

Весла вмиг поднялись, как винтовки «на караул», и птица-лебедь, приподняв крылья, легко и бесшумно понеслась к трапу, над которым сидел правитель Крыма со всей своей свитой.

Здесь был финиш. Лодке оставался один миг до полной победы... И вдруг Леська рванул руль от себя, обогнул яхту и стремительно подошел к ней со стороны, обращенной к берегу. Лодка явно ушла от соревнования.

Корабль ахнул! Директор гимназии, действительный статский советник, бросился к противоположному борту.

— Зарезал! Без ножа зарезал! Болван! Тупица! Это ты нарочно!

Между тем к правителю Крыма подходила гичка с надписью «Севастопольская гимназия».

Назад плыли уже под командой Видакаса. Леську же по распоряжению директора не только сняли с кормы, но отсадили на самую дальнюю банку. Никто не произнес ни слова.

На середине пути Артур скомандовал:

— Суши весла!

Гребцы приподняли лопасти над водой, и гичка летела, распушив перья.

— Зачем ты это сделал? — спросил Артур таким тихим голосом, каким разговаривают с больными.

— Я должен был отомстить за Гринбаха.

— Но почему именно ты?

— Потому что его заменили мной.

Артур не знал, что ответить, но за него ответил Улька:

— Все равно! Ты должен был сначала посоветоваться с нами. А вдруг мы не согласны?

— Действительно! — поддержал Соколов.— Ведь ты же всех нас опозорил.

— Неправда! — воскликнул Шокарев.— Он довел нас до яхты первыми. Все видели, что победа наша.

— «Видели», «видели»... Мало что видели! Все равно считается, будто победил Севастополь.

— На воду! — скомандовал Артур.— Ра-аз!

В поезде до Евпатории все возбужденно, даже слишком возбужденно беседовали друг с другом, не касаясь щекотливой темы и тщательно избегая общаться с Бредихиным. Один только Шокарев страдальчески глядел на Леську, который, судорожно вздыхая, сидел в углу с красными, опухшими веками. «Наверно, всплакнул в уборной»,— подумал Володя. Время от времени он обращался к Леське с невинными вопросами, но Леська так оскорбительно отвязывался от него, что Володя вскоре отстал. В Бахчисарае, вокзальный ресторан которого славился на весь Крым жареными пирожками с бараньими легкими, Шокарев принес Бредихину парочку, но тот угрюмо и даже грубо от них отказался.

В Евпаторию приехали засветло. Экипажей брать не стали, а, выстроившись, молча зашагали по городу.

И вдруг в конце главной, Лазаревской, улицы они услышали легкомысленный краковяк, исполняемый духовым оркестром: гарцевал Крымский эскадрон уланского ее величества полка. На всадниках были бледно-синие ментики и красные рейтузы. Кавалеристы молодцевато высились на своих карих конях, а чресла их двигались так, точно они сидя танцевали.

Волнующий звон конских подков, напоминающий цоканье серебряного ливня, относил память ко времени Зейдлица и Мюрата. Бредихин, как более начитанный, вспомнил даже кроатов Цитена.

— В чем дело? — прозаически спросил Листиков, который успел присоединиться к товарищам еще в поезде.

— А что? Татарский эскадрон.

— Да, но почему он здесь? Его стойло в Симферополе. Значит, вызвали?

— Значит, вызвали.

— А зачем?

— Это уж дело полковника Выграна.

— Смотрите, вон корнет Алим-бей Булатов!

— Где, где?

— Да вон, во главе второго взвода.

— Действительно: Алим!

У Леськи провалилось сердце.

Домой он вернулся раньше корнета. Дед сидел за столом и при свете розового ночника одним глазом читал «Евпаторийские новости».

— Слышь, Елисей! В Питере какие-то большевики взяли власть в свои руки. Ленинцы какие-то. Знаешь что-нибудь про них? А? Что с тобой? Почему такой бледный?

— Алим-бей приехал.

— Ну?

— С татарским эскадроном.

— На эскадрон наплевать, а вот Алимка...

Дед начал задыхаться. Потом вышел за дверь под луну. Он был очень расстроен. Его томило тяжелое предчувствие: как и Леська, он понимал, что песчинка дорого обойдется его внуку.

Но дело было не в песчинке.

Завоевание власти пролетариатом прошло для Леськи незамеченным. Он не знал, что вся его жизнь отныне пойдет по новым рельсам. Крым находился от Петрограда на расстоянии двух тысяч верст. Курьерский поезд приходил, бывало, из Питера на третьи сутки. Но Леська представлял себе эту даль как что-то космическое. Газет он не читал, потому что не верил им, а слухи, даже если им верить, не раскрывали сущности эпохи. Бой за Зимний дворец, образование Советского правительства во главе с Лениным, декреты о мире и земле — все эти события не коснулись Елисея. Но враги революции даже в Крыму не только знали, но и всей своей шкурой чувствовали, какая гроза надвигается на них.

В доме Булатовых зажгли большой свет. Электростанция в городе не работала: забастовали рабочие. Но у предводителя столько керосиновых ламп, что там забастовки и не заметили. Цыган Девлетка и горничная Шура метались из дома в погреб и обратно. Повариха, мать Девлетки, принимала вина и соленья прямо в окно кухни. А из виллы доносился голос Алим-бея:

— Большевики — это всякие подонки. Чернь, одним словом. То, что они взяли власть, ничего не значит. В России все ничего не значит. Распутин одно время тоже царствовал, как сам Иоанн Грозный, но его убили — и что? Где Распутин?

Леська тоже вышел во двор и стал рядом с дедом.

Алим-бей продолжал изрекать:

— Все партии хотят изменить образ правления. Ну и черт с ними. Нам какое дело? Но большевикам этого мало! У них лозунг: «Нижние наверх!» Это значит, что Бредихины должны жить в нашей вилле, а мы, Булатовы, в их избушке.

Голос Алим-бея становился все глуше.

— А вы думаете, у вас в Евпатории нет большевиков? Еще сколько! Они, как крысы, живут в подполье... Но действуют! Эта забастовка на электроста... Чья работа, а? Вот то-то. Понимать надо! Но ничего... Полковник Выгран — молодец: он вызвал наш эскадрон и сказал: «Есть закон жизни: если человека пустить в расход, то он уже больше не существу...»

Дальше ничего нельзя было разобрать, и Бредихины пошли к себе.

— А зачем мне переезжать в ихнюю дачу? — задумчиво сказал Петропалыч.— Да я там от одной чистоты подохну.

Утром из окон виллы раздался страшный крик Алим-бея, переходящий в рев.

— Леська! — орал он истошным голосом.

Елисей вышел во двор. Дед и бабушка прильнули к окошку и замерли: Алим-бей, снова основательно клюкнув, направился к Леське. Он был в красных штанах со спущенными подтяжками, в сапогах со шпорами и в распахнутой нижней сорочке.

— Ты... Ты посмел коснуться... моей сестры?

Он подошел вплотную. Его молодое, но уже порочное лицо в эту минуту окончательно озверело.

— Большевик! — завизжал он и, широко размахнувшись, ударил Леську кулаком в лицо. У Леськи дернулась голова, он пошатнулся, но устоял на ногах и только зажал нос ладонью.

Но тут дедушка, сорвав со стены берданку, заряженную солью, вымахнул из хаты. Увидев искаженное лицо старика и сообразив, что тот не шутит, корнет рысцой пустился наутек. Дед приложился к ружью и пальнул. Алим-бей завопил, схватился обеими руками за поясницу и теперь уже галопом поскакал восвояси.

— Почему ты не дал ему в морду? — разъяренно захрипел рыбак. Он готов был сейчас растерзать Леську.

— Не мог.
— Почему? По-че-му?
— Потому что он прав.
Через час Гульнара прибежала к бредихинской хате и вызвала Леську.
— Ой, как у тебя распух нос! Миленький... Тебе, наверное, больно?
— Не важно. Зачем пришла?
— Будьте осторожны: наши что-то затевают. Ой, как распух...
— В суд подадут на деда?
— Нет. Хотели, но раздумали. Ведь надо тогда рассказать, что Петропалыч выстрелил Алимке в неприличное место, а для офицера это позор: Алимке придется из полка уйти.
— Но если не суд, то что же еще?
— Не знаю, не знаю. От меня теперь все скрывают.
Они помолчали.
— Это правда, что тебя отправляют в деревню?
— Правда.
— Куда же ты уедешь?
— К деду Умер-бею, в деревню Ханышкой. Знаешь? На реке Альме.
— Альму знаю, конечно, а про Ханышкой не слыхал.
— Ханышкой. Там у деда большо-ой сад и вот такущие яблоки.
— И скоро уедешь?
— Сначала хотели скоро, но Алимка велел, чтобы подождали.
Гульнара сказала это с сожалением. Леська подумал: «Какая она еще маленькая! Ее радует любая перемена в жизни». Ему стало досадно, и он первым прекратил разговор. Гульнара обиделась и ушла, не простившись.
Днем к Бредихиным пришел Девлетка и попросил немного укропу. Бабушка вышла в огород и нарвала ему пучок. Девлетка очень вежливо поблагодарил, но напряженные глаза его метались и не могли глядеть прямо.
Когда взошла вечерняя звезда, но было еще совсем светло, дедушка и Елисей на шаланде вышли в море. Если поставить лодку так, чтобы звезда висела как раз над крестом собора, то через полчаса гребли можно наехать на дедушкины буйки.
Здесь Петропалыч поставил «кармакан» — старомодную шашковую сеть с крючьями на подводцах. «Карма-

кан» стоит недорого и хорош тем, что не требует наживки: красная жрет и так.

Елисей греб спокойно и размеренно. Когда подплыли к буйкам, увидели, что под ними вертелся темный силуэт. На миг Елисею показалось, будто это сирена.

— Ундина...— прошептал в нем голос восьмилетнего Леськи. Но уже минуту спустя он услышал деда:

— Белуга... Пудов на семь потянет.

Она кружилась с медлительной и могучей грацией. Хребтина ее в темной воде казалась черной, но когда подтянули рыбу к шаланде и приподняли ее голову над водой, почудилось, будто вытащили луну.

Леська залюбовался. Нет ничего изящней красной рыбы. Белуга, севрюга, стерлядь, осетр... Весь их корпус вылит из рафинированного металла, хвост выполнен резцом, морда точно кована самим Челлини и напоминает изысканной работы кубок, перевернутый кверху дном... Поставьте рядом с белугой корову, а рядом с осетром бобра — и вы поймете все восхищенье Леськи.

Елисей держал белужью морду на весу, а дед бил рыбу по темени обухом, покуда она не оглохла. Тогда, протащив тонкий канат сквозь щеглу и привязав его мертвым узлом к кольцу на корме, дед и Леська взяли рыбищу на буксир, как подводную лодку.

Дед был счастлив: семь пудов — не шутка. Правда, попадаются белуги и в двадцать, но он бы такую не осилил. А семь... Семь — это новое пальто для Леськи, потому что шинель он носит с четвертого класса и из нее уже лезет вата: семь — это оренбургский платок бабушке, тот самый, что весь проходит сквозь кольцо, как струйка воды; это, наконец, резиновые сапоги для деда. А может быть, и еще что-нибудь останется. Вот что такое семь пудов!

Вскоре город, который издали угадывался только своими огнями, стал выделяться и силуэтами. Вон собор, вон мечеть Джума-Джами, вон театр, вот отель «Дюльбер», вилла Булатова. Но что это? На том месте, где находился их домик, стояло пламя. В темноте дым был невидим, а огонь не бился, не прыгал, а торчал ровно и толсто, как из самовара.

— Леська! Горим?

— Горим!

— Навались!

— Белуга тянет,— задыхаясь от быстрой гребли, сказал Леська.— Обруби веревку.

— Это чтобы белуга ушла? Ну не-ет...

— Обруби, дедушка. Мы тогда пойдем скорее. Может быть, успеем потушить.

— Отпустить белугу?

— Да, да!

— Пусть все пропадет пропадом, а белугу не упущу! — торжественно и яростно провозгласил Петропалыч.

— Да ведь горит хата!

— Уйдет белуга и подохнет. Ни себе, ни людям.

Леська понял, что старика не переспоришь, и замолчал.

Когда лодка врезалась в песок и рыбаки спрыгнули на берег, все было кончено. На пепелище сидели только бабушка и кошка.

— Мать, не горюй! — угрюмо сказал дед.— Мы не богачи, потеряли не ахти что. Давай устраиваться в сарае.

Бабушка поднялась и молча принялась работать, стараясь всхлипывать как можно тише, чтобы не услышал тугоухий дед. А дед опять сел в шаланду, повез белугу к булатовской купальне и привязал рыбину к самой дальней свае.

Бабушка и Леська собирали уцелевшее добро, которое бабка успела вытащить прямо из пламени: матрас, одеяло, три подушки, два стула.

В ту ночь спали втроем поперек матраса, укрывались одним одеялом, тоже поперек, зато подушек хватило на всех. Сарай зиял щелями: так нужно было для вяления, чтобы все время проходил воздух. Холода рыбаки не чувствовали, к тому же спали одетыми, но от рыбы стояла такая могучая вонь, что Леська долго не мог уснуть. Старики же спали крепко. И дед и бабушка храпели так, точно пытались остановить ошалелую тройку:

— Трр! Тррр!

Утром Леська пошел к пепелищу. Были у него книги. Не очень много, но любимые: учебник психологии, «История философии» Челпанова, «Принципы философии» Декарта, «Так говорил Заратустра» Ницше. Владыки умов современной молодежи. Вот они, эти книги! Спекшиеся, серебристо-серые, но сохранившие свои очертания, лежали они одна на другой. Видно было даже, как переплет отделяется от корпуса. Но едва только Елисей коснулся их рукой, они распались прахом.

Потом пришла бабушка. Она принялась шарить лучинкой в золе, не уцелело ли что-нибудь.

Дед взял нож и направился к белуге. Только рыбаки, охотники и поэты могут понять радость от улова этакого

зверя. Дело тут не только в деньгах — дело в удаче! А удача — это как сама судьба. Невезучему нет жизни — против него все боги леса и воды. Пусть все на свете пропадет, а эта радость останется: «Однажды я поймал белугу в семь пудов». Белуга, огромная, прекрасная, лежала голубовато-алым брюхом вверх, распластав могучие плавники. Но тело ее стало бледнее и тусклей. Уснула. Больше от страха, чем от боли. Белуга — рыба трусливая, нежная. Вот до зари и не дожила.

Дед вздохнул и укоризненно поглядел на морскую ширь. Море лежало у его ног, но глядело на него хитрющими синими глазами.

— Что, собака? — шептало оно рыбаку.— Белужинки захотел? Семи пудиков? Не меньше? Так вот же тебе: бери белугу в обмен на пожар.

— А тебе что пользы? Ведь издохла бы. Только вонять будет.

— Не твое собачье дело! — отвечало море, вскипев пеной от раздражения.— Будь счастлив, что твой Андрон все еще на плаву.

Андрон, сын Петропалыча, сейчас плавал шкипером по Крымско-Кавказскому побережью на шокаревской шхуне «Владимир Святой», которую в Евпатории прозвали «Святой Володя» в честь Володи Шокарева. Петропалыч всегда очень пугался, когда море напоминало ему об Андроне, ибо оно, море это, стало могилой старшего его сына, Александра, Леськиного отца.

Бабушка ходила теперь на пепелище, как Робинзон Крузо ходил к морю в надежде на то, что море выбросит ему что-нибудь со своего барского стола. И пепел то и дело одаривал бабушку чем-нибудь оставшимся от крушения. Каждая вещь теперь становилась драгоценностью. Бабушка нашла, например, шкатулку с изображением русалки. Находка не ахти какая, но все-таки вещь. Иголки и нитки всегда пригодятся.

Между тем Леська по приказу деда сбегал в город и привез цыгана с мажарой и шестами. Белугу вытащили на берег.

Дед подошел к ней, перекатил ее вместе с Леськой на спину, затем вспорол ножом брюхо и, страшно напрягшись, вырвал огромный ястык, полный черной икры.

— Купишь в аптеке буру,— бросил он внуку.

Цыган приладил к телеге два длинных шеста в виде лестницы без ступенек, и по ним дед, цыган и Леська ста-

ли кантовать рыбину, подпирая кольями ее знаменитые семь пудов. Дед остался с белугой, а Леська пошел в гимназию. Уходя, он оглянулся на деда. О хате тот уже позабыл. Он стоял около своего счастья не только довольный, но даже гордый.

Но Леська никакого счастья в своем глубоком горе не чувствовал. Хату было, конечно, жаль, но как ее оплакивать, если впереди расплата за Севастополь... Захотят ли друзья разговаривать с ним?

Оказалось, однако, что его сгоревшая хата сняла всякую обиду. Все уже знали о несчастье Бредихиных и горячо его обсуждали.

— Дом не мог загореться сам! — заявил Саша Листиков.— Его подожгли. Так и папа говорит.

— Домик был застрахован? — спросил Артур.

— Нет, конечно.

— Тогда нужно всем нам пойти к Сеид-бею и потребовать, чтобы он восстановил хату. Иначе в суд!

— Что ты! Он повесится, а не заплатит,— уныло протянул Леська.— Мы ведь им как сучок в глазу со своей хатой.

— А суд? — сказал иронически Гринбах.— Что предводителю суд? Мировой пьет с ним в «Дюльбере» каждую неделю.

Начался урок. Все уселись за свои парты.

В сущности, это была самая обыкновенная гимназия. Необыкновенной делало ее только одно: море. Оно поднималось до средины окон, и комната казалась увешанной импрессионистическими панно, исполненными в два цвета: снизу огневая синева, сверху нежная, нежная лазурь. Иногда на одном из панно белел парус. Иногда на другом летали птицы. В хорошую погоду яркие живые краски этой картинной галереи придавали наукам какой-то праздничный тон. Именно поэтому заниматься было трудно.

Вошел директор. Все встали. Не приглашая сесть, он сделал перекличку. Оказалось, что нет Шокарева.

— Но ведь он только что здесь присутствовал. Я видел его из окна своего кабинета.

— Он действительно был, вы совершенно правы, но вдруг почувствовал себя плохо! — сказал языкатый Уля Канаки.

— Ну! Неужели плохо? Надо будет позвонить Ивану Семеновичу.

— Да, да,— сказал Канаки развязно.— Обязательно надо!

Директор поглядел на него неодобрительно, поковырял карандашом в ухе и ничего не сказал. Продолжив перекличку и по-прежнему не приглашая гимназистов сесть, он вдруг зычно воззвал:

— Листиков!

— Я!

— Прошу ко мне.

«Не ожидая для себя ничего хорошего», как писалось когда-то в бульварных романах, Листиков неуверенно вышел к доске. Директор повернул его лицом к классу и возложил руку на его плечо:

— Господа! Я счастлив отметить прекрасный поступок ученика Листикова Александра. В течение ряда лет собирал он в Коктебеле коллекцию сердоликов, он очень любил эту коллекцию, лелеял ее, но нашел в себе благородную силу преподнести свой труд правителю Крыма его высокопревосходительству Джеферу Сейдамету.

Директор зааплодировал. Два-три гимназиста, из передних, конечно, рядов, не выдержали директорского взора и тоже захлопали.

— Его высокопревосходительство господин Джефер Сейдамет,— продолжал директор,— высоко оценил этот поступок. Он прислал на мое имя для Листикова двадцать пять рублей николаевскими деньгами.

Листиков вспыхнул до слез. Углы губ задрожали. Ничего не замечая, директор снова зааплодировал. Теперь уже весь класс разразился иронической овацией.

— Не огорчайся, Саша! — крикнул Гринбах.— Впереди еще двадцать тысяч!

Листиков с ненавистью взглянул на Гринбаха и скользнул к своей парте.

— Бредихин, ко мне!

Елисей пошел как на заклание.

— Тебя я ни с чем поздравить не могу, Бредихин. Напротив, вынужден сообщить неприятность: последние три года ты был стипендиатом Общества спасания на водах. Теперь ты не будешь стипендиатом...

— ...Общества спасания на водах,— подхватил Улька Канаки.

— Да, именно! — подтвердил директор, теперь уже грозно окинув Ульку взором действительного статского советника.— Общество не желает больше заботиться о человеке, которому не дорога честь его родного города.

Леська стоял понуро, точно у позорного столба.

— А теперь реши-ка мне вот какую задачу. Это будет для тебя полегче, нежели решить вопрос, с какого борта подъехать к яхте.

Директор набросал мелом что-то четырехэтажное и отошел в сторону. Леська стал решать. Медленно и неверно. Класс молчал. Никто не пытался подсказывать. Все надеялись на звонок, но он, как назло, запаздывал.

Директор. Ну! Все?

Бредихин. Все.

Директор *(взглянув на решение)*. А почему никто не протестует?

Молчание.

Ну, вот ты, Гринбах, ты смог бы решить эту задачу?

Гринбах. Смог бы, конечно.

Директор. Пожалуйста!

Гринбах. А зачем мне это нужно?

Директор. То есть как это — зачем?

Гринбах. Но ведь все равно, как бы блестяще я ее ни решил, больше четверки вы мне не поставите.

Директор *(усмехаясь)*. Ах, вот в чем дело! Но ведь на пять знает алгебру один господь бог, я знаю на четыре, а ты, в лучшем случае, можешь знать на три.

Гринбах. Да, но то, что дважды два — четыре, бог, вы и я знаем одинаково хорошо.

Класс расхохотался и зааплодировал. Это уже смахивало на мятеж. Директор покраснел, с минутку подумал и наконец пришел к выводу:

— Выйди из класса, Гринбах.

Но тут зазвонили к перемене, и из класса за Гринбахом хлынули все. Это уже и вовсе было похоже на революцию. Директор подхватил журнал и удалился.

К концу дня явился Шокарев. Шел урок анатомии. Преподавал городской врач Антонов, который никого из гимназистов не знал в лицо.

— Шокарев!

Володя вздрогнул.

— Мальчики, я ничего не знаю...— прошептал он.

— Шо-ка-рев! Где Шокарев?

— Здесь! — крикнул Гринбах.

— Почему же вы не отзываетесь?

Гринбах подошел к кафедре.

— Расскажите нам о кровеносной системе.

Гринбах в два счета отбарабанил урок.

— Отлично! — сказал доктор.— Садитесь. Пятерка.

Гринбах вернулся к своей парте и уселся, победоносно поглядывая по сторонам.

— Гринбах! — крикнул доктор.

Самсон машинально вскочил. Доктор взглянул на него поверх очков.

— Но ведь я же не вас, Шокарев. Разве вы Гринбах?

— Я Гринбах! — закричал с места нахальный Канаки.

— Будьте любезны к доске.

Канаки пошел с «камчатки» между парт, шепча: «Надо спасать положение».

— Расскажите нам, Гринбах, про систолу и диастолу.

Канаки беспомощно поглядел на класс. Несмотря на всю свою развязность, он не мог выжать из себя ни слова.

Со всех сторон слышалось змеиное шипение, но он ничего не улавливал и стоял, как голкипер на футболе, осыпаемый ударами и неспособный отбить ни одного.

— Плохо, Гринбах. Очень плохо. Садитесь. Кол вам за это. Брали бы пример с Шокарева: блестящий ученик.

Остаток урока прошел без происшествий. Юноши вышли на улицу и направились к погорельцам.

— Эй ты, симбурдал! Какого дьявола ты вылез отвечать, если ни черта не знаешь? — напустился на Канаки Листиков.

— Ну и что ж такого? — невозмутимо ответил Улька — Лучше колятина, чем разоблачение. Верно, Самсон?

— Он прав,— сказал Гринбах.— Единицу я, конечно, исправлю, а трюк с фамилиями — за это, знаешь? Из гимназии вылететь можно.

— Да, да...— уныло сказал Шокарев.

— Такова жизнь! — умудренно промолвил Соколов.

Проходя мимо Пушкинской аудитории — белого здания, увенчанного бюстом великого поэта, гимназисты увидели витрину с жирной надписью: «Кто правит Совдепией?» Там были выставлены репродукции с тюремных фотографий Ленина и Дзержинского, снятых en face и в профиль. Ниже шла краткая информация о том, кто и когда находился в остроге и ссылке.

Гимназисты подавленно двинулись дальше.

— Что же станется со страной, если ею будут руководить бывшие преступники? — спросил Шокарев.

— Че-пу-ха! — грянул Гринбах.— «Преступники»... Их выставляют перед народом, как людоеда Губаря или

Соньку Золотую Ручку. А это святые люди. Да, сидели в тюрьмах, да, годами жили в ссылке, да, преступники в том смысле, что преступили законы царизма.

Евпатория почти не располагала промышленным пролетариатом. История классовой борьбы, терминология партий, да и самые имена больших революционеров не были знакомы евпаторийцам. Слышали они краем уха только о бомбистах — народовольцах и эсерах: Рысакове, Каракозове, Сазонове. Знали, конечно, о знаменитом провокаторе Азефе, знали о Керенском как о блестящем думском ораторе, но точно в таком же сенсационном ореоле реяли пред ними чемпион мира борец Иван Поддубный или великий клоун Владимир Дуров с его неподражаемой свиньей.

Слова Гринбаха несколько озадачили ребят. На миг он показался им человеком с какой-то другой планеты. Там жили эти «святые» — Ленин, Крупская, Калинин, Дзержинский, которые так неожиданно для них выплыли как бы из самой истории. Но вдалеке возникло здание театра, справа открылась библиотека, слева море,— Евпатория оставалась Евпаторией.

Саша Листиков сбегал в «рейнсковый погреб» и вышел оттуда с бутылкой водки, все опять стало на свои места. В том числе и сам Осваг. И все же, когда показалась наконец крыша булатовской виллы, Гринбах отвел в сторонку Бредихина и спросил:

— Хочешь прийти сегодня в Пушкинскую аудиторию? Там мой пахан будет читать лекцию о большевизме.

— Ну? Это интересно!

— Так придешь?

— Приду. А кто еще будет из наших?

— Один Шокарев. Напросился, понимаешь. Конечно, вход по запискам, но Володька меня не подведет.

Но вот уже и пепелище. Дед вышел к юношам навстречу, за ним бабушка, обтирая передником руки, осеребренные золой.

— Я говорил с отцом. Здравствуйте! — конфузливо начал Шокарев.

— Здравствуй, коли не шутишь,— сказал дедушка.

— С отцом я говорил. У него есть каменоломни. Знаете? Под деревней Орта-Мамай. Там режут ракушечник. Так вот папа сказал, что отпустит сколько нужно пиленого камня.

— А почем?

— Ну, дедушка! — протянул Леська.— Как ты не понимаешь? Иван Семенович очень любит Володю, а Володя его попросил.

— Да уж ясно! — вмешалась бабушка.— А он еще спрашивает «почем?». Ни шиша в кармане, и торговаться вздумал.

— А доставку этого камня мы организуем так: яхта наша, а шаланда ваша,— сказал Артур.

Бабушка заплакала и кинулась целовать руку Шокареву. Тот в ужасе отпрянул. Отпрянул и Леська, хотя никто не собирался целовать его руки.

— Э, да что там долго разговаривать! — воскликнул Саша Двадцать Тысяч.— Вот, господин Бредихин: наша водка, ваша рыбка.

Он вынул из кармана сороковку и торжественно вручил ее дедушке.

— На всех, конечно, не хватит, но ведь и не все пьют. Выпейте вы с бабушкой и меня прихватите, а это спортсмены — им запрещено.

У деда разгорелись глазки. Появились два пузатых стакана. Петропалыч дрожащей от скаредности рукой налил бабке и Листикову немного повыше донышка, чокнулся с ними бутылкой и запрокинул ее в горло. Потом распластали вяленую кефаль, которую ели все, закусывая луком и холодной картошкой. Дед быстро захмелел. Он подошел к Володе, долго глядел на него и наконец, горько моргая, прошамкал:

— Эх, мальчики, мальчики! Пока вы дети, у вас золотые сердца, а вырастете, все равно собаками станете.

6

Дети растут в голову, старики — в нижнюю челюсть, а юность — в душу.

Большой зал Пушкинской аудитории был битком набит молодежью. Редкие керосиновые лампы горели чахло, но полутьма как бы освещалась глазами юношей и девушек.

Когда Самсон, Леська и Володя вошли в зал, лектор уже заканчивал свой рассказ. Гимназисты остановились у самой двери: вперед продвинуться было невозможно. Елисей благодаря своему высокому росту хорошо видел и

зал и трибуну. На кафедре адвокат Гринбах отвечал теперь на вопросы, освещая свои бумажки фонарем «летучая мышь», а за столом председательствовал тот самый маляр Караев, который недавно проходил с Виктором Груббе и Сенькой Немичем мимо шашлычной. Кстати, оба они были здесь: Сенька сидел рядом со своими сестрами Варварой и Юлией, а Виктор — с приезжей актрисой Раневской, игравшей в городском театре.

— У меня вопрос! — раздался голос из зрительного зала.

— Пожалуйста.

— Как понять лозунг Ленина: «Грабь награбленное»?

Адвокат засмеялся.

— Этот лозунг, товарищи, нельзя понимать буквально. Владимир Ильич не без озорства перевел таким образом мысль Маркса об экспроприации экспроприаторов.

— Простите, Григорий Маркович! — вмешался Караев.— При чем тут озорство? Маркс и Ленин учат, что буржуи своими нетрудовыми доходами определенно грабят народ. Значит, народ, в свою очередь, имеет право грабить своих грабителей. Он возвращает себе *свое*!

Володя не отрываясь глядел на Караева. Лицо маляра в черных яминах от плохого освещения, его молодые усы и небольшая бородка, наконец, его грустные, какие-то трагические глаза напомнили ему лик Христа перед распятием. Сравнение было не только внешним: Володя чувствовал глубочайшую веру этого маляра в величие и справедливость новой эры, которую он провозглашал пусть в уездном масштабе, но с такой же святой убежденностью и с таким же пророческим очарованием.

— Господа! Предъявите документы!

Все вскочили с мест: в дверях стоял Алим-бей с двумя уланами. На трибуне тут же задули фонарь. Алим-бей мгновенно бросился туда, но кто-то подставил ему ножку, и он рухнул на пол. В ту же минуту разбили палками стекла всех ламп — и зал потонул в черноте.

— Выходить по одному! — приказал Алим-бей.

Люди мрачно двинулись к выходу, предъявляя паспорта, «виды на жительство», удостоверения — что у кого было.

— А-а! Господин Шокарев! — осклабился Алим-бей, увидев гимназический билет Володи.

— Это мои товарищи. Они со мной! — сказал Володя чуть-чуть генеральским тоном.

— Пожалуйста, пожалуйста! Прошу, господа! Ну, как лекция? Получили удовольствие?

— Да, в общем, ничего,— промямлил Володя, держа на весу руку с распущенными пальцами.— Информация о делах в Питере была несколько жидковата, но, во всяком случае, богаче новостей, которыми снабжает нас наша евпаторийская газета.

— А кто докладывал? — как бы невзначай полюбопытствовал Алим-бей.

— Какой-то солидный господин.

— Фамилии не скажете?

— Откуда же мне знать? В Евпатории двадцать тысяч жителей.

— Грустно... Грустно, что не знаете. Уж кому-кому, а *вам*, господин Шокарев, надо было бы нам помочь.

— А вы подождите немного,— вмешался Гринбах.— Докладчик, вероятно, скоро выйдет.

— Черта с два выйдет! У них тут, конечно, потайной ход. Но ничего. Надолго не исчезнет. И не таких ловили!

На улице друзья, не сговариваясь, пошли к берегу.

— Слушай, Самсон! — сказал все еще потрясенный Володя с какой-то несвойственной ему звонкостью в голосе.— Отец у тебя — незаурядный человек. Оратор, историк, политический деятель. При таком отце ты не можешь не быть коммунистом. Правда?

— В чем дело?

— Скажи откровенно: если б тебе дали миллион, ты продолжал бы оставаться коммунистом?

Гринбах молчал.

— Володя! — сказал Леська.— Это вопрос бестактный. Самсон имеет право на него не отвечать.

— Но я ведь знаю, что он мне завидует! — горячо воскликнул Володя.— Завидует, несмотря на то, что у него такой замечательный отец! Завидует, хотя у меня другой отец, гораздо менее замечательный. Но потому-то он мне и завидует, что у меня такой незамечательный отец!

— Ну-ну, ты уж зарапортовался! — сказал Леська.

— Нисколько! Я знаю, что говорю. Ответь на мой вопрос, Самсон. Честно ответь, если мы с тобой действительно лучшие друзья!

— Во-лоо-дя...— почти страдальчески протянул Леська.

— Брось, Елисей,— отозвался Гринбах, побледнев.— Он вправе задать мне этот вопрос, и я обязан на него ответить. Да, Володя, если ты из твоих пятнадцати миллио-

нов дашь мне миллион, я пойду к тебе в секретари и стану служить твоему капиталу верой и правдой.

— Сима! — в ужасе воскликнул Леська.— Неправда! Ты так не сделаешь!

— Но что это меняет? — с каменным спокойствием продолжал Гринбах, точно и не слыша Леськиных причитаний.— Можешь ли ты дать каждому коммунисту по миллиону? А так как коммунисты рождаются из пролетариата, то сможешь ли ты дать по миллиону каждому пролетарию? Не сможешь? Значит, купив Самсона Гринбаха, ты выиграл только одного Самсона Гринбаха. Что же изменилось? Революция остается революцией.

— Черт знает этого Гринбаха,— с облегчением сказал Леська.— Умен так, что даже страшно.

— А что тут удивительного? — смущенно отозвался Володя.— Помнишь, как у Достоевского сказано о русском гимназисте: дайте ему карту звездного неба, он найдет в ней ошибку.

7

В море показалась яхта: она тянула за собой шаланду, которая везла мамайский камень к пепелищу Бредихиных. В то же время сравнительно невдалеке из красного тумана прояснилась трехмачтовая шхуна. Ее сразу узнали.

— «Владимир Святой»,— сказал Гринбах.

— Дядя приехал!

— Леонид? — спросил Володя.

— Зачем Леонид? Леонид — мой брат. Он учится на медицинском в Одессе. А это Андрон. Дядя мой. Он ходит в шкиперах у твоего отца.

— Ничего не знает! — захохотал Гринбах.— Вот это хозяин! Возьми меня в секретари, говорю тебе...

Все засмеялись. Огромная проблема эпохи на этот раз прошла стороной, как тайфун проходит мимо баржи, ныряющей боками и носом в Великом океане. Гимназисты опять стали гимназистами.

Шхуна, еще дымящаяся от тумана, пошла к пристани Российского общества пароходства и торговли. Матросы выбросили на правый борт кранцы, боцман кинул канат, портовой Груббе и Леська закрепили его на кнехте, и вот

по спущенному трапу сошел Андрон Бредихин. Он, конечно, сразу заметил Володю, но, сделав вид, будто не видит его, широко раскрыл объятия и с добродушной грубоватостью схватил Леську в охапку. Володя глядел на него с восхищением: Андрон весь дышал обаянием русского богатырства. И вообще — лицо его было таким русским, что в Евпатории, наполненной караимами, татарами и греками, оно казалось иностранным до экзотики.

— Ну, как дома? Что старики?

— Старики ничего. А дома у нас нет.

— Как нет?

— Сгорел дом. Дотла.

— Где же вы живете?

— В бане.

— Вот это здорово!

— На верхней полке сплю я, на нижней бабушка, а дед на полу. Ему наверху душно.

— А я где буду?

— Найдем.

Все засмеялись. Тут только Андрон «заметил» Шокарева.

— А-а, Володя, и ты тут? Здорово, Самсон!

Он протянул мальчикам руку. Володе почудилось, будто он пожал пятилапое копыто доисторического ящера.

— Ну, да ладно. Будем с тобой пока что жить на корабле,— сказал Андрон Леське.— Потом вдруг: — Отчего же ты ничего не спросишь о Леньке?

— Да, да. Ну, как он там?

— Этот мещанский парень ничего знать не хочет об революции. Учится, учится, зубрит — аж дым из ноздрей. Все кости наизусть знает.

— Жениться не думает?

— Жениться? Пусть только попробует.

— Зачем ты так?

— А как же? Он женится, а кормить жену буду я? Нема сала, кошка съела.

Андрон не получил образования, если не считать двухклассной церковноприходской школы, где все науки преподавал поп. Но племянников он хотел видеть счастливее себя. Студент и гимназист учились на его деньги, обходилось это недешево, особенно университет в чужом городе. Андрон из-за этого не женился. Поэтому очень переживал опасность женитьбы Леонида.

Не заботясь о шхуне и не отдавая никаких приказаний,

точно все должно быть и будет сделано как по таблице умножения, шкипер пошел вдоль пристани в город. По дороге Леська рассказал ему о мамайском камне, который подарил им Иван Семеныч.

— А как с доставкой? — спросил Андрон, даже и не покосившись на Володю.

— Возим каждый день на яхте и шаланде.

Андрон засмеялся.

— Чепуха какая! Да ведь пока вы его доставите на своих пузырях, вся зима пройдет.

— Не пройдет.

— А шторма? Ноябрь не конфетка. Еще утонете с вашей яхтой.

— А что же делать с камнями?

— Да придется подвезти на шхуне. Тут, кстати, и матросы мои помогут. Поставлю кварту да соленой барабули — в один рейс обернемся.

— Странно! — шепнул Володя Самсону.— Распоряжается шхуной, как своей собственностью. Даже и не подумал спросить позволения у отца.

Гринбах сочувственно пожал плечами. Его тоже покоробила такая бесцеремонность, но шкипер ему очень нравился, и он не хотел его критиковать.

— А что слышно в Одессе? — спросил он Андрона.

— Да ничего особенного — мы идем к социализму полным вперед.

Это «мы», сказанное как бы между прочим, без нажима, прозвучало огромно. Где-то на горизонте опять закурился тайфун эпохи.

Они проходили теперь мимо недостроенной греческой церкви.

— Все еще не достроили? — спросил Андрон таким тоном, точно не был в Евпатории много лет.

— Как видите.

— Ну уж теперь не успеют.

Вдруг сзади послышался грохот подкованных сапог. Их догонял боцман с мешком, из которого торчала кость копченого окорока.

— Знакомьтесь! — сказал шкипер.

Боцман, совсем еще молодой, но с серьезным и даже нахмуренным лицом, сказал искусственным басом:

— Стебун, председатель судкома.

— Чего, чего?

— Судкома?

— Судового комитета шхуны «Владимир Святой».

— А что это значит?

— Самоуправление это значит,— сказал Андрон.— Вот, кстати: передай папе, Володя, что постановлением общего собрания матросов шхуна переименовывается. Ну, что это за название: «Владимир Святой?» Кому сейчас нужна религия? Мы и решили — пусть называется «Владимир Ленин».

— А как посмотрит на это папа? — нервно спросил Володя.

— А что тут обидного? «Владимир»-то остается? Остается.

Тайфун явно приближался.

— Може, иде водочки прикупить? — спросил председатель судкома.— Нашу усю по дороге сраходовалы.

— Поздно уже. Казенки закрыты.

— Не беда! — озорно сказал Андрон.— У деда где-то завалялся старый спиртовой компас. Раскокаем его и выпьем на радостях.

Все засмеялись. Особенно заливался Леська: только в этой фразе он и узнал своего дядю. Вообще же Андрон показался ему не то чтобы чужим, а каким-то особенным, новым, совершенно непохожим на того, который когда-то заменял ему отца, учил плавать, грести, водил смотреть живую сирену. Теперь он учил его революции — это ясно. Но *как* учил-то!

Елисей вспомнил адвоката Гринбаха и маляра Караева. Там была теория. Эпоха и абстракция. А тут революция возникала в самых мелких, но удивительно ярких, до рези в глазах ярких подробностях уже не бытия, но *быта*... Судком. Митинг матросов на чужом судне. Шхуна «Владимир Ленин»... Потрясающе!

Дома, сидя в бане на нижней полке против Володи и Самсона, расположившихся на перевернутых шайках, Андрон пил голубой спирт, запивая его водой.

— Хороший ты парень, Володя! — говорил он спокойно и вразумительно, точно спирт не оказывал на него никакого действия.— Прямо сказать — Владимир Святой. И папа твой хороший человек. Но ничего хорошего вам не будет. Почему? Слушай сюда: вот эта ваша шхуна, она теперь уже не ваша, а наша.

— Как это ваша?

— Наша. Постановлением общего собрания.

— Кто же ее хозяин? Вы?

— Ну зачем же я? — уклончиво ответил Андрон.— Матросы, юнга, боцман — все мы. Так теперь и с заводами будет и с поместьями.

— Но отец на это никогда не согласится.

— Пока мы в белом Крыму — не согласится, а вспыхнет революция — сам отдаст.

— Н-не думаю.

— А я думаю.

— Я знаю отца.

— А я знаю революцию. Только ты вот что, Володя: не вздумай пока ничего говорить Ивану Семенычу. Понял? Он осерчает, пойдет на шхуну ругаться, а это сейчас — как в медвежью берлогу.

— Что же ему могут сделать?

— Снимутся с якоря, повесят на рее — вот что сделают.

— Хорошая благодарность! — воскликнул Володя, сверкая глазами.— Мы вам камни подарили, а вы у нас шхуну отбираете.

Он вскочил и хотел было уйти, но Андрон, огромный, как памятник, не вставая, протянул к нему десницу и поймал за рукав.

— Милый! Шхуна — это мелочишка. Что такое шхуна против вашей «экономии», против ваших каменоломен, против ваших денег в банке? А ведь все это у вас отберут. Мировая революция на носу, милый! Тут, братец, такой тарарам скоро будет, что дедушку с того света увидишь. А благодарность наша — что ж... Будет благодарность. Что бы ни случилось, только шумнёшь — и я вас тут же отвезу на шхуне в Константинополь. Драпать вам надо, дорогие вы мои, драпать — помяните мое слово. Или я ни за что не отвечаю.

— А зачем нам ваша шхуна? — с обидой в голосе гордо сказал Володя.— Мы можем туда и на пароходе.

— На пароходе тоже судком может быть. Думать надо!

— Чем же шхуна лучше?

— А я где? Я вас препровожу лично и доставлю в целости и сохранности. Ни один матрос у меня не чирикнет. Всякого укорочу. Понял?

Он выхватил из заднего кармана вороненый браунинг с сизым отливом и повертел его в руке.

— Вот кто такие Бредихины и ихняя благодарность. А теперь пошли, Елисей! Спать охота.

Леська смотрел на Володю виноватыми глазами, но Володя упорно его не замечал.

У пристани Богайских каменоломен под деревней Орта-Мамай шхуну встретил Петриченко.

— Авелла! — закричал он Андрону и протянул ему руку, широкую, как медная сковорода.

— Привет матушке Хохландии! — ответил Андрон.

Петриченко, по-солдатски статный силач почти андроновского роста, числился десятником работ в каменоломнях. Вообще же он был владыкой этого подземного царства.

Лицо Петриченки с небольшими усами кольчиком и пышным ртом женолюба считалось красивым. В сущности, оно и был таким. Но глубоко сидящие, лютые глаза его, точно вынутые из чужих орбит, глядели слишком напряженно. Чувствовалось, что перенес этот человек такую драму, о которой забыть не может и которую никогда не сможет простить человечеству. Если бы под его портретом подписать: **«герой Перемышля»**, в это можно было бы поверить, как, впрочем, и в подпись **«разбойник Алуштинского уезда»**.

Друзья присели на вагонетку.

— Ну? Какие у вас новости? — спросил Андрон.

— У нас никаких, а вот в Севастополе, я скажу, великие!

— Ну?

— Ага. Военные моряки объявили на всех кораблях советскую власть.

— Вот это да-а... Вот это здоровенно!.. Постой, а ты откуда узнал?

— Рыбаки все знают.

— А не «травят»?

— Нет, правда. Хрисанопуло на своем баркасе пошел туда за керосином, так там «жоржики» обыск ему сделали — все честь по чести. «У нас на воде, говорят, советская власть».

— А суша?

— А что суша? Если все корабельные стволы нацелены на город,— что городу остается? Соображаешь?

Оба рассмеялись. Бредихин — широко и раскатисто. Петриченко — отрывисто, коротко, точно лаял.

Тот же разговор, но в другом ключе происходил в гостиной дома Шокарева. Иван Семенович и начальник гарнизона полковник Выгран сидели за коньяком, закусывая лимоном с сахарной пудрой. Выгран восседал несколько боком к столу, подняв подбородок, положив руки на эфес сабли, вытянув одну ногу вперед, а другую поджав под

себя. Так обычно держатся перед фотографом обер-офицеры и генералитет.

— Неужели Севастополь для нас потерян, Николай Андреич? — воскликнул Шокарев.

— Ах, если б только это! Вся беда в том, что Севастополь доминирует над всем побережьем. Если один броненосец «Потемкин» мог произвести в России такое потрясение, что же сказать обо всем Черноморском флоте? Большевики теперь на море хозяева.

Шокарев вскочил и заметался по комнате. Это был тучный, широкоплечий мужчина с густым могучим голосом и очень короткими ногами. Сидя он казался выше. Теперь же, встав, он стал похож на огромного карлика.

— Черт знает это крымское правительство! Крым сегодня — пороховой погреб, который может окончательно взорвать Россию. Если привлечь интересы Англии, Франции, даже Соединенных Штатов, то возникнет великое антисовдеповское движение. А эти со своим лозунгом «Крым для крымцев»... Мелкота!

— Ну, кто же с ними считается, дорогой Иван Семеныч? Разве дело в этом Сейдамете? Пусть пока играют в татарское государство. В два счета прихлопнем — дайте только разделаться с большевиками.

— Но как с ними разделаться? Они растут неимоверно. Да взять хотя бы этого Бредихина, шкипера этого. Какой дисциплинированный парень был! Честнейший малый. А вот поди ж ты...

— Не волнуйтесь, милый Иван Семеныч. Выпьем! Вы позволите? Извините, что взял на себя функцию хозяина, но вы так нервничаете... Ваше здоровье!

Вошел Володя.

— Папа! Тут к тебе Андрон пришел Бредихин.

— Я его жду.

Володя вышел и тут же вернулся с Бредихиным.

— Здравствуйте, Иван Семеныч.

— Здравствуй, Бредихин. Как съездил?

— По первому классу, Иван Семеныч. Камень продал удачно. Вот и деньги привез. Сосчитайте: ровно две тысячи николаевскими.

Андрон вынул из-за пазухи что-то вроде посылочки, зашитой белыми нитками, осторожно, как стеклянную, положил ее на стол и снова вернулся к дверям.

— Спасибо, Бредихин. Я всегда ценил тебя, Бредихин. А вот ты, оказывается, не ценишь меня. А, Бредихин?

— Про что это вы, Иван Семеныч?
— Объявил себя хозяином моей шхуны.
— С чего б это я объявил?
— Не знаю с чего, но объявил.
Бредихин взглянул на Володю затяжным взглядом. Володя стоял бледный, обмирающий, но твердо выдержал его взгляд. Андрон осклабился.
— Ах, это? Так я дурака валял под пьяную лавочку. Хотел попугать гимназистиков, Иван Семеныч.
— Врешь! — загремел Шокарев, побежал за стол, сел и стал выше.— Врешь, негодяй! Ты говорил об этом еще до того, как выпил! Уже на пристани говорил... Ты был еще трезвым, скотина!
— Иван Семеныч! Волноваться ни к чему,— сказал Выгран.— Все в свое время обсудим, выясним и решим, но, разумеется, не здесь.
Он подошел к двери, распахнул ее и крикнул:
— Корнет Алим-бей!
Послышались гремящие шпорами сапоги. Вошел Алим-бей с двумя уланами.
— Арестовать этого!
— За что же, Иван Семеныч? — по-детски искренне удивился Андрон, повернувшись к Шокареву.— Ведь я же исправно... И денег вам привез. Сосчитайте: две пачки, по тысяче в каждой... и все николашками.
— Ладно уж,— болезненно поморщился Шокарев.— Уведите его, корнет.
— Айда, Бредихин, пошли!
Алим-бей взял было Андрона за локоть, но тут же отскочил.
— Но, но! — закричал Алим-бей.— Ты у меня не очень!
— Сам пойду,— прорычал Бредихин.— Сказал, пойду — и пойду. А что и говорил про шхуну,— обратился он к Шокареву,— так ведь не за себя же одного. Общее, понимаете, собрание. Давайте хоть по справедливости. Чья это шхуна? Ваша? А разве вы ее строили? Вы грузите ее? Вы лезете на марсы в самую штормягу?
— Так, так, так,— с едкой заинтересованностью потянулся к нему Выгран.— И что же из этого, Бредихин?
— А то, что народная эта шхуна. Наша, значит. И со всяким достоянием так будет. Вот уже в Севастополе даже военный флот стал народным.
— Чудесно, чудесно! — захихикал полковник.— Я ду-

мал, придется его допрашивать, мучиться, а он все сразу и выложил на стол. Молодец, Бредихин! Уважаю!

— Ах, что мне до этого! — закричал Иван Семеныч, выскочил из-за стола, стал ниже, снова понесся по коврам своей гостиной.— Что мне до этого? Лучший мой служащий свихнулся. Я уже теперь никому не смогу доверять. Я теперь должен буду уволить даже Петриченку. А кого взамен? Взамен-то кого, я вас спрашиваю?

— Корнет! — строго отчеканил Выгран.— Выполняйте приказание.

Бредихина вывели во двор. Два улана встали по обе стороны и, вытащив сабли наголо, повели его по мостовой.

— Глядите, ребята: Андрона с селедками ведут!

Мальчишки побежали следом. Прохожие останавливались на тротуарах и глядели, кто недоуменно, кто испуганно. Никогда такого в Евпатории не бывало.

Но не все были в испуге и недоумении. Город вздыбился и зашумел. Портовые рабочие во главе с Виктором Груббе вышли на улицу. К ним стали присоединяться случайные люди. Демонстрация прошла мимо гимназии. Здание молчало. Два-три юных лица мелькнули было в окнах, но тут же отпрянули. Из городского училища — там как раз была перемена — выбежало человек десять великовозрастных и включилось в группу. Но ремесленное училище Когена выплеснулось на улицу все до последнего человека: здесь командовал Сенька Немич. Махая своим неразлучным молотком, он кричал:

— Ребята! К дому начальника гарнизона! За мной!

Подхваченные вдохновением, ремесленники помчались за отрядом Груббе.

На Греческой улице за воротами одного из домиков высилась шхуна без парусов, но уже с мачтами и в полном параде. Она стояла на стапеле, и греки всего околотка с криками пытались перетащить ее на катки, чтобы затем двигать к морю.

Евпаторийские греки были иностранными подданными. Кормились они крымским морем, но кровь проливали за Грецию. Они отбывали воинскую повинность в своей древней Элладе, когда их звал туда сыновний долг и господин консул, но потом неизменно возвращались в Крым к своим родителям, невестам, домишкам и неводам. Это было крошечное государство, жившее очень обособленно. Поэтому революцией греки не интересовались: ведь это у тех, там, у русских.

Но дело шкипера их взволновало: во-первых, шкипер шкиперу почти родственник, а греки уже рождались шкиперами; во-вторых, так ведь и каждого можно схватить, как щенка, за шиворот и бросить в острог. Оставив хозяину пока еще сухопутную шхуну, рыбаки влились в народное движение.

На базарной площади, где помещался дом начальника гарнизона, работали три карусели. Залихватские шарманки с ёрническими переборами сразу замолчали. Все мальчишки тут же спешились со своих красных, желтых, фиолетовых коней и кинулись навстречу Груббе, который махал руками и что-то кричал.

Когда демонстранты подошли к дому Выграна, это была уже большая толпа. Первый камень полетел в окно второго этажа, осыпав балкон звоном разбитых стекол.

— Выграна давайте!

— Полковника!

— Выграна! Выграна!

Полковник вышел на балкон.

— В чем дело, господа?

— За что арестовали Бредихина?

— Прошу разойтись. Кого надо, того арестовали.

— Так у нас разговор не пойдет! — закричал Груббе.— Отвечай народу, за что арестовали!

— Как ваша фамилия и кто вы такой?

— Это не ваше дело! За что Бредихина?

— Освободить Бредихина! — завопил Сенька Немич.

— Паразиты! Шкуры буржуйские! Христопродавцы! — загремела толпа.

— Господа, разойдитесь.

— Требуем освободить Бредихина!

— Я уже сказал: будет суд. А пока разойдитесь. Честью прошу.

Выгран повернулся и вошел в комнату. Вслед ему сразу же полетели камни. Но из ворот дома уже выходил солдатский караул с винтовками наперевес.

— Разойдись! — скомандовал прапорщик Пищиков.

Из полицейского участка, что напротив, скакали безусые стражники, посвистывая нагайками, и бежали усатые городовые, размахивая револьверами на длинных оранжевых шнурах.

— Разойдись!

Через час адвокат Гринбах нанес визит прокурору Листикову.

— На каком основании арестован Андрон Бредихин?

Прокурор Листиков, седой кощей в черных очках, повернул к нему свой череп и заскрипел голосом гусиного пера:

— Почему это вас интересует?

— Я говорю от имени родственников, которые поручили мне вести его дело. Если же вспомнить события у дома начальника гарнизона, то, полагаю, этот вопрос вправе задать вам любой гражданин нашего города.

— Гражданин города! — иронически скривив губы, повторил за адвокатом прокурор.— Кто этот гражданин? Босяк с Пересыпи?

Он наклонился над столом, выбрал из сигарного ящика большой окурок и взял его в свой старушечий рот. Перекатывая сигару из одного угла губ к другому, прокурор выжидательно глядел на адвоката. Гринбах понял старый прием начальства заставлять клиентов обслуживать его и таким образом подсознательно признавать его превосходство, поэтому намеренно не дотрагивался до спичек, которые лежали тут же у ящика. Не дождавшись услуги, старик сам потянулся за коробком, чиркнул спичкой и в отместку дунул в адвоката целым клубом дыма.

— По какой статье Бредихин арестован? — спросил Гринбах, отмахнувшись от сизых слоев сигарного аромата.— Где тут corpus delicti? [1]

— Самоуправство.

— Ничего тоньше не придумали?

— Господин частный поверенный! Прошу не забываться! Вы на официальном приеме.

— Тысяча извинений, господин прокурор! Я всегда был высокого мнения о вашем уме, но я довольно долго живу на свете и много раз замечал, что даже умные люди вынуждены говорить наивности, когда защищают заведомо неправое дело.

— Вы очень развязны, уважаемый.

— Дурное воспитание: я сын портного.

— Пора бы об этом и забыть.

— Рад забыть, но у кого учиться? Вот вы, например, закурили сигару, не сочтя нужным предложить и мне. К счастью, я некурящий. Но далее вы сочли возможным дыхнуть на меня куревом, а я некурящий. К несчастию.

Прокурор поперхнулся:

---

[1] Состав преступления *(лат.)*.

— Прошу извинения. Отнесите это за счет моего склероза.

— Не прикажете ли за счет вашего склероза отнести и обвинение Бредихина в самоуправстве?

— Как вы не понимаете, упрямый вы человек! Бредихин, используя свое служебное положение, совершил покушение на присвоение шхуны господина Шокарева. Самоуправство — это самое мягкое, что можно ему инкриминировать.

— Но где же покушение? Шхуна стоит на якоре у пристани Шокарева. А ведь Бредихин мог ее увести куда угодно, хоть в Турцию.

— Не успел. Вовремя арестовали.

— За что?

— За самоуправство.

— Но шхуна стоит на якоре у пристани господипа Шокарева. Стоит или нет?

— Стоит.

— Где же самоуправство?

— Стоит. А могла бы не стоять, если бы не были приняты меры.

— Вот именно: «бы», «бы». Значит, он арестовап пе за то, что совершил, а за то, что мечтал совершить?

— Хотя бы.

— Мечтал, но даже не попытался?

— Пусть даже так.

— Но ведь мечта еще не создает преступления. Volentia non fecit injuriam [1]. Есть такой анекдот: два юнкера стоят у Зимнего дворца. Выезжает императрица. «Ах, какая женщина! Я бы опять хотел ее целовать!» — сказал один. «Как опять? Разве ты ее уже целовал?» — «Нет, но один раз я уже хотел».

Прокурор засмеялся.

— Вас интересует юридическое крючкотворство, господин частный поверенный, а я гляжу в корень вещей. Поэтому вашу латынь и ваши анекдоты можете оставить при себе. Аудиенция окончена!

Прокурор встал. Гринбаху ничего не оставалось, как взяться за шляпу.

— Корень вещей сегодня называется «революцией». С огнем не шутят, господин прокурор. Имею честь. А Бредихин этот обойдется вам очень дорого.

---

[1] Желание еще не создает преступления *(лат.)*.

— Но-но, только без угроз,— проворчал старик, двинувшись к выходу с осторожностью, диктуемой тем, как бы пепел не осыпался с его коричневого окурка: это был единственный вид спорта, который прокурор мог себе позволить.

Вечером Самсон привел Леську на квартиру Караева. Это был акт огромного доверия, и Гринбах, конечно, согласовал его со своим отцом. Впустила Леську Юлия, младшая сестра Сеньки Немича. Она же осталась с ним на кухне следить за тем, чтобы Леська только слушал, но не заглядывал в комнату. А взглянуть было интересно: оттуда несся высокий, слегка грассирующий, чуть-чуть барский баритон — так в Евпатории не говорил никто.

— Арест Бредихина,— звучал баритон,— инцидент очень полезный для революции: он возбуждает умы, раздражает в народе совесть. И все же мы должны объяснить рабочим, что идеология Бредихина не имеет ничего общего с политикой большевиков. Как говорил Маркс, во время революции делается глупостей ничуть не меньше, чем во всякое другое время. Не в том сейчас дело, хотел или не хотел Бредихин отобрать у хозяина корабль в пользу матросов. Пусть эта акция была бы совершена даже согласно постановлению общего собрания, все равно она была бы неправильной. Здесь перед нами типичный случай синдикализма, который, конечно, привел бы к анархии, если б наша партия стала на такую точку зрения. Не частное присвоение имущества буржуазии в пользу того или другого коллектива трудящихся, а национализация капитала в пользу пролетарского государства в целом — вот один из пунктов нашей программы. Это мы должны объяснить всем и каждому, потому что главная задача времени — идейная вооруженность народных масс.

Пластическая речь оратора, ее литературное изящество произвели на Леську сильное впечатление. Сначала ему показалось, будто человек этот читает текст по брошюре. На минуту Леська забыл о своем горе. Но тут зазвучал глубокий бас Караева:

— Так-то это так, но что же все-таки делать с Бредихиным, товарищ Андрей? Нельзя допустить, чтобы военщина сажала в кутузку всех, кого вздумается.

— О Бредихине,— снова заговорил оратор.— Предлагаю послать товарища Гринбаха в Симферополь как бы от имени семьи Бредихиных. Мы же одновременно должны собрать подписи граждан под петицией, адресованной лично Джеферу Сейдамету...

Леська вышел на улицу. У него был свой план действий. Вскочив в открытый дачный трамвайчик, он поехал к дому Шокаревых. Мысли жужжали, точно рой пчел. Товарищ Андрей... Судя по выговору, это явно не евпаториец. Но что такое «синдикализм»? Еще так недавно он видел революцию во всех поступках дяди. Он предпочитал их теоретическим абстракциям старшего Гринбаха и даже высказываниям Караева. И вдруг оказывается, Андрон совершенно неправ. Значит, надо все-таки *знать* теорию революции.

Но вот и дом Шокаревых. Леська позвонил. Ему открыла горничная и, узнав его, хотела впустить, но Леська попросил вызвать Володю на улицу.

Володя вышел чужой, холодный. Не здороваясь, он уставился на друга.

— Володя... Я пришел извиниться за дядю. Кстати, он ничего дурного вам не сделал. Правда ведь?

— Ну правда.

— За что же его в тюрьму?

— Он хотел по-большевистски...

— Это все глупости! И совсем не по-большевистски! Это называется «синдикализм». Понимаешь?

— А что это такое? — спросил Володя.

— Сам не знаю, но знаю, что коммунисты с этим не согласны.

— Кто тебе сказал?

Леська осекся, но тут же придумал:

— Гринбах сказал.

— А при чем тут я? Камней вам больше отец не отпустит. Это уж извини. Живите себе в своей бане, если не умеете быть благодарными.

Володя повернулся и пошел к парадной двери. Его рука уже не висела, как раненая; он теперь бодро помахивал ею, точно в строю.

— Володя! — отчаянно заговорил Леська.— Подожди! Бог с ними, с камнями. В бане тепло... Как-нибудь зиму переживем... Только освободи Андрона! Володя! Будь другом! Володя!

Шокарев удивленно остановился.

— Как это «освободи»? Кто я такой, по-твоему? Генерал-губернатор?

— Ты можешь... Ты все можешь... Одно слово отцу! Владимир!

Леська зарыдал. Все, что он пережил за последнее время, вдруг разом хлынуло из груди. Здесь были и корнет-а-

пистон, и история с гичкой, и удар Алим-бея, и стыд за Андрона, и боль за него, а главное — мучительная путаница в мозгу от стыка различных взглядов на жизнь...

— Хорошо! — сухо сказал Володя.— Помогу тебе еще раз. Хотя не знаю, зачем я должен это делать?

8

Андрон вернулся и стал жить в бане. Шокарев списал со шхуны всех ее матросов, и прежде всего, конечно, шкипера. На другую работу никто Андрона не принимал. Время от времени он выезжал на шаланде ставить «кармакан», однако ноябрь поднимал крутую волну, и приходилось неделями сидеть дома. О постройке новой каменной хаты нечего было и думать. Ракушечник, завезенный гимназистами, грудой лежал на берегу без всякой надежды на лучшие времена. Теперь бредихинское пятно на булатовской нарядной даче выглядело просто нестерпимой нищетой, отпугивающей приезжих. Предводитель дворянства решил в сотый раз начать переговоры с Бредихиными. Вызвать деда, а уж тем более Андрона, он опасался: тут можно было нарваться на хамство. Леська — пискун. Что с ним разговаривать? Пришлось послать за бабушкой.

Когда старуха робко вошла в кабинет предводителя, Алим-бей лежал на диване: дедушкина соль все еще давала о себе знать. Розия сидела за отцовским столом и раскладывала наполеоновский пасьянс. Бабушку никто не замечал.

— Тут меня вызывали...— тихо сказала бабушка.

— А? Да, да... Па-апа! — закричала Розия.— К тебе Авдотья пришла.

Сеид-бей вошел в комнату и уставился на Бредихину.

— Вот що, Явдоха! О цея твоя баня, та ще с каменюками, для меня вже совсем нэ того...— начал он на ужасном украинском языке. (Сеид-бей считал, что по-русски надо говорить только с интеллигенцией, а с простонародьем — «по-малороссийски».)

— Каменюки... Что каменюки? — заорал Алим-бей.— В твоей бане живет государственный преступник. Поняла? Чтоб завтра же его тут не было. Поняла? Ступай!

Бабушка кивала головой, точно соглашаясь с каждым словом Алим-бея. Потом, ни слова не сказав, ушла с потерянным видом.

— Зачем ты ее выгнал? — заворчал Сеид-бей.— Я хотел выторговать у них эту баню и этот сарай, а ты...

— А зачем выторговывать? Ты отстал от жизни, старик. Андрошка теперь безработный. Жить им не на что. Значит, не сегодня-завтра сами придут кланяться. А придут — уступят за любую цену и сарай и баню.

— Он прав, папа.

Сеид-бей слегка призадумался, повел бровями и вдруг улыбнулся.

— Пожалуй!

Но с Бредихиными не так-то легко было справиться. Андрон снова появился на каменоломнях. Петриченко сходил с ним к Караеву. Караев пошел к отцу Муси, капитану каботажного плавания Волкову, который и взял Бредихина к себе боцманом на пассажирский пароход «Чехов», курсировавший вдоль Крымского побережья. Пароходик числился за Одесским портом, и в Евпатории над ним хозяев не было. Боцман, правда, не шкипер, но и не юнга.

— С голодухи не помрешь,— весело сказал ему Волков.— Только не вздумай присваивать себе мой броненосец, а то и меня вышвырнут вместе с тобой.

Итак, Андрон исчез. И все же эпизод с митингом у здания воинского присутствия, камни, брошенные в самого начальника гарнизона, освобождение Андрона Бредихина, которое приписывалось народному бунту,— все это коренным образом изменило самый строй мышления евпаторийцев. Если до этого случая городок бытовал самым обывательским бытом, то теперь на него нашло страшное: он начал думать! Да, он по-прежнему стоял на коленях перед начальством, но это были уже не *те* колени. Прежде стояли рабы, теперь бунтари. Каждому стало ясно, что явление это необратимо. Любому мальчишке было очевидно: так продолжаться не может,— что-то должно произойти! И когда пароходик «Чехов», завалившись набок, останавливался на евпаторийском рейде и огромный Андрон в сапогах на подковах громко и грозно проходил по улице,— он казался призраком революции. При взгляде на него хотелось петь запрещенную «Марсельезу». (Жителям этого политического захолустья «Интернационал» был еще неизвестен.)

Но не все испытывали это желание. Проезжая по городу в воинском ландо, запряженном парой блистающих воропых, Выгран увидел Бредихина и погрозил ему паль-

цем. В ответ Бредихин показал ему шиш. Этого никто бы себе не позволил. И хотя по закону погрозить пальцем все равно что нанести оскорбление действием и Андрон имел право привлечь полковника к суду, но кто же посчитал бы, что полковник совершил этим беззаконие? Суд и не подумал бы заняться такого рода делом. Он просто-напросто не нашел бы здесь криминала. В каждой статье Уложения о наказаниях таился свой классовый подтекст.

Другое дело — Бредихин. Выгран имел полное право привлечь Андрона к суду. Но на это полковник не решился: он понимал, что после бунта у его балкона мировой судья не рискнет вторично начинать дело против моряка. Андрон, словно иностранный консул, пользовался в Евпатории правом экстерриториальности.

Еще ничего серьезного в городе не случилось. Еще власть принадлежала Шокаревым и их выграновской гвардии, но капитализм даже здесь дал трещину. Уносясь в своем ландо под милую сердцу музыку восьми подков, Выгран болезненно переживал свое бессилие перед Андроном. Остановить ландо, подбежать к Бредихину и с наслаждением надавать ему пощечин? В прошлом году он именно так бы и поступил. Но сегодня? Даже если бы Андрон и стерпел,— не стерпела бы толпа. Растерзать она, пожалуй бы, не растерзала, евпаторийцы — народ добродушный, но вполне могла сорвать с него погоны, а тогда — прощай мечта о генеральских эполетах, а с ними синие штаны с красными лампасами, «ваше превосходительство», бригада, а может быть, даже дивизия. Мало ли какая карьера возможна в армии, особенно в такое горячее время! Но оскорбление, нанесенное Андроном, жгло невыносимо. Это было оскорблением не только ему, но всем его богам и апостолам, всему офицерству, всей армии. Надо действовать!

И полковник решил действовать.

Караев говорил на тайном собрании:

— Товарищи, город объявлен на военном положении. Выезд и въезд без разрешения комендатуры запрещен. Письма вскрываются.

Раздались возмущенные голоса:

— Безобразие!

— Какое он имеет право?

— Чем это вызвано?

— Протестовать!

— Мало того,— продолжал Караев,— Выгран намерен в ближайшее время устроить в Евпатории «Варфоломеевскую ночь».

— Что это значит?

— Это значит, что он решил расстрелять всех коммунистов, а также тех, кто им сочувствует. В списках значится триста человек.

— Там, конечно, вся наша организация?

— Ясно-понятно.

— Необходимо срочно связаться с красным Севастополем,— произнес высокий, слегка грассирующий голос.— Просить помощи в любом виде.

— А как связаться, товарищ Андрей? Телеграф и телефон в руках белогвардейщины. Письма вскрываются.

— Надо послать к морякам человека,— предложил товарищ Андрей.

— Но ведь выезд запрещен,— заметил Караев.

— Мы сделаем так. В селе Ак-Мечеть работает мой брательник. Надо забросить туда человека, он повезет мою записку, а ребята доставят его на рыбацком баркасе в самый Севастополь. Кордонной батарее Ак-Мечеть не видна,— предложил Кораблев.

— Предложение дельное. Кто поедет в Ак-Мечеть? Добровольцы есть?

— Есть! Я! — вызвался Немич.

— А как добраться до Ак-Мечети? Сейчас по всем дорогам рыщут эскадронцы. Вчерась шел я в каменоломни к Петриченко, так меня щупали ровно четыре раза,— сказал кто-то.

Поднялся Груббе.

— Поручите это дело мне.

Виктор направился прямиком на виллу Булатова. Ему нужен был Леська Бредихин.

Леська ходил у моря недалеко от купальни и глядел на нее так, точно вот-вот оттуда бросится в воду Гульнара. С тех пор как ее услали в деревню, Леська, к стыду своему, мало о ней думал: события так стремительно набегали на события. Но сейчас, когда все волнения закончились и Андрон снова очутился на свободе, Леська с дикой тоской чувствовал отъезд Гульнары. Теперь ему не хватало даже озорной Шурки с ее «та чи вы?». Шурку отправили вместе с Гульнарой. Что делать? Они даже не простились друг с другом. «Не простились» — какое странное выражение. Им нечего друг другу прощать. Но что ему делать? Что?

Так он брел по лиловому зеркалу песка, влажному от облизывающих его волн, и вдруг увидел на диком пляже дедушку. Дед понуро стоял у моря и слушал.

— Ага, собака! — шумело море.— Каменного дома захотелось? Так вот же тебе, вот тебе дом!

— Да какой это дом? — оправдывался дедушка.— Так себе. Домишко.

— Дом, дом! — гремело на своем море, обдавая старика пеной.

Леська пошел обратно, чтобы Петропалыч его не заметил. Он знал, что отношения деда с морем были подобны отношениям Иоанна Грозного с богом. Он и сам, хотя ему было стыдно, разговаривал бы так, если не с морем, то с судьбой. Судьба не раз кричала ему: «Ага, собака!»

Но Леська старался в судьбу не верить. Он верил в чувство. В чувство Гульнары. Он знал, что и она томится о нем в своей деревне. Пускай не так, как он,— Гульнара в конце концов ребенок. А там, на Альме, осенние сады, рыжие, медные, шоколадные. Тополя шумят вверху, как море. Кругом пахнет грушами (у них такой медовый запах), красными яблоками кандиль,— у этих запах мороза. А Гульпара, глубоко отражаясь в блестящем паркетном полу, разглядывает себя в трюмо и смотрит в темную глубину зеркала: а вдруг оттуда появится он, Леська! Ах, если б и ему туда же. В любой роли. Хоть бы дрова привозить со станции Бахчисарай в эту деревню,— как ее, черт, забыл!

Он лежит на дюне, зажимает в кулаке песок и пропускает его струйкой. Кулак его сейчас похож на песочные часы. Любой автор заставил бы сейчас Леську думать о величии Времени. Тем более на берегу моря. Но Леська думал о Гульнаре.

Он снова пошел назад. Опять поравнялся с виллой Булатовых. Айшэ-ханым по-прежнему барабанила на рояле этюд Шопена ре мажор — «Лето прошло» (единственное, что она знала), а Розия без передышки бубнила по телефону какой-то подружке:

— Тру-ту-ту-ту-ту, понимаешь? Тру-ту-ту. Понимаешь?

Леська подумал о том, как редки среди людей личности. Ведь если вдуматься, люди — народ меченый. Вот, например, Листиков — это Двадцать Тысяч. Отними у него эту цифру — и нет человека. Или Айшэ-ханым. Она мечена своим шопеновским раз навсегда данным этюдом.

Розия — «тру-ту-ту, понимаешь?». Но сейчас, кстати сказать, даже она была ему приятна. Все-таки сестра Гульнары.

А Гульнара... В ней ничего меченого. Это человек, а не «людина», как сказала бы Шурка. Это... Это...

— Елисей!

Леська обернулся: Груббе.

— Есть, понимаешь, та-акое дело. З-зубы болят!

— Какое?

— Только смотри: никому. Ни одна то есть душа чтобы. Надо,— сказал он шепотом.— Сеньку... Понятно? Сеньку Немича... отправить в Ак-Мечеть.

— Зачем?

Виктор объяснил.

— А как же я его отправлю?

— На вашей яхте.

— Она давно в сарае у Видакасов. Весны дожидается.

— Не важно. Спускайте сейчас, з-зубы болят.

— Но ведь яхта не моя. Как я могу?

— Эх, пеламида! Захочешь, так и сможешь. Ты парень фартовый.

— Но ведь...

— Нет разговору! Не сделаешь — за врага считать будем. Ты ж пойми: «Варфоломеевская — з-зубы болят! — ночь»! Триста лучших сынов! А я за тебя поручился перед всеми. Понятно? Ну, бывай! Мир праху!

Виктор пошел на улицу. Леська глядел на его синий заплатанный свитер, на штаны-колокол, на финку, привязанную к поясу, и думал: «От меня уходит Революция». Поэтому, еще не успев опомниться, он уже спешил к даче Видакасов.

— Найдется у тебя немного керосину? Я тебе за это домашнее сочинение напишу.

— Керосин найдется,— сказал Артур.— А сочинение твое у меня уже есть.

— Как есть? Откуда?

— Написал ты Сашке по Белинскому?

— Написал.

— Ну, вот. Прочитал он это дело, увидел, что Галахов ему не поверит, и продал мне за двадцать керепок.

— А тебе Галахов поверит?

— Не думаю. Но я посмелее Сашки. Положу на кафедру, как другие,— и все тут.

— Кстати, о смелости...— начал Леська.

Елисей совершенно не был хитер. Скорее наивен. Но жизнь складывается так, что ничто само в руки не дается.

— О смелости,— сказал он, сам удивляясь своей изворотливости.— Мы недавно с Володькой говорили о нашем кружке. И вот какой нашли недостаток. Может быть, даже порок. Мы занимаемся спортом, никогда не подвергаясь никакому риску. Вот, например, у нас нет бокса.

— Как это нет?

— Э! Бокс по самоучителю...

— А где я тебе в Евпатории инструктора достану?

— Я и не требую, а только говорю, что...

— Бокса у нас не может быть. Но мы — народ приморский. Наше дело — гребля, плаванье, парусный спорт.

— Есть у нас яхта,— сказал Леська Артуру без всякой подготовки,— но мы только катаемся на ней, да и то в тихий летний денек. А почему не попробовать ее в зимнюю погоду? Давай прокатимся по волне, ну хоть от «Дюльбера» до «Терентьева». Не струсишь?

— Да ты кому говоришь, курносый? Сам не струсь.

— Я-то трушу, скажу откровенно,— сказал Леська через силу, густо покраснев.— Но попробовать смерть как хочется.

— Попробуем.

— Только давай на первый раз пригласим буквальпо трех человек: ты, я и Улька. Все-таки дело опасное.

— Finis,— сказал Видакас по-латыни, хотя имел по этому предмету одни двойки.

В условленный день гимназисты собрались на пляже у заколоченной на зиму кафе-купальни. Яхта уже лежала на боку. Свинцовый киль — рядом. Но тут произошло небольшое недоразумение: вместо трех человек явилось четверо. Четвертый — Сенька Немич. Был он в гимназической шинели и фуражке с гербом. Все честь по чести. Правда, Бредихин, отдавший ему свою форму, надел поэтому кожаную зюйдвестку и шерстяной бушлат дяди, но это было естественно, поскольку он должен был сидеть на руле.

— Авелла, Сенька! — сказал Артур.— Ты что? Гимназистом заделался?

Леська отозвал Артура и Ульку в сторону.

— Понимаете, напросился. Я по мягкости не мог отказать.

— Медуза ты, вот кто!

— Он нам бесплатно баню помогал ремонтировать. Как я мог ему отказать?

— А зачем натрепался?

— Натрепался...— грустно признался Елисей, уж и не зная, как выпутаться.

— Хорошо! Черт с пим! — сказал Канаки.— А «мама» кричать не будет?

— Кто? Сенька?

Самым трудным делом на первых порах было столкнуть «Карамбу» в большую волну, прыгнуть в яхту всем сразу и тут же, пока она еще не перевернулась, вдеть свинцовый киль в положенную для этого щелину. Ребята поплевали на руки и стали ждать команды Артура, а сам он караулил момент, чтобы яхта могла с разбегу взлететь на гребень уходящей волны.

И вдруг с батареи к ним подбежал офицер. Он бежал, придерживая шашку. Леське на минуту стало жутко. Но офицер оказался всего-навсего Пищиковым, бывшим питомцем евпаторийской гимназии.

— Мальчики! Что это вы затеяли?

— А вот хотим испробовать «Карамбу» в зимних условиях.

— Да вы же утонете, несчастные!

— Мы поплывем вдоль берега до дачи Терентьева и, если будет трудно, выбросимся на дикий пляж.

— А вам известно, что выезд из Евпатории запрещен как по суше, так и по морю?

— Что вы, Юра! Какой же это выезд? Мы только до Терентьева.

Пищиков поверил и стал глядеть, как сдвинется «Карамба». Дважды яхту отбрасывало назад. Наконец ее удалось поставить носом против волны, и она взлетела, как дельфин, потом нырнула, но уже по ту сторону вала. Артур мгновенно поставил кливер — и яхта, избежав громадных береговых волн, вышла в большую, но не столь уж буйную зыбь. Пищиков зааплодировал, помахал фуражкой и пошел назад. Артура он знал хорошо, Леську несколько раз видел, а к Ульке и Немичу не придирался: ведь на них была гимназическая форма.

«Карамба» летела великолепно. Никто от нее этого не ожидал. Правда, качало ее и носовой и бортовой. Дачи Терентьева яхта достигла с невероятной быстротой и вот уже скользнула за мыс. Теперь полагалось повернуть ее против берега и, подняв киль, выброситься на пляж. Но вместо этого яхта явственно стала уходить от земли. Улька первый обратил внимание на перемену курса.

— Нас уносит в море! — закричал он.

— Не уносит, а я сам ее туда веду,— спокойно сказал Леська.

— Зачем?

— Мы едем на Ак-Мечеть.

— Вот тебе на! С какой стати? — крикнул Артур.

— Это что? Опять твои севастопольские штучки? — заорал Улька.

— Рыбаки Ак-Мечети доставят Немича в Севастополь, иначе в Евпатории произойдет «Варфоломеевская ночь», как задумал Выгран.

— Не узнаю Леськи, ей-богу,— сказал Канаки.— Всегда был такой тихий, смирный.

— Жизнь сложнее нас,— философически, но вполне серьезно изрек Леська.

— Поворачивай к берегу! — строго скомандовал Артур.— Слышишь? А то мы тебе покажем такую «Варфоломеевскую»...

— Брось, Артур. Неужели ты до сих пор не заметил, что я сильнее тебя? К тому же Немич сильнее Ульки. Так что вы тут не очень.

Помолчали. На дымном горизонте показалось парусное судно.

— Из Одессы идет,— сказал Немич.

— А ты молчи! Не твое дело!

Еще помолчали.

— Но раз вы решили идти на Ак-Мечеть, почему не сказали сразу? Мы бы хоть хлеба захватили.

— Хлеб есть.

Леська толкнул ногой брезентовый мешок. Оттуда выкатился житный каравай.

— И колбаса есть,— виновато улыбаясь, сказал Немич.

Он достал из того же мешка свернутую канатом колбасу, четыре каленых яйца и соль в довольно крупных кристаллах — явно с соляного промысла. Затем, разложив на коленях газету, сразу же взмокшую от водяных брызг, погрузил на нее свои яства.

— Шамайте, хлопцы!

Артур и Улька сидели безучастно.

— Отломи мне хлеба и колбаски,— сказал Леська.

Они принялись есть вдвоем, при этом Сенька грыз соль, как сахар.

Судно, шедшее из Одессы, ощутимо прояснялось: уже

можно было понять, что это бриг. Но ребятам было не до него.

— Что это там на бриге? Мальчики!

Бриг нырял с волны на волну. Паруса у него оставили только на фок-мачте, обе другие торчали оголенными крестами, поэтому особенно ясно на рее бизани был виден человек на веревке, который кружился вокруг самого себя и делал невероятные виражи в лад с качаниями брига.

— Да ведь это повешенный! — закричал Сенька Немич.

Взволнованный Артур ухватил колбасу и, не отрывая глаз от страшного зрелища, стал жевать ее со всего куска.

— Из Одессы идут,— успокоительно сказал Немич.— Значит, матросы повесили своего капитана.

— Ну! Правда? — обмирающе пролепетал Улька.

— А что ж другое? В Одессе революция. Там не посмотрят!

Голос его приобрел нотки угрозы. Улька опасливо оглянулся на Немича. Никто ничего больше не говорил.

К вечеру дошли до Ак-Мечети и благополучно выбросились на берег. Немич взвалил на спину свой мешок, Артуру и Ульке подал руку, обнял Леську и пошел по направлению к рыбачьему поселку.

— Ну как? — весело спросил Елисей.— Бить меня здесь будем или оставим до Евпатории?

— Извини! — тихо сказал Артур.— У меня к тебе сейчас только одна претензия: почему ты с самого начала не посвятил нас в свою тайну? Это просто оскорбительно. Неужели мы не помогли бы Сеньке, если б узнали про «Варфоломеевскую ночь»?

— Елисей! — сказал Улька.— А что надо прочитать, чтобы ясно представить себе коммунизм? А то ведь все как будто что-то такое знают, а я один ничего. Неудобно как-то, верно?

— Я и сам неграмотный,— ответил Леська, смеясь.— Сам живу на обрывках фраз: тот обронил, этот процедил сквозь зубы... Хватаю!

Елисей глядел на них с мягкой улыбкой: мальчики стали взрослеть на глазах. «Повешенный, очевидно, неплохо агитирует»,— подумал он, сам не ожидая от себя такой жестокости.

— Ты лучше вот что скажи: как мы поедем обратно? — оборвал разговор Артур.— Теперь ведь нам придется против ветра.

— Поедем, не беспокойся.

— Но как? Как?

— На телеге. Деньжата у вас есть?

К рассвету все трое были уже в городе.

В Евпатории тем временем начались аресты. Контрразведчики, сопровождаемые эскадронцами, врывались в квартиры, указанные в списках, и уводили арестованных на дачу «Вилла роз», штаб-квартиру Выграна. «Варфоломеевская ночь» разразилась гораздо раньше, чем ее ожидали.

Утром выяснилось, что списки оказались неполными: Караева не взяли. Но в таком случае за что взяли всех других? Демышева, Кораблева, сестер Немич — Варвару и Юлю?

Все еще надеясь на закон, Караев решил пойти к Выграну, потребовать от него ответа. Он надел единственный свой выходной костюм цвета маренго, рубашку с крахмальной манишкой, серый галстук и серую шляпу. Жена прошлась по костюму щеткой и сказала: «В добрый час». Они поцеловались, и Давид бодро и даже молодцевато пошел разыскивать Выграна. Наивность в начале революции была порой свойственна даже и некоторым великим людям.

Караев шел, постукивая каблуками. Он шептал про себя первые слова будущей беседы с Выграном: «Какое вы имеете право, господин полковник...»

Вот он прошел мимо «Дюльбера» и вскоре очутился у ворот серой дачи «Вилла роз».

— Я к полковнику Выграну! — бросил он часовому с таким видом, что часовой чуть не взял «на караул».

— Постойте! Вы кто такой? — спросил подошедший к ним начальник наружной охраны капитан Новицкий.

— Я председатель Евпаторийского военно-революционного комитета.

Новицкий растерялся.

— Проводите меня к Выграну! — потребовал Караев.

Капитан готов уже был подчиниться властному голосу, но в этот момент к ним подошел прапорщик Пищиков.

— Это Караев! — закричал он в испуге.— Самый страшный большевик города. Бейте его!

Пищиков с размаху ударил Караева в лицо. Новицкий бросился на подмогу.

— Бей его! Чего стоишь? — закричал он часовому.

Часовой вздрогнул, потоптался на месте, крякнул, матюкнулся и принялся действовать прикладом.

Караев лежал на боку. Он тихо стонал. Изо рта пузырилась кровь. Капитан ногой опрокинул его на спину. Те-

перь стало видно, что у Караева выхлестнут глаз и выбиты зубы. Очнувшись, он стал надрывно кашлять, захлебываясь кровью.

Капитан, тяжело дыша от усталости, вдруг увидел сторожа Рыбалко, обслуживавшего «Виллу роз».

— Мешок принеси! Живо! И веревку!

Капитан и прапорщик накинули на шею Караева петлю, притянули голову к ногам, скрутили и, надев на него мешок, поволокли к пляжу. По дороге Новицкий, достав лопату, изо всех сил врезал ее в свою жертву. В мешке что-то хрустнуло. Когда притащили Караева к морю, он еще дышал. Стали рыть могилу. Караева бросили в мокрую яму и засыпали живого.

— Нет, вы подумайте! — возмущенно говорил капитан прапорщику на обратном пути.— Посмел явиться! Лично! Важная птица! А? Только подумайте! Наглость какая!..

Ему было стыдно перед Пищиковым.

В это утро очень волновалась семья Бредихиных: ночью приходили за Андроном, но, к счастью, он находился в плавании. А тут еще Леська пропал.

А Леська въезжал в город, сидя с товарищами в яхте, которая с вынутым свинцовым килем стройно высилась на телеге. Первым, кого они увидели у виллы Булатовых, был Девлетка. Встреча оказалась случайной, но очень важной.

— В городе аресты,— сказал Девлетка громким шепотом, хотя рядом никого не было.— Приходили за Андроном. Лучше спрячься пока что, а то Алим-бей и на тебя напустится, он теперь просто с ума сошел.

Девлетка, опасливо озираясь, убежал.

— Тебе надо прятаться у Володьки,— сказал Артур.— К Шокаревым с обыском не пойдут.

— Правильно,— согласился Леська и соскочил с телеги.— Так и сделаю.

Артур и Улька поехали дальше, но Елисей пошел не к Шокаревым, а к доктору Казасу.

Казас, один из тех легендарных врачей, которые не только лечат бедняков бесплатно, но еще снабжают их лекарствами и деньгами, был отцом единственной дочери, Ольги. Ольга, по-видимому, должна была стать невестой Листикова. Вообще же она входила в их компанию, и Леська считался у них в доме своим человеком. Здесь тоже обыска не должно быть.

Когда Леська звонил, пальцы у него дрожали.

— Оля дома?

— Нет,— сказала горничная.— Она уехала в Симферополь.

У Леськи упало сердце.

— Кто там? — раздался из столовой голос Казаса.

— Леся Бредихин.

— Пусть идет сюда.

Леська шагнул в коридор, снял бушлат и вошел в столовую. Борис Ильич сидел за самоваром и играл в карты с каким-то бородатым мужчиной.

— Знакомьтесь! — сказал Борис Ильич.— Мой коллега — земский врач. Тоже Ильич, но Дмитрий. Даша! Угостите гимназиста чаем.

Пока горничная угощала Леську, врачи беседовали о каком-то интересном медицинском случае. Леська пил чай, жевал бутерброды, но не чувствовал вкуса. Наконец он не выдержал:

— Господа! Вы слышали что-нибудь о том, что Выгран устроил в Евпатории «Варфоломеевскую ночь»? Он арестовал всех, кто сочувствует коммунистам.

— Впервые слышу...— сказал Борис Ильич и растерянно высыпал карты на стол.

— Да вы-то чего волнуетесь, молодой человек? — очень спокойно спросил Дмитрий Ильич.— Разве вы сочувствуете большевикам?

— Сочувствую! Думаю, что и вы сочувствуете. Разве может хоть один порядочный человек не сочувствовать идее коммунизма?

— Не знаю. Не думал. Медицина вне политики.

— Вот-вот! — сказал Леська, еще более раздражаясь.— Вчера прописали двадцать — тридцать микстур, потом пообедали, к вечеру пришли к своему коллеге играть в «шестьдесят шесть», засиделись, заночевали, а утром, перед тем как идти в больницу, решили доиграть?

— Приблизительно так.

— Абсолютно чеховский тип! — воскликнул Леська, едва удержавшись, чтобы не сказать «симбурдалический».

— Допустим. Но что же тут плохого?

— А то, что польза от ваших капель и пилюль равна нулю, когда совершаются злодеяния Выграна.

— Да я-то что могу поделать? Вот чудак человек!

— Можете поделать! Вся интеллигенция должна явиться к Выграну с самым решительным протестом.

— С каким протестом? Против чего? — изумился земец.— Ничего еще не известно. Он спросит: «С чего вы

взяли? О какой «Варфоломеевской ночи» речь? Откуда у вас эти сведения?» А мы ответим: «Нам сообщил один гимназист...» Миша или Боря, не знаю, как вас величать.

Леська ушел из этого дома, унося в груди жаркую ненависть к чеховским бородкам.

Он пошел от набережной в город тем же путем, каким шел из города к набережной Караев. Артель греческих рыбаков тащила из воды невод. Леська подошел к ним, раздобыл лямку, надел ее на себя и, как пристяжной конь, изо всех сил напрягаясь, стал тащить невод.

И вдруг на горизонте зачадили два густых черных дыма. Рыбаки остановились.

— Пароходы.

— Пароходы. Но откуда сейчас к нам пароходы?

— Откуда?.. Из Ялты, понятно.

— А может быть, прямо из Севастополя?

— Из Севастополя быть не может: там советская власть.

— Давайте, давайте, ребята! — закричал хозяин невода Анесты.

Рыбаки снова потащились от воды к дюнам, вытаскивая сажени мокрых канатов и обливая брезентовые штаны солеными каплями. Но Леська напряженно следил за горизонтом и вдруг воскликнул:

— Военный корабль!

Он бросил лямку и побежал к пристани. За ним понеслись трое молоденьких греков. Портовой матрос Груббе поднял бинокль, взятый из сторожки, и, ликуя, закричал:

— Крейсер «Румыния»! За ним «Трувор». Это десантный транспорт!

Крейсер остановился на рейде. Через пять минут с него слетели два гидроплана и ушли по направлению к вокзалу. Население со всего города бросилось на пляжи. Крейсер молчал. Так прошел час. Население начало расходиться. И вдруг борт крейсера вспыхнул и окутался желтоватым дымом. Грянул залп. Через секунду над пристанью пронеслось удивительное звучание, похожее на мирный всплеск шаланды где-нибудь у домашней купальни. И вскоре грянул взрыв и поднялся раскидистый дуб серого дыма в самом фешенебельном районе дач. Прошла еще минута, и снова борт озарился пламенем.

Услышав канонаду, евпаторийцы, вместо того чтобы прятаться в подвалах и погребах, снова кинулись к берегу. Ковыляли даже знаменитые греческие старухи. Еще бы: часто ли увидишь такое?

Леська ошалело глядел на корабль. Солнце ударило по иллюминаторам, и они зажглись огнями святого Эльма. Для белогвардейцев этот крейсер возник, точно предвещающий гибель силуэт «Летучего голландца». Короче говоря, в глазах Леськи крейсер был объят всеми морскими легендами. Белые почувствовали их еще острее. Когда грянули первые удары орудий, татарский эскадрон аллюром «три креста» поскакал дорогой на Симферополь. Теперь этот марш уже не сопровождался музыкой. Вскоре по той же дороге зафыркал выграновский «фиат». Драп шел совершенно открыто. Между тем «Румыния» вела огонь по дачной местности, где высились самые красивые здания города: театр и публичная библиотека.

Тут Леська очнулся. Он бросился в сторожку, сорвал с одного из пробковых буйков красный флажок и, взобравшись на пристанскую мачту, начал сигналить: «Мы свои!»

И случилось самое потрясающее в Леськиной жизни: крейсер послушался его и перенес огонь в степь.

Корабль на рейде... Его привел приятель Бредихина юный слесарь Сенька Немич. Крейсер пришел по зову маленькой группы партийцев. Партией был и сам крейсер. За ним стоял красный Севастополь. За Севастополем — могучая Совдепия. Залпы «Румынии» были для Евпатории голосом «Авроры», но крейсер не казался меньше от того, что брал не Санкт-Петербург, а маленький приморский городок: революция — везде революция, подвиг — всюду подвиг.

Когда Леська спустился, он сразу попал в объятия Виктора Груббе.

— Спасибо, друг! Я ж всегда говорил: «Леська — парень фартовый», з-зубы болят.

— Вам спасибо, товарищ!

Но долго обниматься им не дали. На пристани уже сгруппировались члены подпольного ревкома — Демышев, Познанский, Соглобов, Очкин. Они встречали десант, который шел к ним с корабля на двух баркасах. Уже раздавали берданки и гранаты всем, кто хотел вооружиться. Леська получил маузер и с группой молодежи кинулся в тюрьму освобождать арестованных.

Вечером в городском сквере состоялся митинг. Леська стоял недалеко от раковины, где летом играл симфонический оркестр, а сейчас была водружена трибуна, с которой ораторы разъясняли населению смысл сегодняшних событий.

— Товарищи! Час назад мы отправили по адресу «Севастополь. Центрофлот. Революционный комитет» радиограмму о том, что город Евпатория отныне входит в состав великой Советской России!

Леська вздрогнул. Где он слышал этот баритон, слегка грассирующий и даже чуть-чуть барский? «Товарищ Андрей!» Елисей протолкался к самой эстраде, чтобы воочию увидеть этого человека. Перед ним на трибуне стоял знакомый ему земец. Он говорил о величии Октябрьской революции, о мировом значении коммунизма.

— Кто это? — спросил Леська соседа.

— Не знаю.

Леська поискал глазами и увидел Юлию Немич.

— Кто этот человек?

Варвара улыбнулась.

— Не знаешь?

— Нет.

— Вот симбурдалический! — засмеялась она.— Это же «товарищ Андрей», Дмитрий Ильич Ульянов, родной брат Ленина.

По городу проносился грузовик. На нем стояли красногвардейцы с винтовками. Среди них Гринбах-отец, который кричал прохожим:

— Граждане! Смотрите, что белогвардейцы сделали с товарищем Караевым: они искалечили его и живьем закопали на пляже!

Окруженный черными и серыми рабочими блузами и робами, ярко-белой статуей высился забинтованный с головы до ног труп Караева. Негнущийся, он мчался в объятиях Виктора Груббе. Рядом, опираясь на руку Варвары Немич, стояла мать Караева, пожилая женщина в железных очках. Также член партии.

В тот же день была выпущена траурная листовка. В тот же день по распоряжению ревкома Евпатория переименована в город Караев. В тот же день на крейсере начался суд над арестованными белогвардейцами.

9

Когда Леська на заре вышел из бани, дед и бабушка, вмазавши в яму котел, сыпали в него каустическую соду; они варили из дельфиновых туш мыло. Хотя оно невыносимо воняло рыбой, его охо́тно покупали: мыла в городе не было. Леська побежал к вилле. Она безмолвствовала.

Сбежал даже Девлетка. Куда делись Булатовы, когда исчезли, никто не знал.

Леська дернул дверь: заперта. Он взобрался на выступ и заглянул в комнату Гульнары. У него замерло в груди, когда он увидел ее узкую постель под голубовато-белым одеялом, сухие дикие травы в стакане на ночном столике, маленький будильник — черный с золотом, на стене теннисную ракетку в чехле из клеенки... Послышались быстрые шаги. Леська соскочил с уступа и увидел встревоженных Артура и Ульку.

— Шокаревы арестованы!

— Старик и Володька!

— Их увезли на крейсер. Там теперь суд.

— Понимаешь, что это значит? В тюрьму матросы не сажают: либо пуля в лоб, либо иди домой.

— Что надо делать? — спросил Леська.

— Надо поехать на крейсер и попытаться их спасти. Пойдем спустим яхту.

— Пошли.

У дачи Видакасов их поджидал Гринбах.

— А я за вами. Слышали? Володька арестован.

— Да, да. Мы решили поехать на «Румынию».

— Ни черта не понимаете в революции! На шаланде поедем, понятно? На шаланде! А гимназические фуражки и шинели долой.

Через полчаса шаланда пошла к «Румынии». Примерно за четверть мили их окутал сложный запах военного корабля: смесь железного нагрева в машинном отделении с едкостью углекислого газа и ароматом флотского борща.

Мальчики дружно гребли.

Вот у борта показался кок и выплеснул в море ведро грязной воды. Потом он исчез. Мальчики гребли. Потом появился матрос, который, спустив на веревке швабру, стал полоскать ее в воде. Затем он вытащил швабру, поглядел на шаланду, но тут же удалился. Через минуту два матроса подвели к борту связанного человека в одном белье.

— Раз-два, взяли!

Деловитым движением они высоко подняли человека и швырнули его в море. На босых ногах висел чугунный колосник. Белый призрак пошел в воду прямолинейно, как гвоздь. Мальчики, не сговариваясь, затабанили. Самый дальний круг, отплывший от казненного, нежно коснулся шаланды.

Гринбах поднялся во весь рост и крикнул:

— Эй, на крейсере!
— Чего тебе?
— Спускай трап!
— А вы кто будете?
Вместо ответа Гринбах скомандовал:
— Полный вперед!
Он стоял в распахнутой тужурке, из-под которой виднелась тельняшка. Это убедило.
— Кто такие? — уже мягче спросил один из матросов.
— Свидетели. Проводите нас в трибунал.
Ульку оставили в шаланде, но он запротестовал: ему было жутко. Пришлось остаться и Артуру. По трапу взошли только Самсон и Леська.
Матрос повел вниз, где крепко и вкусно пахла смолой веревочная дорожка, бежавшая по коридору. Потом, открыв стеклянную дверь, ввел их в кают-компанию.
Группа матросов и кое-кто из евпаторийцев сидели за тремя столами. Матросы были в новеньких, очень синих шерстяных голландках. Все с красными бантами. Из евпаторийцев гимназисты узнали Демышева, Симу Бай, Петриченко, Полопского.
Перед трибуналом стоял капитан Новицкий. Без кителя. В одной рубахе. Рядом с ним сторож «Виллы роз» старик Рыбалко.
В кают-компании курить не положено, но сейчас курили все. Табак самсун лежал золотисто-рыжей копной на газете, и каждый брал столько, сколько хотелось.
— Ты самолично видел, как Новицкий убивал Караева? — спросил председательствующий матрос.
— Самолично,— уверенно и печально ответил Рыбалко.
— Правду он говорит? — обратился председатель к Новицкому.
— Правду.
— Ну что же, товарищи. Дело ясное. Какой будет приговор?
— Колосник — и в воду!
— Кто «за»?
— Еще имею добавить,— сказал Рыбалко.— Когда уже Караева запихнули в мешок, этот Новицкий ка-ак дасть ему заступом! Ей-богу! Вот вам истинный крест! Я и сейчас слышу... как оно там хрустнуло.
Эта подробность всех потрясла.
— А зачем же вы так? — тихо и страшно спросил председатель Новицкого.—Ведь он и без того был искалеченный.

Новицкий молчал.

— И закопали они его еще живущего,— снова добавил Рыбалко, грустно качая головой.

— Видали зверюгу? — сказал матрос и, глубоко затянувшись, тяжело выдохнул дым из ноздрей.— В топку его!

У Новицкого подкосились ноги, и он попытался ухватиться за Рыбалко. Старик брезгливо отстранился. Два матроса подхватили офицера под руки и увели из кают-компании.

— Вам чего, ребята? — спросил гимназистов председатель.

Ребята стояли зеленые от страха. Здесь пугало все: и чудовищное злодеяние офицера, и не менее ужасная месть матросов.

— Испугались, мальчики? — мягко улыбаясь, спросил Петриченко, узнав Леську.— Ну, давай, Бредихин, докладывай!

— Пугаться тут нечего, коли вы свои,— строго добавил матрос.— Для вас это все делается! Для завтрашнего вашего счастья! Не пугаться, а помогать вы должны, гаврики.

— Мы и пришли помочь! — пролепетал Леська.

— Вот это дело другое! А в чем она, ваша помощь?

— Вы арестовали нашего друга, Володьку Шокарева. А он не виноват.

Все расхохотались.

— Вот это да! Вот это помощь!

— А как же? — отчаянно завопил Леська, стараясь перекрыть смех.— Неужели революция думает казнить невинных?

Смех оборвался.

— Но-но! Ты не завирай! Казнить можно и по ошибке, а вот насчет того, что революция так думает, то тебе за это уши оборвать нужно.

— Брось, Сергей Иваныч,— миролюбиво шепнул Петриченко.— Это Леська Бредихин, сын и внук рыбака. Я его еще вот таким знаю.

— А что же он! — громко ответил на шепот матрос.— «Революция думает...» Что революция думает, тебе, дураку, не додуматься!

— Ну что ж, можете и меня в море! — запальчиво воскликнул Леська.

— Молчи, Елисей! — поднял голос Петриченко.— Тут тебе не гимназия. Не с директором разговариваешь.

Гринбах крепко ущипнул Леську. Леська охнул и недоуменно оглянулся на Гринбаха. Все снова рассмеялись.

— Кто такой этот Шокарев?

— Помещик. Хозяин каменоломен. Имеет пятнадцать миллионов,— сказал Петриченко.

— Ага. Откуда ж у него такие средства́? От трудов праведных?

Леська растерялся.

— То-то! А ты спасать его приехал? Кровососа выручать? Тоже мне! Сын рыбака называется!

Леська тихонько заплакал.

— Э! Да он к тому же еще и младенец!

Но Леськины слезы всех умилили.

— Они спасли... моего дядю. Он в тюрьме... А они спасли...

— Это верно,— сказал Демышев.— Про это весь город знает.

— Гм... Вон как. А за что дядьку посадили?

— Он хотел... отобрать у Шокаревых... шхуну.

Новый взрыв хохота.

— Ох, сила! Молодчага, видать, у тебя дяденька. А? Так-таки прямо отобрать? Для себя лично или во имя революции?

— Не в том сейчас дело! — горячо вмешался Гринбах.— Вы только вдумайтесь: Андрон, его дядя, хотел отобрать у Шокаревых шхуну, и они же добились, что его выпустили на свободу.

Все замолчали.

— Ну что ж. Как скажете, товарищи? — спросил матрос.— Шхуну мы у них, понятно, отберем. И каменоломни тоже. А самих, пожалуй, отпустим. А? Пускай все жители понимают благородство революции.

10

Волною выбросило на берег труп. Тучный, разбухший, он застрял под мостиком булатовской купальни.

Леська боялся выйти из бани. Пошел глядеть Петропалыч.

— Прокурор это. Господин Листиков. Был всегда сухой, как таранька, а теперь... Но все же узнать можно.

Старики пошли за лопатами. Леська лежал на верхней полке и прислушивался. Вот мимо дверей прогремела тач-

ка и, замирая, принялась чирикать все тише. Потом затихла: старики, очевидно, подошли к трупу.

«Как это все вынести? — думал Леська.— Я не хочу этого! Эпоха? Пусть. Революция? Преклоняюсь. Но этого я не хочу. Понимаете? Не хочу — и все тут! Мне это противно, омерзительно. Буду картошку чистить. Подштапники вам стирать. Что хотите! Но *это* — нет! Пускай матросы, пускай Петриченко, если им так хочется. Но не я. Только не я!»

Вошли бабушка, дед и Петриченко.

— Нет, нет! — говорила бабушка.— Мы туда не переедем.

— Леська! — окликнул Петриченко.— Ты здесь? Объясни своим старикам. Ревком разрешает вам переселиться в дачу Булатовых. Понимаешь? Разрешает. Это — официальное постановление. А они упрямствуют. Не хотят.

— А чего хорошего? У нас тут хоть угол есть,— протестовала бабушка.— А потом что? Вы уйдете, вернутся хозяева...

— Хозяева больше не вернутся. В Симферополе, в Керчи, в Феодосии — всюду восстания. Вся Россия стала красной!

— Пускай хоть золотой. Все равно к Булатовым не перееду!

— От нехаи проклятые! — выругался по-украински Петриченко.— Для кого ж революцию делаем? Для вас же делаем! Тьфу!

Он вышел и, уходя, долго и досадливо бранился.

— Обидели человека,— грустно сказал дед.— Надо было хоть спасибо сказать, хоть кефалью угостить, есть же кефаль! А ты заартачилась — и все тут.

— Вот еще! Всякого кормить!

Пришел Самсон.

— Все сейчас в партию записываются.

— И ты записался? — спросил Леська.

— И я.

— А я не запишусь. Раньше хотел, а теперь нет.

— Почему? — удивился Гринбах.

— Как вспомню, что было на крейсере...

— А как иначе поступать с белогвардейщиной? Дать Новицким волю убивать Караевых?

— Не так я представлял себе революцию,— протянул Леська.

— Прежде всего ты не так представлял себе офице-

рье! — возразил Самсон.— Ты видел их на балах в женской гимназии, когда они танцевали мазурку с Лизой Авах или Мусей Волковой. Проборы. Духи. Между второй и третьей пуговицами мундира заткнуты белые перчатки. Шик!

— Да-да, наверное. Но не могу! Мне кажется, будто я вернулся с крейсера весь в контузиях.

— Мне это тоже трудно,— понизив голос, точно боясь, что его услышат, сказал Самсон.— И все-таки, если иначе невозможно...

— Возможно.

— А как?

— Не знаю.

— А Шокаревых все-таки освободили. Видишь! Значит, у наших нет зверства ради зверства.

— А топка, топка? Могли ведь просто расстрелять!

— Но ведь и Новицкий мог просто расстрелять Караева.

— Ах, какое мне дело до Новицких!

Гринбах задохнулся от гнева. Он искал слов, не нашел и выпалил:

— Знаешь что? Иди-ка ты к чертовой матери!

И, уходя, уже в дверях со вкусом добавил:

— Свволочь!

Так. Еще один друг ушел. Еще одна контузия. Пожалуй, посерьезнее всех других... Уехать! Скорее уехать из этого страшного города!

Когда человеку что-нибудь очень нужно, даже необходимо, он всегда неожиданно встречается с чудом. Если б это было не так, жизнь стала бы невозможной, просто немыслимой.

Впрочем, если вас смущает слово «чудо», заменим его словом «случайность». Представьте себе мир без случайностей. Все сводится к естественному отбору. Сильный пожирает слабого. Но звери отпускают своих детенышей на волю слабыми, едва выкуневшими одногодками. Но птицы выбрасывают из гнезда птенцов, как только те мало-мальски выучатся летать. Почему же их не истребили медведи и ястребы? Потому что существует великий закон Случайности, то есть точка пересечения многих закономерностей.

Елисей крепко верил в это. Вот он идет по главной улице в поисках этого самого чуда. Он уверен, что найдет его. И действительно, сколько раз проходил Леська мимо бродячего театра миниатюр «Гротеск», он запомнил только

надпись на афише: «Антреприза С. Г. Бельского». Но сегодня у входа в театрик громоздилось целое сооружение из желтых, красных, коричневых кофров, чемоданов, саквояжей, баульчиков. Пожилой мужчина с актерским лицом метался по тротуару в поисках носильщиков, но никого не было: все ушли в революцию.

Леська подошел и остановился.

— Молодой человек! Хотите заработать? — бросился к нему мужчина.

— Хочу.

— Сейчас подойдет линейка. Поможете грузить?

— А куда едете?

— На вокзал.

— А дальше?

— В Мелитополь. А что?

— Возьмете с собой меня?

— Ну что ж! Рабочий сцены нам нужен. К тому же будете читать «Двенадцать» Блока. Знаете?

— Нет.

— Будете читать.

Так Леська попал в театр.

Бельский был блестящим организатором. Наряду со скетчами, опереткой и китайцем, демонстрировавшим ручного медведя, он в связи с революцией вынудил танц-куплетиста читать «Выдь на Волгу», а суфлершу — рассказы Короленко. Под Некрасова и Короленко серьезный человек Демышев дал антрепренеру две теплушки для переезда в Мелитополь, который к этому времени тоже стал советским.

В первом вагоне ехала аристократия театра: антрепренер с женой, примадонна Светланова 2-я, каскадная Лида Иванова, китаец, его медведь и, наконец, отпрыск Агреневых-Славянских, известных руководителей русского хора. Во второй теплушке вместе с декорациями, сундуками с гардеробом, париками, нотами, пьесами и всяким реквизитом утряслись маленькие актеры, хористы, оркестранты. Туда же сунули и Леську.

Так доехали до Сарабуза, где Бельский увидел на перроне небольшой цыганский табор — человек восемь. Он соскочил с вагона, помахал руками перед главным цыганом, выдал ему николаевскую сотню, и вдруг вся восьмерка поднялась и пошла грузиться в теплушку.

Без звонков и свистков состав двинулся снова. Вагон был в щелях. Ветерок гулял по нему, как хотел.

— Холодно,— сонно сказала молоденькая цыганка Настя.— Надо спать в обнимку.— Она крепко обняла Леську и прижалась к нему всем телом. Леська боялся шевельнуть пальцем от испуга и счастья. Вскоре девушка заснула. Потом отвернулась от него и разметалась.

«Что такое женщина? — думал Леська.— Почему с ней так хорошо? Они еще ничего для меня не сделали, никем для меня не стали. Но все мои горести, весь этот камень под грудью вдруг рассосался, как в крутом кипятке камешек соли. Откуда во мне эта тихая радость? Какое я имею на нее право?»

Поздно ночью остановились на какой-то станции. Настя растолкала Леську:

— Пойдем, проводишь меня до ветру. А не то сторож поймает, целовать начнет.

Леська хоть и спросонья, но восторженно повиновался. Настя залезла под вагон, а Леська стоял на страже. «Ново-Алексеевка»,— прочитал он название станции. Потом они снова взобрались в теплушку. Хотя тоненькая Настя обладала силой и гибкостью, Леська счел нужным поддержать ее за талию и снова стал счастлив. Малейшее прикосновение к ней наполняло его блаженством. Опять легли рядом. Настя взяла Леськину руку в свою и тут же уснула.

Никогда еще Леська не был так близок с девушкой. Он впервые понял, что такое женщина в жизни мужчины. Особенно ярко он почувствовал это потому, что еще совсем недавно был так несчастлив. Говорят, будто горе проходит, когда пьешь водку. Но Елисей как-то раз выпил — ничего такого не почувствовал. Совсем другое — женщина. Так вот в чем ее тайна!

В Мелитополь прибыли воскресным утром. По городу уже висели афиши с объявлением о дневном концерте. Первым вышел пианист из оркестра и сыграл «Музыкальный момент» Шуберта и «Колыбельную» Грига. В зале сидели красногвардейцы с красными бантами на груди и обмотками на ногах. Театр не топили, поэтому публика куталась в шинели и дымила цигарками. Но слушали хорошо.

Потом выпустили Елисея. Он не успел выучить Блока наизусть и читал «Двенадцать» по бумажке. Читал плохо, волновался, глотая слова. Но и ему похлопали.

Потом Вера Веснина протанцевала «Лебедя» Сен-Санса. Леське понравился ее номер, но кто-то из публики крикнул: «Но это же умирающий гусь!»

Затем играл на гуслях Вадим Агренев-Славянский. Он пел гнусаво, как попик на амвоне, гусли, незнакомые зрителям, звенели как-то странно, будто даже фальшиво, поэтому Вадим не понравился.

— Хамы! — говорил он за кулисами.— Былины, изволите видеть, им не нравятся!

В заключение концерта вышли цыгане. Они запели таборные песни, грустные, шалые, удалые, где русские слова приобретали какой-то диковинный акцент, что придавало им особый пошиб.

Эх, распашол так дум мой сивый конь пошел.
Эх, распашол так дум хорошая моя.

Вылетела Настя, тоненькая, как дымок. Все в ней и на ней плясало. Плечи трепетно дрожали, точно в ознобе, маленькое жемчужное ожерелье, красные каменные бусы, большое деревянное монисто, серьги, ленты, запястья — все это звенело, пело, увлекало. А она, опустив черные ресницы, чуть-чуть улыбалась уголками губ, подвитых кверху, точно раковины.

Чем-то неуловимым она напоминала Гульнару, хотя совсем-совсем не была похожа. В Гульнаре нет этой демонической серы, перцу этого.

Настя плясала. Пляска девушки шла внутри хоровой песни как соло. Тело ее было таким танцевальным! Казалось, это большая гибкая, удивительно пластичная рыба, что-то вроде стерляди, трепещет в хрустальной струе, блистая своей кольчугой и почти не двигая плавниками.

Но Гульнара... С Гульнарой никто не сравнится. Она не пляшет, и хотя много воображает о своем пении, но поет она «белым звуком», лишенным тембра. Бог с ними, с ее талантами. Она сама талант. Сама — вся как она есть. Талант!

Вечером давали оперетку «Граф Люксембург». Имя Бредихина стояло в программках. Он должен был произнести: «Она здесь!» Кроме того, он участвовал в хоре и распевал:

Отличный были вы танцор,
Скажу я вам без лести,
Наверно, в день вы пуда два
Съедали женской чести.

Дебют молодого актера прошел, однако, незамеченным.

Антрепренер очень привязался к Леське. Вскоре старик уже не мог без него обойтись. Актеры в шутку называли Бредихина «адъютант генерала Бельского», но, впро-

чем, относились к нему неплохо. Жена Бельского, Ольга Львовна, тоже благоволила к юноше.

— Очень милый мальчик. Всегда улыбается.

Жалованье Леське дали маленькое, меньше, чем положено рабочим сцены, но зато Леська жил у Бельских на всем готовом и спал в столовой на диване, ничего не платя за квартиру.

Он еще никогда не пользовался таким комфортом: здесь не пахло прелым дубовым листом, распаренными досками, затхлыми от сырости углами. Напротив, Ольга Львовна так часто обтиралась на кухне душистой эссенцией, что аромата хватало на весь дом.

По утрам Леська шел на базар покупать для Бельских завтрак. Обедали все трое в ресторане, ужинали там же. Бельский сам любил покушать, но следил за тем, чтобы хорошо питался и Леська.

— Он еще растет,— говорил старик.— Ему нужно побольше топлива.

Между делом учили Елисея культурно есть. Леська, например, за едой чавкал. Так едят хамы. Тогда он стал есть абсолютно беззвучно. Но ему сказали, что так едят нувориши из мещан. Только после этого Леська нашел средний стиль, свойственный высокой интеллигенции.

Бельские и Леська всюду появлялись втроем. В городе принимали гимназиста за их сына, и это умиляло. Действительно: бездетная актерская пара относилась к Леське как к собственному ребенку. Надо сказать, что и Леська полюбил Бельских и вошел в их семью как родной.

В каждом доме бытует свой домашний жаргон. Бывало, утром, проснувшись и позевывая, Семен Григорьевич спрашивал:

— Какая погодятина?

— Дождяка! — отвечала Ольга Львовна.

— Не дождяка, а дождина! — кричал из столовой Леська.

— Почему?

— Дождяка — это так себе, маленький нескладный дождишко, а сегодня почти ливень.

Все, что касалось Бельских и их театра, Леська принимал близко к сердцу.

В городе, помимо театра «Гротеск», работал еще и драматический театр с бездарными актерами, но солидным репертуаром. Ставили там «Грозу» Островского, «Дни нашей жизни» Андреева, «Осенние скрипки» Сургучева,

«Кровь» Шиманского. Актеры драматического иногда приходили смотреть программу «Гротеска» и неизменно издевались над ней.

Однажды Леська, не занятый в спектакле, стоял на контроле. Драматические, не досмотрев очередной оперетки, задержались подле гимназиста.

— Объясните нам, юноша! — сказал ему «второй любовник» Дальский.— Почему над вашей эстрадой висят трагические маски, если у вас единственный трагик — это медведь: когда ему вовремя не дают молока, он рычит, как Отелло.

Актеры с хохотом удалялись, а Леська кричал им вслед:

— Наш медведь талантливей всех ваших первых и вторых любовников!

Как-то за утренним кофе Леська обратился к старикам с целой речью:

— Ольга Львовна! Семен Григорьевич! Эти халтурщики из драматического издеваются над нашим «Гротеском». А что, если мы один вечер посвятим какому-нибудь классическому спектаклю? А?

— Зачем это? — задумчиво жуя, промолвил Бельский, уставясь в одну точку и думая о чем-то своем.

— А чтобы утереть нос этим мальчишкам! Кстати, весь народ увидит, что «Гротеск» — это подлинное искусство.

Бельский с интересом поднял на него глаза.

— Ольга Львовна! — обратился Леська к старой актрисе со всем пафосом, на какой были способны его восемнадцать лет.— Что бы вы хотели сыграть из классики? Есть ли у вас мечта?

У Ольги Львовны никакой мечты давно уже не было, но ей стыдно стало в этом признаться.

— Мечта всей моей жизни,— сказала она с фальшивинкой, которой Леська не заметил,— это роль Кручининой в пьесе Островского «Без вины виноватые».

— Чудесно! — воскликнул Леська радостно.

— Постой, постой! — сказал Бельский.— А кто же будет играть Незнамова?

— Незнамова сыграю я! — объявил Леська.

— Ты-ы?

— Ну, Елисей, вы слишком самонадеянны,— заворковала Ольга Львовна.— Искусство — это, знаете ли...

— А что! Эта идея мне нравится,— вдруг заволновался Бельский.— По крайней мере, Леська будет знать роль на-

зубок. А что касается успеха спектакля, то он весь зависит от Кручининой, а за тебя, ма шер, я спокоен.

Через неделю начались репетиции. Ольга Львовна тряхнула стариной и была, в общем, на своем месте, но Леська совершенно забил ее технику глубиной и подлинностью переживания.

Мать Елисея умерла от родов. Он никогда ее не видел. Но часто думал о том, что своим рождением принес ей гибель. Да, он убил свою родную мать. Леська никогда ни с кем не делился этими своими думами, но смерть матери была для него с детства той травмой, которая определила весь характер Леськиного мироощущения. Тихость его, замкнутость, острое восприятие чужой боли, даже болезненное чувство правды росли отсюда. И вот ему предстояло сыграть роль молодого человека, которому свойственны все эти черты. Конечно, Незнамов — не второе «я» Бредихина. Но сиротское отрочество, страшная тоска по матери, а у Незнамова и встреча с нею, чего навеки лишен Леська, сделали роль Незнамова для него чем-то автобиографическим.

Бельский сам режиссировал спектакль и диву давался, глядя на Леську. Ему приходилось исправлять только Леськин язык:

— Не «чьто», «конечьно» и «скучьно», а «што», «конешно», «скушно». И не «добилась» и «влюбилась», а «добилас», «влюбилас».

— Но у нас говорят *так*.

— Какое мне дело, как говорят у вас? В русском театре говорят по-русски! — гремел антрепренер.

Спектакль прошел триумфально. Со стороны Леськи была всего одна-единственная накладка: когда танц-куплетист, игравший Миловзорова, забыл текст и выдерживал бесконечную паузу, Леська вздохнул и сказал: «Вот положение!» Этого никак нельзя было бы простить, но танц-куплетист моментально вспомнил свои слова и покатился дальше, как на дутиках.

Зато в финале, когда актеры драмы со злорадством ждали, как Незнамов, узнав в Кручининой мать, скажет: «Мама!» (самое трудное в роли), Леська бросился к Ольге Львовне с таким горячим рыданием, что в зале мгновенно забелели носовые платочки.

На следующий день в газете «Красный Мелитополь» писали:

«Особенно поразил нас юный артист Е. Бредихин. Не знаешь, чему отдать в нем предпочтение: интеллекту или

эмоции. Не последнюю роль в успехе Бредихина сыграли и его прекрасные внешние данные: рост, голос, обаятельная улыбка».

А в заключение замечательная фраза:

«Пьеса Островского на сцене театра «Гротеск» еще раз показала, что дело не в том, где играют, а в том, как играют».

Потом опять шли «Граф Люксембург» и «Жрица огня». Когда же снова объявили «Без вины виноватых», уже к полудню театр вывесил аншлаг: «Все билеты проданы».

Но на репетиции Леська играл плохо.

— Не узнаю тебя, Елисей,— вздыхал Бельский.

— Ничего, Семен Григорьевич! Я дам на спектакле.

— Э, нет! До спектакля мы тебя уже не допустим. Вот видите, господа артисты, первый спектакль Бредихин провел отлично, потому что играл на абсолютной искренности. Но чтобы так сыграть во второй раз, нужно уже быть настоящим актером, актером божьей милостью.

И опять Леська стоит на контроле, думая о сложности человеческой судьбы. «А один раз я даже управлял департаментом»,— вспомнились ему слова Хлестакова. Вот и его хватило только на один раз.

— Леська, авелла!

— Здравствуй, Листиков!

— Ты что тут делаешь?

— Служу, как видишь.

— Билетером?

— Кем придется. А ты почему здесь? Куда? Откуда?

— Да, понимаешь, драпал сначала от красных, добрался было до Киева, а там теперь немцы. Черт-те что там делается! Москалей вешают при малейшей провинности. Вот и решил махнуть домой. Там, говорят, теперь все успокоилось.

Леська проводил Листикова в зал и устроил ему приставной стул. Сам же пошел за кулисы: сейчас будет плясать Настя, а он никогда этого не пропускал.

Выключили свет. На сцене вспыхнул костер. Вот цыгане вышли на эстраду. Зазвучала человеческим голосом гитара старого Михайлы:

Что за хор певал у «Яра»,
Он был Пишей знаменит,
Соколовского гитара
До сих пор в ушах звенит.

Леська продирался сквозь декорации, ища затемненного места, чтобы его не заметил пожарный: находиться за кулисами во время спектакля запрещалось. На сердце было душно до отчаяния: немцы не выходили из головы.

Леська пошел было к наиболее темному углу, но споткнулся и упал на что-то мягкое. В ту же секунду он почувствовал на лице чье-то теплое дыхание. Медведь! Леська вспомнил: китаец привязывал свое сокровище именно в этом углу.

Медведю было невыносимо скучно, и он искренне обрадовался Леськиному обществу. Леська сначала заорал благим матом, но его никто не слышал: на сцене шла массовая пляска. А медведь повалился на спину и стал качать Леську на своем брюхе справа налево и слева направо. Леська понимал, что барахтаться нельзя. Между тем мишка уже облизал Леськино лицо теплым, немного липким языком и принялся сосать его ухо.

Бредихин с невероятным трудом извернулся и, вытащив карманный фонарик, придвинул его к самым глазам зверя. Вспышка на миг ослепила медведя. В страхе он отшатнулся было от Леськи, но тут же снова кинулся на Бредихина и свалил его на спину... Однако пожарный уже заметил огонек и помчался к нарушителю.

— Ты что это? В чем дело?

— Зови китайца! Живо! — полузадушенным от страха голосом захрипел Леська.

Пока пожарный бегал за китайцем, мишка снова начал искать Леськино ухо. Когда же Леська стал крутить головой, медведь зарычал и легонько прикогтил его с двух сторон. Дикая боль перехватила дыхание. Но над ними уже стоял китаец, позванивая палочкой по гонгу: это означало, что медведю сейчас дадут бутылку молока. Мишка отшвырнул Елисея всеми четырьмя лапами и потянулся к хозяину.

За кулисы бежал Бельский, за ним семенила Ольга Львовна.

— Ну как? Жив? Цел?

Семен Григорьевич обнял гимназиста и дрожащими губами обцеловал все его лицо.

— Почему же вы не кричали? — спросила Ольга Львовна.

Леська смутился. Но выручил его китаец:

— А как тут киричатя? Сапекатакаля идета.

— Черт с ним, со спектаклем,— крикнул антрепренер.— Человек мог погибнуть!

— А вы герой, Леся,— с уважением произнесла Ольга Львовна.— Другой бы на вашем месте поднял невообразимый крик.

Вызвали врача. Леську запеленали. Все поздравляли его с мужественным поступком. Но Елисей чувствовал себя так, точно украл чужую славу.

Теперь по утрам на рынок шел Семен Григорьевич. Он каждый раз покупал парного цыпленка и сам варил на примусе бульон для Леськи. Потом подносил ему в постель стакан этой янтарной жидкости и бросал в нее ломтик лимона.

Леська лежал в столовой и принимал гостей.

Сегодня, например, посетил его Листиков.

— Зачем ты бежал от красных? — спросил его Леська, делая вид, будто не знает о казни прокурора.

— Но ведь в Евпатории был красный террор.

— А ты при чем тут?

— При чем... Знаешь, какой сейчас ходит анекдот? Бежит сломя голову заяц. Кричит: «Караул! Спасайтесь! Верблюдов хватают!» — «А тебе-то что?» — спрашивает его какой-то Бредихин. «Да ведь если меня схватят, поди докажи, что ты не верблюд».

— Ну, допустим. А зачем же ты бежишь от немцев?

— Но я же русский. На кой черт мне Германия?

— А Германия прет? — раздумчиво спросил Леська.

— Прет, проклятая.

— И быстро?

— Не очень. Но в Киеве закрепилась плотно.

— Может быть, и на юг пойдет?

— Может быть.

— А ты патриот?

— Я патриот.

— И поэтому драпаешь к маме?

— А что же я могу поделать?

— Воевать.

— А ты-то сам?

— Дай выздороветь!

— Ну-у, воевать...— цинично засмеялся Листиков.— Если все пойдут на войну, кто же останется дома родину любить?

Часа через два пришел Агренев-Славянский и стал плакаться на судьбу былин:

— Никого они сейчас не интересуют. Можно подумать, будто мы народ без прошлого.

— Может, и правда сейчас не время думать о прошлом, Вадим Васильич?

— Вот и неверно. Вам в гимназии внушают, будто Илья Муромец — это рабская преданность русскому князю. А знаете ли вы такую былину — «Илья Муромец и голи кабацкие»?

— Нет.

— И никогда не узнаете, если будете довольствоваться только гимназической премудростью.

И Вадим Васильевич тут же запел:

Говорит тут Илья да Муромец:
— Я иду служить за веру христианскую,
Да и за стольние Киев-град,
За вдов, за сирот, за бедных людей,
А для собаки-то князя Владимира
Да не вышел бы я вон из погреба.

Пел он тем же гнусавым голоском, что и на сцене, но так взволнованно, так вдохновенно, что под конец даже всплакнул.

— Скажите же откровенно: знали вы такого Илью Муромца?

— Не знал, Вадим Васильич...

— Так что же это за революция, которая не признает Муромца своим?

— Все в свое время, Вадим Васильич. Вот я гимназист, а и то не знал Илью по-настоящему. А чего же вы хотите от красногвардейцев? Откуда им знать?

— Да я-то им пою! Не доходит...

— Дойдет. И Москва не в один день построилась.

— Да ведь когда дойдет — меня-то уж потащат на Ваганьково!

Леська не знал, что ответить. Агренев так и ушел обиженным, а Елисей лежал и думал о том, что на каждом крутом повороте истории культура повисает на ниточке.

Пришла сестра милосердия Наташа. Она разбинтовала Леську и осмотрела его раны.

— Ранения неглубокие,— сказала она.— Беда не в них. У медведя под когтями накопилась грязь, и она внесла инфекцию. Крепитесь, Леся, я сейчас смажу вам эти царапины.

Наташа прошлась йодом по Леськиным «плавникам» и снова его забинтовала. При этом ей приходилось обнимать его голый торс, и юноша чувствовал ее легкое дыхание.

— Наташенька, посидите со мной немного.

— Пожалуйста.

Она деловито уселась в ногах и смотрела на него так, как смотрела бы на баллон с карболовым раствором.

— Наташа... Дайте мне вашу руку...

— Пожалуйста. Все больные мужчины просят руку, я всем позволяю, потому что не придаю никакого значения.

Леська взял ее руку в свою. Ему казалось, что он ощутил шелковую перчатку, но это была просто-напросто рука девушки. Он закрыл глаза и вспомнил Фета:

> В моей руке такое чудо —
> Твоя рука...

Когда она уходила, Леська слушал ее шаги по лестнице и считал ступеньки.

К вечеру его навестила Настя.

— Ах ты, мой дорогой, рассеребряный! — сказала она и чмокнула Леську в щеку.

— А в губы нельзя? — отчаянно попросил Леська.

— Можно, можно. Тебе все можно.

Настя быстро коснулась губами его рта. Леська ощутил вкус земляники. Это был первый его поцелуй. Первый за всю жизнь.

— Настенька...— сказал он скороговоркой, боясь, что она уйдет.— Научи меня гадать по руке.

— По руке? Но, это можно. Это сразу. Вот этот пальчик, мизинец, называется Луной. Означает серебро. Богачество. У кого под ним черта — тот богат. У тебя видишь: сначала пустое место, а чем ниже, тем черта глубже. Значит, под старость разбогатеешь. Не забудь меня тогда, рассеребряный.

Она засмеялась.

— А безымянный что значит?

— А ты не торопись. Не коня ловишь. Дойдем и до него. А безымянный называется Солнцем. Означает художество: песни, пляски, что-нибудь такое. Если под ним крестик — это уж хорошо! А если вот такая пушистая звезда, как у меня, это талан жизни. У тебя тоже звездочка, но черты от нее вниз нету. Значит, какой-то талан есть, но спит он, как медведь в берлоге.

Она уже втянулась в гаданье и говорила нараспев, точно рассказывала сказку.

— Средний палец. Его зовут Денис. Он выказывает натуру. Есть люди — у них от него глубокая черта через всю ладонь. А у тебя какие-то огрызки: черточка — пусто, черточка — пусто. Характера нету.

Леська кивнул головой. К сожалению, он был с этим согласен.

Потом Настя показала линию жизни, линию любви и холм Венеры под большим пальцем.

— Ух, и зверь же ты на девочек, рассеребряный!

Настя поцеловала Леськину ладонь, сложила все его пальцы в кулак, сказала:

— Держи крепко! — Затем добавила: — Всем говори, что жить будут долго и что женились или вышли замуж не за того, кого сначала любили. Никогда не промахнешься.

Настя рассказывала новости: дед Михайло хочет купить у Ван Ли медведя, а Ван Ли не хочет. Вот бы Леська подал в суд на китайца за раны, у китайца бы мишку отобрали, отдали бы Леське, а тот отдал бы деду Михайле.

— Так нельзя,— сказал Леська.

— Вот еще! Почему?

— Не по закону потому что.

— В революции можно все! — убежденно заявила Настя и обиделась.

Когда она уходила, Леська слушал ее шаги и считал ступеньки.

Леська был так молод, что все случавшееся с ним возникало для него впервые. Впервые держал он в руке девичью руку, впервые дотронулись до его рта девичьи губы.

И все же, и все же где-то в глубине души была у него кумирня, а в ней божок: Гульнара. Этого божка ничто не касалось, ничто не могло ни замутить, ни затемнить.

Пролежал Елисей две недели. И все это время в душе его теснились самые разные чувства: обе девушки и немецкая оккупация, а главное — медведь, которого он так испугался. Память неотвязно возвращала ему его собственный глухонемой рев. Все его тревожило, пугало. Однажды ночью он проснулся от чьего-то дикого крика:

— Карау-у-ул!

Леська сел на постели. Сердце его билось где-то в горле.

— Карау-у-ул!

Это кричал петух.

Вскоре Елисей пришел в театр на репетицию: он опять играл в «Графе Люксембург» фразу «Она здесь!». Фраза произносилась во втором акте, и Леська пошел за кулисы к медведю. Завидев его, медведь поднял уши. Леська достал из кармана бутылку молока. Медведь привстал и заинтересованно уставился на бутылку. Чтобы проверить свою храбрость, Леська подошел к нему совсем

близко. Медведь встал на дыбы и вплотную подошел к Леське. Теперь он глядел на него, как теленок. Держа в одной руке бутылку, Леська другой потрепал мишкино ухо. Мишка только крутил башкой, урча от нетерпения. Тогда Леська отдал ему бутылку. Тот запрокинул голову и стал булькать из горлышка. Леська подождал до тех пор, пока медведь опорожнил бутылку, еще раз потрепал его и ушел. Отныне Леська ежедневно подходил к зверю, давал ему бутылку и поглаживал по голове.

Однажды утром, едва вернувшись с базара и наспех заглотав бутерброд, он побежал в театр.

Медведя не было.

Не было и цыган. Они снялись ночью всем табором и увели с собой медведя. То, что для Леськи звучало ежедневным подвигом, для них оборачивалось бытом. Очевидно, дед Михайло дал медведю сахару, которого тот никогда не ел, и мишка пошел за ним, как собака.

— Где Ван Ли? — спросил Леська у сторожа.

— А кто его знает? Побег искать.

— Как же он их найдет без языка?

— А мое какое дело?

— Но ведь вы видели, как цыгане уводили медведя?

— Видел.

— Почему же вы допустили?

— Не допустишь! Их восемь человек людей.

— Но ведь вы *сторож*! Вы обязаны охранять имущество театра.

— А какое имущество медведь?

— Не притворяйтесь дурачком! Вы все понимаете.

— А вы не кричите. Я вам не слуга дался. Нынче равноправие.

Леська побежал в ревком.

— Здравствуйте! Я член Союза актеров Бредихин.

— Знаю, знаю, товарищ Бредихин. Видел вас в роли Незнамова. С чем пожаловали?

Леська рассказал историю с медведем.

— Чего же вы от нас хотите?

— Помогите разыскать. Вы только войдите в душу Ван Ли: человек на чужбине... языка не знает... Этот медведь — единственный его кусок хлеба...

— Уважаемый! Разыскать бы можно: медведь не иголка. Но кто будет сейчас этим заниматься? Завтра-послезавтра мы всем ревкомом уходим на фронт: ведь немец уже взял Лозовую и движется на Павлоград.

— Неужели Лозовую взяли? — пролепетал Леська.

— А что ж тут удивительного? Регулярная армия. Артиллерия, конница. А что у нас? Ведь вот и товарищ Бредихин о медведе думает. А лучше бы о революции подумал: молодой, здоровый — ей сейчас такие нужны.

Леська пришел домой. Дома повестка. Леська испугался и обрадовался: думал, из военкомата. Но военкомат о Леське не думал: Красная гвардия никого не мобилизовала — ей требовались добровольцы. Повестка оповещала, что ревком объявил «Неделю чистоты», и Бредихину Е. А. «предлагалось» срочно подмести улицу от ворот дома № 16 до перекрестка.

Леська принялся за работу, почти не замечая того, что делает.

В конце улицы показался Листиков. Он нес на плече мешок, из которого торчали голяшки.

— Понимаешь? Здесь очень дешевая свинина, а в Евпатории свининки маловато. Вот и везу матери подарок. А ты зачем с метлой?

— Ревком объявил «Неделю чистоты».

— Скоро он объявит «Неделю латáты»: немцы уже захватили Лозовую.

— А Листиков, значит, домой?

— Домой. Хочешь вместе?

— Нет. Я воевать буду.

— Ну, как знаешь. Мир праху.

Вечером в шестой раз шла «Гейша». Леська пел в хоре на озорной мотивчик:

Чон-кина,
Чон-кина,
Чон,
Чон,
Кина-Кина,
Нагасаки,
Йокогама,
Хакодатэ,
Гой!

Оперетка была пустой, как и все оперетки, но одна фраза в ней поразила Елисея. Японский губернатор изрек: «Я никого ни к чему не принуждаю, но если вы поступите против моего желания — берегитесь!» В этой фразе раскрылось для Леськи все лицемерие власти. И то, что сказала об этом именно оперетка (*даже* оперетка!), казалось Леське особенно убедительным. Фраза стоила всей пьесы. И кто знает, может быть, автор и написал это

свое невыносимо художественное произведение только ради того, чтобы протащить эту мысль?

Германия — само воплощение государственной идеи. Теперь она марширует по России, чтобы затоптать революцию своими сапожищами, а ведь революция мечтает о коммунизме, который в будущем уничтожит государство, — так, по крайней мере, говорил Грипбах со слов своего отца.

Немцы направились на Павлоград. Пойдут и на Мелитополь. Елисей не сможет, как Листиков, укрыться от тайфуна в раковину. Он твердо сказал Сашке, что будет воевать. Но сказать-то ведь легко. А как это сделать? Вступить в ряды Красной гвардии он не мог: Леська не выносил дисциплины, особенно солдатской. Он отлично понимал свой долг перед родиной, но у него в душе еще не прорезался зуб мудрости: характера не было.

Сегодня он шел на рынок и впервые думал: «А что я, собственно говоря, делаю в этом городе?» Артистическая карьера его с блеском закончилась. Он жил теперь в Мелитополе только потому, что его полюбили Бельские. Но не мог же он пойти к ним «в дети». Смешно! И вообще — Леська всегда делал не то, что хотел сам, а то, чего хотели от него другие.

— Берегись!

Леська шарахнулся в сторону и вдруг увидел необычайное зрелище: десятки телег, подвод, бричек с отчаянной быстротой неслись с базара по всем дорогам. Мужики, стоя на передках, нахлестывали лошаденок и справа и слева.

— Гайдамаки на станции!

Леська впервые увидел панику. Ничего не понимая, он продолжал идти к базару. На станции гайдамаки? Ну и что же из этого? В сознании Леськи гайдамаки всплыли в ореоле старинной украинской вольницы. Что же тут плохого? Да и мало ли кто бывает на станции! Почему же не быть там гайдамакам?

11

Рынок совершенно опустел. Все в нем было брошено на произвол судьбы. В мясном ряду горделиво глядела баранья голова, погруженная в думу о бренности всего земного, гирляндой висели утки, а телячьи ножки перемешались с малороссийскими колбасами в подпалинах, копчеными и вареными окороками, свиным салом... И на

каждом прилавке кучами лежали денежные бумажки. Леська пошел дальше. Молочный ряд сверкал белизной брынзы, желтизной голландских сыров домашнего варева, сияющими стеклянными банками со сметаной. И так же, как и в мясном, на всех прилавках — деньги. Рыбный ряд. Щуки, усатые сомы, селедки в рассоле с их возбуждающим запахом. А соленые огурцы? Марипованные помидоры со стручками зеленого перца? Моченые арбузы? И никого. Ни единой души. Один Леська.

Но вот на базар спокойно въехала одинокая тачанка, запряженная парой воропых. Женщина, правившая лошадьми, остановилась в мясном ряду, поискала глазами то, что ей нужно, соскочила на землю и, не выпуская вожжей, набросала в тачанку несколько окороков. Потом снова взобралась на облучок и тронула свою пару. Проезжая мимо Леськи, она взглянула на него искоса соколиным взглядом и тут же придержала коней.

— Авелла! Наш, евпаторийский?

— Да.

— Давай скорей в тачанку, а то сейчас мужики опомнятся и посчитают тебя за вора. Ну, быстро, быстро! Заснул, что ли, малохольный? Дыши!

Леська послушно вскарабкался на заднее сиденье.

— Тебе куда?

— К театру.

Поехали. Леська стал приглядываться к женщине. Она выглядела необычно: на ней сочно лоснилась новенькая кожаная безрукавка, какие носят белые офицеры, рыжела шерстяная юбка, выгоревшая по швам до белизны, на ногах сапожки с низкими голенищами в байковых отворотах.

— А откуда вы меня знаете? — спросил Леська.

— Я всех ваших знаю. Все ко мне ходили: и Артур, и этот, Листиков, хоть у меня и нет двадцати тысяч.

— А зачем ходили?

— Эх ты, цыпленок! А зачем мальчики к женщине ходят?

Леську опалило пламенем: так с ним еще не разговаривала ни одна женщина.

— А тебя, курносик, я давно заприметила. Все ждала — придет же когда-нибудь. Мой будет.

Она рассмеялась.

Леська с любопытством продолжал разглядывать новую знакомую. Она была складная, подбористая.

— Как вас зовут?

— Тина Капитонова.
— А я Бредихин Елисей.
— Ну вот, значит, и познакомились?
— Познакомились.
— Врешь. Пока не зацелуешь, не узнаешь.
Леську снова обдало варом. Чтобы переменить тему, он перевел разговор на окорока:
— Скажите, а вам не стыдно, что вы украли на базаре вот эту свинину?
— Стыдно, когда видно. А насчет «украла», то зачем же так грубо? Скажи «покупила» или как-нибудь еще покультурней.
— Значит, угрызений совести нет?
— Совесть у меня чистая. Я вернула себе свое. Ты только подсчитай, сколько я этим торгашам переплатила за свою жизнь! Разве они, гады, нас жалеют? С чего ж это я должна жалеть их?
«Новая мораль,— подумал Леська.— Странная, если судить по данному случаю, но что-то здоровое, правильное, большое в ней все-таки есть».
Лошади подошли к театру.
— Устроишь билетика?
— Пожалуйста. Приходите. У нас начало в половине восьмого.
— Не приду,— вздохнула Капитонова.— Некогда мне: на фронт надо ворочаться.
— На фронт?
— Ну да. Я ведь красногвардейка. В нашем отряде состою.
— В евпаторийском?
— Ага. Хочешь со мной?
Красавцы вороные стояли, выгибая гребни могучих шей. В гривах играла черная радуга. Леське казалось, что от коней шел запах степных трав, хотя никакой зелени сейчас в степи не было. И от Тины веяло духом того самого вольного простора, какой он ощущал только на берегу моря.
Леська глядел на нее, не зная, что и сказать.
— На кой тебе тут валандаться? В свете такое делается, а он на базар ходит. Эх, парень!
Она вздохнула.
— Значит, не решаешься?
Лошади тронулись.
— Постойте! — закричал Леська.— Погодите!

Он побежал за тачанкой.

— Тпррр... Ну, я же знала, котик, что ты хороший. Не зря тебя заприметила.

— Только я должен сначала попрощаться... И вещички...

— Никаких тебе вещичек не надо, кроме ложки.

— А белье?

— Одну смену возьми, а больше и не думай. Где я там тебе стирать буду?

Леська вбежал в дом. Старики еще слонялись по квартире в халатах.

— Кто это тебя привез?

— Так, одна, из Евпатории. Мне пора возвращаться домой.

— Господи, так скоро?

— Почему скоро? И вообще, рано или поздно должен же я вернуться к бабушке и дедушке?

— Да, да, конечно.

— А как же театр? Кто будет говорить: «Она здесь!»?

Старик засмеялся и тут же заплакал.

— Ну, ну, Сенечка. Не надо так,— сказала Ольга Львовна.— Вот придут немцы,— начала она, словно рассказывая малышу байку,— отыграем сезон и поедем на курорт в Евпаторию, а там снова увидим нашего милого Лесю.

Вскоре Леська уже сидел на тачанке рядом с Капитоновой и держал в руках ее берданку.

— Куда же мы едем?

— Пока в Сокологорное, а там видно будет. Если наши еще не драпанули, значит, штаб сегодня же и найдем.

Город остался позади, такой уютный, в розовом тумане от дымов и дали. Жеребцы на бегу ревели, стараясь укусить друг друга, и страшно таращили кровавые глаза. Елисею каждый раз казалось, будто они закусили удила и, озверев, понесли. Но Тина спокойно держала чуть-чуть приспущенные вожжи, и, глядя на нее, успокаивался и Леська.

Снег на полях выветрился. На осенней вспашке торчал занесенный ветром бурьян и бежало перекати-поле. Но степь была индевелой и вся словно звенела сталью.

Далеко в стороне у чудовищно раздутого трупа лошади застыли два волка. Тина придержала коней, сунула Леське вожжи, рванула берданку и уверенно, не целясь, выстрелила.

— Промахнулась я! — засмеялась Тина так лихо, как если бы ударила без промаха.— Ну-ка, теперь ты попробуй.

— Хорошо. Только вы остановите лошадей.

Тина придержала вороных, которые совершенно не чуяли волков. Елисей долго целился и все время думал: «Хоть бы попасть! Господи, хоть бы попасть!» Почему-то, ему это было очень важно. Наконец он спустил курок. Волки повернулись и стали уходить курц-галопом.

— Эх, жалко! — крикнул Леська.

— У пчелки жалко,— сказала Капитонова.

Теперь она пустила коней шагом, давая им отдохнуть.

— Тина!

— Я Тина.

— Можно вам задать вопрос?

— Нельзя.

— Почему?

— О прошлом начнешь допытываться, а я его топором отрубила. Понимаешь? Так прямо топором!

Кони шли теперь тихо. Не стараясь обогнать друг друга, они вели себя очень смирно.

— Сколько вам лет, Тина?

— Двадцать восемь. А тебе?

— Уже восемнадцать.

— Уже?

— Неужели же вы так и не могли выйти замуж?

— Все-таки суешься в мое прошлое? Эх, все вы одинаковые... А что замужем? Подумаешь, счастье! Приходил вечером в дымину пьяный, заблеванный, вонючий. Я его обмою, переодену во все чистое, спать уложу, как маленького. Утром сбегаю в казенку за шкаликом,— опохмелиться человеку надо, а то ведь погонит по этажам. Чем ему плохо? Так нет же — подарочки любовнице носил, а мне одни синяки. Ну, да синяки я и от других могу получить. Видишь, у меня какой?

— А разве *так* лучше?

— Лучше. При коммунизме все так жить будут. Ведь все равно любви на свете не бывает.

— А как вы себе представляете коммунизм?

— Как? Все люди хорошими будут — вот как! Но-о, соколики, вперед! — вдруг закричала Тина и яростно засвистала, как разбойник, глубоко втянув нижнюю губу в рот. От этого миловидное лицо ее стало зверским.

Жеребцы рванулись и снова заревели.

Опять в стороне показалась падаль с ощеренными ребрами, такими выразительными, точно палый конь ими смеялся. Теперь на полуобглоданном трупе сидели птицы. Черные. Задумчивые. Под низкими облаками, которым, может быть, триста лет.

— Вот она какая, война! — закричала Тина, чтобы перекрыть грохот.— Ничего такого как будто нет, а все же ясно, что война. Ведь если б лошадь пала в мирное время, разве хозяин бросил бы ее со шкурой? А войне все нипочем.

Впереди замаячили всадники.

— Господи благослови,— тревожно зашептала Тина, наскоро перекрестилась и сунула берданку в сено.

Всадники мчались галопом. Они окружили тачанку. Было их семеро.

— Кто такие?

— А вы кто?

— А вы?

Начальник отряда, высокий, тонкий, уже пожилой человек в больших очках, переводил глаза с Тины на Леську.

— А ну, давай не шали! — гаркнула Тина так грубо, как только могла.— Нам еще далеко ехать.

— А куда, собственно?

— В Кологорное.

— Там большевики.

— А вы кто?

— А мы анархисты. Это отряд Комарова.

— А где же сам-то?

— А вот он сам,— сказал мужчина в очках.

— Это интересно! — неожиданно для себя выпалил Леська.

— Что именно интересно?

— То, что вы анархисты. Я еще никогда не видел анархистов.

— Ну что ж. Глядите. А только пошто вы, молодой человек, не в гимназии? Рождественские каникулы прошли, а до пасхальных еще далеко.

— Учителя наши разбежались,— по-ребячьи сказал Леська.

Комаров улыбнулся.

— А эта красавица кто?

— Милосердная сестра,— сказала Тина постным голосом монахини.— Вот везу братика к доктору. Ничего есть не может, бедняжечка.

— Ты бы еще всплакнула, Капитонова,— сказал Комаров.

— Вы... Вы меня знаете? — с необычной для нее робостью спросила Тина.

— Тебя весь фронт знает. А вот что ты Комарова не знаешь, это обидно.

— Знаю Комарова, да только понаслышке.

— Ну вот теперь воочию увидела. Сто лет будешь поэтому жить.

— А вы Бакунина читали? — спросил Леська.

— Я и Платона читал, молодой человек. Анархист без образования — это бандит.

— Неужели и ваши спутники читали?

— Нет, они еще бандиты,— засмеялся Комаров и, взмахнув плеткой, поскакал прочь. За ним понеслись все его конники.

— Хороший человек Устин Яковлевич,— сказала Тина, тронув лошадей.— Жаль только, старообрядец. Субботник или молоканин, не упомнила. На Урале таких много. Сослали ихнего брата зачем-то в Крым, вот он у них попиком стал. Душевный дядька. Справедливый. И ребят подобрал, говорят, каждый что каленый орех. Всего семеро, но авторитету человек на пятьсот.

В который раз Леська ощущал тихое счастье от душевного общения с женщиной. Неужели так будет всегда? До чего же чудесное явление жизнь, если такое продлится до самой смерти.

Когда лошади вступили в селение, Леська сразу узнал подле какой-то хаты автомобиль «фиат», на котором разъезжал Выгран. Он схватил Тину за руку.

— Здесь белые!

— Ну-у?

— Это автомобиль Выграна, начальника гарнизона.

— Был. А теперь товарища Махоткина.

— Какого Махоткина?

— Командира евпаторийской Красной гвардии.

— Значит, Выграна поймали?

— Значит, поймали.

— И где же он?

— В море,— произнесла Тина таким мирным, обыденным тоном, как если б сказала «дома».

У хаты стоял рослый часовой, похожий на жителя Сахары.

— Здорово, Майорчик!

— Здравствуй, Капитáнова,— ответил часовой.

— Привяжи коней, мальчик, а то я устала,— бросила Тина Леське.

Она соскочила с тачанки и вошла в хату, едва ступая затекшими ногами. Леська снова обратил внимание на ее низкие сапожки с байковыми отворотами. Где он такие видел? Но раздумывать было некогда.

Он спрыгнул с тачанки, взял вороных под уздцы, отвел в сторону и морским узлом привязал вожжи к тополю. Потом вошел в хату.

В комнате — полутьма. Керосиновая лампа с дырявым стеклом, залепленным обожженной бумагой, стояла на столе, едва освещая карту Таврической губернии. Над картой склонились два человека. Один лет тридцати пяти, сухой, подобранный, с тонким волевым лицом и зоркими глазами в глубоких орбитах — командир отряда Махоткин. Другой...

— Гринбах?

— Бредихин?

— Вы знакомы? — спросил Махоткин.

— Да, были когда-то,— угрюмо сказал Гринбах.

— Это я его сагитировала,— вмешалась Тина.— Он в Мелитополе актером служил.

— Актером? — изумленно спросил Гринбах.

— Симочка! Деточка! Принеси, дорогой, из моей тачанки гостинцев.

— Каких гостинцев?

— А какие найдутся.

Гринбах послушно встал и вышел на улицу.

— А ты откуда такая разнаряженная? — спросил Махоткин.

— Из разведки. А то откуда ж?

— Офицера поймали?

— Петриченко поймал. Офицерик щупленький — вот кожанка на меня и пришлась,— ответила Тина.

— А сапожки откуда?

— А это я у цыган покупила.

— «Покупила» — значит присвоила,— пояснил Леське Махоткин.

— У цыган? — взволнованно спросил Леська.— Да ведь это театральные наши сапоги! Их шили для венгерского танца.

— А мне все равно. Мои-то развалились.

— А медведя вы у них видели?

— Видела.

— А сапожки сняли с девушки Насти?

— Не знаю. Когда я отбираю, фамилии не спрашиваю.

— Но эта девушка была красавица, да?

— А какое мое дело! — ревниво отмахнулась Тина.— Может, и красавица, не заметила. Мне-то на пей не жениться.

— А где же эти цыгане?

— У немцев, наверное.

— Чего говорил офицерик? — спросил Махоткин.

— Ругался офицерик.

— Ты что дурака валяешь? Я тебя об чем спрашиваю!

— Устала я, Алексей Иваныч. А особых новостей нет. Лозовую взяли — вы это знаете.

— Я знаю немного больше: немцы заняли Мелитополь.

— Ну? Это пока мы сюда ехали?

— Плохой из тебя разведчик, Капитонова. Разве так воюют? Я, сидя здесь, знаю больше, чем ты в степи.

Вошел Гринбах с мешком за плечами. Он подошел к углу и сбросил ношу на пол.

— А вы что представляете из себя, гимназист? — спросил Махоткин.

— Пока ничего.

— Он сын рыбака! — с гордостью сказала Тина.

— А! Это уже кое-что. Хотите воевать с оккупантами?

— Хочу.

— А кто вас может рекомендовать?

— Да вот Гринбах может.

— Товарищ Гринбах,— поправил Леську Махоткин.

— Я его действительно знаю,— сухо отозвался Гринбах.— Но рекомендовать не могу. Толстовец он, Алексей Иваныч. Непротивленец.

— Гм... Видите, какого мнения о вас комиссар?

Гринбах — комиссар? Леська взглянул на Гринбаха с острым интересом. Сима как будто возмужал за то время, что они не виделись. А может быть, его взрослила форма военного моряка?

— А я что для вас? Пустышка? — заговорила Тина с железными нотками в голосе.— Раз я его привезла, значит, я за него ручаюсь.

— Ну ладно, ладно,— примиряюще заворчал Махоткин.— Будет работать в канцелярии.

— В канцелярии я работать не буду.

— А кто будет? Гора Чатырдаг? — первно отозвался Гринбах, не заметив, что привел евпаторийскую поговорку, от которой у Леськи дрогнуло сердце.

— С чего ж это он будет работать в канцелярии, когда у нас даже бабы воюют! — вскричала Тина.

— Если его послать на передовую, он станет стрелять в воздух,— заявил Гринбах.

— Зачем же на него так? — недовольно пробасил Махоткин.— Парень складный, силенка, видимо, есть,— вон плечи-то какие. А что толстовец, так ведь это дело вкуса, а оно в таком возрасте бывает зыбко.

— Спасибо! — обиженно бросил Гринбах.

— Речь не об тебе. Твой отец — марксист, тебе повезло. А вот я, к примеру, кровью закипал, прежде чем понял, что к чему.

— Хватит болтовщиной заниматься,— заявила Тина.— Где ему жить?

— Пока в теплушке. Через час отходим к Перекопу.

12

Леську сунули в вагон с анархистами. Устин Яковлевич сразу его узнал:

— Шабер! Идите в нашу компанию, будем картошку есть.

Он стоял перед Леськой — высокий, какой-то даже изящный. На нем лихо сидел древний рыжий чекмень с коричневыми заплатами на локтях, а вместо пояса — веревка, точно у монаха. Бойцы Комарова выглядели куда богаче: у кого зеленый китель, у кого френч, у кого штатская тужурка с военными пуговицами, а у кого и бархатная блуза. Сам же Устин Яковлевич оделся бедно, то ли потому, что исповедовал чистое Евангелие, то ли для того, чтобы бойцы не видели в нем стяжателя. Коммунизм он понимал как лозунг: «Равняйсь по нищему». Он и надумал быть таким «нищим».

— Что же вы? Гимназист! Сколько вас приглашать?

Леська подошел поближе и уселся на полу рядом с Комаровым. Анархисты поставили «буржуйку», трубу

вывели в единственное окошко, растопили чурками и стали печь картофель.

Леська с детства любил глядеть на пламя, вот и сейчас загляделся на огонь и впал в задумчивость. Невдалеке стояли четыре лошади, хрустя овсом и время от времени гулко стукая копытом по деревянному полу. Одна из них, совершенно красная, с лилово-заревыми отливами, повернула свою прекрасную голову к Леське и тоже загляделась, точно гадая: этот ли будет ее хозяином, или останется тот, прежний, который гонит в рысь, а облегчаться не умеет?

— Давно вы знаете Капитонову? — спросил Комаров.

— Нет. Только вчера познакомился,— ответил Леська.

— А об ней изволили слышать чего-нибудь?

— Пока нет.

— Так вот: не пугайтесь, коли услышите! Эта женщина зарубила своего мужа топором.

— Почему?

— Просто по человечеству. Супруг заставлял ее, извиняюсь, торговать своим телом и бил ее смертным боем, если она не приносила выручки. Как такую не оправдать? Вот мы и оправдали.

— «Мы»?

— Ага. Как раз я тогда был одним из присяжных заседателей, в то время состоявши пастырем баптистов.

— Простите, Устин Яковлевич, но если так, почему же вы на войне? Ведь баптистам, насколько я слышал, запрещено проливать чью бы то ни было кровь.

— Запрещено. Но я с недавнего времени более не баптист.

— Как же вы так внезапно переменили веру?

— А такие вещи только внезапно и делаются. Читал я всякие такие книжки, а перешагнуть через все это не мог. Может, духу не хватало. А когда случилась эта история с Караевым,— знаете, наверное? — я сразу поразительно все понял.

Леська покраснел. Смерть Караева образумила даже попика. Он вспомнил свой разговор с Гринбахом и стал как-то неприятен самому себе, хотя ни в чем упрекнуть себя не мог.

— А религия наша не самая худшая: у нас ни икон, ни облачений, никакого такого православного театра, где

священник играет Христа, а дьякон — ангела. Попы работают у нас бесплатно. Собирались в неделю раз и хором пели.

Мы все войдем в отцовский дом,
И, может быть, уж вскоре...—

запел Комаров довольно приятным тенором.

Как счастлив тот, кто в дом войдет!
Рассейся, грех и горе!

Или вот эта:

Осанна божью сыну,
Ибо он так любит нас!
Соблюдем же, как святыню,
Свыше данный нам наказ.

Кое-кто из головорезов подхватил песню и пел ее истово, смиренно, как и подобает подлинному христианину, отрицающему кровопролитие. Пели довольно сносно, не пытаясь перекричать друг друга, как это делают в деревнях. Леська прилег, оперся на локоть и глядел на одного Комарова. Вскоре Комаровых стало двое. Потом четверо. Наконец полная комната Комаровых.

— Спит! — тихо сказал Устин Яковлевич и приложил палец к губам. Пение прекратилось.

...Когда Леська проснулся, поезд стоял среди поля. Холодным огнем пылала заря, и от этого мир выглядел как-то особенно сиротливо. Но поле не было безлюдным: сотни молодух рыли окопы. Среди женщин ходили военные моряки и отдавали приказания. Вот мелькнул Гринбах. Он ходил по брустверу и что-то объяснял стоявшим на дне окопа. Потом и сам спрыгнул в окоп.

Каким чужим и далеким показался Леське его бывший друг, и в то же время как он вырос в его глазах... Очень не хотелось признаться, но в этом новом для Леськи человеке ощутимо отсвечивала революция.

К теплушке на паре вороных подъехала Тина.

— Ну-ка, где у вас тут наша гимназия? Не съели ее за ночь? А ну, давай на тачанку! Едем в город Армянский!

Леська спустился к Тине. Ему и в голову не приходило ослушаться.

И вот опять жеребцы начали свою грызню, и это казалось тем стихийнее, что мчались они теперь без дороги.

— Завтракал?

— Не успел.

Тина перевела аллюр на шаг, сунула Леське вожжи и принялась готовить завтрак. Леська увидел натюрморт,

достойный всех «малых голландцев»: появилась крупно отрубленная багровая ветчина, кое-где пропитанная зеленью селитры, полголовы русско-швейцарского сыра и строганина, взятая, очевидно, у сибиряков: на юге рыбу не строгают. Леська недоверчиво жевал нельму, стараясь угадать, с какой именно рыбой он имеет дело.

— В животике разберут,— в утешение сказала Тина.

Леська взглянул на нее внимательно: Тина зверски накрасила губы, щеки намалевала круглым румянцем под стать «яблокам» у карусельных коней, а брови толщенно растушевала гашеной спичкой.

— Зачем вы намазались? — брезгливо спросил Леська.

— Не нравится?

— Нет.

— Вчера нравилась больше?

— Да. Не люблю накрашенных.

— Слушаюсь, ваше благородье! — весело крикнула Тина и отдала по-военному честь.

Затем достала носовой платок, плеснула на него из большого медного чайника и начала стирать краску, не жалея ни губ, ни щек, ни бровей.

— Ну, как теперь?

— Еще немного. Здесь и вот тут.

— А теперь?

— Теперь хорошо.

— Поцелуешь за это?

— Не могу. У меня невеста.

— Невеста без места, жених без ума,— сказала Тина. Потом высоко подняла чайник и стала пить из носика.— На! Пей! У меня чашек нет.

Леська хлебнул — оказалось пиво.

— Теперь опять я.

Она сделала несколько глотков и снова передала Леське чайник. Так они менялись несколько раз. Ела Тина с заразительным увлечением. Вообще все, что она делала,— делала с аппетитом. Леська смотрел, как вонзаются ее звонкие зубы в ветчину, как наливаются ее пышные губы, как она пьет — большими звучными глотками,— и думал: эта женщина зарубила топором своего мужа...

Вскоре их обогнал «фиат», в котором сидели Махоткин, Гринбах и актриса Светланова 2-я.

«Как она сюда попала? — подумал Леська.— А что же с театром? Ведь она была там примадонной».

Но вот вдали показались строения: Армянск. За все свои восемнадцать лет Леська никуда не выезжал из Евпатории. Городов он не знал, если не считать Мелитополя, и теперь каждое новое название вызывало в нем острое любопытство.

Армянск, или, точнее, Армянский Базар, оказался довольно уютным городишком. Никакого особенного базара, давшего ему имя, здесь не существовало и в помине. Зато он стоял ближе всех к Турецкому валу, и поэтому его облюбовали штабы нескольких красногвардейских отрядов.

Когда тачанка вошла в городок, Леську поразило обилие народа. Одетые кто во что горазд, но все с красными бантами, бойцы, составив ружья в пирамиды, стояли, сидели, лежали, и у всех на лицах одно общее выражение: ожидание новизны. Первый же приказ прозвучал громогласно, но без шутки: «К принятию пищи готовьсь!» Революция понимает юмор: раздался добродушный смех, но все потянулись к обмоткам и голенищам за ложками. Вскоре стали подъезжать походные кухни, возы и мажары. Привезли рисовую кашу, горячие пирожки с повидлом, сладкий чай. Конечно, ложек и кружек не хватило, все же накормили всех. Некоторые брали по две и три порции. На это никто не обращал внимания — может быть, впервые люди наедались досыта.

Потом отряды повзводно зашагали в синематограф — двухэтажный сарай с галеркой. Вороные подошли к самому входу. Тина, приказав первому встречному привязать лошадей, соскочила с тачанки и взяла Леську под руку. Леська резко отшатнулся: ему было стыдно.

В партере они сели рядом, Тина тут же схватила Леськину руку пальцы в пальцы.

Леська подчинился — благо в зале темно и никто не видит. Стали глядеть на эстраду. Над ней — огромный плакат: по кумачу белыми буквами:

> «У ПРОЛЕТАРИАТА НЕТ ИНОГО
> ОРУЖИЯ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ,
> КРОМЕ ОРГАНИЗАЦИИ».
>
> *ЛЕНИН*

Потом на эстраду вышел Самсон Гринбах и скомандовал: «Внимание!»

Разложив перед собой на кафедре бумажки с цифрами и цитатами, он начал говорить. Речь его была посвящена моральному облику красногвардейца.

— Кто такой красногвардеец? Это человек, который делает благороднейшее дело: посвящает свою жизнь освобождению эксплуатируемых от гнета эксплуататоров.

Елисей вспомнил Самсона в гимназической тужурке. Он бойко отвечал урок у черной доски или у цветной ландкарты. Так же бойко говорил он и сейчас. Чувствовалось, что речь свою он выучил назубок, и Леська угадывал в его голосе печатные строки.

— Первый устав Красной гвардии был принят Выборгским райсоветом в апреле тысяча девятьсот семнадцатого года. Цель Красной гвардии: отстаивание с оружием в руках всех завоеваний рабочего класса. Одним из таких завоеваний является интернациональный характер советского строя: охрана интересов трудящихся всех национальностей.

Бойцы слушали Самсона, затаив дыхание. Многие из них впервые присутствовали на лекции. Хотя не все слова были им понятны, главное доходило: они должны вот этим штыком и этой гранатой драться за то, чтобы власть во всем мире и в Таврической губернии перешла к тем, кто в поте лица своего зарабатывает хлеб свой.

— Красная гвардия — самая идейная армия в мире! — говорил Гринбах.— В этом ее непобедимость. Вы смотрите, что делалось в Киеве. На стороне Временного правительства — юнкерские училища, школа прапорщиков, Чехословацкий полк, организация георгиевских кавалеров, белоказаки и воинские части военного округа. Вдобавок из Черкасс направлено три батальона ударников. Генерал Духонин снял с Юго-Западного фронта боевые подразделения и бросил их против большевиков. Как видите, все обученные, опытные люди, профессионалы войны! И это против рабочих, которые не имели никакой солдатской выучки. А чем кончилось, товарищи? Полным разгромом белогвардейщины! Почему? Потому что белые дрались за свои брильянты, а красные — за жизнь, за судьбу, за будущее всего человечества!

Теперь Бредихин видел перед собой уже не гимназиста: это был настоящий политический вожак, и говорил он не зазубренное, а свое, кровное, которое было кровным и для всех бойцов. Леська подумал, что он, Леська, не смог бы выступить с такой речью: пороха не хватало. И опять в нем шевельнулось что-то робкое — среднее между страхом и уважением.

Две трубы, флейта и барабан, которые до этого исполняли в городе польки-кокетки, венгерки и краковяки, заиграли «Интернационал». Все встали и спели пролетарский гимн.

Это было время, когда народ все воспринимал впервые, как воспринимает юность. Несмотря на бои, на драную одежонку, на худые обмотки, бойцы чувствовали себя счастливыми. Жили с самого детства утлым бытом — кругом нехватка, будущего нет: если рабочий — сопьешься, если мужик — пуп сорвешь. И вдруг такая о них забота: вводят в понятие, заставляют думать обо всем земном шаре, а потом еще и концерт. Когда это они жили такой жизнью?

На сцену вышла Светланова 2-я. Забыв до лучших времен арии из «Сильвы» и «Цыганского барона», она спела революционные песни — «Варшавянку» и «Замучен тяжелой неволей», собралась исполнить третью, как вдруг на ее лицо упала мокрая шелушинка: кто-то на галерке щелкал семечки и сплевывал в белый свет, куда попало.

— Занавес! — властно крикнула артистка и гордо ушла за кулисы.

Опустили занавес. В зрительном зале вспыхнул свет. На просцениум перед суфлерской будкой вышел Самсон Гринбах.

— Товарищи! Кто-то на галерке лузгал подсолнухи и плюнул лушпайкой в актрису. Вы — красногвардейцы, вы этого не сделаете. Так кто же это сделал? — загремел он патетически.

— Расстрелять такого! — раздался чей-то голос.

— Расстрелять! Расстрелять! — закричало множество голосов.

Комиссар одобрительно кивнул головой.

— Правильно!

И добавил:

— Если повторится.

В зале снова погасили свет. Концерт продолжался. Но Елисей не слушал: душа его рвалась за комиссаром. Как он ему завидовал! Симка выходит перед бойцами в полном сознании своего авторитета. Он нашел нужные слова, нашел решение, которое, не расходясь с желанием массы, было все-таки *его* решением. Но почему он назвал шелуху «лушпайками»? Это не его словарь: он человек интеллигентный.

— Боец Бредихин, к выходу!

Леська вздрогнул.

— Боец Бредихин здесь?

— Здесь!

— К выходу!

Елисей стал пробираться между рядами. За ним пошла Тина.

В вестибюле ожидал их боец с берданкой.

— Ты Бредихин?

— Я.

— Немедля до командира.

Тина села на переднее сиденье, Леська с бойцом на заднее, и тачанка помчалась по узким улицам к опрятному особняку, одному из лучших в городе.

— Даю тебе, Бредихин, первое задание,— заговорил Махоткин.— Имеются сведения, будто Крымский банк рассовал золотой запас по самым невзрачным городишкам. Один из таких — Армянск. Так вот. Поезжай в казначейство. Тебе поручается реквизировать весь золотой фонд и доставить его в целости и сохранности, а мы уж переправим его в Симферополь. В случае сопротивления или нападения применить оружие. Все понял?

— Все.

— А тебе понятно пролетарское право реквизировать буржуйское золото?

Леська вспомнил Тину и ее реплику: «Я вернула себе свое!»

— Понятно.

— Правду говоришь?

— Правду.

— Вот и хорошо. Можешь быть вольным.

На улице по-прежнему стояла тачанка, но на ней уже установили пулемет. По обеим его сторонам поместились два бойца с берданками. На козлах, перебирая вожжи, сидел какой-то мужчина в штатском пальто, но в солдатской папахе из серой смушки.

— Будем знакомы, товарищи: я здешний ревком. Точнее, одна пятая ревкома, поскольку тут руководит «пятерка». Садитесь рядом. Поехали.

Тина стояла на тротуаре и сумрачно глядела на Леську. Он улыбнулся ей, но она не ответила. «Ревком» тронул жеребцов вожжами, и нервные звери взяли с места.

В лицо ударил ветер. Леська глубоко вздохнул и впервые почувствовал себя личностью: ему официально пору-

чили большое дело, связанное с борьбой за революцию. От этого чувства все окружающее приобрело какое-то особое значение. Леська вспомнил стихи одного гимназического поэта:

А в поле пахнет рыжий мед
Коммунистических идей...

Стихи эти прежде казались ему нелепыми, но сейчас он подумал о том, что поэт что-то такое все же в них уловил. Что-то очень большое. Небывалое!

Леська всем телом повернулся к «Ревкому»:

— Скажите, товарищ: а что такое, в сущности, коммунизм?

— А кто его знает? — весело ответил «Ревком».— Есть коммунисты-индивидуалисты, есть коммунисты-анархисты. Я в этом еще не разобрался,— сам плаваю. А спроси меня, что такое социализм, это я знаю крепко: ни буржуев, ни помещиков, а власть рабочая.

— А куда девать интеллигенцию?

— А интеллигенцию к стенке!

О крестьянстве забыли и тот и другой. Так оно и не узнало о своей социальной судьбе.

Подъехав к зданию казначейства, увидели на двери объявление **«Временно закрыто»**.

— Ух ты! «Временно»...— сказал «Ревком».— Ты понимаешь, гимназист, в чем цымус этого вопроса? «Временно» — это значит революция. Скажи на милость! Он уже установил для нее сроки. Ах, гадина!

«Ревком» соскочил с тачанки и поманил пальцем одного из красногвардейцев.

— Боец! Ступай и приведи ко мне дворника.

Красногвардеец с берданкой вошел во двор.

— Народ знает все. От него не укрыться. Поимейте это в виду, молодой человек. Мало ли что придется в жизни.

Появился дворник.

— Фамилия? — строго спросил «Ревком».

— Васильев,— неестественно высоким и в то же время жирным голосом ответил дворник, точно он наелся крутых яиц.

— Имя?

— Федор.

— Отчество?

— Никитич.

— Род занятий?

— Дворники мы.

— У революции дворников нет. Будешь отныне прозываться «комендант». «Комендант казначейства»! Крепко? Так вот, товарищ комендант: хочешь пособить народной власти?

— С дорогой душой! — заорал Никитич, когда понял, что расстреливать его не будут. Он сильно кашлянул и вернул себе свой голос.

— Вот тут написано, что казначейство закрыто. Допускаю. Ну, а куда же девалось начальство? Сам-то где? Сбежал? Дома его нет, комендант.

Никитич хитровато усмехнулся:

— Да по форме вроде и сбежал, а на самом деле у меня в подвале хранится.

— У тебя? Здесь?

— Ага.

— Вот это расчудесно! Вот это по-моему! Молодец, Никитич,— сохранил зверя для нашей охоты. Пошли, Никитич!

Начальник казначейства лежал в постели под лоскутным одеялом.

— Чем страдаете, дорогой?

— Малярия у меня. Трясет так, что просто сил нет.

Действительно, у несчастного зуб на зуб не попадал, и вообще вид у него был самый плохой.

— Малярия? Хорошо. Очень хорошо. А только почему вы, господин, валяетесь в этом подвале, когда у вас есть мировая квартирка на Перекопской улице, дом номер четыре?

Казначея начало трясти еще сильнее.

— А разве вы меня знаете? — спросил он.— Может быть, с кем-нибудь путаете?

— Может быть,—сказал «Ревком».—А меня вы знаете?

— Впервые вижу.

— А я как раз доктор. Буду вас лечить. Ну-ка, садитесь! Да не на кровати: тут мне совсем не с руки вас выстукивать. Садитесь вон на тот стул.

— Не могу...— вяло протянул больной.— Сил нет...

— Садись! — грубо прикрикнул на него «Ревком».— А то я так тебя выстукаю — не обрадуешься.

Казначей, испуганно покосившись на кровать, довольно бодро пересел на стул. Но косой его взгляд не пропал даром. «Ревком» кинулся к постели, поднял тюфяк, и все увидели на сетке два кожаных мешка, лежавших впритирку один к другому, точно два черных поросенка.

— Золотишко! — сказал «Ревком» умиленно.— Золотишко...

Он развязал один мешок, запустил туда могучую руку, набрал полную горсть царских пятерок и жаркой струей высыпал их обратно.

Леська, широко раскрыв глаза, увидел Клондайк и трапперов, которые увозили золото сначала на полярных собаках, потом на лодках, свергающихся в бездну с водопадов, наконец, на колесных пароходах с длиннющей трубой, чтобы в конце концов пропить его в любом салуне.

— Боец! — крикнул «Ревком».— Снеси мешок в тачанку. А ты, гимназист, возьмешь второй.

Красногвардеец, закинув берданку за плечо, схватил в охапку одного «поросенка» и понес его к выходу. Леська — за ним. Когда они вышли на улицу, там уже собралась толпа. Елисей подошел к тачанке и свободным движением бросил мешок прямо под пулемет, но красногвардеец кинул неладно: его мешок плюхнулся о крыло, треснул по шву и упал на мостовую. Из него хлынуло солнце и, веселя всех своим горячим блеском, покатилось каплями кто куда.

Толпа бросилась подбирать. Еще бы: тут катилось человеческое счастье...

— Не смейте! — отчаянно закричал Леська.— Это деньги народные!

— А мы сами кто? Не народ? — засмеялся кто-то.

«Ревком» сорвал с головы папаху и крикнул:

— Граждане России! Все собранные монеты сыпьте сюда. Я член ревкомовской пятерки товарищ Воронов.

Какая-то часть толпы потянулась к шапке и набросала в нее довольно много золотых.

Когда разодранный мешок был уложен на свое место, когда Воронов осмотрел все пространство под тачанкой и вокруг, когда, влезши на облучок, пронзительно оглядел чуть ли не каждого из толпы, лошади тронулись. Только теперь в воротах возник уже совершенно выздоровевший казначей, пытаясь угадать, куда увезли его сокровища.

— А тебе, боец, расстрел полагается,— сочувственно сказал красноармейцу Воронов.— У нас ведь тюрем нет и не будет.

Леська вспомнил крейсер «Румыния». Как у них все просто! А ведь, пожалуй, в самом деле красноармейца расстреляют...

Елисей решил всю ответственность принять на себя. Как только подъехали к штабу, он схватил разодранный мешок и, уложив его на руки, как младенца, вбежал в особняк первым.

За столом сидели Махоткин и Гринбах. Они пили чай со связкой сушеных яблок вместо сахара.

— Рапортуйте! — сказал Махоткин.

— Да уж не знаю, как рапортовать... Вина, в основном, конечно, моя. Надо было оба мешка нести мне самому. А я...

Он рассказал всю историю.

— Эх, шляпа! — раздраженно выругался Гринбах.— Даже этого нельзя тебе поручить.

— Шляпа-то шляпа,— смеясь, поддержал Махоткин.— А красногвардейца не виню: откуда народу знать, сколько весит золото?

Вошел Воронов, неся полную папаху червонцев. За ним красногвардеец с исправным мешком. Все это возложили на стол.

Гринбах и Бредихин переглянулись.

— Ну, как? Доложил, гимназист? Давайте считать убытки.

— Товарищ боец! Будьте за часового! — приказал Махоткин.— Станьте у дверей и никого сюда не впускайте. За неисполнение — расстрел.

Махоткин и Воронов принялись считать наличность первого мешка, чтобы выяснить, сколько вообще должно быть в мешке золотых монет. Они укладывали пятирублевки в столбики по десяти штук. Леське тоже хотелось считать, но он не посмел.

— Пятьдесят. Пятьдесят. Пятьдесят.

Вскоре стол весь был уставлен маленькими золотыми колонками. Иногда какая-нибудь пятерка срывалась и катилась по полу.

— Лови золотинку! — кричал Воронов.

Елисей бросался к монете и приносил ее на раскрытой ладони, как золотую рыбку. При всей ненависти коммунистов к «презренному металлу» этот металл заставлял относиться к себе с уважением. Люди, которые до сих пор обладали в жизни только двумя-тремя монетами подобной ценности, возбужденно купали руки в горячем золоте и время от времени похохатывали нервным смехом.

Когда золота много, оно, оказывается, отливает таинственным красноватым светом. Таинственным потому, что,

если поглядеть на него в упор,— желтое, и только. Но стоит чуть-чуть отвести глаза, и золото вспыхивает красноватым ореолом, который воспринимаешь боковым зрением. Леська перебегал глазами из стороны в сторону — и тончайшее алое пламя металось от него вправо и влево. От этого почему-то становилось жутко...

— Почему золото отливает красным? — спросил Леська, ни к кому не обращаясь.

— Ясно почему,— ответил Махоткин,— на нем кровь.

— А вы знаете фокус с головой его императорского величества? — хихикая, спросил Воронов.

Он взял одну монету, положил ее царским лицом вверх и, прикрыв ладонью профиль, оставил темя, затылок и ухо. От этого ухо стало подслеповатым глазком, а затылок — рылом.

— Свинья! — захохотал Воронов.— Истинная свинья!

— Шестьсот штук свиней! — провозгласил Махоткин.— Три тысячи рубликов, иначе говоря.

— Завязывай, гимназист! Стоишь, ничего не делаешь.

— Вы меня не приглашаете...

— Это на польку приглашают, а к работе сами рвутся. Если, конечно, дело революционное.

— Давай худяка! — скомандовал Воронов.

И снова музыкальные струны золота, и снова монотонный счет. В разорванном мешке оказалось пятьсот пятьдесят.

— Считайте в шапке! — крикнул Воронов и плеснул из папахи пламя на стол.— Убытки, видать, будут невелики. А что пропало, то все пошло народу, а не буржуятине.

— Пятьдесят,— объявил Гринбах.

— Последние пятьдесят! — взволнованно сказал Махоткин.— Итак, ровнехонько шестьсот — до одной копейки. Ни один золотник не пропал.

Люди глядели друг на друга словно зачарованные.

— Вот это да! Вот это, братцы, революция!

Уже два дня, как Леське не давали никаких поручений, и, не зная, куда себя девать, он пошел по направлению к Турецкому валу.

«Воюю, как Пьер Безухов!» — не без юмора подумал Леська.

Степь поблескивала солончаком, и пахло от нее морем.

По дороге на Перекоп мажары везли женщин, едущих рыть окопы. А навстречу, от перешейка, в глубь Крыма разорванной цепочкой шли беженцы. Леська подошел к самой дороге, высмотрел проходящую телегу, вскочил на нее и поехал на север. Возница искоса взглянул на него, но ничего не сказал и только чмокнул на лошадей. Женщины тоже не обратили на него внимания,— навалившись на плечи соседок, они старались доспать недоспанное.

Леська оказался рядом с какой-то молодкой в мужском пальто и цветастом платке, надетом на шерстяной. Франтиха уютно зарылась в свою товарку и сладко посапывала. Над степью летали хищные птицы, высматривая падаль. Потревоженные суслики то и дело выскакивали из своих норок и с откровенной любознательностью глядели на дорогу. От этого нежного утра, от морского запаха, от женщин, птиц и сусликов, от своих восемнадцати лет и ощущения чего-то векового во всем, что делалось в степи, Леська испытывал наивное счастье...

Но вот женщины зашевелились: у кого-то из них заныло правое плечо, и они тут же, без всякой команды, но всем строем перевалились на левые плечи. Молодка, сидевшая с краю, рухнула спросонья на Леську и, не раскрывая глаз, удобно устроилась на его плече. Леська слышал на своей щеке дуновение ее ноздрей,— и теперь счастью его не было предела. Он смотрел на ее ресницы, русые, с обгорелыми кончиками, на твердый носик бабочкой, на линию губ, такую свежую, точно они никогда не знали поцелуя,— и подумал о том, что эта женщина стала ему дорогой, что он ее вовеки не забудет и что в той доверчивости, с какой она, незнакомая, прильнула к нему, тоже есть что-то огромное, народное, мировое...

Вскоре женщины снова перевалились с левого плеча на правое. Молодка открыла глаза — они были серыми,— поглядела на Леську крупным планом, улыбнулась ему и, застыдившись, прислонилась к плечу подружки. На щеке ее оттиснулась пуговица гимназической шинели.

Леська сидел обиженный, как ребенок, у которого отобрали куклу. Сейчас вполне естественно было бы прилечь на плечо молодки. Вряд ли она стала бы сердиться. Но он почему-то струсил. Так и сидел. Один-одинешенек.

От нечего делать стал разглядывать беженцев. Здесь были целые семьи с детьми, которых везли на ручных тачках, несли на руках, на шее, на спине. Но больше

одиночек. Один из них показался Леське знакомым. В коричневой бекеше и черном купецком картузе, он нес на хребте мешок, а через плечо гусли. Ну да, это Агренев-Славянский.

— Вадим Васильич!

Беженец остановился и стал озираться: кто бы это мог его окликнуть? Леська слетел с мажары и побежал к нему.

— Леся? Какими судьбами?

Они расцеловались.

— Вы в Симферополь? — спросил Леська.

— Все равно куда, только бы не у немцев. А еще противнее — у гайдамаков. Нет, вы подумайте: гайдамаки помогают Германии захватить Малороссию!

Агренев опустил на землю мешок, который тут же принял очертания сундучка.

— Присядьте! — пригласил он Бредихина и сел на краешек сам.

Леська уселся рядом.

— Что же вы собираетесь делать?

— Поступлю куда-нибудь учителем. Вы думаете, очень было приятно выступать в этом «Гротеске» с босоножками и медведями? У меня искусство серьезное! Понимать надо!

— Да, да. Понимаю. Мне нравится ваша идея о революционном характере Ильи Муромца.

— Почему *моя* идея? Никак не *моя*. Вы поймите: на каждую тему былин приходится в среднем по сорок вариантов. Есть среди них запрещенные. Так вот: каждый, кто прочитает эти запрещенные, великолепно разберется в них и без помощи «моих» идей. Но где и с кем об этом говорить? На былинах налипло столько казенщины, что просто уму непостижимо. Как нужно ненавидеть правду, чтобы так распорядиться сокровищем духа народного!

— Но ведь Муромец во многих былинах действительно был предан князю, как самый ревностный телохранитель.

— *Был!* В том-то и дело, что был. А когда? До семнадцатого века. Но как только появился Стенька Разин, произошло коренное изменение: Илья принял облик бунтаря и из мифического образа превратился в образ исторический.

Обогнув мажары, на дорогу выкатился автомобиль марки «фиат», весь в штыках и с пулеметом на заднем сиденье. Охраны было много, и вся она стояла, опираясь на винтовки. Леська вскочил и поднял руку. Машина подошла вплотную. Остановилась.

— Вы куда, Алексей Иваныч? В Симферополь?

— Ага. Золото твое везу. А ты что тут делаешь?

— Довезите человека до города.

— Оружие есть? — строго спросил Агренева Махоткин.

— Нет, нет! Что вы!

— Ну, тогда садитесь. А ты, гимназист, вот что: пойдешь на тачанке в разведку. Скажи комиссару: я приказал.

Автомобиль подхватил гусляра и умчался. Леська глядел ему вслед и видел человека, который несся в глухое одиночество, хотя было ясно, что он прав и настанет день, когда люди это поймут. Но сейчас России некогда думать даже об Илье Муромце. И эта маленькая несправедливость эпохи, тонущая в огромной справедливости революции, охватившей судьбы миллионов, ни в ком не вызовет горечи. Бедный, бедный Вадим Васильич...

Леська вздохнул и, подождав новую мажару, устроился рядом с кучером. Смотреть на женщин Леська опасался: он уже понял всю слабость своей натуры.

Когда добрались наконец до траншей, Леська увидел Гринбаха, молодцевато сидевшего на красном коне. Конь, жеманно переступая передними ножками, стоял перед группой анархистов.

— Старообрядцы — народ занятный! — посмеиваясь, говорил Гринбах.— Есть такой анекдот. Однажды во время русско-германской войны командование российской армии мобилизовало даже старообрядцев. Вот один из них попал на передовую. Немцы перед атакой, сами понимаете, начали артподготовку. Летит «чемодан» — бах! Крики, стоны, кровь... Старообрядец удивленно выскакивает на бруствер. Увидел цепь наступающих немцев и кричит им: «Вы с ума сошли! Тут же люди сидят!»

Все расхохотались.

— А чему вы, собственно, смеетесь? — спросил Леська.— Этот старообрядец был совершенно прав. А мы, морально изуродованные чудовища, привыкшие к человеческой бойне, видим в его правоте одно смешное.

— Ты опять за свое? Христосик! — повернулся к Леське Гринбах.— Чего тебе надо на фронте?

— Не твое дело! — грубо ответил Леська.

— А вы напрасно, комиссар, с ним эдак разговариваете,— сказал Устин Яковлевич.— У товарища душа есть. Нынче это ценить надо.

— Ух ты, какой разговор — прямо з-зубы болят!

— И Виктор здесь?

— И Виктор. А куда же ему деться? — сказал Груббе, подавая Леське руку.— Ты вот, комиссар, его ругаешь, а он за тебя какой номер выкинул. Помнишь? Вся Таврия про это гудела!

Леська опустил веки.

— Если бы речь шла обо мне,— сказал Гринбах, страшно побледнев,— я бы ничего, кроме благодарности... Но вопрос о революции. И мы тут не ученики евпаторийской гимназии, а *идеи*. Тебе, Виктор, этого не понять, а Бредихин, конечно, понимает. Понимаешь, Бредихин?

— Того, что человек превращается в идею, я не понимаю и понимать не хочу. Но я понял то, что́ ты сам о себе думаешь,— и это меня с тобой примиряет.

— Да. Думаю, что я идея. Не хочу в себе ничего человеческого. С корнем вырываю! Ненавижу это в себе! Благодарность, снисходительность, милосердие — все это не для пролетариата. Потом, потом! Когда-нибудь!

Он хлестнул коня и ускакал, тряся локтями.

— А ездить, между прочим, не умеет,— заметил кто-то.

— Научится. Разве тут его сила? — задумчиво произнес Устин Яковлевич.— Человек он зарный, себя не жалеет, все только об революции мечтает. Что на него серчать? Дай боже всем нам вот эдак. Мы их, явреев, били, погромы устраивали, а они вон каковы оказались на поверку.

— Мы евреев не били,— сказал Виктор.— Било хулиганье, закупленное полицией. А меня, брат, не купишь. И тебя тоже.

Юности свойственна романтика. Романтику не затравишь. Не выкорчуешь ее. Если преградить ей рост в высоту, она станет извиваться в узлы и петли. И вот, лишенные науки и искусства, отрезанные от военной, морской, железнодорожной и других профессий, еврейские юноши, не желавшие корпеть над заплатами и нюхать аптекарские капли, увидели романтику в уголовщине. Так родились знаменитые одесские налетчики — Моткэ Малхамовес, Беня Крик, Филька-анархист,— великолепное уродство царской национальной политики. Они создали свой мир, со своей этикой, со своими железными обычаями, со своей «блатной музыкой».

Октябрь сдул с России все рогатки, барьеры, проволочные заграждения. Россия ста народов хлынула в революцию. Так родился могучий образ еврея-комиссара.

Откуда у Симы матросская бескозырка с громогласным названием черноморского дредноута «Воля» — дело его. Но это влекущее слово как бы нашло в молодом комиссаре свое воплощение. Этот парень не только делил с бойцом последнюю пулю, но мог толково объяснить простому человеку его естественное право на счастье.

13

— Ну вот, ушел,— разочарованно протянул Леська.— А мне приказано идти в разведку. Кто же меня теперь поведет?

— Со мной пойдешь,— сказал Груббе.— А эти ребята, антихристы, или как их там, поедут у меня в тылу. Я ваше начальство.

— Слушай, Груббе,— сказал «антихрист».— Пошто ты здесь? Твоя статья быть в Евпатории. Ты ведь там продкомиссар.

— Пеламида! Как я могу усидеть, когда тут такое делается?

— Стало быть, ты тут временно?

— Ага. На гастроль прибыл. Вот и Сенька Немич тоже.— И вдруг обратился к Леське: — Ну, давай садись. Вон моя карусель стоит.

Леська увидел знакомых вороных. На облучке сидел Петриченко и сворачивал цигарку из розовой промокательной бумаги без табаку.

— Ты что мастеришь, чудило? — окликнул его Виктор.

— А это, браток, великая вещь — промокашка. Ничего в ней нет, а курится.

— Сам ты курица,— сказал Виктор и вынул кисет.— На! Кури! Не позорь Евпаторию.

Тачанка была с пулеметом.

— Умеешь стрелять, гимназер? — спросил Петриченко.

— Нет еще.

— Тут самое важное не сробеть, когда на тебя несутся конники. А в общем, вот гашетка. Нажмешь ее — и поливай влево и вправо.

Петриченко, свертывая цигарку и не беря вожжей, чмокнул на вороных и спокойно сказал: «Вперед». Лошади

дернули и сразу пошли рысью. Когда проезжали перешейком, Леська с интересом наблюдал справа красноватые заливы Сиваша, слева — синюю рябь Черного моря. Густую синеву Черного он знал хорошо, а вот бледную воду Азовского видел впервые.

— Почему красная? — спросил он Виктора.

— А кто ее знает? Красная — ну и красная.

— От водорослей это,— сказал Петриченко.— «Солонцы» называются. От них и червячки, что здесь живут, тоже наливаются краской.

За спиной раздалось чмяканье копыт: это шла тачанка анархистов — буланый и чалый.

Показались соляные промыслы. В высоких резиновых сапогах шлепали по воде рабочие.

— Э! Пролетариат! — закричал Устин Яковлевич.— Пошто это вы сегодня не на работе? Немец придет — вас заберет. В Красную гвардию пора, класс вы эдакий рабочий!

— Успеется! — крикнул кто-то вдогонку.— Без нас не обойдется.

У выхода из Крыма блистал на рельсах бронепоезд. Он состоял из трех частей: одетый в броневые заплаты локомотив, за ним платформа со стальным кубом, из которого высовывалось дуло шестидюймового орудия, и, наконец, другая платформа, тоже забранная сталью, но со спущенными до поры до времени бортами. На ней при четырех «максимах» сидели и стояли черные силуэты моряков, похожие на орлиную стаю. С точки зрения архитектуры бронепоезд не представлял собой произведения искусства. Откровенно говоря, ничего более аляповатого война не создавала. Но в эпоху гражданской войны это уродище было самым грозным оружием.

— Привет сухопутным крысам! — крикнул Груббе и высоко поднял бескозырку.

Только теперь Леська прочитал на ней название: «Судак».

— Почему ты «Судак»?

— А почему Самсошка — «Воля»?

— Ну, воля все-таки что-то такое значит — большое, всеобщее.

— Да, да. А зато судак вкуснее.

От бронепоезда отделился Гринбах и поскакал к ним на красном коне, отчаянно махая локтями.

— Наша задача,— сказал он, подъезжая,— обследовать степь до станции Ново-Алексеевка. За мной!

Вскоре из-за горизонта всплыли очертания водокачки, вокзала, а затем и самого села. Комиссар придержал Красного. Подошли тачанки.

— Как думаете, немец там?

— А кто его знает? Подъедем — узнаем.

— Нет. Так нельзя-а,— рассудительно протянул Устин Яковлевич.— К медведю в берлогу головой не лезут. Следов надобно искать! На всякий случай поедем шагом.

Вдалеке показалась точка. Комиссар вскинул бинокль.

— Девчонка гонит корову,— сказал он.— Вперед!

Корова была костлявая, и хотя черно-пегая, но далеко не голландка. Она удивленно уставилась на красного коня, который приседал перед ней, не находя себе места. Что же до девочки лет двенадцати, то была она до того конопата, что невозможно было определить черты ее лица. Две косички, смазанные деревянным маслом, торчали, как рогалики, одна над правым ухом вверх, другая над левым — вниз.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Гринбах.

— Клавдя.

— А фамилия?

— Гребенко.

— А сколько тебе лет?

Девочка лукаво стрельнула в комиссара глазенками:

— Фатает!

Все рассмеялись. Девочка тоже, хотя и не понимала почему.

— А скажи, дорогая, где сейчас немцы?

— А я почем знаю?

— Не знаешь, а бежишь?

— Это я от гайдамаков бежу.

— А где они, гайдамаки?

— У Ново-Алексеевке.

— Откуда ж там гайдамаки? Ты что-то путаешь.

— Зачем путаю? Неужели ж я гайдамаков не узнаю? Жупаны синие, шапки черные та ще с красным нутром.

— Что ж они там делают?

— Беженцев граблють... «Что!..»

— И много их?

— Кого? Беженцев? Тьма! Поездов дожидаются — кому куды.

— А гайдамаков сколько, как ты думаешь?

— Штук пятнадцать наберется.

— А ты считать умеешь? — спросил Петриченко.

— А як же ж! До десяти! — ответил за девочку Виктор.

Снова смех. День начинался весело.

— Все-таки неясно,— сказал комиссар.— Откуда тут гайдамаки? Месяца два назад, а именно двадцать пятого января, наши разгромили Петлюру. Недобитки бежали на Житомир и Винницу. Было их полторы тысячи. И все разбиты в пух!

— А может, и не в пух? — раздумчиво промолвил Устин Яковлевич.

— Но у меня же информация!

— А девочка — не информация?

— Девочка могла ошибиться.

— В красках ребенок не ошибется,— вставил Леська.

Гринбах его не слушал.

— Дельное замечание! — одобрил Комаров.— Ну да ладно! Гайдамаки, не гайдамаки — будь хоть сами черти рогатые,— ехать нужно. Айда?

— Айда.

Сразу взяли предельный аллюр. Влетели на вокзальную улицу и тут же увидели, как в пестрой толпе вертелись на лошадях хлопцы в синих жупанах и черных с красным шлыках. Нагайками хлестали они по лицам беженцев и орали во всю мочь:

— Рразойди-и-ись! Без вещей!

Люди шарахались в стороны и, побросав чемоданы, пытались скрыться в переулках.

Комиссар вытащил наган. Взмахивая им, проскакал до второго переулка.

— Пулеметы!

К нему прогромыхала первая тачанка. Виктор предоставил Леське первому стрелять из «максима»: он великодушно угощал друга, чем мог. Леська прильнул к пулемету и нажал ручку. Первая же трель скосила четырех.

— Высоко берешь! — крикнул Груббе.

Леська нажал снова и на том же уровне. Он видел, как падают с коней заломленные папахи с красным верхом, и уже не мог остановиться. Но это было не азартом бойца: Леське казалось, будто стреляет не он, а кто-то другой, ибо то, что он делал, совершенно ему несвойственно.

Леськин пулемет сразу же охладил бандитов, хотя они еще не понимали, что происходит. Но вот подкатила вторая тачанка. Тут уж затараторил «максим» Устина Яковлевича.

— Хлопцы! Це ж красные!

Гринбах тем временем домчался до «перукарни» с огромной вывеской, изображавшей цирюльника, явно вознамерившегося зарезать бритвой перепуганного толстяка, закутанного в простыню, как в саван.

— В переулок! — скомандовал комиссар, остановив коня и револьвером указывая путь.

Первая тачанка собиралась уже свернуть в переулок, но оттуда выскочили кавалеристы с обнаженными, высоко поднятыми палашами. Бойцы увидели жесткие лица настоящих немцев в настоящих касках. Леську поразили рыжие усы пожилого вахмистра, который несся прямо на него. Гринбах пустил в усача три пули. Он был в гимназии первым учеником и все, что делал, делал отлично. Падая, вахмистр секанул Леську по запястью, но сабля уже была на излете и только до кости рассекла кожу. Сгоряча Леська ничего не почувствовал.

Встреча с немцами определила дальнейший путь красногвардейцев: у них был единственный выход — стремиться на север, только бы выйти в степь. Но это значило — все дальше отходить от Крыма. Справа шли домики, за которыми железная дорога. Сзади гнались гайдамаки. Комаров задерживал их пулеметом, но тачанка № 1 безмолвствовала, чтобы не задеть своих.

Все же из городка вышли благополучно. Но тут с запада кинулась на них та же кавалькада: оказывается, гренадеры свернули и поскакали в обход. Положение стало угрожающим: и немцы и гайдамаки верхами двигались быстрее, чем красные на тачанках. Скачка убыстрялась. Сейчас их окружат и изрубят. Леська, озираясь, ждал чуда.

И вот в пару и в дыме величаво и медлительно, точно пассажирский состав, на станцию вошел бронепоезд. Пальба прямой наводкой сразу же отбросила гайдамаков, скакавших в тылу разведки. Второй залп разорвал кавалькаду в дым. Синежупанники отступили в глубину села. Теперь бронепоезд огневым навесом перекрыл улицу, по которой тачанки рванулись обратно в Крым. Когда Ново-Алексеевка осталась позади, бронепоезд нагнал красногвардейцев.

Все совершилось невероятно быстро. Ничего такого Леська никогда не переживал. Только сейчас он заметил кровь: кожа разошлась и рана на запястье раскрылась, как губы. Он вынул носовой платок и с помощью Виктора туго перевязал руку.

— Стрелял ты хорошо. Для первого раза даже очень хорошо. Но брал чересчур высоко,— сказал Груббе.

— Знаю. Но я боялся попасть в лошадей.

— Чудило! Как ты мог в такой момент думать за лошадей.

— А я и не думал. Это как-то помимо меня.

— Вот это да-а, з-зубы болят. Я про тебя частушку сочиню. Подлец я буду — сочиню. Не обидишься?

— Если талантливо — не обижусь.

Комиссар подъехал к тачанке вплотную. Красный конь пошел рядом.

— Авелла! Как настроение?

— Превосходное.

Леська говорил правду. Страха он не успел почувствовать, потому что стрелял и находился в горячке. Подобно тому как морскую болезнь во время шторма испытывает только тот, кто ничего не делает,— страх овладевает людьми лишь тогда, когда они бездействуют. Зато сейчас, когда опасность миновала, Елисей ощущал приятную истому, похожую на сладкую слабость выздоровления.

— Оказывается,— сказал Гринбах,— матросы с бронепоезда решили, на всякий случай, съездить за нами и поглядеть, что будет.

Леська молчал. Гринбаху, конечно, невдомек, что у Леськи свои отношения с чудом. И еще было радостно, что Самсон окликнул его словом «Авелла!», которое в ходу только в Евпатории. От этого пахнуло далекой милой дружбой в чудесном городе, где он жил так счастливо в своей хате рядом с виллой Гульнары...

Ночью из всего пережитого Леське приснилась цирюльня с вывеской, на которой парикмахер собрался резать толстого буржуя [1].

[1] Когда, много лет спустя, Бредихин ехал из Москвы в какой-то крымский санаторий, он воспользовался остановкой поезда в Ново-Алексеевке и, взволнованный воспоминаниями, сбегал к цирюльне поглядеть вывеску; с удивлением увидел он, что это была самая обыкновенная вывеска, изображавшая парикмахера и его клиента.

14

Елисей пошел на медицинский пункт. Рану его надо бы зашить, но не было кетгута, и ее чем-то засыпали и просто перевязали — пусть заживает сама. Леська очень гордился тем, что с ним не возились.

— Ну, гимназер! С боевым крещением тебя!

— Спасибо, Алексей Иваныч.

— Ты теперь настоящий боец и имеешь право все знать. Самсон! Объясни своему дружку обстановку.

Обстановка была сложной. Боевой штаб обороны Крыма находился в Джанкое. Перешеек и Чонгарский мост прикрывает бронепоезд и 1-й Черноморский полк Федько. Турецкий вал — в руках отряда черноморцев Басенко и конно-пулеметного полка латыша Вагула. Тут же кавалерийский полк, который временно находится на Юшуньских позициях. Два батальона пехоты, а также красногвардейцы Евпатории, Бахчисарая, Старого Крыма и Ялты располагаются между Турецким валом и Юшунью. Всего наших — три с половиной тысячи человек. Достаточно ли всего этого для Крыма — пока неизвестно. Возможно, однако, что вообще воевать не придется. Дело в том, что 22 марта полуостров объявил себя республикой Таврида, входящей в состав Советской России. Поэтому, согласно Брестскому миру, германцы не имеют права наступать на Крым. Этой надеждой и жило все крымское население.

Информировав обо всем этом Леську, Гринбах отправился в синематограф для очередного доклада. Леська отважился выпросить у него красного коня, чтобы объехать позиции и поближе ознакомиться с фронтом. И вот гимназист верхом на лошади. И вот снова — крымская степь, теперь уже окончательно оттаявшая от изморози и лишь изредка поблескивающая солью.

Леська не был наездником. Взобравшись на коня, он сначала здорово трусил и ехал шагом. Но конь, несмотря на свою молодость, оказался на редкость послушным. Это была интеллигентная лошадь, к тому же прекрасно выезженная. Хотя она понимала, что Леська никудышный кавалерист, любой его посыл и даже только намерение воспринимались быстро и выполнялись точно. Леська голосом переводил коня в рысь, голосом же приостанавливал. Все шло замечательно, и это быстро Леське надоело. Леська решил поскакать на полном галопе. Для этого он пригнулся, гикнул и хлестнул красного коня нагайкой.

Но вместо того чтобы перейти на аллюр, Красный остановился и тихонько заржал: «Экой ты, братец... Я тебя слушаюсь, а ты меня бьешь?»

Это было сказано так внятно, что Леська покраснел до ушей и оглянулся: не слышал ли кто, как его пристыдила лошадь? Он припал к переднему арчаку седла, стал похлопывать коня по шее и приговаривал голосом, полным дрожи:

— Ах ты, милый... Хороший... Прости, ради бога... Хороший...

Вы улыбаетесь, читатель? Спросите, однако, любого конника: возможно ли такое? Мы очень плохо знаем животных, проводящих с нами всю свою жизнь.

Поток беженцев к этому времени прекратился. Теперь по дорогам двигались только бойцы, орудия, обозы. Турецкий вал, к которому подъехал Елисей, был весь изрыт «лисьими норами». Женщины поработали на славу. Но самих женщин не было. Лишь кое-где на стенах окопа остались вырезанные имена: «Маша», «Лиза», «Ольга». И конечно, сердце, пронзенное стрелой.

Леське стало грустно, как бывает осенью в парке, где стоят голые деревья, напоминающие о недавнем цветении, о птичьих криках, о шепоте любви.

Но что это? В одной из траншей он увидел отряд вооруженных китайцев — человек триста. Откуда они?

— Товалища Леся!

На бруствере стоял Ван Ли и подавал ликующие знаки. Одетый в гимнастерку с чужого плеча, он казался еще меньше, чем был. Особенно поражали своей тониной ноги в черных обмотках.

Ван Ли побежал к Елисею, Елисей поскакал навстречу. Когда они сошлись, Леська спрыгнул с коня и крепко обнял китайца.

— Не пропал, Ван Ли, а?

— Паропала нету! — весело закивал китаец.

Они держались за руки, глядели друг на друга сияющими глазами, как собаки, которые всё понимают, только не умеют говорить.

«Человек не пропадает! — думал между тем Леська.— Китаец, потерявший единственную опору жизни на чужбине — медведя, вдруг почему-то должен был встретить целый батальон земляков. Что это? Чудо? Китайцы в Крыму! Не потому ли, что в них так нуждался Ван Ли? Или это все та же «закономерная случайность», неожиданность которой так украшает человеческое житье-бытье?»

О чем думал в это время китаец, трудно сказать. Но выглядел он сытым и бодрым.

Дальше Елисей ехал уже совершенно озаренным. Счастье Ван Ли сдуло с него печаль, навеянную оголенным парком. Он душевно радовался удаче бедного китайца, а еще больше — тому, что человек на свете не пропадет, ну вот просто не пропадет! Не может пропасть!

— Лесик!

— Здравствуй, Тина...

— Зачем сутулишься? На коне сидеть надо стройно.

— Я стройно.

— Ну, это ты сейчас поправился, а то сидел, как мешок ячменя. Ты куда едешь?

— Сам не знаю.

— Значит, туда, куда хочет лошадь?

— Осматриваю вот.

— Осматриваешь? Тогда возьми меня в седло.

— Неудобно, Тина. Здесь все-таки фронт.

— Вот именно, что фронт. Не могу же я тут крикнуть извозчика!

— Нет, нет. Извините, но не могу.

— А если я устала как собака?

— Тогда садитесь на коня, а я пойду пешком.

— С ума сошел? Пешком. Да ты не думай, я не поперек седла, как барышня какая-нибудь. Я сзади, верхом на крупе.

Она подошла к стремени и подняла вверх руки.

— Сдаюсь! — сказала она и засмеялась.

Елисей низко-низко наклонился к ней, а Тина, сцепив пальцы на его шее, рывком подтянулась и ловко закинула ногу за седло.

— Поехали!

Немного повозившись за Леськиной спиной, она крепко обняла его сзади. Леська увидел ее руки на своей груди и подумал: «Эти руки зарубили топором человека». Но черт возьми этих женщин! Ему приятно, что она сидит за спиной и обнимает его. От ощущения этой приятности он стал сам себе противен.

«Где же моя совесть? — думал он.— Ведь она — убийца...»

А Тина, навалившись на него всем телом и опершись подбородком о его плечо, страстно заговорила низким голосом с хрипотцой:

— Милый! Родной ты мой! Зачем сторонишься? Чураешься? Я понимаю: не можешь простить мне, что я непотребная, да? Но что ты знаешь про мою страшную жизнь? Что? А если б знал, может, руки бы мне целовал. Ты ведь хороший. Я знаю. А я-то тебя как нежила бы... Как ласкала... Из рук бы кормила... Как голубя...

Никто не говорил Леське ничего похожего. *Как* она его любит! Пожалуй, это первая женщина, которая так...

А Тина говорила, точно пела.

«Нет... Гульнара так меня не любит,— думал Леська.— Да и любит ли меня Гульнара вообще? Что она сделала для меня? Ну, хоть слово ласковое... Ах, нет, что я! Ведь она еще совсем ребенок! Только и умеет, что любить маму и папу. Какие к ней требования?»

Красный конь шел по безлюдной степи, но когда показалась дорога, Тина сама отстранилась от Леськи и сидела, держась только за его пояс.

По дороге шла большая колонна матросов с винтовками и в полной боевой выкладке.

— Вы кто такие, мальчики? — звонко крикнула Тина.

— Холостые! — ответил чей-то задорный голос.— Айда с нами!

— Айда-то айда, да куда?

— В Мариуполь.

— Нет, правда?

— Правда, в Мариуполь.

— Да кто же вы?

— Мокроусовцы! Только это военная тайна! — кричал матрос на всю степь.

— Ну, а мы-то как же без вас, мальчики?

— А у вас тут и войны не будет!

В строю захохотали так, точно по адресу этой бабенки было сказано что-то очень соленое.

Леська, который уже ревновал Тину к матросам, остановил коня и пропустил мимо себя всю колонну.

— Может, и нам придется в Мариуполь? — спросила Тина Елисея.

— Возможно. Поедем домой, расскажем Махоткину.

Он свернул коня в сторону Армянска. Тина сидела спокойно и рассуждала как бы сама с собой:

— Все равно мой будешь. Уж если я что задумала... А почему бы ему и не быть? Чем плохо? Сам комиссар бы за счастье считал... Гринбах этот. А я почему-то, бог его знает зачем... Еще и не мужчина вовсе. А я влюбилась...

Леську покоробило. «Не мужчина». Если скосить глаза, можно увидеть позади своей ноги ее круглое колено из-под задранной юбки. Но он старался не глядеть... А чего это ему стоило? «Не мужчина». А Гульнара на что? Никого ему не нужно, кроме этой татарочки...

«Дома» их выслушали внимательно.

— Неужели Мокроусова бросили на Мариуполь? Сведение ценное, но надо проверить. Немцы сейчас уже прочно укрепились в Ново-Алексеевке. Но Северная Таврия — не республика Таврида. Может, и в самом деле Вильгельм на Крым не пойдет?

Но Вильгельм пошел.

Утром 16 апреля Леська услышал канонаду. Он вскочил с койки и вбежал в кабинет к Махоткину. Тот спешно одевался, держа в зубах пустую трубку. Пришел Гринбах.

— Что это, Иваныч?

— Пожалуй, началось. Елисей! Организуй транспорт, живо!

Махоткин, Гринбах и Бредихин неслись в автомобиле к Турецкому валу. За ними — пулеметная тачанка на паре вороных с красным конем в заводе. Не доезжая, увидели батарею из четырех орудий. Она была покрыта рыбацкой сетью. Подле нее стоял автомобиль «бенц». Махоткин выскочил из своего «фиата» и побежал к человеку в кожаной безрукавке.

— Что это такое, товарищ Приклонский?

Приклонский усмехнулся.

— Брестский мир.

— Кто это? — тихо спросил Гринбаха Леська.

— Начальник штаба обороны Приклонский.

— Об открытии немцами военных действий мы сообщим по радио в Москву, Вену, Париж, Лондон, Вашингтон. Пусть весь мир узнает, как немцы держат слово.

— А много их, товарищ Приклонский?

— На нас с тобой хватит. Генерал Кош подвел три дивизии с тяжелой артиллерией, кавалерией, авиацией и броневиками. Говорят, даже танки подойдут.

— Гм, да.

— Вот то-то.

Однако Приклонский не упомянул еще об одной части германской армии: тайной организации крымских немцев-колонистов. На следующий же день начальник штаба обороны был убит диверсантской пулей.

Махоткин отвел свою машину под рыбацкий невод, сел вместе с Леськой в тачанку и поехал вдоль вала. Гринбах, пересевший на своего Красного, пошел рядом.

Германцы обрабатывали перешеек, Чонгарский мост и Турецкий вал. Летали немецкие бипланы и корректировали стрельбу. Стрелял неприятель плохо, но снарядов было много, и по закону больших чисел попадания становились все чаще и чаще. Красные не отвечали: тяжелых орудий у них не было, а немцы били издалека. Может быть, из самой Ново-Алексеевки.

Махоткин, Гринбах и Леська разыскали евпаторийцев и, распределив коней по капонирам, ушли в «лисьи норы». Позавтракать они не успели, и теперь их кормили красногвардейцы. Но Леська есть не мог. Страха он не испытывал, но ощущал под ложечкой камень.

«Зачем они на нас идут? — наивно думал Леська.— Что мы им сделали?»

Через час канонада прекратилась.

— Так! — сказал Махоткин.— Давай вылезай, ребята. Сейчас начнется атака.

Весь гребень вала усеяли стрелки, выползшие из нор.

Откуда-то подскакала казачья сотня. Черные черкески с красными башлыками, низкие папахи. Кубанцы.

— С коне-е-ей!

Казаки спешились, дали лошадей коноводам, вручили на хранение свои заветные шашки и быстро взбежали на гребень занимать оборону. Коноводы остались внизу, увешанные пятью-шестью саблями каждый.

И вот началась атака.

Сначала степь казалась совершенно безлюдной, и вдруг, словно из-под земли, возникла целая цепь касок. Недосягаемая для прицельной стрельбы, она двигалась ровным строем, затем распалась, превратилась в живой зигзаг. Степь, голая, как стол, не давала укрытия: ни овражка, ни холмика. Вскоре выяснилась тактика: передовые, очевидно саперы, пробежав несколько шагов, ложились и тут же лопатками выкапывали ямки. Потом вскакивали, снова бежали и снова залегали, а задние пользовались ямками саперов.

Леська взял у Махоткина морской бинокль и увидел, как вместе с землей из-под лопаток вылетали суслики.

По красногвардейской обороне отдан приказ: не стрелять до особой команды. Немецкая перебежка продвигалась все ближе. Казалось, немцами заполнена вся степь. Кто-то толкнул Леську под локоть.

— Девлетка, ты?

— Я, дорогой, я.

— Красногвардеец?

— Да, да...

В огненных глазах Девлета пылал страх. Леська почувствовал себя героем.

— Не робей, старик! Наша возьмет.

Девлет попытался улыбнуться. А Леська припал к брустверу. О смерти он не думал. Его сжигало любопытство: как это бывает — атака?

Передовая линия остановилась. Сквозь нее, точно вода в открытые шлюзы, хлынула вторая шеренга и, пригибаясь, покатилась вперед. Это было уже страшно, потому что неожиданно. Китайцы не выдержали, открыли огонь. Шеренга тут же залегла. К ней из задних рядов, пригибаясь, бежали офицеры, размахивая револьверами. Офицеры бранились, но цепь не вставала.

— Ничего, встанут,— спокойно сказал Махоткин, и от его спокойствия всем стало не по себе.

— Встанут, встанут! — подхватил Гринбах.— Один француз, угрожая немцу, сказал: «Мы — народ воинственный!» — «А мы — народ военный»,— ответил немец. Так что встанут. Еще как!

Какой-то китаец выскочил на гребень и уселся на камень, ритуально положив руки на колени. Его тут же скосило пулей. Тогда выскочил другой китаец и уселся на то же место и в той же позе. Скосило и его. Тогда поднялся третий китаец...

— Что они? С ума посходили?

Махоткин бросился к траншее китайцев.

— Эй, старшинка! — закричал Махоткин.

Из окопа выглянул человек. На большой верхней губе два длинных волоса: один справа, другой слева. Махоткин спрыгнул к нему в окоп.

— Леся! А Леся! — хрипло заговорил Девлет.

— Чего тебе?

— Это я... тогда... спалил твою хату. Алим-бей велел, а я спалил.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Так... Не знаю... Может, убьют!

Немцы все еще прижимались к земле. Офицеры орали на солдат, стоя уже в полный рост. Цепь наконец подня-

лась. Впереди бежали офицеры. За ними первая линия. Можно их рассмотреть: это синежупанники. Немцы гнали первыми гайдамаков.

По всему Турецкому валу полетела команда: «Пальба-а!» С двух концов прямой наводкой ударили батареи. Пулеметы зачастили так, как будто на огромном заводе тянули железное полотно в рубцах и прорехах. Ружейного огня уже не слышали сами бойцы, но весь Турецкий вал курился, как вулкан перед извержением.

Первая линия повалилась. За ней рухнула вторая — эта уже состояла из железных касок. Третья смешалась и побежала назад. Атака захлебнулась.

— Прекратить стрельбу!

— Отста-а-авить...

Турецкий вал умолк, все еще продолжая дымиться. В этом молчании таилась гроза. Но уже конно-пулеметный отряд Вагула вылетел на тачанках в степь и, развернувшись, осыпал убегавших горячими струями. Кубанская сотня, перемахнув на коней, с гиком и свистом помчалась вслед. Вот она обогнала вагульцев. Те замолчали. Конники налетели на пятки немецкой пехоты, и началась рубка. Елисей видел только взблески шашек, точно шел сосульчатый снег.

— Зарвутся! — сказал Махоткин.— Ох и зарвутся. В такую минуту очень трудно опомниться.

Но тут с правого фланга запела труба. Голос был счастливый, золотой, кудрявый, но приказывал он отступление. И казаки вернулись. Вернулся и конно-пулеметный отряд. На одной из тачанок, разметав руки, умирал товарищ Вагул.

В этот день до самой звезды немцы не наступали.

В красногвардейских окопах смеялись, хохотали, гоготали, тиликали на гармошках, пели «Яблочко» и первую пролетарскую песню, родившуюся тут же, на фронте:

Винтовка, серп и молот,
Военная тревога.
Я все пройду! Я молод:
Передо мной дорога.

Мне солнце улыбнется,
Я радость караулю.
А пулю съесть придется —
Переварю и пулю.

Особенно нравилась последняя строчка.

К вечеру подошли волки. Сутулые, мелкие, как собаки. Иногда очень близко вспыхивали их глаза. Были слышны грызня и вой. А под утро сначала донесся

запах аммиака, который на рассвете превратился в аромат жареного мяса и наконец в откровенную трупную вонь. Живые спали в траншеях менее удобно, чем мертвые в степи: те лежали, свободно раскинувшись на просторе.

Леська спросонья раздул ноздри. Сначала ему показалось, будто он у моря: после шторма, когда волны выбрасывают на берег целые заросли придонных трав, их гниение издает что-то вроде этого запаха. Но потом он открыл глаза и все вспомнил.

— Так как же, Девлет-бей? — спросил он полусонно.— Значит, это ты сжег нашу избушку?

— Нет, зачем же, товарищ Леся? Не я.

— А кто же?

— А я знаю?

— Да ведь ты только вчера сказал, что ты.

— Не говорил я это, товарищ Леся.

— Ты, верно, дурачком меня считаешь?

— Не считаю, товарищ Леся.

— Но ведь ты! вчера! сказал! мне!

— Ничего я не сказал.

На фронте установилось затишье. По ничьей земле между немцами и красногвардейцами спокойно гуляло стадо белых гусей, точно спустившиеся с неба облака. Их не обстреливали: ждали, в какую сторону свернут.

К полудню далеко в степи показались три танка. Шли они, четко соблюдая линию. Шума моторов не было слышно, но машины казались уже довольно большими. За танками мельтешила пехота. Неизвестно по чьей команде на танки полетела кубанская конница.

— Эх, зря,— сказал Махоткин.— Конь танка не ест.

— Думаю, их задача умнее,— сказал Гринбах,— обойти танки и ударить по пехоте.

— Это не удастся.

Но это удалось.

Вообще говоря, на передовой бойцы плохо понимают, что происходит. Они видят перед собой пятачок, на котором возникают события, грозящие им смертью. Все внимание их сосредоточено на пятачке. Но что разворачивается на всем плацдарме, видят только штабы, сидящие на телефонах у карты. Однако бой 18 апреля стал понятен всем и каждому, потому что плацдарм был невелик и охватывал абсолютно ровную местность, по наглядности напоминающую военно-полевую пятиверстку.

Сначала танки двигались безмолвно, стремясь взобраться на Турецкий вал, обстрелять сверху все оперативное пространство,— это значило бы взять Крым одним ударом. Но кавалерия отвлекла внимание танков.

Зрелище казачьей орды, дико свистящей и блистающей шашками, испугало немецких стрелков. Железные каски хлынули вспять — и танки с тыла остались без прикрытия. К тому же меткий снаряд, пущенный со стороны Сиваша, сорвал гусеницу с крайнего правого танка, и тот завертелся вокруг себя. Тогда два других, бросив товарища, стремительно помчались назад. Когда слонами овладевает паника, они скачут, растаптывая на своем пути все и вся. Бегство танков было таким паническим, что они врезались в хвост своей же пехоты и только тогда опомнились.

Казаки рассеянно скакали по ничейной земле, остерегаясь приблизиться к раненому танку. Склонясь набок, он был грозен и безмолвен. Германская дивизия тоже молчала: по-видимому, в штабе обсуждали положение и пока не предпринимали никаких мер. На войне не угадаешь. Три танка, которые должны были одним своим видом до смерти устрашить готтентотов, сами устрашились их.

Не слыша канонады, красногвардейцы постепенно выползали в степь, чтобы убрать раненых. Вышел в степь и Леська. Заря догорала. Поднялся туман. Людей видно было только на близком расстоянии. Все же Леська далеко обошел подбитый танк. Он бежал почему-то все вперед и вперед и вдруг увидел такое странное, что даже не понял, что это такое.

В детстве Леська вырезал, бывало, из темного картона человечков с головой без лица, с ножками, ручками и только с двумя измерениями: длиной и шириной. Толщина отсутствовала. И вдруг он увидел этих человечков на земле: было их пять или шесть, с безликой головой, ручками, ножками, длиной и шириной, но отличала их гигантская величина. Леська тупо глядел на «человечков» в полторы сажени и вдруг понял: это люди, разутюженные танками, как белье.

Очнулся Елисей от мелких и сильных толчков. Не то утро, не то день. Он лежал на телеге, которая мчалась рысью. Белые подушки, роскошное шелковое одеяло василькового цвета с кружевным пододеяльником, сверху гимназическая шинель. Рядом сидела какая-то женщина и держала его за руку.

— Проснулся?
Леська молчал.
— Говорить умеешь?
Молчание.
— Тебя контузило, Елисей, и довольно крепко. Без памяти двадцать часов. Ну, так как же? Узнаешь меня?
Леська продолжал отмалчиваться.
— Как твоя фамилия?
Этот вопрос оказался слишком серьезным для Леськи.
— Ну, слушай! Гляди на меня. Я сосчитаю до трех — и ты вспомнишь свою фамилию. Хорошо?
— Да ты что пристала к нему, баба? — заворчал возница.
— Вот я тебя сейчас как стукну прикладом, узнаешь бабу!
— Ах ты, супротивная!
— Леся, слушай сюда. Вот я считаю. Понятно? Считаю до трех, и ты скажешь свою фамилию. Понятно? Ра-аз, два-а, три!!
— Бредихин! — крикнул Леська.
— Ах ты, мой родненький...— У Тины сверкнули слезы, она повалилась па Леську и крепко поцеловала его в губы.
Леська на поцелуй не ответил.
«Не понимает еще,— подумала Тина.— Не вошел в понятие».
— Где мы?
— В поле, котик, в поле,— сказала она, утирая слезы подолом.— А едем в госпиталь. Я комендант по эвакуации раненых. Вот за мной еще семь телег.
— Значит, мы в Армянск?
— Ка-акой Армянск? Армянск давно волки съели. К Симферополю подъезжаем.
Вскоре телегу окружили всадники.
— Куда?
— С Перекопа в госпиталь.
— Какой?
— Симферопольский.
— В симферопольский нельзя: немцы уже в Джапкое.
— А куда же нам?
— А вы кто? Моряки?
— Мы — Евпатория.
— Евпаторийцам па станцию Альма. Спросите имение Кальфа. Там госпиталь и штаб вашей гвардии.

Лошади снова тронулись и вскоре перешли на рысь. Дорога была разбитой, и телегу трясло так, что Леська снова потерял сознание. Когда он пришел в себя, телега стояла уже во дворе какой-то усадьбы. Слышались крики и стоны.

— Скорее! — командовал чей-то чистый женский голос.— Шевелитесь, девчонки!

Сестры милосердия снимали раненых и уводили в огромный амбар, а тех, кто не мог идти сам, брали на носилки.

И тут начался мусульманский рай. Гурии укладывали юношей на койки и, не давая опомниться, раздевали их догола. Если рубаха не снималась, ее разрезали ножницами. Сначала бойцам было нестерпимо стыдно, но это ведь проделывали со всеми, к тому же девичьи руки, которые порхали по их телу, были так приятны, что стоны и крики мгновенно прекратились. Бойцы лежали на койках и со страшной силой глядели на девушек.

В это время два санитара втащили огромную лохань, от которой шел пар. Сестры черпали из лохани ведрами какую-то рыжую воду, обмакивали в нее губки и мочалки и, намылив, принимались обтирать все тело раненого.

Потом внесли ворох свежего белья такой белизны, что показалось, будто он пáхнул снегом. Раненых начали одевать во все чистое, реквизированное у помещиков. Никто из бойцов не стонал, девушки делали с ними все, что хотели, а боль если и не ушла, то хорошенько притаилась. Внесли котел с борщом и белые калачи. Тут же сквозь раскрытые ворота деликатно вошли в амбар два светло-шоколадных оленепочка.

— Славик! — позвала одна сестра.

— Стасик! — позвала другая.

Славик и Стасик доверчиво подходили, обнюхивали борщ и с несравненным изяществом отходили прочь.

— За хлебом пришли,— пояснила Леське его сестра.

Леська узнал ее голос.

— Наташа?

— Да. А вы меня знаете?

— По Мелитополю.

— Не помню.

— А Бельского Семена Григорьевича помните, актера?

— Ах, так вы — Леся?

— Леся.

— Вот где привелось встретиться. Давайте раздену вас. Ну, ну, в госпиталях стесняться не положено.

На Леську надели чудесное белье с какими-то инициалами, выведенными славянскими буквицами. Не успел он освоиться, как вошел доктор.

— Этого на операционный стол. Срочно! А у тебя что? Осколки? Осколки подождут. Больно, говоришь? А мне, думаешь, не больно? На то и солдат, чтобы больно. Маруся! Впрысни ему пантопон. А это кто? Тоже невтерпеж? Ах, контузия? В контузии я, голубчик, не верю. Думаешь, у меня нет контузии, голубчик? Контузия — это двоюродная сестра симуляции. Где старшая? Выписать этого.

— Да вы что? Как вы можете такое? Я везла его с самого Перекопа, так он всю дорогу рвал. Просто нутро выворачивало. А вы — на выписку? Не будет этого! — крикнула Тина.

— А вы тут не командуйте, уважаемая.

— Это вы не командуйте, а я буду командовать. Наша власть — вот и командую. А вы разъелись тут, в тылах, на наших загривках. Ходит промеж девок, точно кот: того туда, того сюда, а этого и вовсе?

— Ну, хорошо, хорошо,— поморщился доктор.— Только, пожалуйста, не орите: раненым нужен покой. Рвало его, вы сказали?

— Всю дорогу. А памяти не было.

— Сколько времени он был без сознания?

— Двадцать часов.

— Ладно. Пусть отлежится. Но ведь сами понимаете: тут не санаторий, с минуты на минуту могут подойти немцы. Ему же самому выгоднее находиться где-нибудь подальше. Устройте его в каком-нибудь частном доме.

— Это чтобы его выдали? Спасибо вам!

— Ну, с вами не сговоришься,— сказал доктор и ушел из амбара.

— Шут с ним,— уже спокойным голосом произнесла Тина.— Лежи, котик, мечтай. А я буду во дворе дежурить. Если чуть что не так — ты только мне шумни. Я покажу им, что такое фронт!

Койка попалась Елисею удивительная. Она трещала на все голоса, произнося при этом членораздельные звуки. Когда Леська поворачивался с боку на бок, она вздыхала: «Ах» или «Ой». Однажды он хотел приподняться, но все перед ним поплыло, и он рухнул на подушки. Тогда кровать отчетливо сказала: «Колеамтерло!» На каком это языке,

Леська не разобрал, но смысл был понятен: «Не подымайся, дескать,— рано еще». Потом Леське понадобилась «утка», он повернулся на живот и стал шарить рукой под кроватью. И тут койка сказала: «Канторович!»

— Канторович! — громко позвал Леська.

Подошла Наташа.

— Разве вы — Канторович?

— Нет. Канторович ушла за бинтами, а я Деревицкая.

Леська настолько привык к своим чудам, что даже не удивился.

Вечером в открытые ворота амбара заглядывали обе лани, Большая Медведица и всякие другие звери. Апрель дышал близкими цветами и далеким морем. Тишина в мире такая, точно войны нет и никогда не было. Но вот Медведицу заслонили два силуэта. Один из них зажег фонарик. Двинулись по рядам.

— Вот он. Авелла!

— Кто это?

— Груббе и Немич.

Леська вспрыгнул и сел на постели, точно гимнаст.

— Как дела? Что наши?

— Наши все здесь. А дела неважные. Немцы-колонисты вместе с татарским мурзачьем соединились в отряд, пришли, понимаешь, в Джанкой, вроде идут на фронт, а потом по штабу — рряз! Приклонскому пулю в лоб, остальных кого куда. Ну, ясно-понятно: фронт потерял управление... А ты как, Леся? — спросил Немич.

— Удирать хочу, ребята. К вам. Да вот отобрали одежду, а где они ее держат, бог их знает.

— Одежду мы тебе достанем, а только можно тебе вставать или нет? — усомнился Виктор.

— Можно, можно! — зашептал Леська.— Тут все тяжелораненые. Я один с контузией. Просто неловко, понимаете?

— Да, да, понятно. Пошли, Витя.

— Пошли. Мир праху.

— И сапоги достаньте!

— А какой у тебя номер?

— Сорок четыре. Можно и побольше.

— Заметано.

Сапоги достали. Одежду также. Но не Леськину: штатские брюки, морскую тельняшку и бушлат.

Ночью Леська вышел во двор — никто его не остановил: часовые ушли на фронт, охраняли госпиталь девушки.

Однако ночь темная, кругом тишина — ни собаки. Должно быть, побежали на скорую руку целоваться. Но чей это силуэт на камне? Женщина с винтовкой. Сидя спит. Конечно, это могла быть только Тина Капитонова. Леська на цыпочках обошел ее и, выйдя на улицу, побрел по направлению к вокзалу. Шел он долго. Его как бы качало ветром. Наконец в темноте замаячила водокачка.

— Стой! Кто идет?

— Свои.

— Кто свои? Пароль?

— Не знаю пароля. Я евпаториец. Контуженый.

— А зачем нам контуженый? Мы сами сумасшедшие,— засмеялся кто-то.

— Сысоев, прекрати! — прикрикнул на него, по-видимому, начальник.

— Устин Яковлевич, вы?

— Так я тебе и сказал. А ты кто?

— Я Леська Бредихин. Гимназист.

— А-а! Ну, добро пожаловать.

Леська присмотрелся к темноте.

— Неужели все это анархисты?

— Нет, мои анархисты в разведке. А вообще все перемешалось, и комаровцев уже нет — я тут комвзвода. А ты ложись вот сюда, на шинель. Полежи, полежи, не стесняйся.

— А где Груббе? Немич?

— Немич теперь большой человек,— иронически сказал Устин Яковлевич.— Он военком города Евпатории.

— Что же тут смешного?

— А то, что в Евпатории немцы.

Леську словно бритвой полоснуло по сердцу. Евпатория — это ведь не просто город. Это Андрон, Гульнара, дедушка. Что-то такое, что родней родного... И вдруг — немцы!

— А скажите, гимназист, куда вы дели золото, которое заграбастали в армянской сберегательной кассе?

— Мы не заграбастали, а реквизировали.

— Покупили, одним словом. Так куда же все-таки вы его подевали?

— В Симферополь отправили.

— А зачем?

— Как зачем? В ревком.

— В ревком... А кто им там воспользуется?

— Не знаю. Куда нужно, туда оно и пойдет.

— Народу надо было раздать его. Народу! На то революция!

— Но если все раздать, откуда ж у революции будут деньги? Как вести государство без финансов?

— А к черту его, государство! Государство — это чудовище, которое только и знает, что драть с подданных семь шкур. Коммунизм отрицает государство. Кому оно выгодно? Только тем, у кого власть. А вы, краснопузики, боретесь за это самое государство. Никакого шарика в голове! Самого простого понять не можете! Или не хочете? Нужно уничтожить власть человека над человеком, иначе никакой свободы на земле никогда не будет.

Послышалось размеренное чоканье копыт. Из дымки рассвета вышли на железнодорожные пути два всадника, ведущие на веревках группу штатских людей.

— Авелла!

— Авелла.

(Это и был пароль.)

— Пленных принимайте.

Устин Яковлевич вышел навстречу.

— Кто такие?

— Диверсанты из немцев-колонистов. Может, те самые, что громили штаб.

— Допрашивали их?

— Пытались. Но они по-русски не говорят.

— Ну это враки. Все колонисты давно говорят по-русски.

Комаров подошел к одному из пленных.

— Кто такой? Откуда? Как звать?

— Ich spreche nicht Russisch.

— Шпрехаешь, врешь!

— Was sagen Sie?

Леська приподнял тяжелую голову, усиленно вглядывался в немца. Потом встал на ноги и, пошатываясь, направился к пленному.

— Эдуард Визáу? Так, кажется?

Немец молчал.

— Устин Яковлевич, присмотритесь, нет ли у него стеклянного глаза?

— Есть. Самый настоящий. Стеклянный.

— Ну вот. Теперь тебе, Эдуард, прятаться глупо.

— Вы его знаете? — спросил Леську Устин Яковлевич.

— Лучше бы и не знал... Мы с ним учились в городском училище.

— Ошибаетесь! — сказал Визау, не заметив, что перешел на русский.— Я вас не знаю.

— Зато ты знаешь моего дядю — Андрона. Это знакомство стоило тебе глаза.

Леська отошел в сторону. Его тошнило. Едва волоча ноги, добрался он до комаровской шинели и упал на нее. «Как мешок с ячменем»,— вспомнил он фразу Тины.

15

Городское четырехклассное училище... Четыре года провел в нем Леська и вспоминал эти годы с содроганием. Инспектор училища брал взятки деньгами и арбузами, не пренебрегал и ягненком, поэтому в старших классах учились мужчины двадцати двух и двадцати трех лет: школа даже в военное время освобождала от воинской повинности. Когда ученика Соболева исключили из третьего класса, он женился и открыл на привозной площади карусель. Кое-кто из учащихся занимался сутенерством, особенно греки. Великолепно сложенные, под стать античным эллинам, они подплывали к «Дюльберу» на парусных лодках и, обнаженные до пояса, выжидали, не клюнет ли на них какая-нибудь северная дамочка (в Евпатории греки-рыбаки играли ту же роль, что татары-проводники в Ялте). Ученики-татары почти не посещали училища, стараясь остаться на второй год, а если когда и приходили, то открыто курили в классе, и учителя умоляли их хотя бы выйти в коридор. Среди этих великовозрастных был и Эдуард Визау, сын кулака из колонии Немецкие Майнаки. Если русские, греки, татары занимались своими взрослыми делами — пили, амурничали, торговали,— то Визау имел дело с малышами. Все они за каждую игру обязаны были платить ему «тумбу». Эту дань Визау собирал, как финансовый инспектор. При этом он не ходил за детьми по пятам,— нет, он сидел на колодце в самом центре двора, наблюдая и записывая в книжечку. К концу перемены Визау подзывал к себе какого-нибудь недомерка и спрашивал:

— В каких играх сегодня имел участие?

— Играл в «альчики».

— Сколько раз?

— Один.

— Плати копейку. А ты во что играл?

— В «баламбой».
— Сколько раз?
— Один раз.
— Неправда твоя! У меня записано: два раза. Гони монету.
— Да у меня только три копейки.
— Ну и что? Получишь копейку сдачи.
Арифметика была простой. Но не дай бог улизнуть и не уплатить Эдуарду «тумбы». Он ухватывал двумя пальцами вихор обвиняемого и сначала драл его вправо и влево так, что голова мальчишки дергалась от плеча к плечу, а потом пригибал эту голову к земле и снизу бил по носику коленом. Ребенок уходил, обливаясь кровью, но, конечно, жаловаться не смел: ябеду били все — и русские, и греки, и татары. Однажды немец разбил лицо Леське, который в тот день ни во что не играл, по Визау по ошибке приписал ему чужой счет. На следующий день, когда ученики уходили из училища домой, Визау снова подошел к Бредихину:
— Деньги?
Денег у Леськи не было.
— Тогда вот что, Бредихин: пока не принесешь денег, в училище ходить не будешь. Я запрещаю!
Но Леська все-таки пришел. Целый день он не выходил из класса, а потом выбежал через учительский подъезд и спрятался в сквере, через который обычно проходил Визау, когда шел домой. Когда Визау вышел на улицу, в скверике на скамейке сидел гимназист Леонид Бредихин. Ничего не подозревая, Визау прошел было мимо, но Леонид встал и окликнул его. Визау оглянулся. Тогда Леонид дал ему звонкую пощечину.
— Это тебе за Леську.
Визау поглядел на Леонида — тот был значительно ниже его. Схватив гимназиста за волосы и пригнув его голову, он со страшной силой ударил в лицо коленом. Леонид на минуту ослеп, а когда прозрел, перед ним стоял Леська и глядел на него, беззвучно рыдая.
— Это все из-за меня... Это все из-за меня... — шептал он. Потом взял брата теплой ручонкой за руку и повел домой.
— Только дедушке не говори, Леня, слышишь? А то он и дедушку...
На следующий день Визау не требовал от Леськи денег, он просто схватил его за вихор и стукнул личиком

о колено. Так теперь повелось изо дня в день. В конце концов Леська перестал посещать училище. Утром он собирал книжки в ранец и уходил, а к двум часам возвращался. Но в школе не бывал.

Из плаванья вернулся Андрон. Леська ничего ему не рассказывал, но рассказал Леонид.

— Ну конечно,— спокойно произнес Андрон.— Куда ты против него? Тебе семнадцать, а ему двадцать один. Позови ко мне Леську.

Утром Андрон взял Леську за руку и повел в училище. Леська вошел в класс, а дядя — в кабинет инспектора.

— Ваш Визау до того мордует Леську, что парень перестал ходить в училище.

— Но-но! Пожалуйста, не утрируйте! У нас учебное заведение, а не бурса. Что же до Бредихина Елисея, то он действительно много пропустил, но я думал, будто он болен.

— Визау мордует моего племянника, и я хочу, чтобы с этим было покончено.

— Никто! Никого! У нас! Не истязает! Прошу не приписывать нам уголовщину.

— Значит, вы не вмешаетесь в это дело?

— Я поговорю с учеником Визау.

— Только и всего?

— А вы чего бы хотели? Исключить его я не имею права: он прекрасно учится.

— Так. Значит, из училища забрать Леську?

— А уж это как вам будет угодно.

Инспектор встал, давая понять, что разговор окончен. Андрон тоже встал, аккуратно спял с чернильницы медный шлемик, поднял ее, как бокал с черным вином, и плеснул чернилами в лицо инспектора. Инспектор всхлипнул от неожиданности, Андрон же вышел на улицу через парадный ход. Никто его не преследовал, никаких криков не слышалось: очевидно, инспектор принял решение избежать огласки.

Леська опять весь день провел в классе: на переменах прятался под парты. С последнего урока он отпросился «на минутку» и убежал домой. Когда ученики уходили из училища, Визау снова пошел через садик. Тогда со скамейки поднялся Андрон...

...Пленных расстреливали утром. Визау поставили у цоколя водокачки. Против него выстроились три бойца.

— По контрреволюции — пли!

У Визау сначала подломились коленки, а потом он медленно и как бы нехотя упал на бок. Одна из пуль разнесла косяк надбровья — стеклянный глаз выкатился и, поглядывая то вверх, то вниз, завертелся по земле.

«Андронова работа»,— подумал Леська, глядя па стеклянный глаз.

Все остальные пленные вели себя таким же образом: падали медленно и нехотя. Но глаза у них были свои.

Елисей все это запоминал на всю жизнь, но никаких переживаний не испытывал: ни пафоса, пи злорадства, ни подавленности. Голова наливалась горячей кровью, тошнота подкатывалась под самое нёбо.

Он повалился на шинель и тяжело задышал. Над ним низко склонился Сысоев.

— Слушай, гимназист! Уходить тебе надо.

— Что?

— Уходи, говорю. Немец уже в Симферополе. Ясное дело, на Севастополь пойдет. Устин Яковлевич по человечеству беспременно возьмет тебя с собой, а кому ты в Севастополе нужен с контузией? Только всем в тягость.

— А куда ж я пойду? В Евпатории немцы.

— Дык теперь куда ни пойдешь — немцы.

Где-то очень близко гремела страстная речь какого-то оратора. Леська приподнялся: на рельсах первого пути стоял состав из теплушек. Одна из них была распахнута настежь, и кто-то худой, измученный, заросший черным волосом, лихорадочно блестя глазами, кричал перед толпой красногвардейцев:

— Товарищи! Такое время... Я призываю вас! Мы не можем не... Мы должны! Мы обовязаны! Мировая революция... Ур-ра!

И тут же вдруг стал изображать оркестр, притопывая погой в такт: «Тум-ту, ту-тум-тум, тум-тум-тум!»

Леська понял: везли душевнобольного. Этот человек не выдержал громадного давления дум, когда революция заставила его мыслить в планетарном масштабе.

Из толпы вернулся Устин Яковлевич, а с ним какой-то высокий военный в черных усах и бороде.

— Единственная просьба, Устин Яковлевич: удержи станцию хотя бы на два часа. Понимаешь? Необходимо доставить в Севастополь боеприпасы.

Он пожал Комарову руку, подошел к паровозу, поднялся на него по лесенке — и состав без свистка тронулся

на юг. Комаров провожал поезд прощальным взглядом, словно тот увозил самое дорогое, может быть, самую жизнь...

Когда Леська снова пришел в себя, вокруг никого не было. Но где-то очень близко шла напряженная перестрелка.

Леська поднялся в полный рост и увидел: за водокачкой и под вагонами второго пути лежали красногвардейцы и отчаянно отстреливались. Потом он приметил немцев, стрелявших из окон вокзала. Пригнувшись, Леська побежал под вагон и, подобрав чью-то винтовку, пристроился у колеса. Немцы начали накапливаться в небольшой группе деревьев. Но один, самый близкий к Леське, прятался за маленькой цистерной. Вот показался верх его каски и рука, держащая гранату. Немец метнул и мгновенно юркнул вниз. Граната разорвалась совсем близко. Один осколочек на отлете попал Леське в лоб.

А пулю съесть придется —
Переварю и пулю,—

машинально подумал Леська. Он взял па прицел чугунную бочку и засек то место, где появилась каска. Кровь со лба тонкой струйкой заливала ему глаз, но этот глаз был ему сейчас не нужен: целился он правым. Действительно, минуту спустя как раз на линии этого глаза появилась каска и рука с гранатой. Леська затаил дыхание и нажал курок. Каска слетела вбок, звонко звякнув о чугун. Граната тут же разорвалась в руке немца, потому что была «лимонкой», а немец снял с нее кольцо.

«Хоть одного, но убил. Я! Лично! Убил!» — подумал Леська и тут же потерял сознание. Когда очнулся, тяжести в голове не было. Был только приятный шипящий шум. Может быть, это шумят сады? Ведь Альма — река, бегущая в сплошных садах — вишневых, сливовых, грушевых, яблоневых, айвовых. Леська огляделся и увидел рядом с собой мертвого Сысоева. Дальше лежал в спокойной позе Устин Яковлевич: очки с него слетели, и теперь лицо его казалось совсем молодым. Но Леська ничего не переживал: ни жалости, ни сострадания. Он снова отупел, как до своего выстрела. Одно ясно: наши ушли. Значит, немцы *здесь*! Что же теперь делать?

Сначала Леська вздумал притвориться трупом. Впрочем, на станции никого не было. Так что нечего и притворяться. Но почему никого нет? Если немцы захватили

станцию, то где охрана вокзала? Где часовые? Леська долго думал и, кажется, понял. Немцы воюют крупно: захватив какой-нибудь незначительный пункт, они идут дальше, не оставляя мелких пикетов и, таким образом, не давая армии таять. Если так, то пока некого бояться.

Захотелось есть. У немецких офицеров всегда имеется сумочка с неприкосновенным запасом. Об этом много говорили на фронте. Леська подполз к одному немецкому трупу. Действительно: клеенчатое портмоне с охотничьей сосиской, дырявым кубиком сыра и ломтиком белого хлеба. Хлеб и сыр он съел тут же, а сосиску спрятал про запас: это был настоящий солдат. Потом стал оглядываться вокруг и всматриваться в трупы. Лица убитых не были похожи на лица мертвецов. Одно дело мертвец в гробу и совсем другое — в бою. Здесь трупы рассказывают. Будь только чуток. Леське, с его чудовищной фантазией, казалось, будто он понимает все, о чем думал человек перед тем, как его убили. Вот лежит немец. Взглянул в его лицо и увидел чистую широкую дорогу и невдалеке фольварк с острой красной крышей, с голубыми стенами, с зеленым балкончиком, а на нем цветочные горшки — белые и розовые. Дверь на балкончик открыта. Из комнаты несется старушечий голос: «Отто!..»

А вот тот немец внушил Леське видение белокурой девушки. Над ней чисто вымытое немецкое небо. У нее голубые глаза и голубой фартук, а в руке ведро, полное только что нацеженного молока, всего в пузырях... Может быть, образы продолжают излучаться из человека, если его внезапно убили? Ведь не сразу же во всех частях тела наступает смерть. Возможно, что в мозгу что-нибудь еще мерцает, хотя сознания в нашем смысле уже нет. Может быть, какие-нибудь альфа-лучи, радиоволны какие-нибудь. Бог их знает!

Ну, хорошо. Но что же дальше? Это безлюдье не может продолжаться до бесконечности.

Леська встал. Преодолевая мучительную ломоту во всем теле, приковылял к низкому забору и тут увидел труп женщины.

Сначала он ее не узнал. Но венгерские сапожки с отворотами... Лица у нее не было, но гневно разметались такие знакомые волосы... Леська перелез через забор и упал на ранневесеннюю нежно-зеленую травку. Он лежал и силился заплакать. Ему стало стыдно, что он не плачет над телом Капитоновой.

Трава была прохладной. Леська стал тереться об нее щеками, чтобы умыться, и почувствовал на лбу бинт. Он думал сначала, что это фуражка. Оказалось, бинт. Значит, ребята перед уходом его забинтовали? Нет, если б ребята, они бы взяли его с собой. Бинтовала Тина! Она и не ушла, чтобы остаться с ним. Это дошло до него с ослепительной ясностью. Тина... И тут он зарыдал. Рыдал он долго, беззвучно, чтобы не обнаружить себя. Это рыдание вернуло его к чему-то человеческому. Даже и здесь Тина помогла ему, как могла. Теперь он плакал уже тихими, усталыми слезами. Так и заснул. Как в детстве. Снился ему немецкий домик с зеленым балкончиком и старушечий зов: «Отто!» Ему казалось, что это он сам и есть Отто, а зовет его бабушка Дуся.

Вдали сквозь деревья виднелся белый барский дом. Там сейчас, наверное, штаб германского полка. Надо выяснить. Но Леська медлил. Он понимал, что малейшая оплошность — и он погиб. К тому же в усадьбе могут быть собаки. Леська решил ждать чуда. Но в этот день чуда не было.

Утром начало пригревать рано. Трупы у забора почернели и превратились в негров, одетых по-русски и по-германски. Запах от них шел убийственный. Никакого сравнения с водорослями, гниющими на берегу после шторма. Но это хорошо. Этот запах мертвецов отобьет у собак нюх, и они не учуют Леську. «Но где же чудо?» — уверенно спросил он.

И чудо явилось. Два светло-шоколадных олененка, Стасик и Славик, спокойно щипали траву подле самого дома, не вызывая ни собачьего гомона, ни выстрелов штабных солдафонов, которые, конечно, не пощадили бы этих милых зверенышей. Значит, усадьба все еще пуста. Леська был осторожен, но случаются минуты, когда нужно преодолевать осторожность. Он приподнялся, дополз до первой яблони, обнял ее и, подтянувшись, встал на ноги. Хватаясь за ветви, добрался он до опушки сада. Ни души. Побрел дальше. Увидел погреб. Оттуда повеяло теневой свежестью и запахом солений. У Леськи закружилась голова — теперь уже от голода. Перебежав к погребу, он присел на первую ступеньку, потом стал пересаживаться на вторую, оттуда на третью и так спустился к прохладной и духовитой пещере. В первой же деревянной бочке оказались малосольные помидоры. Леська ухватил один, самый мягкий. По этой мягкости понял, что помидор красный. Он тут же

высосал его. Ничего вкуснее не ел за всю свою жизнь. Второй, третий, пятый оказались пе менее вкусными. Леська насытился, прилег у бочки и заснул. Теперь, по-видимому, от сытости. А может быть, здесь все еще действовала контузия?

16

На самом верху, в раме двери, затяпутой голубым небом, возник силуэт девушки с ярко блестевшим краем фаянсовой тарелки.

— Ой! Кто это?

— Я.

— Кто я?

— Раненый.

— Ой! Красный?

— Я русский.

— Как звать?

— Бредихин Елисей.

— Та чи вы? Леся?

— Шурка? Постой! А где же Гульнара?

— А барышня — это самое... остались в Хапышкос.

— А зачем же ты ушла? — строго спросил Леська.— Тебя ведь приставили к ней!

— Приставили, а сами где? Ихние папа, мама и Розия драпапули от красных в Константинополь на броненосце. А Гульнару оставили. Не успели захватить. А кто мне жалованье платить будет? Чатырдаг? Умер-бей отказался. Вот я и ушла.

— И где же ты сейчас?

— В имении Сарыча. Это — имение Сарыча. Я вышла замуж за здешнего садовника. А что мне одной делать? Какая сейчас в Евпатории жизнь? А его убили. Вот я теперь вдова и живу здесь, пока Сарычи не вернутся. А там увидим.

— Вдова?

Шурка была все той же шустрой девчонкой — и вдруг вдова...

— А ты зачем в тельняшке? Придут немцы воды напиться, увидят тельняшку, подумают — матрос. А матросов опи стреляют без разбору.

— У меня ничего другого нет.

— Пойдем ко мне в хату. Чего-нибудь у мужа отыщем.

Леська, кряхтя, начал подниматься.

Шурка подхватила его под плечо, потом крепко обняла за спину и повела к лестнице. Всходя по ступенькам, он тоже обнял ее. Подъем длился довольно долго. Дольше, чем было нужно. Наконец они очутились во дворе. По-прежнему в обнимку прошли мимо барского дома к воротам. Здесь стояла черная избушка бабы-яги: без окон, без дверей. Вскоре выяснилось, что дверь есть, но распилена она поперек таким образом, что верхняя половина открывалась, как ставень, и тогда получалось окно, а если надо войти в избушку, то открывался нижний ставень, и тогда вместе с верхним получалась дверь.

— А где же настоящее окно? — спросил Леська.

— Хозяин стекла не отпустил, вот и пришлось выдумать такой домишко.

— Да-а... Ничего подобного не видел.

Внутри избушка была удивительно чисто прибрана. На кровати голубовато-белое марселевое покрывало, на столе белая скатерть в красную клетку и глиняный кувшин с первыми цветами. Леське здесь очень понравилось.

— Раздевайся, Елисей, и ложись в постель, а я что-нибудь поищу из одежи. А тельняшку сожгем, чтобы никаких вопросов. И бушлатик заодно. Правда? Чего их жалеть. Дело наживное.

Она ушла в угол за какую-то занавеску. По-видимому, угол заменял шкаф. Начала рыться в рухляди.

— Если что, я тебя, это самое... за своего мужа выдам. Значит, будут тебя звать Григорий. Григорий Поляков.

— А отчество как?

— Отчество? А кто его знает, отчество? Немцы отчеством не интересуются.

Вскоре Шурка отыскала праздничную синюю рубаху с перламутровыми пуговками, сидевшими близко и ладно, как на гармони. Примерила Леське — не налезает.

— Ну и медведь же ты! — засмеялась Шурка.— Такой молоденький — и медведь.

Снова порылась и достала другую рубаху, тоже синюю, но уже линялую.

— Нам не на свадьбу! — сказала Шурка и принялась за кройку. Она перерезала праздничную рубаху поперек и стала из нижних кусков натачивать спинку, а потом заплаты на плечи и воротник. Линялые же куски нашила снизу, как юбку.

— Это пойдет в штаны, этого не видно.

Работала она весь день. В промежутке обедали. Леська выпил козьего молока с черным хлебом. Было оно очень жирным, сытным, хотя и с привкусом шерсти. Потом спали. Шурка постлала себе на полу, а Леську оставила на кровати, несмотря на его протесты — он требовал, чтобы она спала на кровати, а он на полу. Всю ночь Шурка вздыхала и охала.

Леське тоже не спалось — его мучила совесть. «Неужели каждый молодой мужчина может быть счастлив с каждой молодой женщиной? — думал Леська.— Но если так, то чем же мы отличаемся от животных?»

Утром они завтракали, избегая встречаться глазами. Леська заметил у Шурки под нижними веками шоколадные тени. Но внешне все шло как надо. Леська ел яичницу и пил молоко, а Шурка — только молоко. Потом она примерила Леське рубаху — рубаха сидела отлично. Шурка обрадовалась и впервые не отвела глаз от его взгляда. С трудом оторвавшись, она вышла во двор, вошла в барский дом, растопила печку и сожгла Леськино барахлишко.

Ночью Шурка опять вздыхала на полу, а у Леськи сильно билось сердце на кровати. И вдруг, сам не веря в то, что делает, Леська резко сел на постели и спустил ноги вниз. Шурка перестала дышать и прислушалась. Леська сошел на пол, присел перед матрасом, что па полу, и, умирая от страха, осторожно приподнял Шуркино одеяло.

Шурка пододвинулась, чтобы дать Леське место. Леська прилег рядом и дрожал так, что зубы сводило. Не помня себя, он тихонько обнял девушку... Шурка схватила его руку и держала крепко, не давая шевельнуться. Если бы не эта сила, Леська ни на что большее бы не решился. Но теперь его пронзил охотничий порыв. Он резко повернул Шурку к себе и припал к ее губам. Шурка со стоном запрокинула голые руки за его шею и всем телом потянулась к нему.

— Скажи: «та чи вы?» — горячим шепотом попросил Леська.

— Та чи вы?

Леська с жаром прижался губами к губам Шурки.

Утро. Леська лежал счастливый и удивленный. «Как мне с ней хорошо! — думал Леська.— Но ведь я ее никогда не любил. Вот она лежит на моей груди, в моих объятиях. Но разве она мне дорога? Ничуть. Почему же мне так хорошо с ней? Значит, любовь — выдумка? Красивый обман поэтов?»

Весь день они провели в постели. Проснувшись, бурно целовались. Потом Шурка в одной рубашке бежала доить козу, и они пили молоко с хлебом. Потом снова: «Скажи: та чи вы?», снова засыпали, опять целовались и опять засыпали. Леська был так непривычно счастлив, будто все это происходило не с ним, а с кем-то другим.

Летом он видел на пляже множество женских тел. Позолоченные загаром, они напоминали статуи. Живые статуи, и только. Это была эстетика. Женщины на пляже лишены эротической остроты, потому что море, небо, дюны, многолюдье лишают их того, что делает их женщинами: интимности. Но Шурка... Загар с нее за зиму сошел, и теперь тело ее блистало, излучаясь в полутьме каким-то волшебным сверканьем. Мужские тела никогда так не сверкают. Это был свет женщины. Свет, которого никогда не увидишь, если женщина не твоя.

И еще одна мысль захватила Елисея. Чем счастливей чувствовал он себя с Шуркой, тем жарче ненавидел войну. Человеку дано такое изумительное: страсть. Как же смеет война отнимать у него это? И почему люди это допускают? Как могут терпеть? Не дети, которые ничего не понимают, не старики, которые ко всему остыли, а именно молодежь почему-то обязана убивать друг друга, отнимая друг у друга Шурку — ни для себя, ни для других.

И все же на третий день война постучалась в дверь избушки на курьих ножках. Сказка кончилась. Вошли два германских солдата и немец-колонист.

— Напиться просит,— сказал колонист.

Шурка подала им жестяную кружку с веснушками ржавчины и указала на бочку с водой. Германец брезгливо покосился на кружку.

— Ржавчина — это здоровье,— сказала Шурка.— В ржавчине железо.

Колонист перевел. Немец засмеялся и стал пить. Другой солдат уставился на Леську и что-то спросил по-немецки.

— Он спрашивает: кто этот раненый?

— Это мой муж, и никакой он не раненый, во-первых! — строптивым тоном выпалила Шурка.

Колонист перевел.

— А почему же у него ранение?

Колонист перевел.

— Ах, это! — Шурка лукаво засмеялась.— Это дела домашние. Пришел вчера пьяный, начал придираться, полез

в драку, но я его так хватила сковородкой — и кожу рассекла.

Колонист перевел и рассмеялся. Солдаты с хохотом ушли.

— Ну и молодец же ты, Шурка!

— А что? Думаешь, немцев обмануть нельзя? Они беспечные!

Но тут вернулся колонист.

— А вы, ребята, будьте осторожны. Бинт у вашего мужа госпитальный. Если вы его сковородкой, откуда же у вас мог оказаться такой бинт? А? Вот я и говорю. Будьте осторожны.

Шурка кинулась к немцу и поцеловала его в щеку.

— Спасибо! — сказал немец и покраснел.

Потом закрыл за собой нижний ставень и быстро пошел за германцами.

— Все-таки русский немец...— умиленно сказала Шурка.

— Наверно, коммунист,— раздумчиво произнес Елисей.

— Почему «наверно»? Как хороший человек, так и коммунист?

— В наши дни, пожалуй, так,— улыбнулся Леська.

— А я разве плохая?

— Ты чудесная!

Все же порешили, что Леське надо уходить: уж очень близко отсюда германцы.

— А куда ты пойдешь? В Евпаторию пока опасно. Пойди осенью, когда начнутся занятия. Все-таки там директор, он тебя в обиду не даст.

— Пойду в Хапышкой.

Шурка поглядела на него затяжным взглядом.

— А куда мне еще? Там хоть Гульнара меня куда-нибудь спрячет.

Шурка быстро и как-то наспех заплакала, точно ей некогда, потом вздохнула и сказала:

— Хорошо, я пойду с тобой.

Она разбинтовала голову Леськи, увидела, что ранка невелика, наложила ваты и, обмотав чистым носовым платком, привязала концы шнурком для ботинок. Получилось совсем по-домашнему. Потом загнала козу в избушку, накосила для нее травы, взяла хлеба и бидон молока. Пошли.

Идти надо было верст двадцать пять. На каком-то перегоне их подхватил старичок татарин на свою мажару. Он

поместился впереди на мешке с сеном, а они сидели сзади и целовались. Татарин видел это по их теням. Он тихонько хихикал, но не оглядывался.

За Альма-Тарханом они снова пошли пешком. Следующая деревня называлась Ханышкой. На полпути Шура остановилась.

— Дальше не пойду,— сказала она.— Ханышкой начинается вон за теми тополями. Там открылась кофейня. «Каведэ» — так они ее называют. Деньги у тебя есть?

— Нет.

— На вот, возьми. Пообедай где-нибудь, а то барышня не догадается тебя накормить, а сам ты не попросишь.

На прощанье они поцеловались так жарко, точно хотели выпить друг у друга душу.

В кофейне было всего четыре человека. Один из них, высокий старик в чалме и турецком халате с вопросительными знаками, жевал чебуреки, запивал их черным кофе из маленькой чашечки и отвечал на почтительные вопросы остальных, которые только курили. Когда Леська вошел в кофейню, разговор оборвался. Старик вперил в Леську острые недоверчивые глаза, красные, как у белого кролика.

— Урус?

Леська сделал вид, будто не понял, и показал хозяину жестами, что хочет пить. Татары не отрываясь смотрели на его роскошную рубаху с перламутром. Они безмолвствовали, но Леська почувствовал в этом безмолвии затаенную враждебность. Хозяин принес большой стакан ключевой воды и на блюдечке розовое варенье.

Леська с наслаждением прихлебывал воду в аромате роз и тоже не отрываясь смотрел в красные глаза высокого старца. Потом встал и положил на прилавок бумажку в двадцать керенок.

— Керенки сейчас не пойдут,— сказал хозяин.

— Да? А немецких денег у меня нет.

— Николаевские давай.

— Нет николаевских.

— Что делать будем? — спросил хозяин.

Леська понял, что скандал неизбежен. В такие минуты на него находило вдохновение.

— Турецкие деньги хотите?

— О, да, да! — закивал хозяин.— Турецкие можно.

— А вы имеете право орудовать турецкой валютой? — грозно спросил Елисей. — На каком основании?

Хозяин опешил.

— Полицию зовите! — загремел Бредихин, прекрасно зная, что никакой полиции сейчас в деревнях нет, тем более в этой глуши.

Хозяин обернулся к старику. Тот, миролюбиво махнув рукой, сказал несколько слов по-татарски.

— Умер-бей за тебя заплатит. Можешь уходить. Проваливай!

Леська подошел к хозяину, который был на голову ниже его, выставил перед самым его носом указательный палец и помахал им вправо и влево. Потом низко согнулся перед Умер-беем и приложил руку сначала к сердцу, затем к губам и, наконец, ко лбу. Это мусульманское приветствие понравилось Умер-бею.

— Якши, урус! — одобрительно сказал старик.

Леська вышел на улицу. И опять у него было такое ощущение, будто все проделанное им в кофейне делал не он, а кто-то другой.

Слева по улице шли голые холмы, справа сады с низенькими заборчиками из ракушечника. Леська подошел к одному заборчику и увидел приземистый домик, очевидно, сторожку. У входа спиной к Леське сидела старуха и мыла в тазу рыбу.

— Бабушка! Чей это сад? — спросил Леська.

— Это сад господина Синани.

— А где сад Умер-бея?

— А вот он! Рядом с нашим.

У Леськи упало сердце. Он понял, что сейчас просто не в силах увидеть Гульнару.

— Послушайте, ханым! А нельзя ли мне у вас переночевать?

— Нельзя, нельзя.

— Хоть одну ночь.

— В чем дело? — раздался голос из домика, и на пороге появился дед.

— Вот! Незнакомый человек хочет переночевать. Нужен он мне!

— Но почему же нельзя? — спросил Леська как можно мягче. — Ведь одну-единственную ночь. Может быть, и у вас есть где-нибудь сын и ему тоже переночевать негде. Мои дедушка с бабушкой его бы приютили.

Старик и старуха переглянулись.

— Есть где переночевать! — решил старик и закашлялся, чтобы не слышать старухиных возражений. Но старуха не возражала.

— Входи! — сказал старик.— Только где Тюк-пай?

— Тюк-пай на цепи.

Леська поискал калитку и вошел.

— А твои вещички? — спросила старуха.

Леська молчал.

— Я ни о чем не спрашиваю! — мудро сказал дед.— Такое сейчас время, что не надо никого ни о чем спрашивать. Есть вещички, нет вещичек,— раз человек ищет крышу, надо помочь. Бабушка! Ставь самовар.

— Так скажи это как человек! — раздраженно проворчала бабушка.

— Я и сказал как человек.

— Нет, ты сказал: «Бабушка, ставь самовар».

— А как надо было сказать?

— Надо было сказать: «Бабушка, ставь самовар».

— Но я же и сказал: «Бабушка, ставь самовар».

— Нет, ты сказал: «Бабушка, ставь самовар».

— Тьфу!

Дед с ненавистью уставился на старуху. Бабушка вошла в домик, и старик доверчиво обратился к Леське:

— Когда она увидела меня в первый раз пятьдесят лет тому назад, так прямо заладила в одну душу: «Только Исачка! Только Исачка!» (Исачка меня зовут.) Пришлось жениться.

— Плохо ваше дело,— сказал Леська, едва сдерживая улыбку.

— А разве я говорю — хорошо?

Старуха вышла с маленьким самоварчиком. Все медали на нем были начищены, как перед парадом.

Леська тут же принял его из рук старушки.

— А где у вас, бабушка, вода?

— В ручье, дорогой. Это ручей Умер-бея, но мы проделали в заборе дырку и потихоньку берем, сколько надо.

— А Умер-бей не сердится?

— Сердится.

Старуха счастливо захихикала.

Ручей бежал бурно, чирикал по камешкам, а в ямках производил шумные глотательные звуки: голт... голт... голт... Леська не стал искать в тыне дырки, а перемахнул

через него прямо на бережок. С минуту он стоял без движения: его волновало то, что он ступил на землю, по которой ходила Гульнара. «Сад Гульнары»,— подумал он, точно читал заглавие персидской сказки.

Бабушка уже поджидала его с котелком, в котором попыхивали угли.

— Ты думаешь, этот старик такой чудный хозяин? Гость пришел — «бабушка, ставь самовар»? Это он для себя! Он сам чай любит.

— Ах ты, несчастная! Ну, есть у тебя стыд и срам? Видит бог, я сначала подумал о госте, а только потом о себе.

— Но все-таки, шайтан, ты любишь чай больше всего на свете.

— А кто его не любит? И ты любишь, ведьма хвостатая.

— А ты все-таки больше, больше!

— А ты еще больше!

— А ты на это «больше» — еще больше.

Перед домиком был вбит в землю круглый стол об одной ноге. Вокруг него полукружьем — скамья, как в беседке. Суровая, но чистая скатерть, белый чурек, испеченный в золе, брынза, масло и самоварчик на подносе,— ах, до чего же хорошо!

— Неужели здесь все-таки не было ни одного немца? — спросил Леська.

— Ни одного,— ответил старик.— Здесь только татары и караимы. Я, например, караим. Синани. Можешь называть меня Исхак-ага. А это моя жена Стыра, Эстерханым. А тебя как зовут? Это ведь ты можешь нам сообщить? Даже собаку нашу зовут Тюк-пай.

— Леся меня зовут. Елисей.

— А! Елисей! Это есть такая река, верно?

— Нет. Река — Енисей, а я — Елисей.

— Хорошо. Енисей так Енисей.

Потом Леську пригласили в дом. Потолок был низок, пол был земляной и натирался коровьим навозом. Из маленькой кухни шла в комнату дверь со стеклянным окном. В комнате кровать с периной и подушками мал мала меньше. Два стула. Комодик. Над комодиком картинка: десять этикеток с надписью «Ситро» и с изображением лимонов налеплены на квадратный картон и синей ленточкой прикреплены к винтику. Эта эстетика потрясла Леську больше всего.

— Енисей! — сказал дед.— Ты будешь спать на кухне. А?

— Пожалуйста. Как хотите.

— Мы хотим, чтобы на кухне. Больше негде.

— Спасибо большое.

— А уборная у нас вон там!

— Только ты сходи сейчас,— сказала бабушка,— а то на ночь мы спускаем Тюк-пая.

— А если Енисей в настоящее время не хочет? — запальчиво воскликнул дедушка.

— А если это нужно? — с раздражением ответила бабушка.

— А если нечем? — сказал дед, беря выше.

— А если Тюк-пай? — взвизгнула баба, взлетев, как ведьма, на самый верх.

— Ладно, ладно! — успокоительно сказал Леська.— Я собак не боюсь.

— Ты не знаешь Тюк-пая: это крымская овчарка. Слыхал про них? Но на сегодня его можно не спускать. А? Стыра?

— Можно не спускать,— спокойно согласилась бабушка.

Были уже сумерки. Леську невыносимо потянуло к ручью. Вышли звезды, теплые крымские звезды. Подойдя к тыну, он увидел белый силуэт девушки, задумчиво сидевшей над родничком. Это Гульнара. Разве мог Леська окликнуть девушку и вспугнуть эту очарованную тишину?

«Боже мой...— умильно думал Леська, глядя на белый силуэт.— Какое счастье, что у меня это есть. Вот эти звезды, эти травы, эта задумчивая девушка, читающая стихи, эта тишина,— вся картина, которую я вижу. Ведь этого никто другой сейчас не видит. Вижу я. Значит, это все *мое*! Частица моей души, моей памяти навеки, моего счастья».

Леська умел чувствовать себя счастливым — это нужно за ним признать. Но надо быть философом, а может быть, и поэтом, чтобы так легко завоевывать счастье!

Он лежал на траве у тына и глядел на девушку до тех пор, пока из глубины сада не донесся зов — голос пожилой женщины:

— Гюльнар!

Гульнара вздохнула, посидела еще минуту, потом поднялась и прелестным движением оправила юбку.

— Гюльна-а-ар!

Девушка, не откликаясь, вошла в деревья. Но как она могла отозваться? Ведь нарушила бы тишину и все, что было у Леськи с ней связано.

Леська пошел обратно. По дороге сбился с пути и наткнулся на собачью будку. Белый курчавый Тюк-пай храпел во всю ивановскую.

Утром Леська проснулся от неистового крика: бабушка стояла в хате по одну сторону дверного окна, дедушка — по другую. Они гляделись друг в друга, словно в зеркало, делали гримасы, высовывали языки и пальцами изображали рожки.

— Баба-яга! — кричал дедушка.

— Деда-яг! — кричала бабушка.

— Ведьма! Ведьма! Ведьма! — орал дед.

— Шайтан! Шайтан! Шайтан! — визжала баба.

— Тьфу!

Леська побежал к ручью умыться. Ручей был холодным и весь в пузырьках, точно сельтерская вода. Леська долго пил и думал: «Сад Гульнары... Сад Гульнары». Теперь будь что будет, он решил дождаться ее.

Вокруг Леськи стояли яблони. Подальше, ближе к хозяйскому дому, высились тополя, трепеща своей оловянной изнанкой так, что казалось, будто по их кроне бежит ручей. Леська к деревьям не привык, поэтому он разглядывал сад с любопытством эскимоса.

Послышались шаги. Леська отошел за деревья. Шаги приближались. И вот, помахивая пустым ведром, к ручью вышел Девлетка.

— Авелла! — тихо сказал Леська.

Девлетка испуганно оглянулся и, узнав Леську, приложил палец к губам.

— Нигде мы с тобой не были, Леся. Ни на каком валу — Турецком, не Турецком. Понимаешь? А то нам обоим...

Он рукой изобразил на шее петлю и повел от нее веревку вверх.

— Понимаю. Но куда мне деваться?

— А где ты живешь?

— Да пока вон у них.

— У Синани?

— На одну ночь приютили, а больше не хотят.

— Захочут! — уверенно сказал Девлет.— Обожди здесь — я маму позову.

Пришла мама.

— Здравствуйте, Леся!

— Здравствуйте, Деляр-хатун.

— Девлетка мне все рассказал. Мы сделаем так: спать будешь у Синани, а кушать я присылаю тебе с Девлеткой к ручью. Умер-бей сюда никогда не ходит. А? Соглашайся.

Леська молчал.

— Он на это не может согласиться,— раздался девичий голос.

Из-за деревьев выступила Гульнара. Она держала себя величаво, как настоящая княжна, и Леська просто не узнавал ее.

— Мы пойдем с ним к деду, и он позволит ему жить у нас. Если я скажу — позволит. Пойдем, Леся.

Леся пошел за ней. Сзади шли кухарка и ее сын.

Дом Умер-бея был окружен службами: сараем, амбаром для фруктов, конюшней, летней кухней. Сам же дом как две капли воды смахивал на домик Синани, только длиннее. Глинобитный, низкий, крытый тростником.

Леську ввели в крошечную прихожую без окна.

— Бабай! — властно позвала Гульнара.

Послышались легкие, совсем не старческие шаги, и, согнувшись, чтобы не ушибиться о потолок, вошел Умер-бей в коричневом халате с вопросительными знаками, на голове бухарская золоченая тюбетейка. Войдя, он уставился на Леську своими красными глазами.

— Урус?

— Да. Он русский,— сказала Гульнара.— Папа прислал его сюда, чтобы он занимался со мной по литературе и математике. Это постоянный мой репетитор.

Она намеренно говорила по-русски. Но Умер-бей по-русски не понимал и заставил внучку повторить по-татарски. Гульнара произнесла длинную татарскую фразу, в которой мелькали слова: «литература», «математика», «репетитор». Теперь Умер-бей как будто все понял.

— Отр сенс! — сказал он Леське и указал па табурет.

Через минуту кухарка принесла стакан холодной воды и на блюдечке розовое варенье.

— Если дедушка предложит тебе еще, ты откажись,— сказала Гульнара.— Так будет вежливо.

Умер-бей бросил какую-то фразу с вопросительной интонацией.

— Дедушка спрашивает, почему ты так плохо одет?

— Скажи ему: меня по дороге раздели красные.

Умер-бей кивнул. Гульнара что-то сказала старику тоном, не допускающим возражений. Старик тут же согласился. Леська понял, что Гульнара крепко держит своего дедушку в руках. Впрочем, иначе и быть не могло: просто невозможно представить себе, чтобы кто бы то ни было из тех, что попадаются на ее пути, не покорялся ей с наслаждением. Леську ввели в комнаты. Первая, по-видимому нежилая, была на треть завалена зимними яблоками, прикрытыми соломой. От этого вся комната благоухала винным духом. Следующая, по-видимому, принадлежала Умер-бею, судя по двум-трем халатам, висевшим на стене. В третьей жила Гульнара. Во всех трех комнатах мебель одинаковая: длинные диваны, громоздкие комоды, карликовые столики.

— Ты будешь жить здесь! — сказала Гульнара, вернувшись в комнату с яблоками.

Леська подумал, что Сеид-бей скоро вернется из Константинополя и может приехать сюда. Если к тому же Алим-бей не убит и тоже заглянет в Ханышкой, Леське совсем несдобровать: Алим зарежет его спящего и закопает под любой яблоней.

— Я не хочу никого обременять, и если вы уговорите старичков Синани оставить меня у них, это бы вполне меня устроило.

— Как хочешь,— обиженно сказала Гульнара.— Деляр-хатун, поговори со старичками — за это мы разрешим брать воду из нашего ручья.

Так все и устроилось.

Весна была жаркой. Утром Леська приходил завтракать в дом Умер-бея. Сидели в яблочной комнате вокруг столика, скрестив ноги по-турецки. Потом тут же часа полтора занимались. К себе в комнату Гульнара его не приглашала: это сочли бы неприличным. Днем Леська шел к ручью, и хотя купаться в его ледяной воде было немыслимо, но плескаться и обтираться — одно удовольствие. Затем обед. Ели почти всегда одно и то же: суп с макаронами и катыком, баранину с перцем и катыком и компот из чернослива с орехами и катыком. Катык был налит в глиняный кумган и всегда стоял на столе.

Старики Синани питались разнообразнее. К тому же они ревновали Леську к дому Умер-бея и к его катыку, поэтому старались приманить Леську лакомствами, на которые караимы большие мастера. Здесь повторилось

то же, что было с Леськой у Бельских: старики влюбились в Леську и баловали его, как могли. Но Леська и сам делал для них все, что мог. Он колол дрова, носил воду, ставил самовар, подметал двор, кормил собаку и крутил веселкой в тазу сладкую ослепительно белую массу, из которой потом, если она хорошо прокручена, получался альвачик — нечто вроде твердой тянучки-халвы.

Но Синапи привязались к Леське не оттого, что имели дарового батрака: старость всегда ищет утоления в молодости, старики — в молодежи. Может быть, поэтому мы теплее относимся к внукам, чем к детям, которые спустя тридцать — сорок лет становятся как бы нашими братьями и сестрами. С тех пор как появился Леська, Исхак-ага и Эстер-ханым почти перестали ссориться, а если иногда что и случалось, так только потому, что так или иначе не поделили Леську.

— Зачем ты, старик, называешь его Енисеем?

— А как же надо его называть, старуха?

— Елисей.

— А я как говорю?

— А ты говоришь Елисей.

— А надо?

— А надо Енисей.

— Когда я говорю — Елисей, она — Енисей, когда Енисей, она — Елисей. Енисей — Елисей, Елисей — Енисей... Тьфу!

Но теперь эти споры происходили редко.

— К чему тебе кушать у этих татар? — вечно приставала старуха.— Ведь они даже не моют мяса.

— А она сделает тебе рыбу фиш по-еврейски! — поддерживал старик.— Ты когда-нибудь ел что-нибудь подобное?

— А где же вы возьмете рыбу?

— Где? В море, конечно. Старик поедет в Севастополь и купит. Кто его там тронет?

— Ну, нет! Этого я не допущу.

— А что ты можешь сделать? — хитровато усмехаясь, спросил старик.

— Перееду к Умер-бею.

— К Умер-бею? — с тихим ужасом спросила Эстер-ханым.

А Исхак-ага нахохлился и заявил, грозя почему-то средним пальцем:

— Этого не будет! Быть! Не! Может! И не может быть!

С Гульнарой отношения у Леськи были самые официальные. Она держала его на расстоянии. Леська не знал, чему это приписать. Может быть, выросла и теперь стыдится той непосредственности, которая составляла всю прелесть их дружбы?

Обычно Леська с утра задавал ей задачи, а к вечернему чаю проверял и ставил отметки. Гульнара старательно готовила уроки и к отметкам относилась без всякого юмора. Таким образом, виделись они только за едой и за уроками. Почти всегда где-то рядом существовал Умер-бей.

Однажды к обеду прибыл гость: солидный мужчина в оливковом костюме и в феске кровяного цвета. Леська узнал его: бывший правитель Крыма Джефер Сейдамет. Леську он не помнил и тревожно спросил:

— Урус?

— Урус,— ответил Умер-бей и успокоительно добавил: — Зарар йок: о бельме сын татарча.

Действительно, татарского языка Леська не знал, но за эти дни кой-чего нахватался и фразу понял. Она показалась ему подозрительной.

За обедом Леська и Гульнара ели молча, говорил все время гость, и в речи его часто мелькали слова «Стамбул» и «Магомет-Гешид» — имя турецкого султана. Сейдамет в чем-то горячо убеждал Умер-бея, но тот отмалчивался, то и дело зорко и опасливо взглядывая на Леську. Леська понимал эти взгляды: Умер-бей не опасался того, что юноша втайне знает татарский язык, но Елисей был для него как бы олицетворением российской государственности. Сейдамет что-то затевал. Он втягивал Умер-бея в какую-то политическую авантюру, но Умер-бей колебался. Вероятно, не доверял Сейдамету.

Обо всем этом думал Леська, лежа на берегу ручья. Надо бы принять меры. Но какие? И к кому обратиться? Не к немцам же. А русские в Крыму сейчас не хозяева. Значит, сидеть и молчать? Леська чувствовал себя изменником, который, зная о заговоре, таит это знание про себя.

Листва зашевелилась. Леська вздрогнул: неужели кто-то подглядел его мысли?

К ручью сошла Гульнара в белом платье и алой феске. Она улыбнулась Леське, как бы спрашивая: «Идет мне?»

Леська восхищенно закивал головой. Гульнара присела рядом и стала глядеть на воду.

— Гость подарил?

— Гость.

Она опустила палец в ручей, и вода тут же недовольно заворчала. Глупая вода, которая не понимала, какое выпало ей счастье.

— Хорошо здесь! — сказал Леська.— А все-таки ужасно тоскую по Евпатории. А ты?

— И я. Здесь слишком много зелени.

— Вот-вот. Это утомляет. А в Евпатории только море, небо и песок. А здесь даже неба нет: тополя, тополя и фрукты.

Гульнара засмеялась.

— Разве это так плохо?

Она взяла в зубы кончик длинной сухой былинки, ухитрившейся пережить зиму.

— Ну, конечно, Евпатория — чудесная. Почему до сих пор ни один поэт ничего про нее не написал?

— Один написал.

— Кто же?

— Мицкевич. Ты знаешь, что Мицкевич был в Евпатории?

— Ну?

— Да. У него есть сонет: «Вид на Чатырдаг из Козлова». А Козлов — это старинное название Евпатории, переделанное из татарского «Гезлёв».

— «Окошко-глаз»? — недоуменно спросила татарка.

— Да. «Окошко, подобное глазу»,— очевидно, в те времена в Евпатории строили именно такие домишки.

Леська подполз ближе и ухватил в зубы другой конец былинки.

Ничего не подозревая, Гульнара продолжала крепко держать в зубах свой. Ей казалось, будто Леська тащит былинку, а он, сам того не зная, притягивал ее рот. Когда от былинки осталось совсем немного и их губы почти приблизились, Гульнара рассмеялась, выпустила травинку и сказала бойко и лукаво:

— Та чи вы?

Не помня себя, Леська бросился на девушку и коснулся губами ее уст. Гульнара с силой оттолкнула его, вскочила и, задыхаясь, сердито закричала:

— Как ты смеешь? Хам! Я велю запороть тебя на конюшне!

И вдруг зарыдала и скрылась в деревьях. Леська еще долго слышал, как она всхлипывала, удаляясь. А в нежной зеленой траве пылала ее алая феска.

Утра Леська не дождался. Когда Синани уснули, он набросал записку, положил ее на конфорку самовара и пошел пешком в Евпаторию. Ночь сияла звездами. Собаки спали. Идти было легко.

17

Собственно говоря, *что* произошло? Своим поцелуем он тяжело оскорбил Гульнару. Это ясно, иначе она бы так не рыдала. Но почему? Когда их губы сближались на былинке, она ведь поняла, что́ за этим может последовать? Поняла, как женщина. Недаром она засмеялась. Значит, самая мысль о поцелуе не возмутила ее. В чем же дело? Может быть, она уже выросла до мысли о поцелуе, но от самого поцелуя была еще очень далека? Ведь сознание девчонок созревает куда медленнее, чем их груди.

Леська шел и теперь уже грубо думал о Гульнаре. Черт с ней, с этой девственницей. Впереди ждет его Шурка.

В полночь он подошел к забору сарычевского сада. На него тут же залаяла собака.

— Чего надо? — спросил прокуренный голос.

— Это сад Сарыча?

— А тебе что?

— Здесь живет Шура Полякова?

— Нету здесь такой.

— Шура. Круглая такая, румяная.

— Нету. Ни круглой, ни сухой.

— Две недели назад была.

— Мало ли чего было две недели! Две недели назад русские были.

— Но где же все-таки Шура?

— Закурить есть?

— Нет. Я некурящий.

— Ну, вот видишь. А спрашиваешь про какую-то Шуру. Полкан! Рядом!

В ночной синеве чернела избушка на курьих ножках, в которой Леська испытал такое огромное, такое первобытное счастье... Он постоял, опершись на забор,

повздыхал и медленно двинулся дальше. Только сейчас он почувствовал, как устал!

Перейдя стальные пути у станции Альма, Леська из осторожности решил взять направление на Евпаторию, не заходя в Симферополь. Шел он еще верст пять-шесть, пока добрался до группы тополей у какого-то родничка. Здесь он напился воды и прилег. Сон сморил его одним взмахом крыла.

Утро снова застало его в пути. Он жевал взятый из Ханышкоя чурек и шагал, стараясь держаться деревьев, чтобы его не видели с дороги, где в обе стороны мчались немецкие автомобили. Изредка гарцевали гайдамаки. Еще реже тащились телеги.

Так прошел почти весь день. В шесть пополудни автомобилей не стало: в этот час германская армия пьет кофе, и вся военная жизнь у них останавливается. Теперь Леська вышел на дорогу. Идти стало легче. Впереди только село Саки, а там, через каких-нибудь восемнадцать верст,— Евпатория. Вдали он увидел телегу. Она стояла, точно дожидаясь кого-то. «Может быть, меня?» — подумал Леська, снова вспомнив о чуде. Он прибавил шагу. Но здесь ему впервые изменила осторожность.

У телеги высился черноусый гайдамак и держал за уздечки трех кавалерийских коней. Рядом немолодой крестьянин весь содрогался от громкого плача. У крестьянина была русая борода и русая челка, а на щеках яркий румянец, какого никогда не бывает у коренных крымских жителей.

Леська почуял драму. От страха у него стали заплетаться ноги, но отступать невозможно: гайдамак сурово глядел на него в упор. Леське даже показалось, будто конник узнал его по делам в Ново-Алексеевке. Но, конечно, этого не могло быть.

Леська подошел, волоча ноги.

— В чем дело? — спросил он чужим голосом.

— Иди, иди своей дорогой,— зарычал гайдамак.

— Нет, а все-таки? — настаивал Леська, точно во сне.

— Дочку насильничают! — взвыл крестьянин и зарыдал еще громче.

Леська огляделся и увидел овражек. Он пошел было к нему, но гайдамак заорал:

— Назад! Стрелять буду!

Но Леська упрямо продолжал идти.

— Назад, туды твою в халату!

Выстрела почему-то не последовало, и Леська спустился в овражек: ему показалось, будто крестьянин схватил коновода за руку.

В овражке два гайдамака, повалив девушку на влажную землю, срывали с нее одежду. Девушка плакала и жалобно причитала:

— Не надо... Ну, как же вам не совестно?.. Ну, не надо же...

Леська подошел ближе и сказал убедительным тоном:

— Братцы! Что это вы себе позволяете? Солдаты вы или бандиты?

Гайдамаки обернулись к нему.

— А ты кто такой за агитатор? А ну, выкидайся отседа, трах-тарарах-тах-тах...

Один из них в бешенстве подбежал к Леське и уже за три шага молодецки развернулся во весь мах. Так, очевидно, дрались у них в деревне. Но, развернувшись, он открыл нижнюю челюсть, и Елисей, слегка изогнувшись, очень точно ахнул по ней мощным свинглером. Гайдамак хлопнул пастью, как собака, поймавшая муху, и грохнулся на землю, высоко задрав ручки.

«Нокаут!» — весело подумал Леська и кинулся на второго. Но тот уже понял, с кем имеет дело. Отбегая, он вырвал из кобуры наган. Елисей схватил его за руку: он пытался завладеть револьвером. Если бы крестьянин наверху действительно удерживал коновода, Бредихин справился бы со своим противником. Но крестьянин не удерживал...

Очнулся Леська на телеге, раздетый до белья и прикрытый рогожей. Голова его была обвязана каким-то тряпьем и ужасно болела над затылком. Рядом, всхлипывая, сидела девушка, тоже закутанная в рогожу. Лица ее Леська не видел. Лошадка шла по сельской улице, мимо проплывали соломенные крыши. Вскоре телега остановилась у ворот какой-то избы, крытой черепицей. Девушка соскочила и вбежала в дом. Крестьянин же подошел к Леське и, ласково улыбаясь, спросил:

— Ну, как, сынок? Полегчало?

— Что со мной было?

— Спервоначалу он тебя сзади рукояткой, этот, который при мне состоял, он, значитца, рукояткой, а опосля они тебя раздели, мне по морде, а сами на коней и драла, потому как на дороге опять автомобили с немцами

забегали. Ну, гайдамаки-то понимали, что поступают незаконно. Немцы того не любят.

— А с дочкой как же?

— Хорошо с дочкой! — счастливо засмеялся хозяин.— Не тронули дочку.

Он помог Леське сойти, и Леська в одном белье вошел в избу.

— Ага́ха! — строго сказал хозяин.— Это дорогой гость. Накормить его надо.

Заплаканная хозяйка, которой дочь уже все рассказала, светло улыбнулась Леське сквозь слезы.

— Спасибо вам, господин, не знаю, как величать... Кабы не вы...

Она махнула рукой и быстро вышла в сенцы.

Леську усадили за стол. Хозяин сел рядом. Кухня была большой и служила столовой.

— А дочка где? — спросил Леська, морщась от головной боли.

— Стесняется,— ответил хозяин и указал бородой на дверь, ведущую в комнату.

— А почему вы не схватились с гайдамаком? Мы бы вдвоем их одолели.

— Оробел,— тихо ответил крестьянин и опасливо покосился на дверь.— По слабости болести.

— Как же вы смели робеть, если дело шло о вашей дочери?

— Да ведь они б ее не убили,— почти шепотом сказал хозяин.

— А если бы заразили сифилисом?

Хозяин вздохнул и не ответил.

Вошла хозяйка и вынула из печки горшок с гречневой кашей.

— Сейчас самовар вскипит,— сказала она.— А вы не побрезгуйте, господин. Угощайтесь. Как же все-таки вас зовут?

— Зовите Елисеем.

— А я Агафья. А он — дядя Василий. Сизовы наша фамилия.

— А как зовут вашу дочь?

— Почти как батюшку,— засмеялась Агафья,— Васёной.

Она снова вышла в сенцы. Хозяин и гость ели деревянными ложками из одного горшка. В каше попадались

кусочки свиного сала, да еще с корочкой, а житный хлеб пахнул степью и был вкуснее всех калачей на свете.

— Как же я все-таки доберусь до Евпатории? — спросил Леська.

— А тут уже недалеко: всего восемнадцать верст,— смущенно сказал хозяин.— Как-нибудь доковыляете.

Елисей понял: нужды в нем у хозяина уже не было, и мужик пожалел лошадь.

— Я не об этом,— сказал Елисей.— Но как же я пройду по нашим улицам в кальсонах? Ведь меня там все знают.

— Это как же в кальсонах?

— Ну, в подштанниках.

— А-а... Вот этого уж не знаю. У нас тут магазинов нет. Коли чего надо, мы завсегда в Евпаторию ездим. Там наша столица.

Он с увлечением черпал ложкой,— успокоенный, домовитый, бородатый, крытый соломой.

— Но все-таки вы должны для меня что-нибудь сделать, дядя Василий. Куртка — бог с ней, пойду и в рубахе, но брюки? Войти в город без брюк — это позор на всю жизнь.

— Тятя! — послышался из-за двери низкий девичий голос.— Дайте им хотя свои парусиновые. На что они вам заплатанные?

— А летом чего носить? — запальчиво крикнул Василий, весь повернувшись к двери.

— Да вы же их носить не будете.

— А может, буду? Ты-то почем знаешь, что будет летом?

Но тут он почувствовал устремленные на него Леськины глаза: юноша рассматривал его с интересом, как редкое насекомое.

— Ладно! Где моя не пропадала! Отдам ему парусиновые.

— Васена! — громко позвал Елисей.— Выйдите к нам. Давайте хоть познакомимся.

— Незачем нам знакомиться,— грубо ответил голос.

— Ну-ну, дочка. Зачем же так? Ты уж не упрямься. Выходи — гость просит.

Васена не отвечала. Хозяин, подмигнув Леське, подошел на цыпочках к двери, вдруг распахнул ее и, ухватив дочку за руку, вытащил упирающуюся девушку в кухню.

Васена была настоящей красавицей, какие водятся только на белом севере, где поморы смешались с польскими ссыльными. Высокая, выше отца, статная, с пышной сказочной косой через плечо, она мрачно взглянула на Леську черно-синими глазами и, отшвырнув тятьку, выбежала в сенцы. Через минуту силуэт ее мелькнул за окном.

— Ушла,— умильно сказал отец, вовсе не обидевшись на обхождение дочери.— Хара́ктерная девка.

— Сколько же ей?

— Да уж полных девятнадцать сравнялось на успенье пресвятые богородицы.

— И жених есть?

— Какие теперь женихи? — вздохнул отец.— Ее женихи в братских могилах.

Агафья внесла зеленый от ржавчины самовар и поставила на стол.

— Просим кушать!

Покуда Леська пил чай, дядя Василий вышел во двор и через минуту принес пару чуть живых парусиновых штанов.

— Вот они, голубчики,— сказал он, нежно растянув их во всю куцую ширь.— Уж какие ни есть, а все же имущество. Коли их покупать, так бумажки хочешь не хочешь, а выкладывай.

— Да что ты, отец? Кто их покупать станет?

— Молчи, Агаха! Не твоего бабьего разума дело. Тут коммерция.

— Денег у меня нет. Но вы скажите адрес, я вам пришлю из Евпатории.

— Да какие с вас деньги? — сказала Агафья.— С нас еще вам полагается.

— А как же! С нас еще... Что же до адреса, так это просто: село Саки, Парковая улица, Василию Сизову.

— Сколько же все-таки с меня?

— Сколько не жалко. Уж какие тут деньги.

Штаны оказались в поясе широки, но коротковаты, едва-едва ниже колен: хозяин был мужик плотный, но приземистый.

— Обмотки еще надо сделать,— сказал Леська.— Есть у вас какой-нибудь кусок черной или серой материи?

— Да где же ее нынче найдешь?

— Ну, дайте хоть юбку, которую гайдамаки разодрали!

— Так ведь юбку, дорогой, сшить еще можно.

— Отдай им юбку! — строго сказала жена.— Слышишь, Василь? Не жадничай. Они для нас могли жизни решиться.

Хозяин с несчастным лицом ушел в комнату и принес коричневые лохмотья.

Леська попросил ножницы и занялся кройкой. Обмотки в конце концов вышли вполне приличными. Понадобились, правда, две английские булавки, но выпросить их оказалось непосильной задачей.

Леська попрощался с хозяевами и вышел на воздух. У плетня стояла красавица Васена. Она ласкала собаку, которая уперлась передними ногами девушке в бедро.

— Ну, до свиданья, Васена. Может быть, еще увидимся?

— А на кой мне с вами видаться? — сухо ответила Васена, сердито глядя Леське прямо в глаза своими черно-синими огнями.

— Но разве я вам сделал что-нибудь худое?

Она резко отвернулась и побежала в дом. Леська озадаченно двинулся восвояси. «Чем я ей не угодил?»

Уже за селом его охватил теплый зюйд-вест, хотя моря еще не было видно. Скоро, скоро оно вспыхнет вон за тем бугром!

Леська бежал ему навстречу, забыв о Гульнаре, о Васене, даже о Шурке! Ура! Вот оно наконец! Вот он, милый, родной евпаторийский берег! Леська понесся к воде, поймал в ладони пену, процедил ее сквозь пальцы и с нежностью стал рассматривать крошечные, удивительно изящные овальные раковины, похожие на большие греческие амфоры. Конечно, греки взяли форму своих ваз отсюда.

Какое счастье жить на этом берегу... Он представлял себе, как слетит с пригорка на пляж у своей бани, как усядется в шаланду, как навалится на весла. Мидии, креветки... Знаменитый бабушкин плов...

Он проносится по городу в коричневых обмотках и ситцевой чалме.

Леська миновал собор, синематограф «Лицо жизни», мечеть Джума-Джами, кафе Заруднева... Вот остались позади театр, санаторий Лосева, отель «Дюльбер». Наконец вилла Булатовых. Но... На ровном месте, засыпан-

ном песком, играли совочками дети. Леська стоял среди них, недоуменно озираясь.

— Что вам угодно, молодой человек?

Из виллы сошла по ступенькам молодая женщина в пенсне.

— Кто живет в этой вилле? — спросил Леська.

— Здесь пока еще детский сад. Впрочем, скоро его закроют,— добавила она, иронически скривив губы.— Хозяева, говорят, объявились.

— А где же хата рыбака Бредихина?

— Эта баня, хотите вы сказать? Баню мы снесли. Теперь, видите, стало вполне просторно.

— Вполне...— со вздохом согласился Леська.

— А что это у вас на голове наверчено?

— Так... Ранение...— неохотно сказал Леська.

— Пойдемте в дом. Я перевяжу.

— Зачем? Не стоит.

— Пойдемте, пойдемте. Так ходить неприлично. Да и с точки зрения гигиены... Пойдемте.

Она решительно пошла в дом. Леська за ней. Пока женщина бинтовала Леськину голову, он осматривал дорогие сердцу комнаты, где обитала Гульнара, и вещи, к которым она прикасалась.

— Но где же теперь сами-то Бредихины? — спросил он.

— О, они разбогатели! Купили дачу Листиковых. Знаете ее? На Третьей Продольной. Там и живут.

Дача Листикова была небольшой: всего семь кабинок и уютный каменный домишко из трех комнат, с деревянной террасой. Леська бывал здесь, когда навещал Сашу. Подойдя к даче, он взглянул через невысокий забор и увидел шаланду, перевернутую вверх днищем.

Сначала Леську облаяла незнакомая дворняжка, которая держала себя здесь по-хозяйски. На перилах крыльца спокойно и домовито сидел тоже незнакомый кот с глазами филина. Этот только повел ухом. Потом выбежала бабушка и заахала, увидя Леську в бинтах. За ней вышел дед. После первых объятий Леська спросил:

— Почему мы здесь? Что случилось?

— Леонид приехал,— счастливо и подобострастно зашептала бабушка.— Большие деньги привез. И всё николаевские. Вот и решили купить дачу, а то ведь нынче с деньгами как? Сегодня керенки, завтра «колокольчики», потом еще что-нибудь.

— Откуда же у Леонида деньги?
— Кто его знает? Заработал.
— Уроками заработал?
— А чем же еще?
— На целую дачу?

Бабушка, не отвечая, потащила Леську в дом. Дед молча пошел за ними.

Дворняжка Дружок хотела замкнуть шествие, но бабушка ее прогнала:

— Ступай, ступай себе! Наследишь. Я только что полы вымыла.

На террасе с цветными стеклами сидел за самоваром Леонид и читал «Евпаторийские новости». Он был в украинской рубахе, с вышитыми птичками, и красные, зеленые, фиолетовые пятна лежали на его плечах, как погоны экзотической армии.

— А! Леська! Здравствуй, дорогой.— Они поцеловались.— А это что за ранение?

— Боевое.

— Ну как? Нравится тебе на новом месте?

— Я люблю цветные стекла.

— А вот дедушке не нравится...

— А что хорошего? — сказал дед.— Здесь я уже не рыбак. До берега три версты с гаком.

— Не преувеличивай! Всего четыре квартала. Да тебе незачем теперь быть рыбаком. Объясни ты ему, Леся. У нас тут семь кабинок. Если хотя бы по тридцать рублей с носа, это двести десять рублей в месяц. Помножь на четыре месяца в сезоне, выходит восемьсот сорок. Заметь, я беру только четыре месяца. А есть и такие приезжие, которые, не зная нашего климата, приезжают пятнадцатого апреля и уезжают пятнадцатого сентября. Значит, прибыль увеличивается. До тысячи догоним. Ну, а сад в пятнадцать яблонь? Я плохой ботаник, не могу еще сосчитать доходы с них, но, думаю, сотню-другую потянет. А ты, дед, заработаешь столько на своей рыбе?

Дед понуро молчал. Где ему объяснить, что дело тут не в заработках — у него отобрали море.

— Андрон не приезжал? — спросил Леська.

— Ждем.

Леське налили кофе. Это новшество ввел, конечно, Леонид. Кофе наливали из самовара. Леська прихлебывал этот заморский напиток и внимательно смотрел на брата.

— Чего уставился?

— Давно тебя не видел.

— Я понимаю твои мысли, Елисей. Но видишь ли, в Одессе на Ланжероне открыли рулетку — и я выиграл целый куш.

— Сколько же?

— Пятнадцать тысяч.

— «Расскажите вы ей»,— прозаически сказал Леська.

— Хо-хо! Чудак! Там по пятидесяти выигрывали.

Леонид закрылся газетой и углубился в чтение.

— Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? — спросил Леська.

— Нужно будет — расскажешь.

Потом отложил газету в сторону.

— А что, страшно, когда пули свистят?

— Ничуть. Даже приятно.

— Но-но. Только не паясничай.

— Я серьезно. Ведь если пуля свистнула, значит, не твоя — она уже пролетела. *Свою* пулю ты не услышишь.

Леська достал спичку, зажал ее головку между большим и средним пальцами, поднес к самому уху Леонида и щелкнул. Спичка вылетела и, ввинчиваясь в воздух, понеслась на какой-то нежно поющей ноте, напоминающей голубиные крылья, если бы они были крошечными.

— Занятно,— усмехнулся брат и снова углубился в газету.

Затем добавил:

— Приодеться тебе нужно. Сегодня же пойдем в конфексион и купим тебе костюм.

Леська выпил свою чашку.

— Спасибо,— сказал он.

Дед и бабка молчали. Леонид отозвался из-за газеты:

— Пожалуйста. Пей еще.

— Не хочется. Пойду осмотрю сад.

Сад был низкорослый, но кряжистый. Принялся хорошо. Под одной яблоней стояла зеленая скамейка. На спинке вырезано: «Саша дурак». Что-то теперь делает Сашка? Где он? То, что они продали дачу, понятно: решили выехать из города, который убил их отца. Но откуда у Леонида деньги? Пятнадцать тысяч — это очень много. Откуда же он их взял? Не мог же он быть налетчиком?

Леська ничего не мог придумать и отдался своим любимым мыслям. Почему Васена на него рассердилась? За что обиделась? Гульнара заплакала — так он хоть поцеловал ее, хотя что в этом преступного? Не ударил же...

А эта и вовсе! Бог их знает. Трудный народ эти девчонки.

По дорожке, усыпанной ракушками, поскрипывая, шел Леонид. Он разыскивал Леську.

— А! Вот ты где! — сказал он и уселся рядом.— Почему ты меня дичишься? Ведь я тебе брат, странная ты личность. Сколько времени не видались, а он удирает от меня в лес.

— А ты от меня в газету.

Леонид рассмеялся.

— И то правда. Прошу извиненья. Но объясни хоть, что у тебя за рана? Откуда она?

Леонид спрашивал так участливо, что Леська сдался. Он рассказал ему об эпизоде в овражке.

— Ну что ж. Ты поступил как рыцарь.

— Дело не в этом. Вот ты взрослый человек. Очевидно, знаешь всяких женщин. Объясни же мне, отчего эта девушка, Васена, отнеслась ко мне чуть ли не враждебно? Я ведь рисковал для нее жизнью!

Леонид расхохотался и хлопнул Леську по спине.

— Эх ты, молода, в Саксонии не была! Да ведь она сердится на тебя за то, что ты помешал этим гайдамакам.

— Что ты?! Подумай, что ты говоришь.

— И думать нечего. «Для меня так это ясно, как простая гамма».

— Но почему так грязно думать о девушке?

— Я медик, Елисей. Привык объяснять душевные движения биологическими причинами, природой человека. Сообрази сам: девке девятнадцать, женихов не предвидится, возненавидела, наверное, свою девственность до бешенства. И вдруг такая возможность: молодые роскошные гайдамаки. И главное, безо всякой вины с ее стороны: все от бога.

Леонид так искренне смеялся, что Леська действительно почувствовал себя дурачком.

После обеда пошли в конфексион и купили Елисею серую пару в красной царапине, две рубашки «апаш» из какой-то белой плетенки и полдюжины разноцветных носовых платков.

На обратном пути услышали военную музыку: германские солдаты шли прогуливать лошадей. Впереди верхом на русском дончаке ехал бородатый обер. За ним шагали флейтист и барабанщик. Затем спешенные артиллеристы вели под уздцы своих тяжеловозов.

Лошади эти — краса и гордость германской армии, которая вывела эту породу совсем недавно. Кони были чалой масти, иногда белые в частую бусину. Огромные головы переходили в гигантские шеи, а те — сразу же в чудовищные крупы, так что для хребтины места не оставалось.

— Сэкономили спину,— усмехнулся Леонид.— Прямо-таки зоологический парадокс. Ох эти немцы...

— А как немцы себя здесь ведут? — спросил Леська.

— Внутренняя жизнь города их не интересует. Главное — вывезти нах фатерланд как можно больше пшеницы, баранов, даже соли, а заодно ковры, зеркала, картины, статуи и всякую прочую эстетику. За все, конечно, платят, но цены назначают сами,— ответил Леонид.

— Ах, так! — засмеялся Леська.— Зачем же их профессора изучают проблему рынка, если все обстоит так просто?

— Зачем? А затем, что нынче профессора у них генералы.

К вечеру Леська во всем параде отправился к Шокаревым. Несмотря на усталость, он не мог высидеть дома в таком роскошном костюме.

Приняли Леську очень радушно. Обычно дальше Володиной комнаты его не впускали, но сейчас Иван Семенович лично пригласил его в столовую.

Стены синие, тахта красная, на буфете в зеленой вазе — горка желтых лимонов.

— Наш новый лозунг: «Крым для крымцев!» — вещал Шокарев своим пещерным басом.— У нас будет своя республика. Правда, мы еще не договорились о том, каким должен быть кабинет. Некоторые хотят, чтобы его возглавлял генерал Сулькевич. Но я и мои единомышленники стоим за Соломона Самуиловича Крыма. Знаете его? Это очень богатый караим, феодосийский помещик. Но суть не в этом: господин Крым — крупнейший политический деятель, член Государственного совета при Николае Втором.

— А Джефер Сейдамет тоже будет в правительстве со своей красной феской? — спросил Елисей.

— Не знаю. Не думал. А почему вы спрашиваете?

Леська вспомнил о посещении Сейдаметом Умер-бея и высказал свои опасения. Иван Семенович поднял брови.

— Это очень хорошо, что вы мне об этом рассказали. Это хорошо. Значит, тем более нельзя отдавать бразды

правления в руки Сулеймана Сулькевича, который связан с Сейдаметом. Мы совершенно не склонны превращаться в турецкую провинцию.

— А в германскую?

— Но это же совсем другое дело: немцы не вмешиваются во внутреннюю жизнь Крыма.

Леська угрюмо ковырял вилкой заливную осетрину и старался не вступать с Иваном Семеновичем в открытый спор. К тому же он все время возвращался мыслью к разговору с Леонидом о Васене.

Володя усердно ухаживал за другом, подкладывая куски получше, вообще вел себя необычайно, даже чрезмерно изысканно. Он был прозорливее своего отца и после всего пережитого понимал, что на завтрашний день им особенно рассчитывать нечего. Не то чтобы Володя подготовлял себе помощь Бредихиных в будущем, но в Леське ему чудилось грядущее, как в свое время Умер-бею.

— А немцы держат себя вполне прилично,— продолжал Иван Семенович.— В местный муниципалитет они абсолютно не вмешиваются. Только большевиков вылавливают, а вообще ничего.

Володя тревожно взглянул на Леську.

— А какое им дело до большевиков? — сдавленным голосом спросил Леська.— Ведь это борьба русских против русских.

— Ну-у... Берлин смотрит шире. Если революция победит в России, она перекинется в Европу. Здесь они совершенно правы.

Леська шел домой, и от этого ужина у него осталось такое ощущение, точно он дверной ручки пасосался. Вскоре, однако, мысли его снова приняли привычное направление. Леониду нельзя отказать в логике... Но все Леськино существо бурно протестовало против нее. Неужели мир так страшен? Так чудовищно циничен? А почему бы и нет? Но ведь природа человека, о которой говорил Леонид, как-то умеряется, шлифуется как-то воспитанием, культурой. Ведь вот червонцы, на которые кинулась толпа в Армянском Базаре, возвращены все до единой монеты! Леонид никогда бы в это не поверил, но он-то, Леська, свидетель! Он-то видел!

Всю ночь Леську мучили тяжелые сны. Утром он проснулся с невыносимой ломотой во всем теле. «Полежать придется...» —подумал Леська с грустью. Но против него на стене висел его новый костюм — серый в красную

царапину. Такого костюма у него никогда не было. Это наполнило его тихой радостью, которая несколько уняла боль от ломоты. Так Леська пролежал три дня, то охая, то улыбаясь, и ни на минуту не отвлекался от мысли о Васене и ее тайне.

На четвертый день он стал необычно рано, позавтракал всухомятку, завернул парусиновые штаны и обмотки в «Евпаторийские новости», снял со шворочки на кухне связку вяленых кефалей и пошел пешком в Саки. По дороге долго не мог отделаться от шаланды, которая сидела у ворот и как бы звала его к воде.

До села дошел он за три часа — быстрее, чем положено пехоте в мирное время.

Отец Сизов встретил Леську с удивлением и досадой: он ожидал не штанов, которые действительно никуда не годились, а денег, хотя и не знал каких. Когда же Леська обрушил на стол целую стайку железных рыб, он сразу подобрел.

— Закусочка-то, а? Закусочка — первый сорт! Сейчас сообразим выпить.

Он подмигнул Леське и тут же вынул из шкафчика темно-зеленую бутылку с двумя чашками: одну, побольше, себе, другую, поменьше, гостю.

— Спасибо, дядя Василий, я не пью,— сказал Леська.

— Самогону-первача не пьешь? — удивился хозяин, не очень огорчаясь. Все же он налил себе, потом Леське, вытащил большую луковицу, разрезал ее на четыре части и чокнулся большой чашкой с меньшей: — Ну, дай бог не последняя!

Он хватил первача из большой чашки, закусил меньшей и со слезами на глазах принялся за кефаль.

— А где же... Васена? — неуверенно спросил Леська.

— По воду пошла с матерью.

Хозяин снова налил себе в обе чашки.

В сенцах послышались шаги, затем грохот воды из ведер в бочку — и в кухню вошла Васена. Она равнодушно взглянула на Леську и направилась к себе.

— Эй! Ты! — заорал отец.— У тебя что, повылазило? Не видишь гостя?

— Ну, вижу.

— А поздоровкаться?

— Ну, здравствуйте,— сказала Васена и ушла.

— Ишь ты, какая пава!..— вскричал отец, пытаясь плечами и локтями изобразить плавную походку дочери, что

ему, надо сказать, мало удалось.— Вековуха чертова! — крикнул он, разъярясь.— Вековуха!

— Ну, зачем ты так, Василий? — произнесла Агафья.— Здравствуйте, желапный, здравствуйте...

— Вот! Рыбок принес! — торжественно объявил хозяин, наливая третью пару.

— Очень вами благодарны,— певуче сказала Агафья.

— И штаны. Штаны тоже.

— Вот то-то же. А ты скаредничал.

— Врешь, дура-баба! И вовсе я не ска...

Он икнул.

— Скажите, господа. А можно мне пройти к Васене? Я хотел бы с ней поговорить.

Отец нахмурился и взглянул на мать.

— Пускай идет. Что он ей исделает? Мы-то — вóт мы! — тихо сказала Агафья мужу.

Леська подошел к двери и постучался. Ему не ответили. Он приоткрыл дверь и увидел Васену: она сидела на кровати и уныло глядела в пол.

— Можно?

Васена подняла голову и отрешенно взглянула на Леську. Леська вошел и прикрыл за собою дверь.

— За что вы меня ненавидите? Что я вам сделал?

— Ничего я не знаю,— ответила Васена.— Что вам от меня нужно?

— Вы такая прекрасная! Такая красавица! — почти скороговоркой забормотал Леська, сам не зная, что говорит.

— Вот-вот. Опо самое! — сказала Васена.

— О таких, как вы, только песни поют: «Брови соболиные, речи соловьиные...»

— Ну, уж от моих речей не поздоровится,— угрюмо усмехнулась Васена.

— Зачем вы такая хмурая? Угрюмая? Вы должны быть счастливы. Когда вы вошли в избу, мне показалось, что вся комната осветилась.

— Как будто самовар внесли? — сказала Васена, все так же горько усмехаясь.

Дверь распахнулась. На пороге показался отец.

— Хватит вам, молодой человек, девчонку улещивать. Не про вас она.

— А тебе какое дело? — вдруг со страшной злобой прорвалась Васена.— Уходи прочь! Оставь меня! Оставьте меня все! Все, все! Слышите? Все!

Она вскочила и кинулась на улицу. Леська побежал за ней — ему уже было все равно, что подумают о нем родители.

Васена большими шагами стремительно понеслась по улице к парку. На ней папева в красную и желтую клетку, резиновые с лаком сапоги. Высокая, вся наклоненная вперед, она чуть-чуть изгибалась в талии, и в этих изгибах таилась та звериная грация, какая свойственна только деревенским девушкам, приученным к тяжелой работе.

Он догнал Васену в парке и легонько взял ее за руку. Васена отбросила его ладонь, даже не повернувшись к нему. Леська снова поймал ее руку и теперь держал крепко.

— Чего вам нужно? — сказала она, резко остановившись и строго глядя ему в глаза.

— Ничего. Только видеть вас. Только видеть,— горячо заговорил он, задыхаясь и не слыша собственных слов.

— Вы думали — что? Если отбили меня от гайдамаков, так имеете право сами?

— Боже сохрани! И в мыслях не было.

— Было!

— Ей-богу, не было. Клянусь, чем хотите.

— Было. Я угадала по глазам. Думали: «Моя будет!» Ну, нет. Фигушки!

Пока она выясняла проблему, Леська, крепко держа ее за руку, ласкал мизинцем кожу на ее пальцах. И вдруг почувствовал, что и она начала гладить мизинцем его руку, хотя разговор ничуть не смягчился. Она продолжала укорять его, а заодно и всех мужчин.

— У вас, мужиков, одно на уме. Подарил девушке полушалок и уже считает, что с нею можно все! Ну, может, с которыми и можно, но только не со мной. Понятно? Не со мной! Я кобыла норовистая.

Леську царапали ее грубые выражения и в то же время сладко волновали.

— Честное слово, я не тот, за кого вы меня принимаете.

— Ну да, вы — интеллигентные. А еще что?

— Этого достаточно,— добродушно засмеялся Леська.— В этом все.

Не столько слова его, сколько этот уверенный смех, прозвучавший как бы из другого мира, подействовал на Васену.

Она вырвала руку, но стала смотреть на него мягче.

— Пойдемте, Васена, к озеру. Хорошо? Я видел между деревьями воду.

— Эта вода соленая. Здесь грязи берут,— сказала Васена и вдруг разъярилась: — Вот! Корят меня вековухой, заставляют идти работать в грязелечебницу. А что мне там делать без образования? Стариков пузатых купать? Да я лучше в омут головой! Эх, хоть бы кто подвернулся... Верите? Я бы за горбатого пошла.

Они присели на какую-то колоду. Леська взял ее руку в обе свои ладони. Девушка не отнимала. Сзади послышались шаги.

— Эге! Ты тут с кавалером? А с нами не желаешь? Ну, погоди, Васенка,— все батьке расскажу.

— Иди ты! — спокойно бросила Васена, не оборачиваясь.

— А твоего кавалера обработаем — забудет, где и живешь.

Когда шаги удалились, Васена спросила:

— Испугался? — И тут же поправилась: — Хотя... гайдамаков не испугался.

Посидели тихо. Потом Васена сказала:

— Вот вы говорите: «красота», «любовь»... Думаете, я вам верю? Ведь вы не женитесь на мне, а? Ведь не женитесь, правда?

— Правда,— наивно сказал Леська, не успев подумать.

Васена засмеялась и крепко стиснула его руку.

— Хороший ты парень. Только зачем приехал? Ничего, милый, от меня тебе не будет. Тоской изойду — а не будет. Тут либо весь мой, либо езжай домой.

— Но как же я могу жениться? Ведь я еще гимназист.

— А ты брось эту свою гимназию.

— А что же я буду делать?

— Найдем. Как у других, так и у нас. Отцу помощник вот как нужен. А умрет если — все наше: изба, две лошади, телка, овцы, земля.

Леське было приятно, что она говорила о себе и о нем «мы». В ее сознании они уже были мужем и женой. Но как он может бросить гимназию? И вообще: он превратится в Лесю — Десять Тысяч, а то и того меньше.

В парке послышались пьяные шаги и тоскливый зов:

— Васена! Васенушка! Где ты-ы?

— Отец! — со злобой прошептала Васена.— Ноги бы себе переломал, ведьмак.

Она встала — статная, величавая.

— Прощай, парень! Жениться надумаешь — приезжай. За тебя пойду. Ты хороший. Не такой, как все.

День спустя Елисей снова пошел в село Саки.

У забора заглянул во двор: Васена с матерью пилили ствол, уложив его на козлы. Леська вошел, точно к себе домой, снял пиджак, повесил его на штакетник и, подойдя к Агафье, сказал хозяйским тоном:

— Тетя Агаша, позвольте мне.

Агафья мягко улыбнулась и передала пилу. Леська уперся левой рукой в ствол, взглянул на Васену и сказал:

— Начали!

Васена глядела на него веселыми глазами, которые, как показалось Леське, из темно-синих стали голубыми. Есть что-то чувственное в пилении дров, когда этим заняты юноша и девушка. Васена поняла игру и, перестав улыбаться, смущенно опустила ресницы. Поняла и Агафья.

— Ну, я отдохнула,— сказала она.— Давай буду пилить. А ты наколи дров. Вон сколько их!

Леська поставил полено на попа, схватил колун и с одного маха рассек пень пополам.

— Вот был бы работничек! — вздохнула Агафья.

Дочка ничего не сказала, отложила пилу в сторону и ушла в дом. Как только девушка исчезла, Леська отбросил колун и пошел за своим пиджаком. Мать собирала дрова и складывала их в горку.

Леська уселся на ступеньках крыльца и стал утирать носовым платком пот с лица и шеи. Вскоре вернулась Васена и присела рядом с Елисеем. На голове у нее появился газовый шарф лазоревого цвета. Не обращая на мать никакого внимания, она заговорила своим низким голосом:

— Ну вот видишь, гимназист: думал, ничего не умеешь, а оказывается, лихой дровосек.

Леська молчал.

— А у нас новость: жеребеночек народился,— умиленно сказала Васена.— Ну до чего же миленький, симпатичный. Я его целую, а он брыкается, не хочет.

— Эх, мне бы на его месте! — вздохнул Леська и подумал, что сказал пошлость.

Но Васена увидела в этом тонкий юмор и от души засмеялась.

— Завидуешь?

— Очень.

Она взяла его руку в свою.

— Но ведь ты меня не любишь.

— Люблю.

— Неправда. Если любят...

Она прикусила нижними зубами верхнюю губу, и, когда отпустила, Леська видел, обмирая, как нежная кровь снова входит в побелевшие заливчики.

— Не могу я бросить гимназию, понимаешь?

— Вот уже и лошонок родился. Тоже нашим будет,— задумчиво говорила Васена, мечтая вслух.

— Гимназию бросить не могу. Всю жизнь мечтал об университете — и вдруг бросить! И потом — что скажет дядя Андрон? Он остался полуграмотным, чтобы дать мне образование...

— А тогда нечего тебе тут делать! — в сердцах вскричала Васена и кинулась в избу так стремительно, что над ней взлетел ее газовый шарф и, плавно отплывая на четырех концах, нежно опустился на Леськины колени. Леська, не замечая, принял его на ладони. Так и сидел.

— Зачем ты к нам ходишь, Леся? — мягко спросила мать.

— Не знаю.

— А кто же знает? Жучка?

— Не могу я без Васены, тетя Агаша! Ну вот просто не могу!

— И она без тебя не может. А что дальше?

Леська молчал.

— Полюбовницей твоей она не будет. Убьет ее отец, коли что.

— Отец пусть молчит. Я-то видел, как он боролся за ее честь.

— А видел, так смотри, как бы я тебе гляделки не вышиб,— раздался хриплый голос.

Хозяин стоял на крыльце и свирепо глядел на Леську.

— Духу твоего чтобы тут не было, кобель! Марш отседа!

18

Отель «Дюльбер» — самое роскошное здание Евпатории. Построенный в швейцарском стиле, он напоминал о горах и этим как бы перекликался с Чатырдагом, который высился против него через все море и сизым очертанием красовался в окне.

Владельцем «Дюльбера» был актер Художественного театра Дуван-Торцов. Невозмутимый, необъятно тучный, он много лет подряд играл в этом театре одну-единственную роль Хлеба в сказке Метерлинка «Синяя птица». Наконец это ему надоело, он переехал в Киев, где взял в аренду театр Соловцова, и зажил в украинской столице со всей многочисленной семьей. Но в этом году Киев испытал на себе такие ужасы от частой смены властей, что жить в нем стало уже невозможно. Беженцы устремились кто на север к большевикам, кто на юг за немцами. Эта стихия подняла и Дуванов, которые прикатили к себе в Евпаторию.

Хозяева «Дюльбера» стали жить открытым домом. Все знаменитости, приезжавшие в Евпаторию, останавливались, конечно, в дувановском отеле и неизменно навещали хозяев. Усиленно начал посещать этот гостеприимный дом и Леська, хотя он и не был знаменитостью: просто один из сыновей Дувана, Сеня, перевелся из Киева в седьмой класс евпаторийской гимназии и очень подружился с Леськой. Леська втянул его в свой спортивный кружок, познакомил с братьями Видакасами, с Шокаревым и Улиссом Канаки. Теперь это была уже одна компания.

Самыми близкими друзьями Елисея были Шокарев и Гринбах. Но Гринбах ушел в революцию, и Леська даже не знает, жив ли он; что же до Шокарева, то пошатнувшаяся дружба с ним не налаживалась. Поэтому Леська с особенной силой тянулся к Сене Дувану.

— В «Дюльбере» остановился чемпион мира Поддубный. Он приехал лечить почки,— сообщил однажды Сеня.

— Ну? Ей-богу? Что ж ты молчал? Надо сейчас же сказать Артуру.

И вот Артур, Юка, Елисей, Улисс и Семен сидят в комнате Ивана Максимовича, который угощает их чаем с пирожными. Непомерно широкоплечий, добродушный русский богатырь с пшеничными усами и еврейским носом рассказывает эпизоды из своей жизни.

— Борьба с борцами — это самое легкое: борцы знают правила. Другое дело в жизни. Если приведется с кем схватиться, соображайте, что за человек. Русский кидается по-медвежьи, нахрапом, чтобы взять в охапку... Говоря по-нашему, на «передний пояс». Я в таких случаях его ладонью по лбу и чуть-чуть отклоняюсь в сторону. Противник, конечно, промахивается... Конечно, растерялся... Тут же бери его на «двойной нельсон» и гни в три погибели, чтобы у

него сердце зашлось. Совсем другое дело — татарин. Этот норовит подставить ножку. Значит, сам нападай, сам хватай его на передний, не давай опомниться.

— Ну, а профессионально? Как держать себя на ковре, Иван Максимович?

— Тут, конечно, ни нахрапа, ни подножки не будет. И все-таки надо угадывать, с кем имеешь дело. Если это великан,— а у великанов ноги слабые,— никогда не переводите его в партер. Если же борец вашего роста и примерно вашей силы, здесь надо уже следить за его пульсом. Постарайтесь изнурить противника, поддавайтесь ему на «задний пояс», пусть возится с вами, как с мешком картошки. Покуда он будет пыхтеть, вы отдыхаете. Ну, а раз у него дыхание сбито, он ваш.

С утра Иван Максимович уезжал на извозчике в майнакскую лечебницу, принимал там грязи и усталый возвращался в отель. Здесь его уже поджидали главари спортивного кружка и принимались за ним ухаживать.

Прежде всего его раздевали и укладывали в постель. На Леськину долю приходились башмаки: это были два дредноута. Появлялся чай с лимоном: после грязей ужасно хочется пить. В это время Улька то и дело обтирал лицо Поддубного мохнатым полотенцем. Потом Максимыч лежал с закрытыми глазами, а кто-нибудь читал ему очерки из журнала «Геркулес». Поддубный знал всех борцов и время от времени подавал реплики:

— Что? Туомисто получил второе место? Странно. Выше четвертого он обычно не подымался.

— Ле Буше — мужик настоящий.

— Лурих Первый... Самый трудный случай в моей жизни. Поверите? На «мосту» ходил. Очень интересный человек!

Потом реплик становилось все меньше и меньше, и богатырь засыпал. Юноши выходили на цыпочках, но оставляли у двери часового: никто не имел права беспокоить чемпиона — это была их собственность.

На этой почве однажды чуть не произошел бой. Пришла делегация от еврейского спортивного общества «Маккаби». Маккабийцы набирались из мастерового люда: сапожники, жестянщики, пекари, слесари, столяры. С гимназистами не общались. Но сегодня они пришли в «Дюльбер» приглашать чемпиона мира посмотреть их тренировку. В этот день у дверей дежурил Капаки. Он был глубоко возмущен приходом маккабийцев к «его Максимычу».

— Иван Максимыч не сможет к вам прийти! — заявил он резким тоном.

— Почему?

— Потому что он на весь свой приезд связался с нашим кружком.

— А вы его купили, босяки? — спокойно сказал капитан маккабийцев, которого звали Майор (по-еврейски Мейер).

— Но! Ты! Выбирай выражения, а не то, знаешь?

— Уй-уй-уй, какой ты сильно каторжный! — с комическим испугом сказал Майор.— А если одну дыню в зубы? — И он показал огромный кулак.— Будешь бедный, как муха на палочке.

— Убирайтесь вон отсюда, оборванцы! — завопил Улька, забыв, что обязан охранять сон Поддубного.— Скажите спасибо, что вас вообще впустили в «Дюльбер».

Дверь неожиданно отворилась.

— Что за шум, а драки нет?

— Господин Поддубный! Вы только с буржуями согласные иметь дело? — спросил Майор.

— Майорчик, перестань,— шепнул ему кто-то из маккабийцев.

Поддубный сухо взглянул на юношу.

— Я сын крестьянина,— сказал он.— И не так далеко ушел от народа.

Но Улька не давал им найти общий язык.

— Все эти люди собираются ехать в Палестину! — запальчиво объявил он.

— А ты обеспечил нам хорошую жизнь в России? — едко спросил Майор.

— После революции все нации равны! — еще более возбужденно кричал Улька.

— После революции? — иронически спросил Майор.— Пеламида! Спасибо твоему Деникину за его еврейские погромы.

— Бросьте, ребята. У нас не митинг,— усталым голосом сказал Поддубный.— С чем вы ко мне пришли, молодые люди?

От имени делегации выступил все тот же Майор. Поддубный выслушал его и, к полному посрамлению Ульки, дал обещание в первое же воскресенье прийти в ремесленную синагогу, во дворе которой стояли гимнастические снаряды, а в сторожке хранились гири, боксерские перчатки и ковер для классической борьбы.

Вообще же Иван Максимович в ответ на заботы Видакаса и компании должен был ежедневно посещать спортивный зал гимназии, где занимались борьбой его юные друзья. Все замечания Поддубного, даже самые мимолетные, были замечаниями *Поддубного,* и их воспринимали глубже, чем любые лекции по математике, физике, истории.

— А из этого мальчика толк выйдет,— сказал Поддубный, указывая на Леську.— Елисеем вас зовут? Хотя Елисей сильнее всех вас, но он не рассчитывает только на силу: парень борется с умом. Понимает, что делает.

Леська покраснел и невольно взглянул на Артура: ему было перед ним стыдно. Но Артур старался не смотреть в его сторону.

— А вот с Артуром дело хуже,— продолжал Поддубный.— Он борется очень красиво, на девочек рассчитывает, а это очень опасно.

— Что «это»? Девочки?

— Ну и девочки тоже,— засмеялся Максимыч.— А главное, покуда он думает, как бы покрасивее вышел пируэт, его, глядишь, тут же припечатают на обе лопатки.

По вечерам Поддубного водили в городской сквер. Именно «водили». Как слона. Иван Максимыч любил музыку и охотно слушал симфонический оркестр. Сегодня, однако, день особый: играет «хор трубачей его императорского величества Вильгельма Второго».

Максимыч уселся на скамье в пятом ряду, заняв сразу три места. Рядом с ним Артур и Юка с одной стороны, Улька и Сеня — с другой... Леська стоял за последним рядом и глядел на германских солдат, овитых трубами, как Лаокоон змеями. Он вспоминал немецкую разведку, разгромленную бронепоездом, бой на станции Альма, застреленного немца с гранатой «лимонка»... А теперь они воскресли и вот сидят в садовой раковине и дуют своих Веберов и Вагнеров.

— Леся...— услышал он женский голос.

Леська оглянулся: в куще деревьев, под фонарем, окутанным мошкарой, как вуалью, стояли две девушки. Одна из них — Васена.

— Васена! — сказал он так громко, что на него зашикали.— Ты здесь?

— К тете приехала. А это моя двоюродная. Знакомьтесь.

— Катя.

— Елисей.

Леська и Васена глядели друг на друга, не зная, что сказать, и только улыбались так, что Катя не выдержала:

— Ну, идите, погуляйте, а я за вас музыку послушаю.

Не сговариваясь, они пошли к выходу, обогнули сквер и вышли на рыбачий пляж, на котором кверху днищем лежали большие лодки.

Елисей взял девушку за руку. Она позволила. Беспричинно смеясь и размахивая соединенными руками, они подошли к самому морю. Васена вырвала руку, не садясь, сняла туфли и, приподняв платье, вошла в воду.

— Ух, какая теплая!

Лунные блики заметались по ее ногам, осеребрив их и сделав еще более стройными. Леська кинулся за ней в воду как был в ботинках и, подхватив на руки, взбежал на пляж, повалился с ней на песок и жадно прильнул к ее рту. Васена ответили ему таким жарким поцелуем, что он задохся. Оторвавшись, он поднял голову и взглянул ей в глаза: она заманчиво улыбалась. Он кинулся к ее ногам и стал целовать мокрые от воды, соленые колени. Она засмеялась, села, схватила руками его голову и потянула к своим губам. И опять поцелуй — горячий, всепоглощающий, такой, в котором раскрывается душа.

— Делай со мной все, что хочешь,— шепнула Васена.

Леська сразу отрезвел.

— Ну! — позвала Васена.— Что же ты?

— Нельзя этого,— упавшим голосом, но все еще возбужденный, ответил Леська.— Отец тебя убьет.

— А тебе какое дело?

— Нельзя! — уже строже сказал Леська.— Я никем... не могу... для тебя быть... А если так, то какое я имею право?

Васена, лежавшая на боку, резко отвернулась, припала головой к рукам и зарыдала. Ноги у нее были голыми и все еще сверкали. Леська глядел на нее голодными глазами. Но, понимая, что отказывается сейчас от самого исступленного наслаждения, может быть, даже от счастья, он все же отвел глаза и начал снимать ботинки, чтобы вытряхнуть из них воду и ракушки.

Они возвратились в сквер. Катя внимательно поглядела обоим в глаза и ничего не сказала: поняла ли она то, что

произошло? Когда Леська провожал их домой, обе всю дорогу молчали. Говорил один Леська — о самых безразличных вещах.

Домик Катиной мамы находился на Пересыпи, неподалеку от привозной площади. Леська запомнил его навеки: маленький домик распахнул такие ставенки-жалюзи, точно вот-вот сорвется с места и полетит над морем, как огромная бабочка.

На другой день, сам не зная зачем, Леська опять появился на Пересыпи. День выдался облачный, и домик с крылышками выглядел уже не так лирично, как вчера вечером. Леська прошелся мимо окон, но никого не высмотрел. Потом вернулся и приоткрыл калитку.

Катя и Васена проносили по двору огромную лохань и, подойдя к помойной яме, начали сливать в нее мыльную воду. Обе были босы. Катя в одной рубахе, а Васена в лифчике и в короткой нижней юбке. Леська быстро захлопнул калитку, точно заглянул в женскую купальню.

Против домика над самым обрывом стояла красивая голубая скамейка со спинкой — очевидно украденная пересыпцами в городском сквере. Леська побрел к скамье и опустился на нее совершенно разбитый.

— Если ты пришел, чтобы ухлестывать за Катей Галкиной, то я с тебя сделаю два,— сказал ему здоровенный парень.

— А вы кто такой?

— Ну, положим, я на минуточку слесарь Майор Голомб. Что с этого меняется?

— Ничего, конечно,— вяло отозвался Леська.— Только я сюда пришел не ради Галкиной.

— А заради кого?

— Это — дело мое.

Голомб уселся рядом и вытянул длинные ноги в обмотках. Это был очень красивый мужчина, но красота его чуть-чуть устрашала: черные волосы, которых он как будто никогда не стриг, казались вырубленными из гранита и вздымались сзади, не опадая на затылок. Глаза синие, нос орлиный, губы в пламени.

Но Леська не обращал на него внимания. Голомб вытащил коробку папирос.

— Фабрика Стомболи,— не без гордости сказал он.— Хочешь?

— Спасибо. Не курю.

— Я плохие папиросы никогда не курю, а только

хорошие. Без башмаков ходить буду, но папиросы у меня шобы первый сорт.

Он зачиркал медной зажигалкой.

— Знавал ты такого человека, которому фамилие Груббе?

— Знал. А что с ним?

— Пока ничего. Это мой кореш.

Леська неопределенно пожал плечами. Майор глубоко затянулся.

— А за тебя я знаю чисто все. Во-первых, ты Леська Бредихин. Угадал?

— Да. Бредихин.

— Во-вторых, ты хорошо управился с этой яхтой насчет Ак-Мечети.

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— А в-третьих, есть к тебе еще одно поручение. От Груббе, понятно?

— А вы тут при чем?

— А я при том, что Груббе скрывается и требует, шобы я тебя разыскал.

— Видите ли, я действительно знал Груббе, но никаких его поручений никогда не выполнял и вообще не желаю с вами разговаривать на эту тему. Я вас впервые вижу.

— Не трусись, Бредихин. Немцы тебя не трогают и не тронут: ты спас Шокаревых от смерти. У тебя, старик, на минуточку такая марка, вроде как у этих папирос фабрики Стомболи. Шутка сказать: Елисей Бредихин!

— Послушайте, оставьте меня в покое. То, что я, как вы говорите, спас Шокаревых, не имеет никакого отношения к вашему корешу. Никаких его поручений я никогда не выполнял. Да и кто он такой, ваш корешок, чтобы я выполнял его поручения?

— Нехорошо,— вздохнул Майор.— Одно дело — осторожность, другое дело — дреф-манже [1]. И потом, надо же, шобы революционеры друг другу на минуточку доверяли, а то шо будет? Вот я, например. Я капитан маккабийцев. Считается, шо я самый ярый сионист. Но это ж только для блезиру. С понтом [2] я ничего общего с большевиками. А на самом деле? А на самом деле я такой же герой-подпольщик, как и мой кореш Груббе. Теперь вы можете пойти и доне-

---

[1] Трусость *(еврейск. жаргон)*.

[2] Будто.

сти на меня немецкому патрулю. Но я знаю, шо вы этого не сделаете. Верно я говорю?

— Да.

— Ну, я же это знал. Я же ж понимаю людей. А теперь вот еще шо вам скажу: помните, вы приехали с покойницей Тиной Капитоновой к штабу Красной гвардии в Армянске? Был там один часовой. Его звали Майор. Так это ж был я во весь рост.

— Чего вы от меня хотите? — глухо спросил Елисей.

— Одно-единственное: шобы мне доверяли.

— Хорошо. Я доверяю вам. Что дальше?

— А это уже не вашее дело. Я только должен знать: или вы согласный по-прежнему помогать партии?

— Если это в моих возможностях — конечно.

Капитан маккабийцев встал и перешел с торжественного тона на говорок жителя Пересыпи:

— Так ты правду гово́ришь, старик, шо ты пришел не до Кати Галкиной?

— Правду.

— Ну, бывай. Мир праху.

Капитан, он же Майор, перешел дорогу, смело открыл калитку дома Галкиных и вошел во двор. Калитка захлопнулась.

Леська был потрясен этим разговором. Новое опасное дело? Не слишком ли много для него в этом году? Он так устал. Да и болен еще. Контузия — не шутка. А потом еще этот удар сзади по голове. И тут ему вспомнилось, как пилил с ней дрова, как целовал ее вчера у перевернутой лодки, и эти блистающие колени, и белое кружевце из-под вздернутой юбки...

А Васена уже стояла за спиной его скамьи. На ней было белое пару́синовое платье.

— Зачем пришел?

— Не знаю.

Она обошла скамью и села рядом. Он взял ее за руку.

— Ни о чем другом не могу думать,— сказал Леська.— Все только о тебе и о тебе.

— Я тоже.

Он обнял ее плечи и положил ладонь другой руки на ее колено. Она все позволяла. Ей было все равно.

— Что же с нами будет? — спросила она.— Чего ты от меня хочешь? Ни жениться, ни любиться. Чем это кончится?

Леська не знал, что ответить.

Из калитки вышла Катя. Она сладко потянулась и весело задекламировала:

> Я хочу умереть молодой,
> Золотой закатиться звездой...

Тут же раздался баритон Голомба:

> Я хочу умереть молодым,
> Золотым закатиться звездым...

И вдруг Катя увидела Васену и Леську.

— Вы с ума сошли? — кинулась она к ним.— Ласкаются среди бела дня. Ступай в дом! — строго приказала она Васене.— А вы тоже уходите, молодой человек.

— Уходи, Бредихин,— сказал Голомб.— Не срами девушку. Она еще может выйтить замуж. А насчет *того* дела, так это будет на днях.

Утром Голомб уже вертелся на даче Бредихиных и наконец вызвал Леську во двор. Лицо его было сурово. Он будто осунулся со вчерашнего дня.

— Айда в сад! — сказал он властно и пошел вперед. Леська за ним. Голомб дошел до яблонь и сел на скамью.— Не знаю, как тебе сказать...— начал он.

У Леськи упало сердце.

— Что-нибудь случилось?

— Да. Только ты садись. Ну, сядь, не стой, как свечка.

Леська сел.

— Слушай, кто это написал: «Я хочу умереть молодой»?

— Мирра Лохвицкая. А что?

— Поймать бы мне ее. Я бы эту суку...

— В чем дело?

— Васена твоя...

— Ну?

— Утопилась.

— Что ты! Что ты! — Леська схватил Голомба за плечи.

— Ша, ша! Успокой свои нервы, ты же не мальчик.

— Этого не может быть...

— Лежит в комнате на столе. Не знаю, как это у русских,— у евреев нельзя. Там же кушают.

— Не может быть... Господи... Не может быть...

— Сволочь ты, Бредихин. Морду тебе надо было бы набить, Бредихин.

— Пойдемте туда! Скорей! Пойдемте!

— Вчера, когда ты ушел, целый день пела, плакала, читала стих: «Я хочу умереть молодой», а сегодня утром — вот.

Леська без сил опустился на скамью. Плакать он не мог. Он только без конца повторял все одно и то же: «Васена... Боже мой... Васена» — и, тупо глядя на дорожку, подмечал почему-то самые мелкие мелочи: трясогузка перебежала через тропинку, так быстро перебирая ножками, что за ними невозможно было уследить. Потом долго махала длинным хвостиком вверх и вниз. Показалась толстая гусеница, вся унизанная бирюзовыми шариками.

— Боже мой...— шептал Леська в глубоком горе, может быть, первом за всю его жизнь, и думал: съест трясогузка гусеницу или не съест? Потом топнул ногой, чтобы трясогузка улетела.

— Тебе надо успокоиться,— сказал Майор, хлопнул Леську по плечу, громко вздохнул и удалился.

Хороший парень... Ему было жаль Бредихина. В конце концов Бредихин ведь ее любил, но, наверное, меньше, чем она его.

А Леська сидел на скамейке и, может быть, впервые взглянул по-взрослому на свою жизнь. Зачем он не бросил гимназию? Что это за идол такой? Он возненавидел гимназию, которая убила Васену. А как эта девушка, оказывается, любила его... До самоубийства! А он? Он ведь тоже любил ее... Жить без нее не мог... Но гимназия, гимназия! Где теперь встретить такую любовь? Да и сам он никого больше так не полюбит.

Пришел Андрон. Леська даже не заметил, когда он приехал.

— Слыхал? — сказал Андрон весело.— Дуван вчера в клубе проиграл шестьдесят тысяч.

— Да? — машинально спросил Леська.— Значит, возможно, что Леонид действительно выиграл эту дачу?

— А ты в это не верил?

Леська молчал.

— И я не верил. Черт его знает почему, но не верил.

— А теперь веришь?

— Не так чтобы очень, но все-таки, если Дуван проиграл шестьдесят тысяч, значит, кто-то их выиграл?

— Логично.

Леська пошел к Дуванам. Не потому, что его интересовала судьба этих шестидесяти тысяч, а потому, что надо же было куда-нибудь пойти.

У Дуванов паники не было, очевидно, после проигрыша у них еще кое-что оставалось. Во всяком случае, Сеня встретил его спокойно.

— У папы это не впервые. Когда папа нервничает, он всегда играет и, конечно, всегда проигрывает. Все-таки лучше, чем возможность самоубийства.

Леська вздрогнул.

— О каком самоубийстве ты говоришь?

— О папином. Он оставил в Киеве театр, который фактически купил. А что теперь? Не в Евпатории же ему держать антрепризу. Все рухнуло.

— А разве твой отец не верит, что в России все пойдет по-старому?

— Папа не Деникин.

— Значит, не верит?

— Он верит в большевиков, хотя ненавидит их изо всей силы.

— Он очень умный человек, твой отец.

— Очень.

Они сидели на скамье у входа в отель. К ним подошел Голомб с футбольным мячом в руке. Он поманил Леську пальцем.

— Извини, Сеня, я на одну минуту.

— Что у тебя общего с этим гегемоном? — иронически спросил Сеня.

— Они хотят, чтобы я играл у них форварда.

— Кто это «они»?

— Маккабийцы.

— Но ты, конечно, не согласишься?

— Конечно.

Леська прошел с Голомбом до угла, обогнул «Дюльбер» и вышел к трамвайной остановке.

— Ну! В чем дело?

— Сейчас, Бредихин, сейчас. Все узнаешь.

В трамвае доехали до центра, потом пошли на вокзал.

— Куда мы едем?

— Не едем, а идем.

Прошли по шпалам до первой будки стрелочника. Голомб открыл дверь, заглянул внутрь и опять поманил Леську пальцем. Леська вошел. За столом под золоченым образом сидел Петриченко и ел золотую яичницу с салом.

— Иван Никифорович?

— Он самый. Садись, ешь. Посуды здесь особой нет. Вот тебе моя вилка, а я буду с ножа.

— А мне что кушать? — спросил Голомб.

— Но ведь ты только час назад позавтракал.

— Мало что было час назад!

Петриченко засмеялся.

— Свиное сало есть будешь?

— А почему же нет?

— Но, кажется, сионистам нельзя?

— Ну, на сало я антисемит.

Голомб получил кирпичину сала и котелок с отварной картошкой. Горчицу он отыскал сам.

— Слушай, Бредихин! — почти торжественно начал Петриченко.— Скажу тебе одну вещь. Если ты против, забудь про этот наш разговор. Ясно?

— Ясно.

— Мне поручено организовать партизанский отряд для подрывной деятельности против германских оккупантов. Называться он будет «Красная каска». Нравится тебе?

— Нравится.

— Базой для себя мы возьмем Богайские каменоломни. А ты у нас будешь за связного. Согласен?

— Согласен,— не задумываясь ответил Леська.

— Ты настоящий парень, Бредихин. А понятно тебе, зачем в связные я выбираю именно тебя?

— Понятно.

— А что тебе понятно?

— То, что я друг Володи Шокарева.

— Ну вот. А теперь иди домой и сам ничего не предпринимай. Скоро у вас начнутся занятия, так ты учись на пятерки и не прогуливай ни одного дня. Тут, брат, все должно быть заподлицо.

— Это нужно для революции,— с библейским пафосом, но очень серьезно сказал Голомб.

— Когда понадобится, Майорка тебя отыщет. Ну, пока.

Петриченко проводил его до двери. Он весело кивал Леське, пока Леська мог его видеть.

Голомб остался у Петриченко. Леська шел один. Как хорошо, что ему дадут опасное задание. Только бы самое опасное! Только бы скорее! Боль о Васене требовала подвига, самозабвения, жизни очертя голову!

Но Голомб не появлялся.

19

В гимназии начались занятия. Леська опять сидел на одной парте с Шокаревым. Как будто ничего не случилось. Но оба были уже не те.

«Что я здесь делаю? — думал Леська.— Хоть мне через месяц девятнадцать, но я уже убивал, я видел тени без людей, целовал женщин, я член тайной организации «Красная каска». Какой я, в сущности, гимназист? Как говорит негритянская пословица: «Не тот мудрец, кто прожил сто лет, а тот, кто прошел сто городов».

Леська чувствовал себя зрелым, умудренным человеком и, пожалуй, был прав. Так чувствовали себя многие молодые люди той эпохи: они обладали огромным жизненным опытом.

«Какой я гимназист? Разве я виноват, что скороспелка? А сколько было Онегину? А Кордиану Словацкого и вовсе пятнадцать. Мы все чистейшие продукты времени»,— подумал он на языке политброшюр.

Леська сидит за партой. В окнах море, и у гимназистов такое ощущение, точно они занимаются в кают-компании океанского парохода... Какие уж тут синусы и косинусы, когда вот-вот на горизонте возникнут очертания Столовой горы Африканского побережья?

Но сегодня море злое, нехорошее. Осень в Евпатории плохая. Здесь нет ни берез, ни кленов, поэтому нет ни золота, ни багреца, и пушкинские строки:

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,—

сюда никак не относятся. Дубы, увядая, становятся рыжими, коричневыми. Тополя тоже. А уксусные деревья, очень характерные для Евпатории, кажется, сразу же чернеют. Времена года в этом городе отмечает главным образом море — и вот оно какое: желчное, раздраженное, коричневая бурда.

Но в октябре греки с дикими криками тащат к воде на катках звонко пахнущие деревом молоденькие шхуны, построенные на Греческой улице, и прохожие помогают им толкать какую-нибудь «Артемиду» или «Афродиту» к далекой пристани. «Элла до! Элла!» В октябре на пляже, где совсем недавно отдыхали курортники и теряли в песке обрывки любовных писем, рыбаки вытаскивают неводы, полные добычи, и зрелище серебряных, оловянных, свин-

цовых рыб, серых скатов, зеленых змеек и шахматных коньков полно такого возбуждения, что можно простить евпаторийской осени всю ее серость.

В октябре же приехал и остановился в «Дюльбере» известный искусствовед, видный сотрудник журнала «Аполлон» Яков Александрович Тугендхольд.

На двух Видакасов и одного Канаки это известие не произвело впечатления, но Володя и Леська заинтересовались.

Сеня Дуван привел их к Тугендхольду знакомиться.

У искусствоведа сидел художник Пастухов, и оба вспоминали о своей жизни в Париже. Хотя вежливый Яков Александрович принял мальчиков радушно, но тут же забыл о них и продолжал беседу с художником:

— А вы помните, дорогой? У нас тогда были две натурщицы. Прелестные девушки...

— Как же, как же, помню! — сказал, улыбаясь, Пастухов.

— Что же с ними сталось?

— Одна из них — моя жена, а другая — ваша.

Неделю спустя, в Публичной библиотеке, той самой, что построена в мавританском стиле, Тугендхольд читал лекцию о новой европейской живописи. Он говорил о тех, кто вошел в искусство после импрессионистов: о Ренуаре, Сезанне, Гогене, Ван-Гоге, Матиссе и Пикассо.

Перед Леськой открылся целый мир новой эстетики, которую не так-то легко было проглотить. Сначала все ошеломляло. Тугендхольд демонстрировал цветные диапозитивы, подчеркивая, однако, что они дают очень слабое представление об оригиналах.

Легче всего Леська воспринял Ренуара: художник был когда-то рабочим фарфорового завода, и эта специальность явно отразилась на его работах. Особенно хороша была обнаженная женщина, сидящая к зрителю почти спиной и повернувшая к нему голову. Тело блистало фарфоровыми оттенками, точно на нем отсвечивалось зеркало. Но лицо ее Леське не понравилось: оно не было курносым, как и лицо Венеры. Зато курносым было лицо «Мадам Самари». Леська дал ей двадцать два года и решил, что это довольно солидный возраст. Но особенно заинтересовали его «Девушки в черном». Если приглядеться, то вся эта чернота состояла из темной радуги, а черноты в полном смысле слова там не было.

Сезанна он не принял абсолютно. Зато поразил его Матисс. Такого звона красок он ни у кого не видел. При этом

они не имели оттенков и ложились самым отъявленным образом. Яркая краска всегда радует людей. Вспомните о маляре, который несет по улице ведро солнечного стронция. Как расширяются глаза у прохожих, как освещаются лица! Именно такое первобытное ощущение при всей изощренности Матисса вызывали в Леське его полотна. Что касается остальных художников, то Леська решил оставить их «на потом». Кстати, ему повезло: Тугендхольд, оценив Леськино сложение, попросил его позировать.

После гимназии Леська шел к Тугендхольду, раздевался до трусов и сидел на стуле в невероятно неудобной позе: удобная Тугендхольда не устраивала. Зато Яков Александрович рассказывал ему всякую всячину. Особенно потряс Леську Ван-Гог, который в пылу яростного спора отхватил себе ножом кусок уха и, еще окровавленный, написал автопортрет.

От Тугендхольда шел он к Володе Шокареву помогать ему делать уроки, а поздно вечером приходил к домику с крылышками, садился на скамью и глядел на освещенные окна. Иногда там мелькала тень Кати.

Однажды в окошко постучался Голомб. Катя выпорхнула к нему так вдохновенно, что Леська все понял. Сердце у него сжалось дикой болью: уж этой девушке не придется погибать из-за глупости Майорки.

И все же Ван-Гога он не понимал, несмотря на его ухо. Зато глубоко чувствовал Поля Гогена с его Таити. Может быть, потому, что Евпатория летом тоже изобиловала зноем и женщинами в шоколадных отливах. Тугендхольд научил его понимать прелесть негритянского примитива. Леське стала нравиться таитянка, у которой обе ноги — правые. Но искусствовед показал ему и удивительную тонкость таитянского искусства, хотя, впрочем, это был, вероятно, не столько бог негритянской эстетики, сколько утонченный европеец Поль Гоген: в картине «Рождество», где богоматерь и младенец — самые настоящие негры, на желтом фоне высится черный ангел с зелеными крыльями и молитвенно сложенными руками. Тугендхольд обратил внимание Леськи на золотистость этого фона. Но если всмотреться, то охра оставалась охрой, и никакого золота в ней не было. В чем же тайна этой кажущейся золотистости? Оказывается, мы привыкли видеть черные лики святых в золотых окладах, поэтому и лик негритянского ангела, взятый в охру, подсказывал зрителю золото.

Сложнее было понять Пикассо. Тугендхольд вел Леську

к этому мастеру очень осторожно. Сначала он рассказал его биографию: сын художника, маленький испанец в четырнадцать лет написал портрет сорокалетнего мужчины с такой психологической глубиной, какая по плечу не всякому взрослому профессионалу. Все пороки, явные и тайные, о которых мальчик не имел никакого представления, четко проступили в портрете. Это был шедевр. Но что делать гениальному ребенку, уже умеющему то, к чему художники приходят только в зрелые годы? И вот двадцатилетний Пикассо стал писать исключительно в синей гамме. Его знаменитая «синяя серия» легко дошла до Леськи прежде всего своим содержанием. Нищий еврей с ребенком или атлет с худенькой девочкой, балансирующей на огромном шаре, хранили в себе боль и горечь настоящей жизни. Это Леська сумел оценить, и синий Пикассо ему понравился.

Потом опять Шокарев. Леська пытался объяснить ему все то, что узнал от Тугендхольда, но Шокарев слушал лекцию Якова Александровича — и с него довольно. Впрочем, Ренуара он согласен был бы повесить в гостиной своей квартиры.

Тут впервые Леська почувствовал себя в чем-то богаче этого миллионера, хотя и не мог объяснить Володе, почему все люди у Пикассо должны быть синими.

— Яков Александрович, а почему серия Пикассо обязательно синяя?

— Потому что он писал ее синим карандашом.

— Но почему же именно синим?

— А вас больше устраивает черный?

Леська опешил. И вправду: сколько вещей написаны грифелем и даже углем, и он против этого не возражал. Почему?

— Потому что привык! — сказал Тугендхольд.— А привычка — плохой судья в искусстве.

Фраза эта запомнилась на всю жизнь. Впоследствии, будучи уже совсем взрослым человеком, Елисей не раз убеждался в ее правильности. Может быть, поэтому Леська стал следить за собой и легко воспринимал третий период творчества Пикассо. Речь идет о его знаменитой «Скрипке». От самой скрипки на картине остались только эсообразные ее отверстия. Но рядом с красками на холст налеплен кусочек афиши и вклеено немного песку. Песок означал побережье, афиша — улицу, а скрипка — кабачок, в котором пиликал какой-нибудь жалкий музыкант. Побережье

очень естественно вошло в Леську, выросшего на пляже, да и все остальное показалось ему вполне жизненным.

— Действительность можно изображать по-разному,— говорил ему Тугендхольд.— Натуралистам кажется, будто фотография дает это точнее всего. Неверно. Жизнь существует не только во внешнем своем проявлении, но и в глубине, dedans — как говорят французы. Но даже чисто внешне — жизнь объемна и обозрима во всех своих гранях. А что фотография? Один-единственный миг на плоскости. Что он может передать? Только намек. Пикассо же пытается создать образ одновременно во многих гранях и в самом кристаллизованном виде. Конечно, это на первых порах производит странное впечатление. Ну и что? Вольтер говорил: «Искусство должно быть новым, не будучи странным». Фернейский философ ошибался: все истинно новое всегда странно.

— Ты понимаешь,— говорил Володе Леська,— чтобы выразить го содержание, какое Пикассо вложил в свою скрипку, надо было написать две картины: одна — пляж и тумба с афишами, другая — кабачок и музыкант, играющий в нем на скрипке. А здесь это в одной.

— А зачем мне эта экономия? — убедительно возражал Володя.— Я с удовольствием посмотрю обе картины вместо того, чтобы стоять перед этой одной болван болваном.

Вечером Леська, точно на службу, опять шел на Пересыпь и садился на скамью перед Катиным домиком. Но там его уже давно заприметили.

— Зачем вы сюда ходите? — спросила Катя.

— Когда я вижу тени в ваших окнах, мне кажется, что Васена жива.

— Не нужно этого,— тихо сказала Катя.— Так можно с ума сойти.

После обеда Леська опять позировал Тугендхольду, который знакомил его с четвертым периодом творчества Пикассо. Теперь это был уже кубизм: безобразные бабы, точно вырубленные из бурого камня, стояли перед зрителем со своими треугольными щеками, квадратными грудями и восьмигранным брюхом. Леська вспоминал прелестное тело Гульпары и чувствовал глубокое отвращение к пикассовским венерам.

— Вы поймите, Леся: здесь Пикассо как бы возрождает скульптуру палеолита. Именно так работали наши

пращуры. Посмотрите статуэтки из Вимендорфа и с Кикландских островов: тот же кубизм. Современный Пикассо.

— Но почему я должен восхищаться этими уродинами? Зачем мне палеолит? Эллины видели в женщине самое совершенное, что есть в природе. И это действительно так. Ни одно дыхание не могу поставить рядом с девушкой. Все они прекрасны. Каждая в своем роде. И это такое счастье! Почему же Пикассо хочет сделать меня несчастным?

Тугендхольд удивленно уставился на Леську.

— Вы, Леся, очень грубо подходите к искусству. Вы подходите с утилитарной точки зрения. Запомните, дорогой! Если на картине изображены яблоки, которые хочется съесть, значит, картина антихудожественна.

— Но если их изобразить полными червей, то меня от этого стошнит, хоть я и не думал о том, чтобы есть эти фрукты. И от этих пикассовских баб тоже. Не могу выразить точно, но вы, наверно, меня понимаете.

— Понимаю только то, что вы все еще не понимаете искусства. Безобразное так же принадлежит эстетике, как и прекрасное. И вообще в наше время критерий искусства — не прекрасное, а характерное.

Но знаменитый искусствовед не мог переубедить Леську: ведь он не видел Гульнары, когда она пробовала ножкой воду.

— Тебе надо пойтить до доктора Казаса и дождаться, когда там будет Ульянов,— сказал Голомб.— Ему надо сообщить, шо имеются раненые. Узнай, или он сможет приехать, и приходи до Галкиной. Я буду на тебя ждать.

— А куда надо Ульянову приехать?

— Это тебе знать не нужно. Будет нужно — скажут.

— Странное недоверие. Значит, ты теперь мое начальство?

— Начальство? При чем тут начальство? Ты связной, и я связной. Ты до меня, а я до другого человека.

Леська залег на пляже против дома Казаса и ждал появления Ульянова. Казас приехал в своем экипаже на дутиках, вошел в дом, и экипаж, блистая крыльями, удалился. Леська ждал до глубокого вечера. Ульянова не было. На другой день Леська из гимназии сбегал в больницу. Он уселся на деревянной скамье против двери, где обычно принимал доктор Ульянов. Ждал он долго, но дождался только того, что из кабинета вышел в белом халате все тот же Казас.

К нему кинулись больные.

— Борис Ильич!

— А! Бредихин.

— Скажите, пожалуйста: Дмитрий Ильич здесь уже не служит?

— Не знаю никакого Дмитрия Ильича, а если вам нужен ветеринар Андриевский, то его следует искать на бойне.

На бойне Леська с трудом узнал Ульянова: он остриг волосы под нулевку, сбрил усы, бороду, надел желтые очки и стал похож на счетовода уездной земской управы.

Ульянов стоял перед карей лошадкой с сильно вздувшимся брюхом и говорил цыганенку, державшему ее под уздцы:

— Эта кобыла не беременна. Вы ее опоили. Слышишь, с каким хрипом она дышит? Ее надо на живодерку.

— Не хочу на живодерку!

— Дело хозяйское.

Цыганенок заплакал. Дмитрий Ильич отошел к рукомойнику и подставил под струйку ладони.

— Господин Андриевский! — окликнул его Леська.— Я к вам по глубоко личному делу.

Доктор с любопытством взглянул на Леську, вытер полотенцем руки и отошел с юношей в сторону.

Как и у всех юношей тех лет, у Леськи детское переходило во взрослое не постепенно, не по ступенькам, а на разных скоростях, то резко порываясь вперед, то возвращаясь на доброе пятилетие вспять. Сейчас, когда Леська подходил к Ульянову, это был еще совершенный ребенок.

— Вам просили передать... просили... что есть раненые и что сможете ли вы куда-то такое приехать? Они говорят, что вы знаете куда.

Ульянов внимательно поглядел в Леськины глаза, помедлил и ответил очень тихо:

— Благодарю. Передайте, что приеду.

— Товарищ! — отчаянным шепотом заговорил Леська, боясь, что Ульянов сейчас уйдет.— Мне нужен друг, понимаете? Чтобы он руководил моими мыслями. У меня, конечно, есть приятели, даже коммунисты, но они так же слабы в вопросах коммунизма, как и я.

Ульянов молчал.

— Так вот... Я хотел... Хотел бы иметь такого друга в вашем лице.

— Весьма польщен,— улыбаясь, сказал Ульянов,— но систематически с вами встречаться я не могу, а без этого — какая дружба?

— Но тогда ответьте мне на вопрос: что надо прочесть, чтобы стать коммунистом по убеждению?

Ульянов засмеялся.

— Ну, на этот вопрос ответить легко: всем известно, что для этого достаточно усвоить первые шестнадцать глав «Капитала».

— Ага. Замечательно. Завтра же прочитаю. Теперь второй вопрос: какой будет жизнь при коммунизме?

— А вот на это вам никто не ответит. Энгельс говорил, что люди грядущего будут умнее нас и построят жизнь так, как им захочется.

Он кивнул Леське и снова пошел к цыганенку, который продолжал всхлипывать.

— О чем ты плачешь?

— Не хочу коня на живодерку. Сколько дадут на живодерке за шкуру? А отец хотел продать лошадь на Катлык-базаре какому-нибудь русскому.

— Продай мне.

— Тебе? А зачем тебе кляча?

— Для научных исследований.

Леська направился к дому Галкиных.

— Голомб здесь?

— Здесь,— ответила Катя.— Посиди на скамейке.

Леська ушел к обрыву.

Вскоре появился Голомб и вопросительно остановился перед Леськой. Леська передал ему ответ доктора.

— Молодец! Теперь иди себе домой. Будет нужно, к тебе придут.

На следующий день в гимназии Леська узнал все, что скрывал от него Голомб. Во время большой перемены весь класс, не выходя в рекреационный зал, столпился вокруг Полика Антонова. Вчера у Антоновых был в гостях новый начальник контрразведки полковник Демин. Рассказывал, что в евпаторийском районе появилась шайка разбойников, которая совершает налеты на германские пикеты, останавливает поезда, груженные пшеницей, увозит ее на телегах и раздает деревенским беднякам.

— Какие же это разбойники? — удивился Леська.

— А кто же? — запальчиво спросил Полик.

— Ну, как-нибудь все-таки иначе.

— Нэ вмэр Даныла — болячка задавыла! — засмеялся Канаки.

— Ну, и как же все-таки твои разбойники? — спросил Леська.— Хоть одного-то поймали?

— Нет еще, но уже многое известно.

— Что же, например?

— Например... Называется эта шайка «Красная каска», а спряталась она в каменоломнях у Володьки.

— Ай-ай-ай, Володька! Как тебе не стыдно!

— Тут не до шуток,— строго сказал Полик.— Атаманом у них Петриченко, бывший десятник Шокаревых. С ним и его жена Мария.

— Но если никого из них не поймали, откуда же все это известно?

— Ну, знаешь... Таких вопросов не задают.

— Военная тайна? — иронически спросил Леська.

— Да, тайна. Да, военная,— важно отчеканил Полик.

— Про Петриченко — это не тайна,— сказал Юрченко.— О нем уже легенды ходят. Страшный, говорят, озорник. Пришел он раз на базар, подходит к бабе, которая яйцами торговала, взял одно яйцо, разбил и вынул из него червонец. Потом взял другое — и опять червонец. Хотел купить все лукошко, но баба, ополоумев, опрометью кинулась домой — все яйца перебила, но червонцев не оказалось.

— Наверное, по дороге протухли.

Леська помчался к дому Галкиных. Голомб оказался там. Он сидел за самоваром и держал себя по-хозяйски.

— Знакомься, Бредихин. Это — Катюшина мама. Тоже Катерина, но Алексеевна, а моя — Васильевна.

— «Моя»...— ворчливо отозвалась Алексеевна.— Ты вперед женись.

— И женюсь. А шо? Это решено. Сколько можно! Мне уже на минутку двадцать четыре года.

— А вы-то русский? — печально спросила Леську Катерина Алексеевна.

— Русский.

— Вот видите...— вздохнула старуха.

— Вы, мамаша, не убивайтесь! — начал Голомб.— Шоб вы знали, самые лучшие мужья — евреи, а самые лучшие жены — русские. А как же? Вы только сообразуйтесь: еврей не пьет — это раз. Значит, ничего из дома не тащит, а все в дом, все в дом. А как еврей обожает своих малюток? Это вам не Тарас Бульба, мамаша. Так вот, русская жена с таким мужем в огонь и в воду! Еврейка, конечно, тоже. Но за это еврейка требует полного подчинения. А русская все отдает и ничего не требует. Теперь, мамаша, вы понимаете, какая с нас получится парочка? Бредихин, на воздух!

На улице Голомб, похохатывая, сказал:

— Антисемитизм — будь здоров, дай боже! Но я ее обломаю: старушка будет за меня цепляться всеми четырьмя руками. Ну, так что у тебя хорошенького?

Леська рассказал Голомбу все, что узнал от Полика Антонова.

— Молодец, Бредихин! — восхищенно воскликнул Голомб.— Это уже один раз Бредихин! Сколько Бредихиных бредихиновались, так такой еще не выбре... не выбере... тьфу!.. Не вы-бре-ди-хиневался!

Леська улыбнулся. Голомб нравился ему все больше и больше. Сначала, правда, Леську отталкивала его развязность и чудовищный русский язык. Но постепенно он понял, что в этой развязности нет нахальства, а есть попытка замаскировать ту серьезность, с какой он работает в подполье. Что же до языка, то и в нем есть какая-то приятность: с Голомбом, по крайней мере, не скучно.

— Теперь так,— сказал Голомб.— Завтра ты едешь на ветеринарный пункт, спрашиваешь доктора Ульянова. А он уже скажет, шо тебе надо делать.

— Значит, ты все-таки мое начальство, а я твой подчиненный?

— А какое твое собачье дело, кто ты и кто я? Дело надо делать.

К ним вышла Катя.

— Майор, куда ты его посылаешь? Я боюсь за него. Он такой непутевый!

— Шо значит «непутевый»? Малохольный? Так скажи же по-русски.

Он обнял Катю за плечи и прижал к себе. Девушка попыталась было отстраниться, но Голомб держал ее крепко, всей пятерней.

— Хорошая у меня Катя, а? Это не Катечка, а настоящее объедение. Завидуешь, Бредихин? Так вот: ты будешь иметь удовольствие делать вид, с понтом ты за ней ухаживаешь. Это нужно, шобы всем стало ясно, какого черта ты сюда шалаешься. Ведь если выяснится, шо ты приходишь на свидание со мной, это получится такая золотая ниточка для полковника Демина — дай боже, будь здоров. Так шо можешь приносить ей цветки с вашей дачи, даже подарочки — ну, там косынку или поясок. Но если ты отобьешь ее у меня, Бредихин, если! только! отобьешь!.. Я с тебя сделаю два!

Он сказал это так серьезно, что Леська вздрогнул.

— А зачем ему сюда ходить? Пересыпские ребята поймают его как-нибудь и убьют до смерти.

— Никто его не тронет. Я объяснил ребятам, шо Васена утопилась через меня. Они все хорошо поняли: не могу же я взять за себя сразу обоих двох!

На ветеринарном пункте доктор Ульянов спросил Леську:

— Вы умеете править лошадью, идя с нею рядом?

— Сумею. В крайнем случае возьму ее под уздцы.

— Пойдемте.

Они пошли к бойне, и в Леську с невыносимой силой ударил запах дохлятины. Потом он постепенно различил в вечерней мгле коня с телегой, а на телеге мертвую лошадку со вздувшимся брюхом.

— В телеге оружие,— тихо сказал доктор.— Его прикрывает этот конский труп, который мы выдаем за лошадь, погибшую от сапа. Это для патрулей. Вот вам удостоверение о сапе. Тут все в порядке: печать и подпись врача. Оружие повезете в каменоломню. Пароль: «Авелла!» Запомните?

— Еще бы!

— Возьмите склянку с нашатырем. Будете по дороге вдыхать.

Доктора окликнули, он пожал Леське руку и быстро удалился.

Леська тронул коня и, держа в руках вожжи, пошел рядом.

Патрули шарахались в стороны, как только Леська произносил: «Сап»,— и при этом нюхал бутылочку.

— Schneller, schneller! — кричали немцы, и он уже просто бежал за своей лошадью.

«Вот! — думал Леська.— Везу дохлую лошадь, и это называется «делать революцию». Скоро буду чистить нужники. А ведь еще так недавно — стычка под Ново-Алексеевкой, бой у Турецкого вала, бой на станции Альма... Неужели вся романтика осталась там?»

Наконец показались каменоломни.

— Ты куда, парень? — окликнул его чей-то голос.

— Авелла! — сказал Елисей в пространство.

Его осветили фонариком.

— Что привез?

— Сапную падаль.

— Удостоверение от ветеринара есть?

— Есть.

— Давай сюда.

Подошли люди, сбросили дохлятину на землю и стали убирать оружие. Елисей увидел винтовки, гранаты, ящики с патронами и части разобранного пулемета.

Лошадь увезли, а Леська спустился с Петриченко в каменоломни. Они шли, освещая путь фонарем «летучая мышь», пока не открылась довольно уютная пещера. Голый стол, табуреты и железная койка.

— Мой кабинет,— сказал Петриченко и крикнул: — Дина!

Появилась татарка в солдатской гимнастерке, покрыла стол двумя распахнутыми газетами, поставила холодную баранину, две чашки и штоф.

— Это вместо чаю. Чай мы еще не наладили. Не нашли, куда вывести дым, чтобы, значит, не выдавать себя до поры.

— До поры? — удивился Леська.— Да ведь все в городе знают, где вы укрываетесь.

— Одно дело знать, а другое — нащупать. Ну, за что пьем, гимназист?

— За атамана разбойников! — сказал Леська.

Петриченко расхохотался.

— Неужто меня так называют?

— Сначала так, а потом будут по-другому.

Выпили.

— Слыхал про великую новость? В Германии революция.

— Ну?! Ей-богу?

— Вильгельм слетел с трона и убрался к чертовой бабушке в Голландию.

— Что же теперь будет с нашими оккупантами?

— Крышка им будет. У генерала Коша пупок дрожит. Тем более нам необходимо действовать, чтобы они, уходя, не ограбили нас до подметки.

— Понимаю.

Петриченко налил вторую одному себе.

— С тебя хватит,— сказал он просто.— Твое здоровье!

Он выпил и поставил чашку кверху дном.

— Провиантом мы обеспечены. Одна продушина выходит во двор Белоуса, как раз у колодца, и вода будет. Вот только боеприпасов маловато. Придется возить сюда дохлятину каждый день.

— Ну что ж. Могу каждый день.

— Нет, тебе каждый день нельзя: ты приметный.

На обратном пути Елисей гоголем стоял на телеге и гнал коня резвой рысью. При встрече с патрулем он высоко поднимал ульяновскую бумажку, но его уже знали и не задерживали.

Дома, не заходя в комнаты, Леська пошел в сад и увидел огонек папиросы: на скамье сидел Андрон.

— Ты где шатаешься? — ворчливо произнес он.— Бабка тебя весь вечер ищет.

Леська сел рядом. Знает Андрон или нет о «Красной каске»? Сказать ему? Все-таки дядя. А может быть, он и сам член этой организации? Тогда Леське влетит за длинный язык. Нет, лучше помолчать.

— Родичи мы с тобой, Леська, а я ничего про тебя не знаю: кто ты, что ты? Есть у тебя, по крайней мере, барышня?

— Нет.

— Не врешь?

— Правда.

— Ну да...— грустно сказал Андрон.— Для ваших гимназисток ты не жених: от тебя рыбой пахнет.

— И революцией,— засмеялся Леська и добавил: — Благодаря тебе.

Но Леську тронуло родственное сочувствие Андрона. Ему захотелось быть откровенным,— ведь Андрон не то что Леонид, который относится к вопросам любви слишком цинично.

— Ты понимаешь, Андрон,— сказал Леська.— Я боюсь, что родился каким-то уродом: какую девчонку ни встречу — тут же влюбляюсь. Самому противно.

— Ну, это смолоду у всех так,— добродушно усмехнулся Андрон.— Женишься — переменишься.

— Ты так говоришь, будто ты сам женат.

— А может, и женат. Ты-то почем знаешь?

— Ах, так! — разочарованно протянул Леська.— В каждом порту по жене?

Андрон вздохнул.

— Уж если речь о жене, то в другом городе искать не буду. Знаешь крымскую пословицу: «Хочешь жениться — езжай в Евпаторию». Таких девушек, как у нас, и в Одессе не сыщешь,— на все вкусы: русские, хохлушки, гречанки, караимки,— и одна лучше другой.

Леська вспомнил об этом разговоре на следующий же день.

Женская гимназия находилась против мужской, и на

занятия, так же как и после них, по улицам плыли два потока: стальные шинели юношей и разноцветные пальто, шубки, манто девушек. Леська снова убедился в прелести евпаториек: из пяти — четыре красавицы. И вдруг он увидел Гульнару. Она вытянулась, похудела и шла уже не детской, а девичьей походкой, окруженная свитой влюбленных в нее подружек. Леська вспомнил, что гюльнар по-татарски означает цветок граната.

— Гульнара! — крикнул Леська, и сердце его окатилось варом: он понял, что все время любил ее, только ее одну.

Гульнара оживленно оглянулась, но, увидев Бредихина, вздернула головку и с увлечением защебетала что-то своим спутницам, словно ничего не случилось.

«Велю запороть тебя на конюшне!» — вспомнилось Елисею. До сих пор Леська не придавал значения этой фразе: конечно, она бросила ее не потому, что была княжной, а просто начиталась дешевых романов.

— Что это она с тобой так надменно? — спросил Шокарев.— Была такая дружба...

— Не знаю.

— Впрочем, у девчонок бывает: когда они впервые начинают чувствовать себя взрослыми, им кажется, будто они королевы.

На уроке Леська был очень рассеян.

— Леся,— тихо сказал Шокарев.

— Ну?

— Мне нужно с тобой посоветоваться по очень серьезному делу.

— Пожалуйста.

— Приходи вечером.

Была суббота, а по субботам Леська к Шокаревым не ходил: уроки делали в воскресенье. Но уж если Володя просит...

Шокарев поставил перед Елисеем вазу с виноградом и айвой. Потом долго смущенно тер переносицу, глядя на друга робкими глазами.

— Понимаешь, Леся. Мы с тобой, конечно, не доросли, и не нашего ума это дело. Но сейчас такое время, что... Одним словом, я хочу вмешаться в судьбу моего отца. Не знаю, смогу ли, но хочу. Боюсь, что он совершит непоправимую ошибку. Ты слышал, что в Германии революция?

— Слышал.

— И что немцы отсюда уходят?

— Слышал и это.

— Но дело в том, что они не просто уходят, а из страха перед большевиками передают Крым своему врагу — Антанте. Французы получают базу в Севастополе, англичане — в Керчи. С Кубани двинется Деникин — это уже как бы для России.

Володя с болезненной внимательностью глядел в глаза Елисею.

— Уже сформировано крымское правительство,— продолжал Шокарев.— Премьер-министр — Соломон Крым. Так вот, Елисей: моему отцу предлагают портфель министра торговли и промышленности.

— Ну-у? Поздравляю...— протянул было Леська.

— Спасибо. Но я думаю, отцу не стоит влезать в эту историю. А? Как ты скажешь?

— Не знаю. А почему ты нервничаешь? Папа — министр. Это такая честь!

— Какая это честь? Министр крымского уезда... Что-то вроде волостного старосты. Ты вот что скажи: насколько все это прочно? Каледина разгромили, Корнилова разгромили, в Германии революция — а там лежали наши деньги. Не все, но довольно много. А что, если разгромят Деникина? Если революция во Франции? Может быть?

— Может.

— Вот то-то! Придут красные, расстреляют все это правительство и моего папку заодно. А какой из него министр? Он ведь очень милый человек.

— Да. Милый.

— Ну, вот видишь. Нечего ему лезть в политику. Правда, Елисей?

— Пожалуй.

— Спасибо, дорогой. Я так отцу и скажу: Бредихин не советует.

— Ну, что ты! Какой я для него авторитет?

— Ты, твой дядя, твой Петриченко, все ваше подполье.

— Авторитеты? Для твоего отца?

— Во всяком случае, вы должны знать, что мой отец тут ни при чем!

— Ах, вот в чем дело! — засмеялся Леська.— Тебе нужна индульгенция!

— Ну зачем же так грубо?

— Нет, не грубо. И ты прав. Если твой отец не согласится войти в правительство, то нужно, чтобы народ знал об этом заранее. Это очень умно с твоей стороны, Володя.

— Уже уходишь? А виноград?

— Спасибо. В другой раз.

— Возьми с собой хоть веточку на дорогу.

— Ну, веточку можно.

Веточку Леська преподнес Кате. Но Майор сказал, что все это хорошо известно, а Шокарев роли не играет. Играют роль французский линкор «Жан Барт», который войдет в Одессу, и второй линкор, «Мирабо», который заявится в Севастополь.

Германцы исчезли почти незаметно: их эшелоны отбывали по ночам. Обстреливаемые «Красной каской», они не решались на контратаки: офицеры боялись своих солдат. За последние десять дней по всему оккупационному корпусу прокатились митинги: немецкие солдаты требовали освобождения политических заключенных и возвращения их на родину. Того же требовали и немецкие матросы, отказавшиеся ремонтировать линкор «Гебен», стоявший в севастопольском доке. Положение германского командования стало безвыходным: нижние чины рвались на родину; если их не увезти, они примкнут к большевикам и расстреляют своих командиров. И вот командиры уходят от одной революции, чтобы окунуться в другую. Но иного выхода не было.

Евпатория осталась без власти. На всякий случай полиция исчезла. Охрана города перешла в руки добровольцев.

Но никто ни на кого не нападал. Даже когда из тюрьмы выпустили всех заключенных, в городе не совершилось ни одного преступления.

Два дня длилось безвластие. Люди выходили на улицу в красных, лазоревых, сиреневых рубахах, которые надевали только на пасху, и торжественно лузгали семечки. Обросшие грибами столетние старухи, которые никогда не выползали на воздух, тут высыпали с Греческой улицы и ковыляли по главной, оглядывая город. Он казался всем новым, невиданным, потому что здесь не было ни городовых, ни полицейского участка, ни суда, ни следствия. В эти дни пекарни выпекали хлеб, базар был полон мяса, рыбы, масла, работала электрическая станция, бани, оба иллюзиона, кафе и ресторан. Деньги шли всякие: николаевские многоцветные, выполненные великолепными красками на шелковистой бумаге; керенские двадцатки и сороковки, смахивающие на пивные этикетки; донские — с изображением черно-желтой георгиев-

ской ленты и медных колоколов; даже махновские, на которых была отпечатана летящая во весь опор тачанка с надписью: «Хрен догонишь!»

Леська ходил с берданкой у одного плеча и Улькой Канаки у другого. Ему казалось, что вот-вот зазвенит разбитое стекло, раздастся истерический крик «Караул!» или что-нибудь в этом роде. Но в городе стояла такая великая народная тишина, что, если бы хоть один человек позволил себе сейчас малейшее хулиганство, толпа разорвала бы его в куски.

Елисей шел по улице. Шел, как ходят по канату. В первый день вся психика его была напряжена до предела. Но то же самое он читал в глазах любого встречного. Русские рабочие с водочного завода, греческие рыбаки, татары, привозившие в город фрукты с Альмы, Качи и Бельбека, даже цыгане, жившие божьим духом,— все население патрулировало по городу с настороженным выражением лиц.

Поперек главной улицы протянулся плакат:

«РЕВОЛЮЦИЯ — ПРАЗДНИК
УГНЕТЕННЫХ!»

ЛЕНИН

И никто его не срывал, хотя он не всякому нравился.

Второй день прошел так же, как и первый. Но уже теперь Леська ничего страшного не предвидел: он понял, что их спортивный кружок — детская игра и что подлинный страж порядка — сама Евпатория.

Утром третьего дня евпаторийцы увидели на рейде три миноносца: два под английским флагом и один под греческим. Острый легкий очерк их корпусов слегка перекликался с далекими очертаниями Чатырдага, который по сравнению с ними казался сверхдредноутом.

Еще ничего не случилось. Еще ни один иностранный солдат не ступил на крымский берег. Еще ни один приказ не был поднят на мачте, но город уже был оккупирован самим появлением этих безмолвных кораблей, и настроение народа сразу же резко изменилось.

— А греки-то наши, а? — сказал мужчина в серой шляпе.— Хотят захватить Крым.

— Молчи, если ни черта не понимаешь! — огрызнулся на него Анесты, известный в городе атаман рыбацкой артели.

— А что тут понимать? Вот этот миноносец... «Пантера» его зовут?

— «Пантера».

— Он зачем сюда пришел? Спектакли наши смотреть?

— Послали — пришел,— угрюмо проворчал Анесты.— Тебя пошлют в Грецию, и ты пойдешь.

Это показалось разумным.

— Чего вы пристали к грекам? — отозвался другой гражданин в другой серой шляпе.— Лучше на англичан поглядите. Греки пришли и уйдут, а эти если уж приходят, то остаются. Как бы из нашего Крыма Индии не получилось.

Весь город стоял на берегу и не расходился. Часам к одиннадцати на кораблях зазвенели склянки. Через час от английских миноносцев отделились шлюпки и, блистая мокрыми веслами, понеслись к пристани Русского общества пароходства и торговли. На берег вышли рослые голубоглазые ребята с чудесными улыбками и весело подмигнули окружающим. Потом поднялся молодой офицер. Пока он вылезал, матрос, оставшийся в шлюпке, дружески хватал его за штаны. Офицер так же дружески лягался и, выйдя на пристань, обратился к толпе с каким-то вопросом на английском языке. Леська спросил его по-французски, что угодно господину офицеру. Господин офицер ответил по-французски, что ему угодно знать, где находится муниципалитет. Леська вызвался проводить его в городскую управу.

Леська говорил по-французски в объеме гимназического курса, то есть плохо. Если ему не хватало слов, он вставлял немецкие фразы и даже латынь. В общем, англичанин его понимал.

— Зачем пришли эти корабли? — спросил Леська.

— О, не беспокойтесь, никакого ущерба населению от нас не будет. Мы хотим только спасти Россию от большевизма.

— Но большевизм — это народ.

— Неверно! Большевики — это варвары, которые хотят уничтожить цивилизацию белых людей. С ними надо расправляться, как с готтентотами.

«М-да...— подумал Леська.— Здесь долго не раздумывают. Философия у них уже сфабрикована. Дело теперь за практикой».

Через несколько дней в Евпатории появились белогвардейцы Деникина. Разбитые «варварами» под Ростовом

и Екатеринодаром офицеры стали разгуливать по городу, помахивая нагайками, как в мирное время стеками.

— Большевик? — останавливали они то одного, то другого прохожего, беря население «на выдержку».

— Нет, нет, что вы!

— Врешь! Агитатор!

— Да нет же, клянусь богом!

— Прочь с глаз.

По вечерам перед «Дюльбером», в ресторане которого шли кутежи и раздавалось «Боже, царя храни», обычными были сценки, когда какой-нибудь пьяный белогвардеец орал во всю глотку:

— Жиды! Ваши комиссары погубили Россию. Выходите по одному, я вас буду расстреливать.

После двух знаменитых дней безвластия евпаторийцы страстно возненавидели деникинцев. Но и офицеры глубоко презирали Евпаторию:

— Этот город не дал миру ни одного генерала!

Действительно, с генералами в Евпатории было плохо. Зато ей везло на капитанов.

Совсем недавно гимназический кружок выбрал капитаном Бредихина. Случилось это очень просто: Артур заболел брюшным тифом, потерял половину веса, и врачи запретили ему заниматься спортом до весны, а весной восьмиклассники окончат гимназию, и кружок распадется. Поэтому Артур сам отказался от капитанства и указал на Елисея как на своего преемника.

Леська испытал такой прилив радости, что даже сконфузился перед самим собой. Бывший красногвардеец, революционер, который вез в свое время сапную лошадь, участник боя под Перекопом — и вдруг это мальчишеское звание... А ему приятно и немного стыдно, как если бы он решил поиграть в оловянных солдатиков. Но раз уж выбрали... Он ведь не сам. Дело общественное.

Новый год Леська встречал в женской гимназии. Он уже почти забыл о своем прошлогоднем позоре, когда Розия просто выплеснула его со сцены брызгами своего лимона. Пристегнув к петлице серебряный значок, изображавший античного дискобола, Елисей вступил в казенное серое здание, где гремела музыка. Он предвкушал сплошные радости. Во-первых, увидит Гульнару в бальном платье, во-вторых, Гульнара увидит его капитанский значок, в-третьих... Но уже вестибюль сразу же его охладил: сюда набилось офицерья больше, чем гимна-

зистов. Когда Леська попытался пройти в рекреационный зал, это оказалось нелегко. Взявшись за руки и оттеснив гимназистов, офицеры образовали круг и в этом кругу танцевали с одной-единственной девушкой, построившись к ней в очередь. У Леськи упало сердце: девушкой этой была Гульнара.

Евпатория знала ее как девочку, которая обещала стать красавицей, но сейчас... Синие волосы ее забраны серебряной сеткой. Белое платье с бледно-розовыми лентами придавало ей облик невесты.

Корниловец в черных бархатных погонах, покружив с Гульнарой один тур, передает ее марковцу в малиновых погонах, тот — шкуровцу, щеголявшему изображением волчьей головы, шкуровец — дроздовцу, дроздовец — снова корниловцу. Гульнара летала из объятий в объятия. Все остальные девушки оказались за кругом вместе со своими кавалерами.

Вначале эта сценка выглядела довольно красиво, но вальс перешел в венгерку, венгерка — в мазурку, мазурка — в падеспань, а Гульнара продолжала переходить из рук в руки. Игра перешла уже во что-то явно неприличное. Наконец девушка почувствовала это сама. В какой-то момент, когда корниловец собирался передать ее шкуровцу, она наклонила головку в знак благодарности и направилась к матери и сестре, сидевшим за кругом. Но шкуровец ухватил ее за руку и с силой потащил к центру. Гульнара стала упираться, на лице ее появилась гримаска, но шкуровец тащил. Маленький, крепкий с нагайкой, засунутой за голенище, он напоминал скифа, напавшего на римлянку.

Леська не выдержал. Он ринулся вперед. Плечом потащив за собой цепь офицеров, которая тут же распалась, он пролетел по паркету к шкуровцу, поднял его приемом «задний пояс» и аккуратно, точно шахматную фигурку, переставил на другое место. Затем, поклонившись Гульнаре, Леська предложил ей руку и проводил ее к Айшэханым, которая все это время просто умирала от страха.

Гимназисты зааплодировали.

— Как он его в воздухе! Как Антея Геракл.

Но шкуровец уже пришел в себя. Выхватив нагайку, он сзади кинулся на Леську и принялся хлестать его, как ломовую лошадь. Елисей обернулся, вырвал нагайку и швырнул ее через весь зал. Тогда на Леську бросились офицеры.

Но тут, приседая на своих ревматических ногах, из буфета прибежал директор. Он был в вицмундире с шитыми золотом пальмовыми ветвями и при шпаге. Увидя избиение своего ученика, старик впал в стихию героизма. Не помня себя, Алексей Косьмич блеснул шпагой и, со страшной силой стуча ею по пюпитру, закричал:

— Смир-рно!

Офицеры, привычно подчиняясь команде, замерли.

— Я действительный статский советник, по-вашему — «его превосходительство»! Так называемые господа офицеры! Вы ведете себя как в завоеванном городе. Немцы так себя не вели. Приказываю: немедленно покинуть зал! Всем составом. Иначе перепишу ваши фамилии!

— И в кондуит? — иронически бросил кто-то из офицеров.

— Не-мед-лен-но! — снова приказал действительный статский. И лихо взмахнул шпагой.

— Ну что ж,— произнес тот же офицерский голос будто бы в шутку.— Приказ есть приказ. Валентин, я лично ушел в «Дюльбер». Ищи меня там.

Звеня шпорами, офицер вышел из зала. За ним остальные.

— Бал продолжается! — объявил директор, пряча в ножны шпагу.— Музыка, вальс!

Приседая на ногах, как на резиновых шинах, старик подкатился к Мусе Волковой и, поклонившись ей, прошелся полтура под овации всего зала.

— Ура Алексею Косьмичу! — закричал кто-то из гимназистов.

— Ура-а!

На улице Артур, хоть он уже не был капитаном, объявил приказ:

— Отныне прекратить песню про Алешку!

Дома Леонид покрасил йодом алые полосы на Леськином теле, но хуже было то, что офицер исполосовал также и пиджак.

— Слушай, Бредихин,— сказал, посмеиваясь, Леонид.— Если ты будешь так себя вести, я не смогу тебя экипировать. Я ведь не миллионер.

— Ничего. Бабушка заштопает.

— Заштопанных пиджаков не бывает.

— Не бывает, а у меня будет.

Потом Леська сидел на скамье под яблоней, укутанной в рогожку, и подсчитывал потери: белогвардеец

высек его публично, но общественное мнение не на стороне офицера. Во-первых, я вступился за девушку, во-вторых, вырвал у него нагайку и забросил черт знает куда. Для мужчины, тем более для кавалериста, это большая обида.

И вдруг он увидел на дорожке легкую девичью фигуру. Гульнара шла к нему, как парусная яхта,— быстро и как бы недвижно. Леська вскочил, потом снова сел, снова вскочил и побежал к ней навстречу.

— Здравствуй, Гульнара!

— Здравствуйте,— сказала Гульнара, переходя на «вы».

— Садитесь, пожалуйста,— пробормотал Леська.

— Нет-нет. Я на минутку. Мама сказала, что я должна вас поблагодарить за вчерашнее. Так вот: спасибо вам. Папа говорит, что вы вели себя как настоящий рыцарь. Но папа говорит, что этот офицер в конце концов не понес никакого наказания. Алим вызовет его на дуэль. А когда Алима убьют, стреляться с ним будет папа.

Она стояла в голубом берете, слегка сдвинутом набок, в белой горностаевой кофте и ярко-синей шерстяной юбке: небо, парус и море. Леська глядел на нее и пытался увидеть такой, какой она была в начале прошлой весны,— и не мог. Что-то изменилось в ней непоправимо.

— А как вы живете, Гульнара? Что у вас хорошего?

— Что хорошего? Не знаю. Меня сосватали одному турецкому принцу.

— Все-таки сосватали? А какой вы будете у него женой: второй, седьмой, десятой?

— Как? Разве там еще многоженство?

— А почему бы и нет? Ведь среди мусульман многоженство можно встретить даже у нас, в Евпатории, а уж в Турции...

Личико ее приняло испуганное выражение.

— Об этом я не подумала... А вдруг и вправду? А? Леська! Ты это серьезно?

Принцесса впервые назвала Елисея на «ты» и по имени, да еще так интимно: «Леська».

— Боже мой... А вдруг и вправду?

Она резко повернулась и почти побежала, забыв попрощаться.

20

С пятнадцати лет Леська — убежденный атеист. Но шкуровец исполосовал его пиджак, надо покупать новый, а брать у Леонида деньги он постеснялся. По всему по этому пришлось пойти в собор, к настоятелю отцу Алексию.

— Завтра, кажется, крещение? — спросил Леська.

— Да. Крещение господне,— подтвердил настоятель.

— Я хотел бы участвовать в ловле креста.

— То есть на Иордани, хотите вы сказать?

— Да, да.

— Что ж. Похвально. А вы наш прихожанин?

— Я гимназист,— уклончиво ответил Леська.

— А-а! Похвально, очень похвально. Однако обязан вас отговорить: за крестом ныряют греки, они — народ, к морю привычный, а вы, юноша, можете получить воспаление легких.

— Я внук и сын рыбака. Ну, и сам, конечно, рыбак. Очень прошу вас, батюшка.

И батюшка разрешил. А дело это платное.

Утро 6 января выдалось суровое. Море кипело, ветер бил порывами и был таким пронизывающим, что толпа, стоявшая у пристани Русского общества пароходства и торговли, даже в пальто и шубах продрогла, как в папиросной бумаге.

Греческая кофейня находилась как раз против пристани — только пересечь мостовую Лазаревской улицы. В кофейне готовили пловцов. Четыре грека — Димитриади, Триандофелиди, Теодориди и Гуто, четыре Аполлона без фиговых листьев,— не стесняясь посетителей, деловито натирали друг друга настоем красного перца. Леська в трусах глядел на них со стороны.

— Леська! — сказал Димитриади.— На крещение трусы надо сымать. Поп иначе в лодку не пустит.

Потом два грека плеснули в Леську водкой и принялись растирать его жесткой люфой и грубыми мочалками.

Но вот подан сигнал. Пловцы накинули на голое тело огромные бараньи тулупы и босиком побежали к пристани.

— Леська, Леська! Авелла! — кричали гимназисты, точно он здесь самый главный.

Добежав до чугунного кнехта, христиане прыгнули в большую лодку с языческим названием «Посейдон». По знаку священника четверо навалились на весла. Взлетая и проваливаясь, лодка трудно выплывала в море. На носу стоял отец Алексий, подняв серебряный крест.

— Суши весла! — крикнул он зычно, как шкипер. И через минуту: — Табань!

Лодка прекратила движение. Пловцы сбросили с плеч шубы и встали в полный рост. Их хорошо было видно с берега. Рядом с низкорослыми греками Елисей казался великаном, но они стояли стройно, а Леська съежился.

— Во имя отца, и сына, и святаго духа,— объявил священник и забросил крест далеко в волны.

Пятеро пловцов нырнули в море. Вода оказалась теплее воздуха, и это было даже приятно. Леська не приметил креста и с ужасом подумал, что крест затонет. Он видел под водой смутные тела греков и понесся к ним. Вот он обогнал Димитриади. Но Гуто уже держал крест в зубах, как тюлень рыбу, и выплывал на поверхность. Леська выплыл вслед за ним и пошел к лодке. Здесь они крепко обтерлись мощно накрахмаленными полотенцами, надели свои бараньи тулупы и начали пить водку прямо из четвертины, передавая бутыль и соленый огурец из рук в руки.

Когда бежали в кофейню, Леська увидел в толпе шкуровца. Офицер сверкал глазами на Леську и угрожал ему подбородком: погоди, мол, я еще до тебя доберусь!

Леська расстроился, но ненадолго: кофейня была полна людей, среди которых выделялись голубые шинели гимназистов. Оповещенный священником, в фаэтоне подъехал директор, вошел в кофейню, порога которой он, конечно, ни разу в жизни не переступал, и, подойдя к Леське, громко произнес:

— Благодарю тебя, Бредихин, за образцовый поступок христианина! — И поцеловал его в лоб.— А теперь в баню,— приказал он.— Немедленно в баню! Не-мед-ленно!

Артур, Юка, Улька и Володя поехали с Леськой в директорском экипаже.

— Сколько тебе заплатят за твой поступок христианина? — спросил циничный Улька.

— Не знаю,— сказал Леська, улыбаясь.— Я ведь не ради денег.

— А ради чего?

— Ради пиджака.

Ну, вот они и в бане. Стуча бабучами по звонким плитам пола, юноши вошли в свою мыльную. На мраморной лежанке сидел какой-то невзрачный мужчинка, намыленный до такой степени, что все лицо его вместе с глазами затонуло в белопенной бороде. Мальчики уселись на других лежанках и принялись мыться. И вдруг, когда мужчина обдал себя водой, вся его борода поплыла по полу — и перед гимназистами возникло омерзительно знакомое лицо шкуровского офицера. Того самого.

Сначала офицер Леську не узнал. Но Юка, став к офицеру спиной, плеснул в Ульку теплой водицей для затравки. Тогда Улька, наполнив шайку из холодного крана, хлюпнул в Юку ледяной водой, но вполне намеренно промахнулся — и весь заряд попал в шкуровца. Тот ахнул, взвыл и кинулся на Ульку.

— Негодяй! Я тебе в морду дам!

Улька лег на спину и, оглушительно хохоча, начал обороняться ногами. Шкуровец озверел окончательно. Он схватил пустую шайку и замахнулся. Но Елисей поймал его за руку и очень спокойно сказал:

— Слушайте, уважаемый! Если мы изобьем вас тут до полусмерти, в этом не будет никакого оскорбления вашей офицерской чести, ибо эта честь сейчас висит на гвозде в раздевалке. Все понятно?

Офицер выронил шайку, собрал мочалку, мыло, веник и, сгорбясь, ушел. Это был умный человек. Он правильно оценил несоответствие между собой и своим мундиром.

На этом кончился еще один этап гимназической жизни. Седьмого все пришли в класс, и тут произошло следующее.

— Бредихин! — воззвал с кафедры голос классного наставника Льва Львовича Галахова.

— Я!

— Вы записались в гимназический отряд?

— В какой отряд?

— В отряд, который примет участие в осаде шокаревских каменоломен?

— Что? Ах, да! Конечно, конечно.

— Юрченко!

— Записался.

— Канаки!

— Записался.

— Антонов!

— Но ведь я начальник этого отряда.

— Ошибаетесь. Начальником будет корнет Алим-бей Булатов. Так вот, господа: перечисленные мною ученики, пожалуйте в гимнастический зал.

В классе загремели парты.

— А ты не записался? — спросил Шокарева Бредихин.

— Справятся без меня,— апатично ответил Шокарев.— Но все это крайне всем нам неприятно. Папе ужасно жаль Петриченко.

Потом испытующе взглянул в глаза и тихо сказал:

— Но мне странно, что ты записался.

— По глупости. Все-таки интересно: хоть маленькая, но война.

Леська улыбнулся товарищу бледной улыбкой, сам чувствуя, что вранье не удалось.

В гимнастическом зале «сокол» чех Поспешиль выстроил учеников в две шеренги: кроме восьмиклассников, здесь были седьмые и шестые «а» и «б» — всего человек двадцать.

— Смирно!

Вошел директор, за ним Алим-бей в форме офицера уланского полка.

— Господа! — сказал директор дрожащим голосом, вынул туго наутюженный платок, распахнул его и утер набежавшую слезу.— В нашем тихом городе появилась банда, которая... Это позор для всей Крымской республики! Поэтому истекшей ночью из Симферополя прибыл карательный отряд. Он будет поддержан с моря английскими и греческими миноносцами. Но я обещал воинскому начальнику, что гимназия не останется в стороне. Мы должны... Я надеюсь... вы краса и гордость евпаторийского юношества...

— Ура-а!..— закричали гимназисты, после чего выступил корнет Алим-бей Булатов.

Этот обошелся без носового платка.

— Орлы! — привычно закричал корнет.— Завтра в восемь утра вам надлежит быть во дворе гимназии. Отсюда вас поведут па Соборную площадь, где вы присоединитесь к карательному отряду. Призываю вас к доблести! Герои заслужат награду, а дезертиров будем расходовать.

Первым дезертиром оказался Леська. Из гимназии он отправился домой, переоделся в рыбацкую робу и, засунув за голенище ложку, пошел на Пересыпь. К нему вышла Катя и застенчиво остановилась в дверях.

— Майор здесь?

— Здесь. А что?

— Позови его. Срочно.

Через десять минут все трое шагали по направлению к каменоломням и несли по связке сырой рыбы на куканах. Их остановил казачий патруль, но Голомб сказал, что его фамилия Белоус, что живет он в деревне Богай и возвращается со своими родичами с рыбной ловли.

— А документы?

— Вот документы,— сказал Голомб, показывая улов,— пять минут назад была живая.

Старшой понюхал рыбу, одобрительно кивнул головой и роздал ее казакам.

— Возражать не положено? — наивно спросил Голомб.

Казаки рассмеялись. Леська и Катя тоже. Дружелюбие было исключительным.

— Что и требовалось доказать,— сказал Леська, когда они отошли шагов на двадцать.

В деревне Богай Голомб повел друзей в дом некоего Белоуса, и тот по подземному ходу, ведущему из колодца, вывел их к Петриченко.

Никифорыч выслушал Леську очень внимательно.

— Спасибо тебе, Елисей. Только как же ты вернешься домой на ночь глядя? Лошадь я тебе сейчас дать не могу.

— Пусть переночует у Белоуса,— сказал Голомб.

— Нет, я останусь здесь.

— Но ведь завтра с утра начнется большое дело.

— Тем более.

— Ну, как знаешь, старик, как знаешь.

Петриченко ушел к бойцам, а Белоус начал показывать новоприбывшим апартаменты «Красной каски».

— Вот тут столовая. За этой пещерой, вон там, видите,— из камней выложены вроде как бы ложи, а внутри сено. Это госпиталь. А дальше будет мертвецкая.

— Очень хорошо,— сказал Голомб, искоса поглядев на Белоуса.— А где же, на минуточку, синематограф?

— Не шути, Мейер,— сказал Белоус.— Время сурьезное.

Потом повернулся к Леське.

— Ну, так как же, гимназист? Пойдешь ко мне ночевать?

— Зачем же именно я? Что я, белоручка? Вы бы девушке предложили.

— Девушка останется здесь,— сказала Катя.

— Ну и я здесь.

Белоус пожал плечами и ушел.

Трое друзей получили новенькие японские винтовки и на каждого по патронной сумке. Спали они в госпитале на сене, каждый в своей ложе.

Утром проснулись от ожесточенной перестрелки: пикеты заметили, что Белоус бродил над каменоломнями и указывал офицерам душники. Часовые открыли огонь, офицеров скосили, а раненого предателя втащили в катакомбы.

— Что ты успел выдать?

— Я не виноватый... Меня заставили... Офицеры...

— Что ты успел выдать?

— Совсем немного... Пару душников...

— Много у беляков войска?

— Скажу, если пообещаете жизни.

— Нет, этого обещать не могу: сам знаешь, что́ надо делать с предателями.

— Ага. Значит, до свиданья, Иван Никифорович?

— Выходит, так.

Белоус помолчал, глубоко вздохнул и произнес:

— Да, предателей нужно уничтожать.

Потом добавил:

— Дайте хоть стакан водки.

Водку ему дали.

— У беляков войска много: офицерский карательный отряд, казаки с Кубани, немцы-колонисты...

Белоус умирал. Голос его звучал все тише, слова все невнятней.

— Водки хочу... Знаю, что помру... А все-таки лучше от водки, чем от родной пули.

Дали полстакана.

— Из колодца... не пейте, ребята... Он... отравленный...

Это было самое страшное. Страшнее казаков, колонистов и офицеров. Петриченко тут же поставил двух часовых у бочки с водой. С этой минуты вода выдавалась по кружке в день.

Леське и Кате поручили наблюдательный пункт № 11. Из него хорошо просматривалась дорога на Евпаторию. Леська видел, как по этой дороге двигались к деревне Богай карательные войска: конница, пехота, наконец,

легкая артиллерия. На одной из пушек сидел верхом Полик Антонов и весело махал рукой. Очевидно, шедшие за пушкой гимназисты пели.

Начался артиллерийский налет. Стреляли трехдюймовками с вокзала за восемь верст. Стреляли из района Майнакской грязелечебницы — это еще дальше. Стреляли миноносцы, которые ушли с евпаторийского рейда и стали на якорь как раз против каменоломен. Но орудия только пристреливались, и весь удар пришелся на деревни Агай, Орта-Мамай и Богай. Пылали хаты, амбары, сараи. Жители выбежали на улицу. Волоча раненых, с воплем и криками неслись они в каменоломни. Петриченко впустил их и распорядился выдавать отныне воду только по чашке.

Офицеры беженцам не препятствовали: благодаря беженцам, они засекали выходы. Потом заговорили пушки, выставленные против этих засеченных нор. Вскоре, однако, выяснилось, что снаряды не в состоянии разбить каменоломен: они обрывали глыбы, разбрызгивали камни, но вся толща катакомб не испытывала никакого урона. Пушки замолчали, но просматривали всю площадь перед входами.

Леська с Катей сидели у своего душника и уныло глядели на чадящую деревню. Время от времени к душнику прибегал Голомб.

— Между прочим, Бредихин, тебя очень хотит видеть один человек. Он говорит, шо он большой твой приятель.

— Кто такой?

— Не знаю. Какой-то цыганенок.

— Неужели Девлетка?

— Может, и он.

— Как же он здесь очутился?

— А почему же нет? У нас тут кто хотишь. Умирать за революцию никому строго не воспрещается.

— Умирать? — спросила Катя, высоко подняв брови.— Это с какой же стати?

— Молодец, Галкина тире Голомб! Вот это настоящая жена революционера.

Ночью снова гремели пушки, привезенные карательным отрядом. Они стреляли по входам прямой наводкой из боязни вылазки партизан. Снова заработала артиллерия дальнего действия. Море вспыхивало каждые пять минут. Утром выяснилось, что все выходы из каменоломен были затянуты колючей проволокой.

— Вот мы и в мышеловке,— сказала жена Ивана Тимофеевича Мария.

— Это не самое плохое,— задумчиво ответил Петриченко.— Мы проволоку не трогаем, и она нас не тронет.

— А что хуже?

Петриченко не ответил. На третий день он приказал выдавать воду только женщинам и детям. Катя считала себя бойцом и от воды отказалась.

— Значит, ты теперь не женщина? — спросил Голомб.

— Выходит, нет.

— А на ком же я тогда женился?

Юмор не покидал Голомба ни на минуту. Иногда это раздражало. Хотелось остаться наедине со своей тоской. Но Голомб ходил среди бойцов и шутками заставлял их бодриться. Леська вспомнил, что примерно так же держал себя и Гринбах, но у Самсона это выходило как-то уж очень искусственно, а для Майора шутка была его второй натурой.

Однажды он принес Кате полчашки мутной воды.

— Где взял?

— А какое твое дело?

— Часовых убил?

— А как же! Это ж моя профессия!

— Нет, серьезно, где достал воду?

— Не скажу.

— Тогда я пить не буду! — твердо сказала Катя и отвернулась от соблазна.

— А если скажу, будешь пить?

— Если не отобрал у женщины или ребенка,— буду.

— Из камня высосал,— покаянно прохрипел Майор.

— Как это из камня?

— Каменюки тут мокрые. Вот я и придумал высасывать из них капли.

Катя недоверчиво взглянула на Леську, как бы ища подтверждения.

— Чего ты сомневаешься, чудило? Видишь, какие у меня зайды?

Он подошел поближе к свету и показал ей исцарапанные углы губ.

— Майор, ты гений! — воскликнул Леська и побежал сосать камень.

А Катя приняла из лапищи мужа граненый стаканчик и стала пить медленно и с остановкой, точно совершая какой-то чуть ли не религиозный обряд.

Вскоре все население каменоломен принялось впитывать ракушечник. Не всем это удавалось, потому что не всякий камень обладал необходимой капиллярностью. Нужно уметь выбирать. Голомб и Елисей постигли это искусство в совершенстве. Они сначала обнюхивали камень и, если он уж очень попахивал сыростью, принимались его лобзать.

— Ох, и наживем же мы себе тут каменную болезнь! — сказал Голомб.

— Ничего,— бодро отозвалась Катя.— Только бы пришла советская власть. Поедем лечиться в Кисловодск или куда еще едут с этим делом?

— В Ессентуки, кажется,— вздохнув, промолвил Леська.

Ему особенно повезло: он и сам напился, и Кате понес полную чашку. «Человек не пропадает!» — вспоминал он свой любимый афоризм.

Вдруг навстречу шагнул какой-то бородач.

— Слушай, парень,— заговорил он, задыхаясь.— Продай мне эту чашечку.

— Рад бы, да не могу: это для девушки.

— Продай! А я тебе за это — вот.

Он вынул золотые часы с тремя крышками и тяжелой цепью, часы, присущие купцам второй гильдии, как шуба на черных хорях.

— Ну, как? Сладились? Бери. Ведь я... Я ж умираюуу!

Лицо его было таким обвислым, полные когда-то щеки опали, в глазах металась сумасшедшинка.

— Понимаешь,— страстно бормотал бородач,— почки больные... Врачи велели пить, как можно больше пить, а тут...

Леська молча протянул ему чашку. Бородач схватил ее обеими руками и, запрокинув голову, хлебнул, как водку. Кажется, даже опьянел.

Леська взял у него свою чашку и снова побрел на промысел.

— А часы? — крикнул вдогонку бородач счастливым голосом.

— Да ну их! — отмахнулся Леська.

Под утро канонада возобновилась. Какая-то тень мелькнула у душника. Леська выстрелил наугад. Канонада вскоре прекратилась, но минут через десять у всех душников загремели взрывы: это саперы заложили у отвер-

стий пироксилиновые шашки, и ядовитый дым изо всех щелей пополз в каменоломни. Теперь все кинулись к душникам, открытым к морю. Но часовые не могли сойти с постов.

Кашляя и задыхаясь, прибежал Голомб.

— Катя, иди к морю, а я тут подежурю. И ты, Бредихин, иди. Через четверть часа всю эту муру вытянет через дырки.

Он приложил кусок какой-то афиши к стене и, когда она стала мокрой, ткнулся в нее лицом. Но Катя и Елисей не уходили. Тогда Голомб подбежал к Кате и приложил к ее лицу влажную бумагу.

— Вылазка! — пронесся вдруг приказ по катакомбам.

Леська и Голомб понеслись к своим отрядам. Катя побежала за Голомбом.

— Мандраж! [1] — крикнул Майор и кинулся в атаку.

Утро было туманным. Передовые вылезли из нор незамеченными и всей линией рванули гранатами колючую проволоку. Путь сразу же открылся. Партизаны кинулись вперед. Из клочьев утреннего тумана стало отчеканиваться орудие: оно стояло против главного входа и уже готовилось бить прямой наводкой. Партизаны мгновенно перестреляли всю его прислугу. Еще бы минута — и они на свободе. Но с севера дул чистый норд, и туман уходил к морю. Перед «Красной каской» оказалась пехота, которая наступала, гоня перед собой население окрестных деревень. Стрелки дали залп — один, другой, третий. Теперь пробиться вперед можно было только сквозь женщин и детей, среди которых оказались родственники.

— Не стреляйте! Деточки! Не стреляйте!

— Отступать! — скомандовал Петриченко и рухнул на землю.— В каменоломни! Отступать! — снова закричал он и потерял сознание.

Его подхватили под мышки и потащили к главному входу. Кто-то поднял Петриченко ноги. По дороге Леська увидел мертвого Голомба, а поперек его тела — труп Кати. Орудие, выплывшее из тумана, не участвовало в бою, потому что белые не рискнули к нему подойти. Вскоре в катакомбы вернулись последние бойцы «Красной каски». Без вожаков.

Когда все замолкло, из белого стана раздался голос, звучавший в рупор:

---

[1] Ужас!

— Мирные жители могут выйти из каменоломен! Им ничего не будет! Белая гвардия с населением не воюет.

Мирные жители кинулись вверх сквозь все выходы. Действительно, по ним не стреляли. Но Леська не мог выдать себя за мирного: Полик Антонов его бы разоблачил. Леська подошел к сундуку с провиантом, вынул пачку свеч и крикнул в темноту:

— Есть ли среди партизан старые рабочие каменоломен?

— Есть!

— Прошу ко мне.

Петриченко был тяжело ранен. Но людям так нужен был вожак, что они отозвались даже на юный голос Бредихина, как отозвались бы на любой другой голос, который отдал бы сейчас приказание. К Леське подошли двое мужчин.

— Товарищи! Нужно искать душник, о котором никому ничего не известно, кроме вас. Кто может повести к этому душнику? Где он?

— Надо поспросить Петриченко.

Иван Никифорович уже очнулся, разговаривал, но было ясно, что он не вынесет своей чудовищной боли.

— Идите, держитесь моря,— сквозь рычание сказал Петриченко.— Где-то там должно быть окошко... Сам я не видел, но говорили, что есть... Только расширить... Окошко...

Леська и часовые, которых он отобрал, залегли у выхода. В течение этого, пятого, дня белые делали несколько попыток ворваться в катакомбы, но пикеты расстреливали их.

— «Красная каска»! — объявил голос в рупор.— Сдавайтесь! Ничего вам не будет. Только тюрьма!

Через полчаса в тишине, которая воцарилась наверху, раздались подряд четыре залпа. Крики, вопли. Снова залпы, на этот раз три. И снова тишина.

— Что это? — спросил Леська.

— Это расстреливают мирное население, которое вышло из каменоломен.

— Заразы боятся...— сказал Петриченко.

— Им, значит, расстрел, а нам только тюрьма?

Молчание.

— Идите, ребята,— сказал Петриченко.— Ищите душник, а то всем вам тут хана будет.

Партизаны сделали из рук стульчик и, посадив на него командира, тронулись за свечкой, которую высоко держал передовой. Петриченко страшно стонал.

— Не могу! Положите меня. Не могу. Все равно я умирающий. Пристрелите меня. Мурочка, пристрели меня.

Мария, рыдая, бросилась к нему, прижалась щекой к его ладони. Петриченко истошно закричал.

— Ему больно от вашей ласки,— тихо сказал Леська.

— У меня... перебиты... руки и ноги. Я не могу с вами. Здесь еще ничего, а дальше придется ползти. Куда же мне?

Но партизаны не послушались его и продолжали нести. Петриченко стонал все громче, а по его стону, как волки по следу оленей, бесшумно неслись белогвардейцы. Петриченко, Мария и арьергард пали первыми. Кучка остальных начала отстреливаться. Белые отступили. Передовой забойщик задул свечу, и теперь бойцы двигались в совершенной темноте. Разговаривать опасались. Чтобы не распылиться, держали друг друга за пояс.

Так продвигались они — где в полный рост, где ползком. Иногда, привалившись друг к другу, тут же опускались в сон, как на дно. Спали даже часовые. Но и в кошмарах им снилось, будто они идут, идут, идут.

Сколько времени они пробивались, как выглядели все эти люди, кто они — никто сказать бы не мог. Но душника все не было. И снова шли, шли, шли на ощупь...

Только сейчас Леська понял слово «организация»: оно исходит из слова «организм». Да, все эти незнакомые люди — одно сложное тело, как позвонки анаконды. И вот движется эта анаконда и думает: «А что, если забой никуда не приведет?»

И вдруг кто-то крикнул: «Свет!» Вдалеке приметили узкую полоску голубизны. «Небо!» — закричал тот же голос и пресекся рыданием.

Передние из последних сил начали долбить вершину пустого ствола. Вскоре ворвался близкий шум моря. Первый забойщик взобрался на плечи второго, а второго Елисей поднял на плечи вместе с первым. Выглянув из душника, первый забойщик пролез сквозь него на поверхность, протянул руки вниз и вытащил второго, второй — третьего. Последним на поясах вытащили Елисея, который всех подтягивал к тем, кто был уже наверху.

Когда Леська выскочил из забоя и ветер рванул его волосы, он почувствовал такое счастье, какого никогда еще не испытывал.

— Тала́сса! Тала́сса! — закричал он почему-то по-гречески.

Леська любил море так же самозабвенно, как и дедушка, с той лишь разницей, что дед видел в нем живое чудовище, а для Леськи оно было тем, что оно было: стихией, но со своими особыми повадками. Больше всего Елисей любил морские запахи. По ним он мог с закрытыми глазами угадать время суток. Ранним утром море пахло стираным бельем на веревках. К полудню запах нагревался и явственно отдавал тонким ароматом винных яблок. В шесть вечера, когда начинался отлив и гниющие водоросли оказывались на суше, поднималась такая могучая вонь, будто где-то рядом пала богатырская лошадь. А ночью, над свинцово-серой дорожкой луны, если она была чуть-чуть затенена облачком, возникал отчетливый дух серы, точно в море только что искупался черт.

— Здорово, товарищ Леся!

— А-а! Девлет! Как ты сюда попал?

— Не знаю. Сто раз думал: никогда больше никуда не полезу. А как только что-нибудь начинается, не могу усидеть дома.

Он поглядел в Леськины глаза своими горячими очами и вдруг кинулся к нему на шею.

21

Когда выяснилось, что Леськи не было в группе гимназистов, осаждавших Богайские каменоломни, а в гимназии он тоже не появлялся, члены спортивного кружка пришли к нему на дом. Леонид пригласил их в столовую.

— Что такое с Елисеем? Куда он девался?

— Как раз накануне осады Леську схватил приступ аппендицита. Пришлось отправить его в Симферополь.

— А разве нельзя было сделать ему операцию здесь?

— Можно,— улыбнулся Леонид.— Но Леська — мой единственный брат.

— В какой же он там больнице?

— Был в городской, а потом его взял к себе мой приятель, доктор Иван Иванович Михайлов. Знаете такого?

— Найдем.
— Спасибо, что зашли.
— Мир праху.
— И вам того же.
Леська сидел в соседней комнате.

— Они действительно могут съездить в Симферополь, узнают, что никакого доктора Михайлова нет и в помине,— и что тогда?

— Нет такого города, где не было бы доктора Михайлова.

— Ивана Ивановича?

— Вот именно,— подтвердил Леонид.

Потом добавил:

— Да-а... Положение сложное. Если б они тебя чуть-чуть меньше любили, все бы было чудно. Но не падай духом. Что-нибудь придумаем.

Но думать пришлось гораздо раньше, чем можно было ожидать: пришел Володя Шокарев.

— Поздравляю! — сказал Леонид, улыбаясь.— Теперь ваши каменоломни свободны.

— Благодарю вас. А где Елисей?

— Да вот вообразите: как раз в канун осады у него оказался аппендицит, и пришлось срочно отправить его в Симферополь. Все-таки Леська — мой единственный брат. Жаль только, что ему удаляют аппендикс, а не делают резекцию желудка.

— Странно... Чем же резекция лучше?

— А тем, молодой человек, что с аппендицитом в армию берут, а с резекцией дают чистую. Запомните на всякий случай! Это уж при любой власти: белые, красные, а война без вас.

— Что же мне запоминать, если я совершенно здоров.

— Но можно так сделать, что внутри вы будете совершенно здоровы, а снаружи — полная картина проделанной операции. Но только тсс — это секрет изобретателя. Не присвойте его себе.

Леонид тихо засмеялся, многозначительно глядя на Шокарева.

— И дорого это будет стоить? — осторожно спросил Шокарев.

— Споемся. Я человек покладистый, а ваш отец денег на это не пожалеет, я надеюсь.

Шокарев не ответил. Потом вдруг сказал:

— Арестовали цыгана Девлетку, а он выдал Елисея.

— Выдал? Что значит — «выдал»? У человека аппендицит. Его отправили в Симферополь на операцию. А тут — «выдал». Должна же быть какая-нибудь логика? Как вы скажете?

— Цыган выдал и то, что Леся был в Красной гвардии.

— С ума сошел ваш цыган! Леська служил все это время в театре «Гротеск». Можно будет разыскать этот театр, если он по эту сторону фронта...

— Я думаю...— грустно сказал Володя.— Я думаю, Лесе нужно бежать за границу. В Крыму его под землей найдут. Крым невелик.

«Володя... Милый...» — подумал Леська и рванулся было к двери, но тут услышал голос Андрона:

— Сколько раз я говорил Леське, чтобы он не якшался с этой шпаной! Тоже мне революционеры! Меня за шхуну осуждают, а сами катакомбы захватили. А какая тут разница? Что катакомбы, что шхуна — один черт!

— Ничего бедный Андрон не понял,— прошептал Леська, прислушиваясь к разговору с бьющимся сердцем.— Но как же это негодяй Девлетка мог меня выдать? Только вчера со мной обнимался...

— Ну так как же? — спросил Володя.— Сможете его перебросить в Румынию, Болгарию или Турцию?

— А что он там будет делать? С голоду пухнуть? Там своих безработных как собак нерезаных.

— Что же будет?

— А что бог даст, то и будет.

Володя понял, что ему не доверяют, и тут же попрощался. Леонид проводил его до ворот и по дороге продолжал говорить на свою излюбленную тему:

— Операция чепуховая. Все равно что ногти стричь. Я делаю всего-навсего надрез кожи от мечевой кости чуть пониже пупка, а потом зашиваю. Остается впечатление, будто проделана очень серьезная операция, а на самом деле... Рентген, конечно, сразу же обнаружит фальшь, но где же вы видели, чтобы на призывном пункте коновалы применяли рентген?

— Гениально! — улыбаясь, сказал Володя.

— То-то и оно! А самую операцию я произведу в одной из наших кабинок. Стены покрою белой масляной краской. Все будет, как говорят медики, lege artis. А цена с вас небольшая: всего три тысячи. В Одессе я брал по пяти.

Когда Леонид вернулся, план был уже составлен: пароход «Чехов» сегодня снимается с якоря; взять Леську с собой в Одессу Андрон не сможет: на пароходе имеется комендант, который регистрирует всех пассажиров. Но, к счастью, комендант страдает морской болезнью, и как только корабль трогается, он тут же бежит в свою каюту. Поэтому в десять вечера дедушка вывозит Леську на шаланде и зажигает на ней фонарь. «Чехов» убавляет ход, подходит и сбрасывает веревочный трап. Леська взбирается на борт. Дальше у Тарханкутского маяка «Чехов» останавливается, лодка увозит Леську на берег, и он с письмом от капитана Волкова идет к смотрителю, который поможет ему пробраться в Севастополь.

— Отлично! — согласился Леонид.— Пятьсот рублей он от меня получит.

— Керенскими? — поинтересовался Андрон.

— Нет, конечно, но и не царскими.

— Какими же?

— «Колокольчиками».

— Ну, это ничего.

С Леськой все было сделано lege artis. Боцман с «Чехова» увидел огонек шаланды, умерил ход и сбросил трап. Шаланда ударилась тупым носом о борт, и темный силуэт юноши взобрался на корабль, как обезьяна. «Чехов» снова дал полный. Не доходя четырех миль до маяка, пароход остановился на траверзе деревни Караджа.

Пассажиры уже спали, но комендант вышел на палубу и спросил вахтенного матроса, зачем стали.

— Воду возьмем,— ответил вахтенный.

— А почему не взяли в Евпатории?

— В Евпатории вода известковая. От ней животы болят.

Спустили шлюпку. В нее сели боцман, матрос и юнга.

— Анкерчики давай! — скомандовал боцман.

Комендант видел, что с лодки приняли три узких и длинных бочонка. Потом она отчалила. Как лодка возвратилась, комендант не видел: пошел спать.

А юнга побрел вдоль низкого берега к маяку. Идти было легко. Но трудно было видеть уходящие огни парохода. «Чехов» шел в дымном дыхании вод, перед ним вспорхнула чайка, и Леська, наверное, подумал о провале первой ее постановки. Нет, думал он не об этом. Андрон... Может, никогда больше не увидимся? Если удастся из

Севастополя пробраться в Турцию — это оторвет его от России на всю жизнь. И таким одиночеством охватило Леську... Ему показалось, будто забросили его куда-то на Луну, отрезав от теплой родной земли, от бабушки Евдокии, от Петропалыча, от Гульнары — ото всего, что он успел полюбить всем сердцем за свою короткую жизнь.

Тарханкутский маяк — белая круглая башня, обнесенная каменной оградой,— стоял саженях в пятнадцати от берега. За оградой Леська увидел три небольших домика и кое-какие темные строения, очевидно кладовые. Он подошел к наиболее приветливому из домиков и постучал в окошко. Залаяла собака. Занавеска отодвинулась, и к стеклу приникла старушечья голова.

— Кто такой?

— Скажите, пожалуйста, это квартира Попова?

— Ну да, а в чем дело?

— Я от капитана Волкова.

— А-а... Сейчас.

На Леську сначала выбежал белый-белый шпиц, потом белая-белая старуха, потом такая же белая женщина помоложе. Когда Леську ввели в комнату, он увидел седого старика, склонившегося над шахматами и держащего в руках газету с этюдом.

— От Волкова,— сказала старуха.

— А чем он может сие доказать? — спросил старик, не подымая головы.

— У меня к вам письмо от него.

Старик взглянул на Леську поверх очков, нетерпеливо вскрыл конверт и, все еще думая о шахматах, пробежал глазами листок.

— Ну, что ж. Милости просим. Располагайтесь. Меня зовут Автономом Иванычем, одну старушку — Верой Павловной, другую — Автономовной Елисаветой, а третью, собачку то есть,— просто Люська. Женщины, накормите гостя!

Старик снова углубился в шахматы, пронес белого офицера по всей диагонали, ответил на это ходом коня и, подумав, громко сказал: «Иодидио!»

Старуха № 1 поставила на стол блюдо свиного холодца, блюдце с маринованными огурцами и фруктовую вазу с теплым картофелем.

— Извините,— сказала № 1, улыбаясь своими бивнями.— У нас разносолов нет, зато все свое, домашнее: и картофель, и огурцы, и даже подсвинок.

Старик между тем правой рукой сразил офицером коня, а левой снял другим конем офицера.

— Ян Полуян! — объявил он торжественно.

Старушка № 2 улыбнулась Леське менее вставными, но не менее слоновыми клыками и сказала:

— Не смущайтесь! Папа время от времени произносит какое-нибудь диковинное слово, чаще всего фамилию, но это ровно ничего не значит.

Леська кивнул головой. Он любил бывать в незнакомых семействах: в каждом доме обязательно что-нибудь свое, не такое, как у других, а в целом все это — жизнь.

В жизни случайные встречи точильными служат камнями,
Чтобы оттачивать наш всеиспытующий ум...—

вспомнил Леська стихи одного своего гимназического товарища.

Собака Люська вскочила на стул рядом с Леськиным и стала так нервно потявкивать, точно вот-вот околеет от голода. Елисей взял с тарелки свиную косточку и сунул ей в пасть.

— Ради бога! — кокетливо всплеснула ручками старушка № 2.— Ради бога, не делайте этого! Люська уже хорошо поужинала, а эти гостинцы только расстроят ей желудочек.

Но Люська, пользуясь тем, что гость не знает порядков, нахально требовала новых костей и с тявканья перешла на повелительный лай. Пришлось отправить ее на кухню.

— Какой у вас яркий свет! — сказал Леська.

— Это газированный керосин,— отозвался Попов.— Мы питаем им маяк, ну и, конечно, сами питаемся.

Он снова склонился над доской, долго думал, произнес «Борейша» и, выведя в люди ферзя, заставил древнюю ладью вернуться на свое место.

— Мат! — сказал он вскоре очень удовлетворенно, ни к кому не обращаясь. Сложив газету, он спрятал ее на дне ящика, в который смахнул фигурки, прикрыв их доской.— Значит, вас надлежит отправить в Севастополь, молодой человек? Это вполне возможно, однако не так просто. Завтра пойду в Караджу к рыбакам. Авось кто-нибудь и собирается на выход. Только ведь в море сейчас шалят: пираты появились. На пароход они не нападают, а на баркасы...

— Пираты? Ничего об этом не слыхал...

— А как же! Самые настоящие пираты. И это естественно: поскольку в Крыму нет твердой власти...

— А французы? Англичане?

— А им начхать на пиратов. Эту публику, Антанту то есть, интересуют только коммунисты, а в остальном, господа русские, друг друга хоть режьте, хоть ешьте.

Воцарилась безрадостная пауза.

— Иодидио! — сказала вдруг старуха № 1 и встала.— Пойдемте, молодой человек, я покажу вам вашу комнату.

В угловой, куда привели Леську, уже орудовала старуха № 2. Она постлала гостю свежее белье, схватила в охапку старое и, бодро отчеканив «Ян Полуян!», пошла к выходу.

— Борейша! — ответил Леська, подразумевая: «Будьте здоровы!»

Елисавета Автономовна рассмеялась и повела на него глазами.

«Э! — подумал Леська.— Отсюда надо удирать. И как можно быстрее».

К полуночи вся семья собралась за кофе, включая и Люську, которой налили в блюдце. Чаю Люська не пила принципиально, но Автоном Иваныч, напротив, пил только чай. И тоже принципиально: чай был отечественным, М. С. Кузнецова в Буддах, а кофе ввозили из Турции. Старик звенел ложечкой в стакане с подстаканником и грустно поглядывал на Леську. А Леська только и ждал, чтобы он произнес еще какую-нибудь фамилию.

— Беневоленский! — произнес наконец старик.— Ничего, кроме баркасов, сейчас быть не может, а на баркасах плавать, как я уже сказал выше, ненадежно.

— Ничего! — ответил беспечно Леська.— Авось.

— Авось да небось.

Бабушка № 1 печально покачала головой.

— Сеид-бей Булатов,— сказала она мудро.

— Вы знаете Булатовых? — встрепенулся Леська.

— Каких Булатовых?

— Да ведь вы сейчас сказали: «Сеид-бей Булатов».

— Ничего я этого не говорила.

— Булатовых мы не знаем, а слышали о них много,— сказала старушка № 2.— Недавно, например, прошел слух, будто за их младшенькой приехал из Константинополя ее жених, какой-то турецкий принц.

— Ну? Неужели приехал? — воскликнул Леська, обмирая.

— Да, да. Правда, мама?

— Правда, правда! Приехал, а ее нет дома. Где же она? Оказывается, на балу. А у турок это не полагается.

— Прилетел он на бал,— подхватила № 2,— и что же видит? Его невеста пляшет с офицером.

— Да еще с православным!

— Он выхватил саблю,— вдохновенно, захлебываясь, продолжала № 2 уже скороговоркой, не давая матери вставить слово,— и разрубил офицера надвое.

— После чего турка вызвали на дуэль обе половины,— заключил Автоном Иваныч.— Все это вранье! Ничего не было! Ни турка, ни сабли, ни бала. Какие сейчас могут быть турки, когда они входят в Тройственное согласие, а Крым захватила Антанта? Понимать надо! — крикнул он, постучав согнутым пальцем по столу, а потом себя по лбу.— Вонлярлярский! Политику постигать надо!

Потом он повел Елисея к маяку показывать свое любимое детище. По дороге от них шарахались в сторону гуси, куры, поросята и кролики.

— Сколько у вас живности!

— Это что! Вон в том каменном гнезде у меня сирена живет. Вот это, братец, живность.

— Нет, вы серьезно?

— Маяк! — величаво сказал Автоном Иваныч, не отвечая на вопрос.— Высота — сто восемь футов до вентилятора. Осветительный аппарат типа «молния» первого разряда. Имеет у себя лампу, снабженную колпачком накаливания. Высота огня — сто семнадцать футов над уровнем моря, математический горизонт освещения — двенадцать и четыре десятых мили.

— А как же сирена? Вы не ответили. Какая она?

— Обыкновенная.

— На ярмарке я когда-то видел одну...

— И я видел. Красавица. У меня до сих пор ее изображение на шкатулке. Но эта, конечно, другая. Пневматическая. Она кричит пять секунд через каждую минуту. Рупор ее направлен на норд-вест семьдесят четыре градуса, а дальность — пять-шесть миль. А? Что? Это тебе не шведский маяк, что у евпаторийского кордона. Здесь, знаете ли, целое предприятие!

— Иодидио! — с пониманием сказал Леська.

— А ты дурака не валяй! — рассердился Автоном Иваныч.— Ты что? За сумасшедшего меня считаешь?

— Да нет, что вы!

— А при чем же здесь «иодидио»?!

— Ни при чем. Это я от вас заразился.

— Врешь. А впрочем, ты прав. Это штука заразительная. Вот и моя старуха тоже. А тут в чем секрет? Когда я сюда приехал, здесь еще никого и ничего не было: столб да колокол. И жил я тут один. Ну, одинокие люди — странные. Некоторые сами с собой разговаривают вслух. А я другого типа: думаю про себя да вдруг выпалю что-нибудь. А чтоб как-нибудь не попасться в тайных мыслях, приучил себя выпаливать в воздух невероятные фамилии. Этак безопасней. Между прочим, этот столб с колоколом остался. Хоть и сирена есть, а мне жаль его ликвидировать. Есть и к вещам такое чувство, как к животным: привязываешься до слез. Так вот, когда начинается туман, а сирена еще не подготовлена, я приказываю бить в колокол. Производится двухударный звон с перерывами в три минуты. Старые капитаны хорошо знают этот голос.

За обедом на закуску дали тертую редьку с гусиным салом и крупной солью, потом шел перловый суп, на второе — гусь без шкуры: шкура пошла на шкварки, которые подали старику взамен гусятины.

— У меня такая диета,— пояснил Автоном Иваныч.— Библейская.

— Именно! — иронически сказала дочь.— Вместо жира — сало.

Старик налил себе и гостю водки.

— Еврейская пейсаховка. Сможешь выдержать?

— Не знаю. Я ведь непьющий.

— Эту пей. Такой ты у самих иудеев на найдешь: шестьдесят градусов на соленом перце.

— Папа! Тебе же нельзя! Сколько можно говорить?

Старик философически покачал головой, чокнулся с графином, опрокинул в себя рюмку и со слезами на глазах уставился на дочь.

— Вода не утоляет жажды: я как-то пил ее однажды.

— Тебе пить нель-зя! — поучительно сказала дочь.— От одной рюмки заплакал.

— Это я не от рюмки, а от редьки.

— Ну, редьку ты ел полчаса назад.

— Иодидио! — заявил Автоном Иваныч, чтобы прекратить спор.

— Иодидио...— подтвердил Леська.

После трех рюмок его разобрало.

— Автоном Иваныч! Можно взглянуть на шкатулку с сиреной?

— Лизанька! Принеси шкатулку.

Лизанька принесла.

— Только вы осторожно: здесь папа держит запонки.

Леська увидел свою Ундину со вздернутыми уголками век и рта. К нему вернулась детская тоска по сирене и взрослая по Гульнаре. Он застонал, как никогда раньше, и вдруг тихонько запел:

Прощай, радость, жизнь моя!
Знай, уеду без тебя.
Вот должон с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать.
Темна но-о-оченька,
Эх, да не спится.

Голос у Леськи был необычайно красив по тембру. Грудь резонировала так глубоко, что вызывала ответную дрожь в груди слушателя. Под ложечкой разливалась такая теплынь, что хотелось плакать или совершить что-нибудь очень благородное.

Эх, талан, мой талан,
Участь горькая моя.
Уродилось мое горе
Полынь — горькою травой.
Темна но-о-оченька,
Эх, да не спится.

— Шаляпин, Шаляпин! — со вздохом произнесла старушка № 2.

Полынь-горя не скосить,
Ни конем его травить.
Знать, придется мне в неволе
Буйну голову сложить.
Темна но-о-оченька,
Эх, да не спится.

Леська представил себе Турцию и заплакал. Елисавета Автономовна, всхлипывая, кинулась к нему, обняла его голову и поцеловала в лоб. Потом Леську общими усилиями подняли, отвели в его комнату и уложили на кушетку.

Проснулся он поздно: уже смеркалось. В столовой звенели ложечки,— пили чай. Леська вышел заспанный и сконфуженный.

— Извините. Я, кажется, за обедом хватил лишнее.

— Ничего ты не хватил. Садись чай кушать. А в Караджу мы с тобой уже не пойдем: поздновато.

Ужинали лениво. Спать разошлись молча, не то что пришибленные, но как-то все же взволнованные этим вечером, который в их убогой жизни был просто праздником. В этот вечер ни разу не появились ни «Иодидио», ни «Ян Полуян», ни «Борейша».

Леська уснул. Снилось ему то же самое, что он пережил вечером: семья Поповых за столом, восхищенное всхлипывание старушек: «Шаляпин, Шаляпин», игра старика с дочерью в шахматы. Дочь продвинула пешечку и сказала: «Грамматикопуло». Отец ответил: «Ламтатидзе» — и выдвинул свою. Это Леське было понятно: Грамматикопуло — часовой мастер на Морской улице, а Ламтатидзе...

— Елисей!

Леська открыл глаза. Было уже утро, и Автоном Иваныч, одетый и даже выбритый, взывал к Леське, стоя над его постелью.

— Надо идти в Караджу. Четыре версты. Возьми на дорогу вот это: штоф пейсаховки. Все замки́ открывает.

В Карадже нашли рыбака, хозяина баркаса, который собирался в Севастополь за керосином для всей деревни. Но старый кливер совсем истрепался, хозяин шьет новый. Как наладят, так и пришлют за Леськой.

Через два дня на маяк прибежала дочка хозяина баркаса — Зинка. Было ей лет шестнадцать. Стоял черный туман, и покуда Автоном Иваныч налаживал сирену, Леська бил в колокол: два сильных подряд и пауза, два сильных и снова пауза.

— Это ты Бредихин? — спросила Зинка.

— Я.

— Отец сказал, чтобы ты пришел: утром надо сниматься с якоря.

— А как же туман?

— Вот и хорошо, что туман: не заметят. У нас ведь мотора нет.

— Спасибо. Приду.

Но девчонка не уходила.

— Дай мне разочек позвонить,— попросила девчонка.

— Звони.

Зинка принялась работать.

— Слабо бьешь,— сказал Леська.— Давай я.

— Ну, еще немножко! Ну, минуточку! Миленький... Только минуточку.

Леська, ясное дело, разрешил. Этот «миленький» за-

ставил его вздрогнуть. У девчонки были теплые карие глаза и яркая улыбка.

«Ну вот. Начинается!» — подумал Леська с досадой и страхом.

— Хватит!

Зинка, вздохнув, отдала веревку. Теперь зазвонил Леська. На пороге дома стояла старушка № 2 и видела их работу.

— Елисей! — закричала она.— Обедать!

Леська быстро передал веревку, но тут же спохватился: Елисавета Автономовна Зинку не пригласила, и Леське стало неудобно,— как это он пойдет в дом обедать, а девочка останется на улице? Нехорошо.

— Елисей! Я сказала: обедать!

— Не хочу-у!..— крикнул Леська.— Я не го-о-олоден!

Старухи сели за стол со шпицем, который важно восседал на стуле и оживленно глядел черными глазами поочередно на одну и другую, хотя со стола ему никогда ничего не давали.

Сирена сегодня работать почему-то не хотела. Старик возился с ней довольно долго, старушки ждали его к столу, а с улицы доносился звон: то сильный — это бил Леська, то слабый — Зинка. Этот колокольный дуэт выводил из себя старушку № 2. Она сидела вся красная.

— Слава богу, что Елисей не обедает. По крайней мере, не будет петь.

— Но ведь тебе так нравилось его пение!

— Мне? Ничего подобного!

Старуха № 1 была ошеломлена.

— Лиза! Дорогая! Но ведь ты все время сравнивала его с Шаляпиным.

— Ну и что? Я всегда терпеть не могла Шаляпина.

Елисавета Автономовна в сердцах швырнула на стол салфетку и ушла в свою комнату.

Хвала аллаху, не дождавшись утра, Леська взял свой вещевой мешок и пошел к воротам. Автоном Иваныч проводил его до ограды.

— Каценеленбóген...— сказал он задумчиво на прощанье.

— Ничего! — ответил Леська.— Люди и в Турции живут.

Он обнял старика и вскоре исчез в тумане. Автоном Иваныч вернулся в дом, расставил фигурки на шахматной доске, двинул пешку и сказал:

— Бредихин.

В Караджe баркас уже пришвартовался к пристани. Но было еще рано. Леська уселся на свернутых канатах и принялся ждать. Ждать он умел. Ему никогда не бывало скучно: он всегда думал о Гульнаре.

Прибежала Зинка. Вскоре загремели рыбацкие сапоги, и баркасник позвал Елисея к трапу.

— Будешь мне писать? — взволнованным шепотом спросила Зинка.

— Зачем?

— А так. Страсть люблю письма читать.

— А я ненавижу писать письма.

Леська кивнул ей и взошел на баркас. Выбрали якорь, подняли кливер, и судно стало медленно уходить в туман. А на пристани стояла маленькая фигурка и быстро отъезжала. Гораздо быстрей баркаса. Леська так и не понял, что если не он сам, то колокольный перезвон был первой ее любовью...

В Севастополь пришли благополучно. Баркас тихо проплывал мимо огромного французского крейсера «Жан Барт». Вахтенный напевал какую-то шансонетку. Это удивило Елисея: по-видимому, на боевом корабле не все винты принайтованы намертво.

— Qui est ça? — окликнул их вахтенный.

— Poissoniers,— ответил Леська.

Леська ошибся: надо было сказать pêcheurs,— но ошибка прозвучала гораздо более солидно [1].

— Bon, bon,— отозвался вахтенный и снова запел свою шансонетку с весьма фривольным текстом:

Elle est très ex-tra-va-gante,
Elle est pipi,
elle est caca —
elle est picante...

Леська вступил на берег.

«Ну вот,— подумал он.— Я в Севастополе. Снять номер не смею, пропуска в этот военный город у меня нет. Интересно, как я выйду из положения?»

Он по-детски подумал о чуде, вспомнил о китайце Ван Ли и успокоился. «Человек не пропадает» — это он усвоил крепко.

Леська шел по городу. Каждый поворот, каждое здание

---

[1] Poissoniers — торговцы рыбой, pêcheurs — рыбаки.

напоминало о знаменитой обороне против англо-франко-сардинской коалиции. Каждый камень звучал о геройстве русских моряков. Но вот пришло время — и снова на рейде, как победитель, стоит французский крейсер. Чего стоит кровь предков, о которых кричат все эти памятники, монументы, братские кладбища, названия улиц с наименованием бастионов?

Но все-таки надо было где-нибудь обосноваться: весь день ходить — не выход, да и можно привлечь к себе внимание белогвардейцев: почему такой здоровяк не на фронте?

И вдруг... Нет, он не встретил своего друга, не нашел на земле пропуска или хотя бы денег. Он увидел над узкою дверью какого-то невзрачного двухэтажного домика вывеску: «Адвентисты седьмого дня». Леська вспомнил Устина Яковлевича и постучался.

Открыл ему смахивающий на моржа, тучный, бритоголовый дядя, одетый в белую и длинную, как саван, рубаху.

— Кого надо?

— Здесь живут адвентисты?

— Здесь молельня.

— А вы проповедник?

— Сторож я. А что?

— Адвентист?

— Ну да.

— Я тоже адвентист.

— И что же с этого?

— А то, что мне негде жить и я хочу остановиться у вас.

— У нас не гостиница.

— Ах, вот как адвентист отвечает адвентисту! Хорошее же у вас представление о христианстве!

— Да ведь негде у нас: мы вчетвером в одной комнате.

— Я могу и в молельне.

— Не полагается в молельне: еще клопов разведешь. Да ты сам откуда будешь? Что за человек?

— А вы впустите сперва, а потом и спрашивайте.

Леська отодвинул моржа в сторону и взлетел по лестнице на второй этаж.

— Постой, постой... Ты куда? Как смеешь?

Сторож, отдуваясь и хрипя, подымался за Леськой. Леська вошел в молельню. Это была большая, грубо выбеленная комната с кафедрой и семью рядами скамей.

«Суровый народ адвентисты»,— подумал Леська.

Из двери, ведущей в соседнюю комнату, вышла женщина с двумя детьми.

— Здравствуйте! — сказал Леська.

Женщина не ответила. Детишки в испуге спрятались за ее спиной и выглядывали оттуда со страхом и любопытством. Между тем морж наконец добрался до Леськи. Булькая и переливаясь, как испорченная шарманка, он подошел к Леське и схватил его за грудки.

— Я тебя сейчас со всех ступенек...

— Женщина! — сказал спокойно Леська.— Если этот человек порвет на мне рубаху, он потеряет место. Что это за адвентизм — избивать прихожан?

— Отпусти его, Пшенишный,— сказала женщина.

— Да откуда же я знаю, что он прихожанин? Я его никогда и в глаза не видел.

— А может, он агитатор? — сказал мальчик.

Женщина восхищенно засмеялась.

— Умен, как поп Семен.

— Я из Евпатории. От Устина Яковлевича Комарова.

— Не знаю никакого Яковлевича. Да и почему это я должен верить? Чем докажешь?

— Чем? Ну, спою вам адвентистские песни.

— Пой!

Пшенишный присел на скамью и, подбоченясь, приготовился слушать, точно профессор консерватории.

Леська откашлялся и не своим голосом запел псалом, который слышал от Устина Яковлевича:

Мы все войдем в отцовский дом,
И, может быть, уж вскоре.
Как счастлив тот, кто в дом войдет!
Рассейся, грех и горе!

— Ну, что? Теперь верите? А еще вот эту послушайте:

Осанна божью сыну,
Ибо он так любит нас!
Соблюдайте ж, как святыню,
Свыше данный нам наказ.

— Что вы от нас хотите? — спросила женщина.

— Хотя бы переночевать. Вот тут. На скамейках.

— Но вам тут будет жестко.

— Мне везде жестко.

Эта грустная фраза окончательно покорила женщину.

О. Форш, И. Сельвинский, Г. Петников, К. Паустовский.
Ялта. 1958 г.

Илья Сельвинский среди студентов Литературного института. 1967 г. Переделкино.

— Ну, зачем ты упрямишься, Пшенишный? Пусть человек переночует. Проповедник же, право, ничего худого не скажет.

Потом снова обратилась к Леське:

— У вас что, денег нет на гостиницу?

— В том-то и дело.

— А зачем тогда приехал? — хмуро спросил Пшенишный.— Чего тебе тут нужно, в Севастополе?

— Это вопрос особый. Об этом, если хотите, мы можем с вами поговорить. Только не сейчас: сейчас я должен идти по своим делам, а мешок оставлю здесь. Впрочем, я еще не завтракал. Хотите вместе? Мои консервы — ваш чай.

— А что у тебя там торчит из мешка? Какая бутылка?

— Ах, это? — небрежно сказал Леська.— Это библейская водка.

— Водка?

— Ну да.

— А почему библейская?

— Так называется. Шестьдесят градусов, на зеленом перце.

— Настёнка! — заорал Пшенишный.— Накрывай на стол! Живо! Неужто шестьдесят?

— А мне от нее хотя десять! — попросил мальчик.

— Умен, как поп Семен,— снова засмеялась женщина и ласково потрепала сына за вихор.

Леська очутился за хозяйским самоваром. Он поставил на стол жестяную банку овощных консервов и стеклянную с компотом-ассорти, в котором среди зеленых слив, желтых груш и бледно-розовых яблок аппетитно посвечивали пунцовые вишни.

Двухлетняя Машенька соскользнула с колен матери и, приковыляв к Леське, повелительно пролепетала:

— На уюньки!

— Это значит — «на ручки»,— перевела мать.

Леська взял девочку «на уюньки» и умиленно вдохнул по татарскому обычаю золотце нежных ее волосиков. Но колени у него были жестче материнских. Машенька поерзала и решительно произнесла:

— Неудоба!

Она вернулась к матери:

— На уюньки.

Старшенький, Мишка, парень лет пяти, уже уписывал за обе щеки Леськины баклажаны. Машенька тут же

потянула к себе его тарелку. Мишка заорал петушиным голосом. Произошла небольшая потасовка. Мама отобрала у Мишки тарелку для Машеньки, а ему дала новую порцию. Мишка оказался в барыше, а Машенька, попробовав остроту баклажана, отодвинула тарелку как можно дальше:

— Неудоба!

Ей дали было компота, но она потребовала из него только вишен. Пришлось пойти и на это.

— Чем же вы, хозяин, занимаетесь, кроме того, что сторожите молельню от таких разбойников, как я? Ведь на эти деньги не проживешь.

— А я и не сторож. Это Настёнка — сторож, а я — лодочник.

— Я бы хотел... Не могли бы вы... Я бы, конечно, вам заплатил...

— Ага, ага...

— Не нужен ли кочегар на пароходе, который шел бы в Константинополь?

Хозяин смотрел на Леську расширенными глазами.

— Можно на турецкий транспорт,— быстро говорил Леська.— Но можно и на любой. Кочегары всегда нужны.

— Понятно, понятно...

— Значит, поговорите с кем надо?

— Мишка, спать! — приказал вдруг хозяин сыну.

— А где мои пятнадцать?

— Прошли твои пятнадцать.

— Не прошли, врешь.

— Мать! Уложи его.

— Мама, я люблю тебя, как поп Семен.

— Пойдем, Мишенька.

— Не буду я! Не хочу я!

— Спать!

— Мишенька, ну, миленький, ну, хороший, не упрямься.

— Каждый день одно и то же! — бушевал хозяин.— Спа-ать!

Мишку подхватили мамины руки. Он отчаянно брыкался и орал:

— Я за-анят! Я за-анят!

Вскоре лодочник ушел в порт, а Елисей отправился в библиотеку.

Здесь, в читальном зале, он разложил перед собой альбом с видами Константинополя. При необычайном воображении Леськи ему было нетрудно войти в эти раскра-

шенные фотографии и зажить там своей будничной жизнью.

Вот он идет по знаменитому мосту через пролив Золотой Рог. Перед ним мечеть Айя-София с четырьмя минаретами. Дойдя до нее, он видит новую мечеть на площади султана Ахмета — с шестью минаретами. Оттуда прошел на Университетскую площадь, на которой высится мечеть еще с двумя минаретами. А эти площади, эти мечети, минареты, как воздухом, окружены морем цвета лазури. В Евпатории море гуще, а мечеть Джума-Джами не имеет ни одного минарета. Чего смотрят наши татары?

Но вот и знаменитый отель «Диван», построенный в американском стиле. Леська подходит ближе и уже с бульвара, ведущего к нему, слышит джаз. Леська входит в кафе отеля и идет прямо к оркестру. Подходя к эстраде, он мощно запевает: «Эх, ухнем!» Эту песню по Шаляпину знает весь мир. Не успел он сделать и трех шагов, как джаз уже вторит ему всей своей посудой. Так Леська устроился на работу. Сначала он только поет. Но вскоре выяснилось, что великолепно дует в корнет-а-пистон. В кафе зазвучал Римский-Корсаков, приспособленный к ритму фокстрота.

Но почему думать о будущем обязательно в розовых тонах? Жизнь не так уж податлива. Сначала надо пострадать. Попробуем быть реалистами. Леська поет: «Эй, ухнем!», на него бросается швейцар и коленкой под зад выталкивает певца на улицу.

Ночь. В небе ущербная луна, и город кажется огромной мечетью с настоящим полумесяцем. Что дальше? А дальше Леська вспоминает, что где-то на анатолийском берегу живут потомки некрасовцев, участников бунта казака Булавина против Петра I. Он слышал, что живут они крепко, с турками не смешиваются и сохранили русский язык. Вот бы разыскать их! Раз они обитают на берегу моря, значит, рыбаки. Он вполне может у них батрачить, а там накопит денег и уедет в Италию учиться петь. Человек не пропадает!

Домой Леська вернулся в бодром настроении. Он едва дождался вечера, когда пришел с работы Пшенишный.

— Ну как? Что-нибудь наклевывается?

— Ага. Наклевывается. Водки еще осталось?

— Осталось немного.

— Ну, давай. Выпьем с горя.

— С какого горя? Вы ведь говорите, что наклевывается.

— В том-то и дело,— вздохнул Пшенишный, налил себе из штофа весь остаток и заявил: — Свет — кабак, все люди — гады.

После чего глотнул перцовки до капли и завалился спать.

А через час Леську арестовали.

По дороге в тюрьму Леська перебирал в памяти разговоры с подпольщиками и вспомнил, что он имеет право не разрешать брить голову наголо.

Когда ввели его в кордегардию и началось дело о Бредихине Елисее Александровиче, мещанине г. Евпатория, девятнадцати лет, православном, под судом и следствием не состоявшем, вошел цирюльник. Леська насторожился:

— Как вы думаете меня остричь?

— Как положено.

Цирюльник заткнул ему за шею вафельное полотенце и сразу же отхватил машинкой висок.

— Э, нет! — сказал Леська, отодвигая руку цирюльника.— Стричь под нулевку не дам. Я не каторжанин.

— Ну, ты! Босявила! — зарычал фельдфебель.— Ты тут свои порядки не заводи!

— Во-первых, вы мне не тыкайте! А во-вторых, на каком основании меня арестовали?

— Не ваше дело! Кого надо, того арестовали!

— Я требую немедленного освобождения! Вы не имеете права!

— Господин, не скандальте. Я делаю свое дело, а вы подчиняйтесь. Фотографа ко мне!

Явился фотограф, повесил на стенку какие-то цифры и снял Леську со стороны остриженного виска. Потом, как бы извиняясь, сказал:

— Обычно мы снимаем заключенных анфас и в профиль, но пленки мало, а вас много.

— Где же столько народу помещается в такой маленькой тюрьме?

— А их ежедневно расходуют,— любезно осклабясь, сообщил фотограф.

Леську повели на второй этаж. Лестница до самого потолка была забрана железной сеткой. Дальше пошли по коридору. Коридор напоминал гимназию: по обе стороны — двери, двери, двери, и тоже с окошечками.

— Ваш личный номер будет двести семнадцать.

— А имя можно уже забыть?

— Дело ваше,— смущенно ответил стражник.

Леська удивился мягкости тона. Но это были уже не те часовые, что при царе: большевизм прочно входил в плоть и кровь каждого солдата, будь он даже стражником в тюрьме.

Камера номер девять имела двухпалубные нары. Но люди лежали не только на этих нарах, но и под ними, и на цементном полу впритык. Леська, ступая по ногам, то и дело обдаваемый матюками, искал более или менее интеллигентное лицо.

— Извините! — сказал он, увидев очки и христосистую бородку.

— Пожалуйста,— ответил тот и, пятясь на соседа справа, опростал место для Леськи.

Леська улегся на голый пол и подложил под голову бушлат. «Неудоба»,— подумал он и тут же заснул.

Подъем был ровно в шесть. Арестантов погнали по коридору к ретирадам.

— Имейте в виду, молодой человек,— сказала христосистая бородка.— Имейте в виду, что во второй раз туда же поведут только в десять вечера.

— А когда у вас прогулка?

— Прогулки отменены. В Севастополе тюрьма необычная, здесь ведь долго не сидят: негде! Тут либо расстрел, либо свобода.

Из ретирады узники скопищем кинулись к умывальникам. Нужно было только ополоснуть лицо и руки. За мытье шеи, а также ушей полагалось трое суток карцера.

— Это, однако, только угроза,— улыбаясь, заметил Леськин сосед, ковыряя мокрыми пальцами в обоих ушах.— Карцер сейчас — это одиночка для особо важных преступников. О нем можно только мечтать. Там, по крайней мере, хоть стоять можно.

Потом арестанты вернулись в камеру, куда вскоре внесли банные шайки с борщом. Борщ был сварен из квашеных помидоров.

— Что значит Крым! Благодать! — снова сказал Леськин сосед.— Кто сидел на Севере и ел уху из тухлой трески, для того этот борщ — ресторан «Стрельна» или, на худой конец, «Яр». О, да вы, я вижу, опытный: у вас своя ложка. Кстати, за что вас взяли?

— Еще не знаю,— протянул Леська так по-детски, что все вокруг захохотали: они поняли его слова, да и самую

интонацию, как очень ловкий ход, которого он будет придерживаться на следствии.

— Молодец парень!

Военный следователь, молодой офицер с желчным лицом, увидев человека в бушлате, долго добивался от него признания.

— Ты, мерзавец, задумал бегство в Турцию. Зачем? С какой целью? Турция не Антанта!

— Почему же бегство? Я хотел побывать за границей. Мне это интересно.

— Слушай, ты действительно болван или только прикидываешься?

— Ей-богу, интересно.

— Бабушка у тебя есть?

— Есть. Евдокия Дмитриевна.

— Вот бабушке своей ты это и расскажи. Интересно ему! Тут тебе покажут интересное.

— А что вас беспокоит в том, что я хотел увидеть Турцию?

— Но ведь ты не мог же не знать, сукин ты сын, что, удрав за границу, ты совершил бы этим акт дезертирства. Ты — человек призывного возраста.

— Почему дезертирство? Я гимназист и призыву не подлежу.

— Врешь, что гимназист.

— А вы проэкзаменуйте меня. Хотите, объясню бином Ньютона?

Офицер зорко взглянул на Леську и, вынув из кармана четки черного янтаря, быстро-быстро стал их перебирать.

— Где вы учитесь?

— В Евпатории.

— Хорошо. Проверим. Но почему же вы в самый разгар учения решили э... посетить Турцию?

— Видите ли... Я немного романтик. Всю свою жизнь я прожил в Крыму, как раз против Стамбула, и всегда пытался угадать его за горизонтом. Вам понятно такое чувство?

— Но почему именно сейчас?

— А какое у нас в этом году учение? Власть в городе переходила из рук в руки, и каждый раз гимназия распадалась на составные множители.

Леська держался непринужденно, но говорил с легкой дрожью в голосе, иногда пуская петуха.

— Уведите заключенного! — приказал офицер.— А вы, Бредихин, знайте: мы проверим показания, и если вы солгали... если... только... солгали...

— А вы действительно не солгали? — спросил его в камере Поплавский.

— Таких вопросов не задают! — резко откликнулся чей-то горячий голос.

— Вы правы,— сказал Поплавский и добавил: — Знакомьтесь. Профессор литературы Павел Иванович Новиков.

— Как вы себя держали? — спросил Новиков.

— Противновато,— со вздохом признался Бредихин.

— Робеть ни в коем случае нельзя! — сказал Павел Иванович.— Болтайте, что хотите, но не выказывайте страха. А если вас начнут бить, давайте сдачу. Вас изобьют до полусмерти, но только один раз — во второй вас и пальцем не тронут.

Спустя пять дней Леську снова повели на допрос.

— Все, о чем вы трепались в прошлый раз, оказалось ложью,— отчеканил следователь.

— Я, стало быть, не гимназист?

— Гимназист. Но причина, по которой вы намеревались драпать в Турцию, совсем другая.

— Какая же?

— Это вы мне скажите какая! Идиот!

— Послушайте, вы! Не смейте меня оскорблять! Я не вор и не убийца!

— Оскорблять? Да я еще морду тебе набью, сукин ты сын!

— Не нужно этого делать,— мягко, но внушительно сказал Леська.— Я боксер.

Следователь с легкой тревогой взглянул на Леськины лапы.

— Если понадобится, вас изобьют ребята, рядом с которыми вы пигмей.

— Ну, таких я что-то не видывал. Но если даже найдется, все равно я буду брать прицел только на ваши очень красивые зубы.

— Молчать! — загремел следователь, багровея.— Вот я сейчас сломаю этот стул и закричу, что вы хотели им меня убить. Знаете, что вам за это будет? Расстрел в двадцать четыре часа!

Леська молчал. Он почувствовал, что это не простая угроза. Но понял и то, что бить его не будут.

«Спасибо Новикову!» — подумал он.

— Нам известно все! — немного успокоившись, сказал следователь.— Вы знаете такого человека — Девлета Девлетова?

— Знаю.

— И он вас знает. Больше, чем нужно. Оказывается, вы разбойничали вместе с Петриченко и чудом спаслись, когда каменоломни были взяты нашими войсками.

— Наоборот,— спокойно ответил Леська.— Я был в отряде, который вел осаду каменоломни.

— Кто это может подтвердить?

— Кто? Ну, хотя бы гимназист Павел Антонов и преподаватель Лев Львович Галахов. Что же касается моей репутации, то о ней может дать заключение сам господин Шокарев, владелец этих злополучных каменоломен.

Офицер поспешно вытащил свои черные четки, но тут же вздохнул и сунул их в карман.

— Уведите заключенного. Проверим.

В этот вечер настроение Леськи было почти прекрасным: он знал, что Шокарев не подведет. Лежа на цементном полу в страшной атмосфере, где запах мочи из параши сочетался с эпическим запахом махорочного дыма, он вдруг запел:

За Сибиром сонце всходыть.
Гей, вы, хлопцы, не думáйтэ
Та на мэнэ, Кармелюка,
Всю надию майтэ.
Называють мэнэ вором
Та ще душегубцем,
Я ж ныкого не убываю,
Бо сам душу маю.
Богатого обираю
Та бидному даю,
Та при том же, мабуть, я
Сам греха нэ маю.

Леська пел всей грудью, всей душой. Пел для всех этих несчастных, искалеченных жизнью смертников, среди которых наряду с пламенными революционерами прозябали и грабители, может быть, убийцы, доведенные голодом до страшных преступлений. И он выжег из них слезу! В конце песни они подхватили начало уже вместе с Елисеем:

За Сибиром сонце всходыть.
Гей, вы, хлопцы, не думайтэ
Та на мэнэ, Кармелюка,
Всю надию майтэ.

Часовые заглядывали в «глазок», но петь не мешали. Один, правда, пытался было запретить, но какой-то сильно уголовный дядя свирепо крикнул ему:

— Иди, иди! Из дерьма пирога!

На восемнадцатый день в камеру втолкнули троих босяков.

— В чем обвиняют? — громко спросил Поплавский, который теперь уже получил повышение: его выбрали старостой камеры.

— Да вроде мы пираты,— нехотя ответил старший, уже полуседой мужчина.

— Ого! Корсары! — воскликнул Новиков.— Это очень романтично.

— А что же все-таки случилось?

— Да вот в пяти милях отседа нашли яхту с перевернутым пузом. Погода стоит хорошая, значит, волна не могла ее опрокинуть.

— Послушайте! — сказал Леська, замирая.— А как называется эта яхта?

— Не упомню. Как-то не по-русски.

— «Карамба»?

— Во-во! — подтвердил другой, помоложе.

Леська лежал в совершенном ужасе. Кто же мог быть в яхте? Прежде всего Артур. Это уж обязательно. Может быть, и Юка. Он почти всегда выходил в море с братом. Но в яхте не могло быть меньше трех человек. Кто же третий? Канаки или Шокарев?

Всю ночь Леську душил кошмар. Ему вспомнилась легкая походка Артура, ходившего как бы на цыпочках; Шокарев, с его манерой держать руку на весу; Юка, похожий на широкоплечую девушку...

Когда наутро Леську вызвали к следователю, он уже был так измучен, что ему стала безразличной его собственная судьба.

В кабинете за столом сидела женщина лет тридцати двух с университетским значком. Золото-рыжие волосы, длинные брови с каким-то ищущим выражением, чуть-чуть намечающийся второй подбородок.

— Садитесь, Бредихин.

Но, пожалуй, самым приятным был у нее голос — ясный, чистый, как холодный стеклянный ключ.

Женщина стала разглядывать Леську, и ему показалось, что дружелюбно.

— Я могу поздравить вас, Бредихин: из Евпатории

получен от господина Шокарева прекрасный отзыв о вашем поведении; учитель Галахов прислал список, из которого явствует, что вы фигурировали в осаде каменоломни; а ваш директор и настоятель собора сообщили, что Бредихин Елисей — прекрасный христианин. Итак, ваше алиби установлено, и вы абсолютно свободны.

— Скажите,— спросил Леська безучастно,— это вы ведете дело о яхте «Карамба»?

— Я.

— Как фамилии тех гимназистов, которые затонули?

— Сейчас скажу,— пробормотала женщина, пораженная странным состоянием заключенного.

Она вытащила из кипы какую-то папку.

— Видакас Артур, Видакас Иоганес, Улисс Канаки и Вячеслав Боржо.

Услышав милые, родные имена в устах чужого человека, Леська вдруг разрыдался с чудовищной силой. Он бился головой о стол следователя и кричал так истошно, что в комнату вбежали дежурившие в коридоре стражники. В нем бушевала контузия.

Женщина отослала часовых движением бровей, налила в стакан воды из графина и заставила Леську выпить. При этом она положила теплую ладонь на его затылок. Несмотря на бурное потрясение всего организма, Леська запомнил эту легкую теплоту.

Успокоившись, он поднял на женщину мокрые ресницы.

— Это мои лучшие друзья,— прошептал он и заплакал тихо, как девочка.

— Да... Большое горе — потерять сразу стольких друзей.

22

Каждый день как с бою добыт!

Когда Бредихин очутился на улице и за ним закрылись ворота тюрьмы, он вспомнил, что керенки его остались в кордегардии. Но лучше умереть от голода, чем вернуться в тюрьму и требовать денег.

Жизнь его даже в самом ближайшем будущем была неясной, но Леська испытывал сладостное ощущение. Несмотря на всю грязь, какая царила в тюрьме, ему казалось, будто он вышел на воздух из горячей бани, где его крепко обдавали парным веником. Шел он почему-то походкой

Артура: почти на цыпочках. Рядом с ним и навстречу — нарядная толпа.

Кровли и пищи не было. Но были девятнадцать лет...

У мола стоял итальянский пароход. Грузчики, падев на голову полумешок, отрезанный так, что он превращался в капюшон, выносили из трюма на берег небольшие тюки сахару. Леська пристроился к ним, поднялся по трапу, подставил спину, получил тюк и легко снес его вниз. Тюк весил всего-навсего пуда четыре. Но тут к Елисею подошел человек в солдатской шинели без погон и хлястика.

— Извиняюсь, господин, здесь работает профсоюз грузчиков.

— Ну и что?

— Разве вы не знаете? В Севастополе безработица, поэтому на погрузку допускаются только члены профсоюза, да и то в очередь: кушать каждому нужно.

— А мне не нужно?

Их уже окружили грузчики.

— А вы кто такой будете?

— А вам не все равно? Человек.

— Все мы человеки. А родители у вас есть?

— У меня и деньги есть, но они остались в тюрьме, а я за ними, хоть головой в прорубь, не пойду.

— Понятно...

Никто не спросил, за что Леська сидел. Каждый понимал, что счастливые не сидят.

— Ну что ж, ребята,— сказала шинель.— Надо помочь товарищу. Допустим его на один день?

— Допустим!

— Давай допустим!

— Только ты, парень, возьми вот такой мешок, а то через час от тебя только лохмотья останутся.

Елисей надел капюшон и снова пристроился к очереди. Мешки были нетяжелы, но сахар, мелкий и крепкий, выпирал из тюков, как еж, и страшно царапал плечи.

Поработали до перекура. Грузчики сели в кружок и принялись есть, кто чего захватил из дому. Леська деликатно отошел в сторону и присел у каких-то бочек. Вскоре к нему подошел человек в шинели.

— Товарищ! Пообедайте с нами. Ничего особенного не обещаю, но червячка заморить сможете.

Леська подошел к артели. На газетке лежала Леськина порция: таранька, луковица и кусок серого хлеба.

— С миру по нитке — голому веревка! — пошутил человек в шинели.

Все засмеялись.

Леська смущенно взял луковицу, снова отошел в сторону и тихонько заплакал. Потом, всхлипывая, стал есть. Грузчики помолчали, затем заговорили об итальянском сахаре, какой он, сука, «вредный»: всю спину сжег.

К вечеру Леська получил расчет, попрощался со всеми за руку и пошел. Пройдя десяток шагов, обернулся: грузчики молча глядели ему вслед.

Леська направился на почту и дал Леониду телеграмму: «Хочу вернуться тчк казенный дом разрешает телеграфируй востребования Елисей».

Придя затем на базар, где все уже было закрыто, Леська вошел в харчевню. Есть хотелось зверски: эта таранька только разожгла аппетит. А тут еще работа! Разрезав лист в четыре керенки пополам, он позвал хозяина и показал ему половинки:

— Дайте мне все, что можно съесть на эти деньги.

Хозяин, толстый рябой мужчина, поглядел на него с удивлением:

— Тут не так много.

— Так вот вы и дайте мне что подешевле, но побольше.

— Шашлык не получится,— грустно сказал хозяин.

— Как хотите. Мне бы только чтоб сытно.

— Сытно будет.

Хозяин принес два чурека, блюдце лобио с чесночным соусом и полбутылки пива завода «Енни». Холодная фасоль показалась Леське амброзией. Потом на столе появился глиняный горшок с дымящимся харчо. Это действительно очень сытное блюдо: пшена столько, что ложка стоймя стояла, и довольно много костей с обрывками баранины.

Когда Леська насытился, он взял меню и подсчитал убытки.

— Хозяин, а хозяин!

— Да, дорогой?

— Вам не стыдно обирать голодного человека?

— Зачем обирать? Ты хорошо покушал.

— У нас в Евпатории все татары очень честные люди. А вы, наверное, не из Евпатории?

— Приходи утром завтракать.

— Вот это другой разговор.

Леська улыбнулся ему и вышел.

— Хороший парень,— сказал хозяин жене.— Очень хороший.

Особенно доволен был хозяин тем, что Леська не угадал в нем грузина.

Ночлег Елисей решил устроить под какой-нибудь лодкой. В Евпатории это было бы очень просто. Он пошел на пляж, завернув по дороге на Исторический бульвар. Гуляющие, как всегда, толпились на главной площадке, но в одной из аллей, по которой Леська решил прогуляться перед сном, со всех сторон слышались зазывные возгласы:

— Ваня — любовь! Ваня — любовь!

Леська шарахнулся в сторону и вскоре очутился на пляже. Найдя подходящую лодку, он нырнул под нее, сжался в калачик и начал уже задремывать. Но Севастополь — не Евпатория. Это город военный, насыщенный патрулями. Леська едва успел заснуть, как его осветил фонариком какой-то усач.

— А ну вылазь!

— В чем дело?

— Документы! Из тюрьмы вышел? Евпатория? За что сидел?

— Это вас не касается. Меня освободили, значит, было недоразумение.

— Гм... Понятно... Только спать под лодкой у нас не разрешается.

— А где же я буду спать?

— Можно в участке.

— Ну, нет! — засмеялся Леська, не очень, однако, весело.— Только не это.

Он пошел на Графскую пристань, присел на ступеньках и, прислонившись к стене, засунул руки в рукава. Но другой усач поднял его, просмотрел документы и объяснил, что в Севастополе на улице спать не полагается.

Леська снова побрел в торговую гавань, где, как он знал, стояло большое отхожее место. Вошел в отделение «Для женщин» (там чище), примостился в уголке и быстро заснул.

Глубокой ночью в уборную залетели две фифы. Зрелище спящего Леськи до того напугало одну из них, что она завизжала, точно впервые в жизни увидала одетого мужчину.

— Смотри, Нинця: у нас пьяный!

— Да не пьяный,— сказала другая, чуть постарше.— Бездомный. Пьяный бы разлегся, а этот только прикорнул. Вон под головой пиджак.

— Надо его выгнать. Эй, ты! Пижон!

— Не трогай его. Пусть спит.

Но Леська уже очнулся.

— Извините,— сказал он тихо, надел бушлат и вышел.

Та, которую звали Нинцей, побежала за ним.

— Послушайте! Вам негде ночевать?

— Негде.

— Пойдемте ко мне.

— Денег нет.

— Не нужно денег. Я по человечеству.

Леська покорно пошел за ней.

Нина привела его в какую-то довольно обширную кухню. Угол в ней отделен занавеской. За ней кровать. Ничуть не стесняясь Леськи, женщина стянула через голову платье, потом сбросила комбинашку, расстегнула резинки, сняла чулки, лифчик и, голая, юркнула под одеяло.

Леська никогда не видел раздевающейся женщины. Его начала бить дрожь.

— Ну? Что же ты? Маленький? Ныряй сюда.

Леська задул свечку, разделся и лег рядом.

Женщина повернулась к нему спиной. Для начала Леська тихонько погладил острое, как у девочки, плечико.

Она отвела его руку:

— Э, нет! Это нет! Это — мое ремесло.

— А если бы деньги?

— Это мое ремесло. Ты-то чем занимаешься?

— Я студент,— соврал Леська.

— Можешь ты сейчас зубрить арифметику или там географию? Вот и я так же.

Леська затих.

Еще затемно он встал и выскользнул на улицу, чтобы не встречаться с Ниной.

«Какой чудесный народ люди! — думал он.— Почему сжалилась надо мной эта женщина? Почему пожалели грузчики? Ведь они сами нищие, а нищета, говорят, ожесточает».

Так он пришел на базар, где у харчевни уже толпился народ. Когда хозяин открыл дверь, Леська хлынул вместе со всеми.

— Узнаете меня? — спросил он хозяина.

— А как же? Сейчас, сейчас.

За Леськиным столиком сидели три каких-то торговца. Один, веселый и пышный, сказал Леське, подмигнув:

— Спросите хозяина, какой он национальности.

— Татарин, конечно. Чего спрашивать?

— Нет, вы все-таки спросите.

Минут через десять хозяин принес на подносе четыре чурека и четыре тарелки хаши — супа с требухой.

— Все! — сказал он Леське.— Больше сдачи не будет.

— Ну, что ж. Спасибо и на этом. Между прочим, какой вы национальности?

Рябой хозяин покосился на веселого торговца и, запинаясь, сказал:

— Я... армянин...

— Э, кацо! Зачем неправду говоришь? Ты ведь грузин.

— Ну и что? Я вижу, господин не разбирается в кавказских народах, а я такой некрасивый! Пусть думает, что я армянин.

В гавань Леська уже, конечно, не пошел: нельзя же быть свиптусом. Но деньги все-таки заработать нужно? Леська направился в пролетарскую часть города. Мужчины сейчас на войне, рабочие руки могут пригодиться, а он готов работать за похлебку: дров наколоть, погрузить что-нибудь,— мало ли что. Но полдня хождения ничего не дали: все дрова наколоты и все тяжести перенесены. Усталый, измученный, Леська заглянул наконец в большой двор, застроенный в старинной итальянской манере: двухъярусные строения с длинным общим балконом вместо коридора спускали со второго этажа длинные двухпалубные лестницы, на которых, как правило, сидели кошки и старухи.

Леська набрался духу и вошел. Подойдя к старухе с седой бородкой, он спросил:

— У вас есть кто-нибудь на войне?

— А тебе что?

— Я могу нагадать вам так, что вы увидите его сегодня во сне.

— Иди, иди. Я каждый день вижу его во сне!

— Жаль. Я бы взял недорого: одну керенку.

— Ищи, ищи дураков. Ступай. Керенка — это двадцать рублей. Бутылка молока.

— В чем дело? — спросила другая старуха, в отличие от первой усатая.

— Да вот гадальщика черт принес. Шляются тут всякие.

— А про что он гадает?

— Про что? За одну керенку выдаст тебя замуж за генерал-губернатора.

— А ну, а ну, мальчик, поди-ка сюда. Ты и вправду гадаешь?

— Гадаю.

— А как? По картам?

— Нет, по руке.

— Ну-ка, погадай.

Бедняки крепко держат копейку. Не всегда потратят ее даже на необходимое. Но гаданье?.. Кто не надеется на лучшее? Кто не живет мечтами?

Леська раскрыл старушечью ладонь, коричневую и сухую, как осенний лист. Он стал вспоминать все, чему его учила цыганка Настя.

— Жить будете долго. Денег у родителей не было, у вас чуть-чуть побольше, но тоже не густо.

— Верно,— сказала старушка.— Догадаться нетрудно.

— Человек вы хороший, добрый, муж с вами ругался, но, в общем, любил вас. Да вас и нельзя не любить. А сами вы сначала любили совсем другого человека.

— Правильно! Скажи на милость!

— Есть у вас и талантец. Небольшой, но есть. Только вы его не развили. Вы что, поете?

— Нет. Белошвейка я. И хорошая. Второй такой во всем городе нет. Про талант это ты правду сказал, а насчет того, что не развила,— неправду. Ну, еще что скажешь?

— А что старухе много рассказывать? — ворчливо отозвалась бородатая.— Какое у тебя будущее? Крест да ограда. Это и я угадать могу.

— Я могу так загадать,— сказал Леська,— что вы увидите во сне любимого человека.

— Что ж. Это хорошо.

Леська взял в обе ладони бабусину руку.

— Скажите мне на ухо, как его имя?

— А зачем шепотом? — отозвалась бородатая.— Все знают: Валька ее зовут. Внучка ее.

— Беленькая? Черненькая?

— Рыжая! — снова объявила бородачка.

— Сколько лет? — шепотом спросил Леська.

Бородатая не расслышала.

— Четырнадцать,— тихонько сказала усатенькая.
— Веснушки есть?
— Есть.
— Много?
— Хватит на всех! — засмеялась бабушка.
Леська отпустил ее руку.
— Сегодня же ночью Валюша вам приснится.
— Валюша?
— Да, да.
— Как это он хорошо сказал: «Валюша». А мы все «Валька» да «Валька».

Бабуся задрала верхнюю юбку, из кармана нижней вынула керенку и подала ее Леське. Так. Бутылка молока в кармане. Живем!

— А теперь мне погадай,— не глядя, прокаркала старуха-бородач.
— Ага! Разобрало! — захихикала усатенькая.
— Не твое дело, старая!

Через пять минут у Леськи уже была обширная клиентура. Несчастный парень потел, стараясь говорить разное, но как-то так получалось, что все бабушки выходили замуж не за тех, кого любили. Это поражало всех.

— Марфа! — закричала одна из старух молодой женщине, которая вышла на балкон узнать, по которому делу шум.— Марфа! Давай сюды! Тут парень ворожит. Ух, как верно!

Пока Леська расправлялся со старухами и богател на глазах, женщина спустилась со второго этажа. За ней ковыляла девочка лет четырех. Женщина постояла, послушала, потом сказала:

— Не верю я во все это, но все-таки — чем черт не шутит?

Леська взял ее большую руку в свои и с холодком под грудью почувствовал, какая она живая, женская рука.

— На кого гадаете?

Женщина поднесла губы к его уху и шепнула:

— Андерс!

При этом она нечаянно коснулась кончиком носа его уха.

— Муж? — вздрогнув, спросил Леська.
— Да,— шепнула она.
— Брюнет? Блондин? — продолжал спрашивать Леська, обмирая от ее шепота.
— Блондин.

— Сколько ему лет?

— Тридцать два.

Он не поднял глаз на эту женщину, хотя она и подала ему две керенки. Нет, грузчики и за неделю столько не зарабатывали. Есть же на свете удачные профессии! Хоть стыдненько, да сытненько.

Поужинал Леська роскошно: заказал шашлык с почкой и стакан молодого вина. Потом сбегал на почту.

— Телеграмма Бредихину есть?

— Есть.

Слава богу. Денег на проезд хватит — дело в шляпе.

Леська вскрыл депешу и прочитал:

«ни коем случае не приезжай галахов спохватился деньги перевожу леонид».

Что ж теперь делать? Как жить? Крым невелик — из-под земли достанут. Опять приходится думать о Турции...

И вдруг его мощно потянуло к тем бабушкам, которым он вчера нагадал сны. Получилось ли что-нибудь из этого гаданья? Сегодня как раз воскресенье: все дома. Сидят, наверное, опять на своих лестницах вперемежку с котами.

Ноги сами принесли Леську к заветному двору. Он приоткрыл калитку: старухи и кошки на местах.

— А! — закричала одна старуха, больше других похожая на бабу-ягу.— Вот он, голубчик! Вот он, сукин кот! А ну-ка, верни обратно керенку, а то я тебя кочергой, жулик ты этакий.

— А что, собственно, случилось?

— Он еще спрашивает! Я за что заплатила тебе керенку? За то, чтобы увидеть во сне Лешку. А кого увидела? Тебя, дурака. Ну-ужен ты мне?

— Верно! И я видела. Отдавай обратно керенку.

Леська полез в карман и стал возвращать керенки.

— А вы? — спросил он бабушку, которая должна была увидеть Валюшу.— Тоже ко мне в претензии?

— Да что я? — засмеялась бабушка.— Я и вовсе глаз не сомкнула: у меня бессонница.

— А я видела своего Николку,— удовлетворенно сказала старуха с бородой.— Спасибо, мальчик. Уж так утешил!

На балконе второго этажа стояла Марфа с девочкой и молча глядела на него сверху.

— А вы тоже видели вместо мужа меня?

— Да.
— Значит, и вам нужно вернуть деньги?
— Зачем? Вам они нужнее.
— Нет, нет. Возьмите! Завтра я получу от брата.

Он взбежал на балкон и протянул ей две керенки.

— Я действительно во сне видела вас, но это было не так уж неприятно,— сказала она, смеясь, и отвела Леськину руку.

Тут Леська впервые взглянул на нее в упор: ему показалось, что где-то он ее видел.

— Мы с вами нигде не встречались? — спросил он.
— Нет, откуда же?
— Но мне почему-то ваше лицо очень знакомо.

Она засмеялась. Женщины всегда смеются, когда не знают, что ответить.

— Вы знаете,— сказал вдруг Леська.— Мне негде ночевать. Если бы вы позволили... Мне никакой постели не нужно! В тюрьме я спал на полу. А этот бушлат под голову... Ну, хоть на один-два дня, пока деньги придут.

Женщина поглядела на него внимательно и чуть-чуть принахмурилась.

— А кто вы такой?
— Я гимназист восьмого класса евпаторийской гимназии. Был арестован по недоразумению, теперь освобожден. Вот мой документ.

Леська дрожащими пальцами вытащил из портмоне бумажку военно-следственной комиссии.

— Я должна посоветоваться с мамой.

Леська остался на балконе с девочкой.

— Как тебя зовут? — спросила она.
— Леся. А тебя?
— Лидль.
— Лидия?
— Нет. Лидль, Лидль, Лидль! — завела она, точно звенела колокольчиком.— А ты кто такой? Капитан?
— Нет.
— А будешь капитаном?
— Не уверен. А ты кем будешь, когда вырастешь?
— Если я вырасту девочкой, то буду докторшей, а если мальчиком, то обязательно капитаном.

Вышла мать, за ней старуха, лицо которой было таким же белым, как и волосы. Она зорко оглядела Елисея и, ничего не сказав, вернулась в комнату. Марфа пошла за ней. Потом возвратилась.

— А приставать ко мне не будете?

— Что вы, что вы! Как вы можете так думать?

— Кто вас знает? Мужчина!

Леську пригласили в комнату. Один угол занимала в ней плита, за плитой стояла кровать, судя по обилию подушек, очевидно, старушкина. В глубине — другая кровать, и против нее — кушетка.

Леська снял бушлат и хотел повесить его на гвоздик.

— Нет, нет! — улыбаясь, сказала Марфа.— Вот вам палка — выбейте его хорошенько на балконе.

Леська послушно вышел на балкон и стал работать палкой. Пыль от бушлата поднялась необычайная.

— Лидль! — раздался голос матери.— Поди сюда.

После работы над бушлатом Леську заставили мыться. Старуха поставила на табуретку таз и налила в него теплой воды. Когда Леська стал разоблачаться, Марфа, взяв Лидль за ручку, вышла с ней на балкон.

Помыв голову, Леська подошел к зеркалу, чтобы причесаться, и вдруг увидел на тумбочке точно такую же шкатулку с сиреной, что у его бабушки. Он приоткрыл ее: в ней лежали какие-то квитанции.

— Откуда у вас эта шкатулка?

— Что? — спросила старуха, приложив к уху ладонь.

— Я говорю: шкатулка эта откуда?

— Не помню,— сухо ответила старуха.

Когда Марфа вернулась, Леська взглянул на нее пронзительно и увидел вздернутые у висков веки, вздернутый рот, подбородок с ямкой.

— Вас зовут... Ундина? — спросил он по-детски.

— Нет, Марта. Марта Спарре.

— Но ведь это вы на картинке? Я вас видел в Евпатории. Десять лет назад. Там представлял вас публике один дядька с деревянной ногой.

— Это был мой отчим.

Обедали молча. Леська не спускал глаз с Ундины, она же перестала улыбаться и старалась не глядеть на Леську.

Какие удивительные встречи бывают в жизни! И вообще — какая удивительная вещь сама жизнь! Вот он столкнулся с настоящей русалкой и живет у нее в комнате. Он видел ее когда-то полуобнаженной, с чудесным рыбьим хвостом. Такой ее не видел, наверное, даже собственный муж. Какое же счастье выпало сегодня Леське! Слезы подступили ему под самое горло, но он выругал

себя мысленно и сдержался. «Проклятая контузия! Как будто ничего особенного, но нервы ни к черту!»

Вечером, хотя Леська и протестовал, ему постелили на кушетке. Бабушка улеглась у печки, Лидль спала на кровати против Леськи.

— Отвернитесь.

Леська отвернулся, но по стуку туфель, по шуршанию платья пытался догадаться, что Марта делает. Наконец кровать заскрипела, Марта глубоко вздохнула и затихла.

— Можно повернуться?

— Зачем?

— Я не привык спать на правом борту.

— На борту...— засмеялась Марта.

Она лежала в ночной сорочке, прикрывшись одеялом до пояса и положив голову на сложенные руки. Руки до плеч обнажены. Волосы распущены. При жалком свете розового ночника она снова казалась русалкой. А может быть, Марта распустила волосы нарочно, чтобы возвратить себе облик русалки? Леська взбудоражил в ней давно заглохшие воспоминания...

— Ундина...— сказал Елисей хриплым шепотом, не думая о том, что говорит.— Я хочу вам открыться... Когда я увидел вас в этом балагане, я запомнил вас на долгие годы, может быть на всю жизнь. Вы моя первая любовь. Пусть детская,— от этого она только сильней. Вы понимаете, что значит для меня наша сегодняшняя встреча? У нас дома тоже есть такая шкатулка. Бабушка держит в ней иголки и нитки. Как ни странно, она уцелела от пожара.

— Не нужно...— лениво сказала Марта.— Я холодная латышка, и всем этим меня не пронять.

— Ну зачем вы так? Я, конечно, не ребенок, я уже много видел, многое испытал, но все же я гимназист. А вы разговариваете со мной, как с бывалым мужчиной. Честное слово, я не такой.

Марта молчала.

— Ундина... У меня никогда не было игрушек. Это развило во мне страшную фантазию. Я играл в те предметы, которые видел на вывесках: золотой крендель над кондитерской, омар во фраке, нарисованный на стекле рыбной лавки, медная труба музыкального магазина. И вдруг — сирена. Это была уже не игрушка, но из того же мира. Это живое, загадочное, небывалое я пронес как

великое богатство в моей убогой жизни. Иногда я писал вам письма: напишу, сверну в трубочку, засуну в бутылку, закупорю — и брошу в волны. Однажды мы с дедом поймали ночью в море что-то большое, сильное, похожее силуэтом на женщину. Мне хотелось верить, что это вы. Черноморская сирена! Вам не смешно?

— Нет. Что же это было?

— Белуга, конечно,— тихо засмеялся Леська.

Но Марта не смеялась. Марта слушала этого странного юношу с необычным волнением. Он ничего от нее не хотел. Он только раскрывал свою душу пламенным признанием, таким пронзительным, как вопль.

Марта знала, что она хороша. У нее нет отбою от поклонников. Все это солидные люди, некоторые из них хотят даже на ней жениться. Но только сейчас, в жарком бреду мальчика, она впервые прикоснулась к поэзии любви. Именно прикоснулась. Это ощущалось как удар электрического тока.

— Ундина...— бормотал Леська, чтобы убедиться, что это она.— Ундина...

— Поди ко мне,— взволнованно сказала Марта.

Леська кинулся перед ней на колени. Марта взяла его голову в руки и нежно поцеловала в глаза.

— А теперь уходи. Слышишь? Завтра ты уйдешь и никогда больше к нам не вернешься. Я хочу вспоминать тебя таким, какой ты сейчас.

23

В конце концов Леське удалось снять угол в квартире супругов Лагутиных. Глава семьи, Андрей, молодой человек лет тридцати, был высоким интеллигентом: он служил кассиром на железной дороге. Жена его, Степанида,— пролетарий: работала в доке на ковочной машине. Когда они ссорились,— а ссорились они постоянно,— Лагутин презрительно кричал ей:

— Кузнечиха!

И она плакала.

Андрей считал, что у Стеши много недостатков. Например, он в своей холостяцкой жизни привык, приходя с должности, как есть, в одежде, валиться на постель. Родители Андрея не видели в этом ничего плохого. Но молодая жена недовольным тоном замечала ему, что это

нехорошо: кровать чистая, а он... Хоть бы пиджак снял. Андрей с досады вставал, садился за стол, нервно закуривал и бросал спичку на пол. Стеша говорила, что не может подбирать за ним каждую спичку. Андрей говорил, что не его вина, если в доме нет пепельницы. Стеша говорила, что пепельница вон она — на подоконнике. Слово за слово — Андрей нахлобучивал шляпу и бежал на улицу, где его понимают. Стеша накидывала на плечи платок и сбега́ла к подружке. Часа через два возвращалась, а супруг уже готов: свинья свиньей.

Вскоре она приучила мужа к опрятности, но выглядело это очень своеобразно.

— И что это у тебя всюду окурки валяются? — спрашивает Андрей.

— Да ведь не мои же окурки — твои.

— Все равно — пол должен быть чистым.

— Ну и подметай его.

— Еще что? Это бабье дело.

— Бабье? А быть штамповщицей на ковочной машине тоже бабье дело?

Слово за слово. Утром ушли на работу не прощаясь. Днем встретились — не поздоровались. Так проходит дня три-четыре. Но вдруг муж вспоминает, что в конце концов жена — тоже женщина. Он просит прощения. Они целуются. Иногда — и без всякого прощения. А через день-другой что-нибудь опять. Стеша купила себе туфли, а Андрей как раз собирался на эти деньги послать в деревню валенки про запас.

Был такой случай. Андрей пришел со службы раньше Степаниды. Он метался по комнате, по кухне, стучал по плите сковородками, но ничего не предпринимал. Стеша явилась поздно — черная, обессиленная. Поздоровавшись, она направилась к рукомойнику.

— Вот видите, Леся? Я пришел, умирая с голоду, а эта женщина, вместо того чтобы меня накормить, думает только о том, чтобы выглядеть покрасивше.

Стеша уставилась на него, не находя слов. Но вместо нее заговорил Елисей:

— А вы что? Птенчик, которого надо кормить из клювика? Она работает так же, как и вы. Даже тяжелей. Она кузнец! Женщина-кузнец! Это ценить надо. Но допустим, что вы на равных правах. Так почему же она должна согревать для вас обед, а не вы для нее? Вы ведь пришли раньше!

Стеша, не ожидавшая заступничества, заплакала слабыми слезами до предела уставшего человека.

— Ах, так? Вы за нее держите? По-ни-маю. Значит, это она ради вас кидается к рукомойнику? Так-так... заметим...

— Не говорите глупостей!

— Но-но! Только без хамежа! А то я тебя вышвырну отсюда за шиворот.

Леська «шиворота» не испугался, но очень боялся быть вышвырнутым. Он спрятал самолюбие в карман, сел у окна и принялся читать газету.

Супруги обедали молча.

Вдруг Андрей сказал:

— Сегодня из Симферополя в специальном поезде прибыло все крымское правительство во главе с Соломоном Крымом.

Ему никто не ответил.

— Это значит,— добавил Андрей,— что к Симферополю подходят красные войска.

— Так вы из-за этого нервничаете?

— А вы как думаете? Они всю жизнь перевернут кверху дном.

— А вам чего бояться? Вы кто? Буржуи?

— При чем тут буржуи? Порядка не будет.

— А сейчас есть порядок?

— Как видите. По крайней мере, никаких таких художеств.

— По-вашему, это порядок. А вот на Крым идут семьдесят губерний. Значит, они не согласны с таким порядком?

Андрей робко взглянул на Леську и промолчал. Молчала и Стеша, обиженная на супруга так, что ей было не до политики.

— В кино пойдешь? — сухо спросил Андрей через некоторое время.

— Нет,— отрезала Стеша.

— Ради бога, Стеша! — сказал Леська.— Ради бога, пойдите с ним в кино! Я прошу вас.

— Зачем?

— Вы так часто ссоритесь друг с другом... Мне грустно это видеть.

Стеша взглянула на него благодарными глазами, а Андрей мрачно опустил веки. В кино они все же пошли. Когда вернулись, нашли на столе прекрасный ужин: банка фаршированного перца, яичница с колбасой, три бутылки

пива и коробочка шоколадных конфет. Супруги пришли в необычайный восторг.

— После кино всегда ужасно хочется есть,— сказала Стеша.

— А мне пить! — сказал Андрей.

Елисей разлил пиво по стаканам и поднял свой.

— Вино пьют за людей, а пиво за лошадей. Я пью свой стакан за то, чтобы у всех у нас было лошадиное здоровье!

Андрей посыпал солью свое пиво и отхлебнул сразу половину стакана.

— Леся, а где же ваши вещи? — спросила вдруг Стеша.— Ведь не может же быть, чтобы один бушлат.

Леська рассказал им всю историю с Пшенишным.

— Так вы пойдите и потребуйте вещи обратно,— раздраженно заявил Андрей.— Он не имеет права.

— Не могу. Так же как вернуться в тюрьму за деньгами не могу.

На следующий день, когда Андрей пришел с работы, Леська уже подогрел для него обед и на свои деньги купил водки. Андрей кинулся его обнимать.

— Вот на ком должен был бы я жениться!

Вечером пришла Стеша. Увидев накрытый стол и подогретый обед, она удивилась. Но еще больше поразило ее то, что, по словам Елисея, это сделал... муж.

— Где ты была так долго? — спросил Андрей.

— Отобрала у Пшенишного Лесины вещи,— сказала она.— Костюм ваш в целости, только надо его разгладить: он страшно измят.

Леська был тронут до слез.

— Только, пожалуйста, не вздумайте гладить. Я это сделаю сам. Вы покажите, где у вас утюг.

— Хорошо,— сказала Стеша и села за стол. Андрей прислуживал ей, точно официант.

Ночью Стеша разгладила Леськин пиджак, брюки и рубашку «апаш». Теперь Елисей шел по улице аккуратный, чистенький, элегантный.

— ...Елисей! Ты?

— Боже мой! Володя?!

— Как видишь.

— Что ты делаешь в Севастополе?

— Что все, то и я. Здесь теперь много наших. Бегут в Турцию.

— И ты?

— Нет, подымай выше: я в Италию. Папа уже в Генуе, а я сопровождаю пшеницу вон на том транспорте.

Леська увидел на рейде пароход «Синеус». О Леське Володя не спрашивал: очевидно, все знал.

— Какое счастье, что ты не был на «Карамбе»! — сказал Леська.

— Да. Сам не знаю, почему они меня не пригласили.

— Долго жить будешь.

— Хочешь, Леся, поедем со мной в Геную! Папа тебя любит и будет тебе рад. А когда большевиков отгонят, мы снова вернемся в Евпаторию.

— А если не отгонят?

— Отгонят! Ну что ты! Вся Европа против них. Вон и дредноут «Франс» вошел в Севастопольскую бухту. А не отгонят — ты все равно сможешь вернуться, большевики тебя примут: как же — рыбак. А зато побываешь за границей. Когда еще тебе посчастливится ее увидеть?

Леська заколебался. Италия...

— Вон наша лодка стоит,— продолжал Шокарев.— Давай поедем на пароход. Надо же познакомить тебя с капитаном.

— А как же заграничный паспорт?

— Чудак ты! Твой паспорт нужно предъявить мне, как владельцу фрахта, а я у тебя документа не спрашиваю.

Леська сел в лодку и вдел весла в уключины. Володя отвязал капат. Леська тихо и задумчиво греб к «Синеусу». Володя не мешал его раздумью.

В кают-компании, угощая мальчиков обедом, капитан сказал:

— Вон видите на рейде турецкое судно «Трапезунд»?

— Видим.

— На нем живет крымское правительство.

— Драпают?

— Ага. Но дело не в этом. Правительство присвоило себе весь золотой запас крымских банков, а полковник Труссон отобрал этот запас в свою пользу. Все хотят нажиться па революции.

— А большевики отберут золото у Труссона,— сказал Леська.

— Не успеют.

— Значит, бедняга Соломон Самуилович окончательно обеднел?

— Ну, о нем не беспокойтесь. Старик давно предвидел, что ему царствовать недолго, и потихоньку отправлял в Париж па свое имя целые коллекции старинных вин из Массандры. Вы понимаете, какой у него там капитал?

— Вот мерзавец! — воскликнул Леська.

— А по-моему, молодец! — захохотал капитан.

— Неужели вы могли бы это сделать? — удивился Леська.

— Нет, конечно,— сказал капитан и сделал серьезное лицо.

Вечером, снова пригласив юношей в кают-компанию, капитан сказал печальным тоном:

— Вот и Евпатория сдалась.

— Когда?

— Вчера. Двенадцатого апреля.

— Значит, падо как можно скорее сняться с якоря,— сказал Володя.— Мой товарищ тоже с нами поедет.

— Пожалуйста. Но сняться в ближайшее время не удастся.

— Почему?

— Грузчики забастовали.

— Как забастовали? Но ведь в Севастополе безработица.

— Тем не менее.

— Не понимаю. Тогда заплатите им вдвое, втрое!

— Не поможет. Тут забастовка политическая: они против того, чтобы из Крыма вывозили хлеб за границу. Это, конечно, красные мутят.

— Какой же выход?

— Выход найдем. Дадим взятку начальнику гарнизона, и он вышлет на погрузку целый батальон солдат. Но такие дела в два счета не делаются. Нужно время.

Через четыре дня «Синеус» пришвартовался к молу, и солдаты начали погрузку.

Леська сбегал к Лагутиным за вещами. Когда он вошел, супруги сидели на стульях друг против друга и препирались:

— А ты чего?

— А ты чего?

— А ты чего?

Они исчерпали весь свой словарь и бранились, умирая от усталости. Леська забрал чемодан и бушлат.

— До свиданья, дорогие! Уезжаю черт знает куда! Вспоминайте обо мне, а я-то вас никогда не забуду.

Леська расцеловал Стешу и крепко поцеловал Андрея. После его ухода супруги сидели чуть-чуть растерянные.

— Какой симпатичный парень, правда, Андрюша?

— Правда, Стеша.

— Чай будем пить?

— Будем.

— А может быть, хочешь какао?

— А откуда у нас какао?

— От Елисея остались шоколадные конфеты. Я их настругаю, вот и какао.

Леська вернулся на корабль. Старший помощник уступил юношам свою каюту, и они уже не сходили на берег. О «Карамбе» больше не было речи: евпаторийцы не признавали сантиментов. Но по тому, с какой нежностью Володя относился к Леське, было ясно, кого он потерял в Артуре, Юке и Ульке.

С утра у лебедки стоял Елисей и записывал мешки, потом его сменял Володя, который не умел вставать рано, потом опять приходил Елисей,— так каждые два часа. 20 апреля, когда пришел на смену Володя, Леська сказал:

— Сбегаю на Приморский бульвар и обратно. Ничего?

— Сбегай. Пожалуйста.

Леська сбегал. По дороге он предался приятным мечтам: вот он приезжает в Геную, поступает на работу к Шокареву, изучает итальянский язык, потом приезжает в Милан и записывается хористом в театр «La Scala». Примут же его в хористы с таким голосом! А когда станет знаменитым, вернется в Россию. Где он будет петь на родине? В санкт-петербургском или московском театре, но уж обязательно приедет на гастроли в Евпаторию. То-то будет сенсация!

На бульваре у моря сидела девушка в белом. Она сидела так же неподвижно, как когда-то у ручья в саду Умер-бея.

— Гульнара!

— Леся?

— И ты в Турцию?

— Да. А ты тоже туда?

— Нет. Я в Италию.

— А я в Турцию.

— Замуж выходить? За принца?

— Неизвестно.

Где-то близко за горизонтом раздалось басовое ворчание грома.

— Гульнара! Сейчас совершается огромный шаг в нашей жизни, понимаешь? Может быть, мы с тобой никогда больше не увидимся. Так вот я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя! Больше всех на свете. Ты самый дорогой для меня человек в мире! Я хочу, чтобы ты это помнила!

— Хорошо,— сказала Гульнара.

Ворчание за горизонтом длилось слишком долго, чтобы казаться громом. Это была артиллерия.

Леська тихонько взял Гульнарины руки в свои и поцеловал сначала одну, потом другую.

— Спасибо,— сказала Гульнара.

Леська пошел в город, умирая от горя. Еще одна беда свалилась на его голову. Была мечта всей жизни, пусть несбыточная, но все же. Больше ее не будет. Нельзя же мечтать о мертвых или о вышедших замуж за турецких принцев...

До Леськи донеслись какие-то возбужденные крики, возгласы, обрывки песен. Он побежал к ним. По главной улице военным строем шли французские матросы с кораблей «Жан Барт» и «Франс». Они пели «Интернационал». Встречные белогвардейцы, не понимая, что происходит, ныряли в подворотни и срывали с себя погоны.

Впереди демонстрации в берете с помпоном шел матрос, которого все называли Жорж. Время от времени он поднимал руку и кричал: «Vive la revolution!»

И моряки кричали вслед за ним:

— A bas Clemanceau!

Навстречу французским матросам вышла делегация профсоюза металлистов с красным знаменем. Жорж принял древко из рук русского рабочего и понес вперед, размахивая им, как факелом.

Леська примкнул к демонстрации и тоже кричал лозунги на русском и французском. Он шел, точно плыл в теплом течении. Он чувствовал революцию своей родной стихией и забыл про все свои беды. Только бы это могучее единство! Эта чудесная дружба народов всех стран!

На Большой Морской с балкона какого-то дома демонстрацию приветствовал на французском языке кто-то из подпольщиков. Значит, большевики сочли возможным выступить! Но на углу Хрулевского спуска морякам и рабочим преградили путь отряд сенегальцев и полурота греков.

Негры стояли, блистая лакированной чернотой лиц и белизной своих огромных белков. Странно было видеть

эту экзотику одетой в зеленоватое сукно и застегнутой на все пуговицы французской пехоты вместо бурнусов, которые представлял себе Леська.

Полковник Труссон выехал вперед на броневике и обратился к повстанцам с речью. Как и все парижане, он обладал большим ораторским даром. Словно читая стихи, полковник то подымал свои фразы до патетики, то снижал их до шепота. Насколько Леська мог понять, полковник говорил о культуре Европы, которую хотят растоптать русские дикари. Говорил он горячо, даже пламенно. Но под конец очень спокойно потребовал, чтобы французы вернулись на свои суда. От его спокойствия повеяло железом. И это было сильнее всей речи.

Но тут на броневик взобрался матрос Жорж. Низенький, но необычайно широкоплечий, он обаянием всего своего народного облика сразу же затмил фигуру Труссона, хотя достигал полковнику всего лишь до плеча.

— Мы, французские граждане,— закричал он,— присланы сюда разгромить революцию. Но мы внуки парижских коммунаров и не позволим душить коммуну в России! То, что не удалось нашим дедам, может удаться сегодня русским товарищам.

— Сенегальцы, огонь! — хладнокровно скомандовал Труссон.

Произошло чудо: сенегальцы безмолвствовали. Черные утверждали свою дружбу с красными.

Демонстрация разразилась аплодисментами:

— Vive les peuples noirs!

Но теперь выступили греки. Маленький офицерик выбежал перед своей полуротой, что-то чирикнул — и по народу ударили пули. Демонстрация вздрогнула, сначала пыталась что-то объяснить криком, но греки стреляли — и люди бросились в переулки. Леська подхватил какого-то раненого рабочего и пронес его на спине с полквартала, но по дороге почувствовал, что бедняга стал необычайно тяжел. Елисей опустил труп на землю. При этом из кармана мертвеца выпал браунинг. Схватив оружие, Леська бросился в порт на «Синеус». Тот уже снова стоял на рейде, но юнга ждал Бредихина в ялике у самого берега и отвез его на пароход.

— Где ты пропадал? — накинулся на Леську Шокарев.— Красные захватили Малахов курган. Мы сейчас же снимемся.

— Извини, Володя, но я с тобой не поеду.

— Почему?
— Не могу бросить революцию.
— А кому ты там нужен?
— Не знаю... Не в этом дело... Ты не поймешь.
И вдруг его осенила идея:
— Вот что: я запрещаю тебе увозить пшеницу в Геную!
— Ты с ума сошел?
— Это теперь народное достояние. И ты не смеешь.
— Сумасшедший! Да я тебя сейчас же арестую!
— Ты этого не сделаешь, Володя. Если ты человек, если только ты действительно человек, а не сын миллионера, отдай добровольно революции эту твою пшеницу.
— Ты понимаешь, чего ты требуешь? С чем же я приеду к отцу?
— Ты к нему не приедешь. Мы вернемся в Евпаторию и приведем туда этот транспорт с хлебом. Представляешь, как народ будет благодарен тебе за этот подарок? Володя! Я всегда тебя уважал. Я понимаю, что требую от тебя героического поступка. Но я знаю, от кого я это требую!
— Но ведь капитан не согласится.
— Капитан? А это мы сейчас выясним.
— И не подумаю идти в Евпаторию,— заявил капитан.— Там большевики. Они тут же реквизируют это судно.
— Но ведь это судно не ваше. А вы хотите, воспользовавшись революцией, присвоить его себе? Уйти куда-нибудь в Австралию, на край света, и жить себе там припеваючи?
Леська выбежал на палубу и дал в воздух три выстрела.
— В чем дело? — крикнул боцман.
— Свистать всех наверх!
— Это может приказать мне только капитан.
Но на выстрелы уже сбежались матросы, кочегары, кок и юнга.
— Товарищи! Мой друг Владимир Шокарев, владелец этой пшеницы, принял решение: не увозить ее иностранцам, а подарить евпаторийскому пролетариату. Правильное ли это решение?
— Правильно! — загремели моряки и замахали поднятыми руками.
— Молодец, Володя!
— Ура!
— Согласны ли идти на Евпаторию? — спросил Леська.

— Согласны, согласны!

— Но, кажется, капитан против?

— Повесить капитана!

— Почему против? Я не против! Что вы, что вы!

Володя стоял бледный, вздрагивающий, но твердый. Он подошел к Елисею и при всех крепко пожал ему руку.

24

Когда «Синеус» бросил якорь в Евпаторийской бухте, было еще рано, но уже припекало. Леське не терпелось вступить на родной берег. Он стоял у борта и прежде всего поискал глазами виллу Булатовых, где никого уже не было, кроме, пожалуй, одной старухи; затем перевел взгляд на район Пересыпи, где стоял домик, в котором тоже никого уже не было, кроме старухи.

Но вот спустили ялик. Бредихин сел за весла. Шокарев — у руля. Юноши взяли курс на пристань Русского общества. Поднявшись наверх, друзья, не сговариваясь, направились в сквер и уселись на скамье у моря, под городскими часами, которые остановились. Перед ними качалась на якорьке «Карамба».

— Зачем она тут стоит? — спросил Елисей.— Ее надо вытащить и поставить в каком-нибудь сарае.

— А кто это сделает? Хозяев-то нет.

— А мы с тобой? Кто строил ее, тот и хозяин.

Помолчали. Каждый из них думал о судьбе погибших на этой яхте. Леська позавидовал вещам: они не так легко гибнут, как люди, и ничего не помнят...

Прошло, вероятно, довольно много времени, судя по тому, что через сквер просеменил татарчонок с криком:

— Су-чи!

Он нес на плече большой графин толстого стекла, завязанный чистой марлей, а внутри качалась тяжелая, как зеркало, вода со льдом и ломтиками лимона.

— Улан! Ке мунда! — крикнул Леська.

Татарчонок ополоснул стакан той же драгоценной влагой и налил Леське.

— Какая власть у нас в Евпатории? — спросил Леська.

— Не знаю. Советский.

— А кто именно в ревкоме?

— Не знаю. Девятка.

В высоком приморском здании, где прежде была го-

Илья Сельвинский и Корнелий Зелинский.
1967 г.

И. Л. Сельвинский с женой Б. Я. Сельвинской.
1967 г. Переделкино.

стиница «Бориваж», а теперь заседал ревком, за большим письменным столом, поставленным в холле, дежурил Дмитрий Ильич. К нему мог войти каждый, сесть и слушать дела, которые приходится решать. Иногда слушатели вмешивались в беседу и давали советы, чаще всего дельные, ибо в эту комнату приходили люди серьезные — им было что сказать.

Елисей и Володя тихонько вошли и уселись от стола поодаль. Ульянов не обратил на них внимания: он разговаривал с греческим послом Попандопуло. Посол требовал, чтобы греческим подданным разрешили выезд в Грецию. Ульянов разрешил. Но посол требовал далее, чтобы их выпустили со всем имуществом, а этого ревком разрешить не мог.

— Господин Попандопуло! Рыбаки в Грецию не поедут! — громко сказал Хамбика, уличный торговец креветками.— Кефаль из Греции идет сюда. Какой же рыбак отсюда уедет? Другой разговор — богачи. У них золото и бриллианты. Они могут увезти даже целую церковь.

Ульянов повернул к нему голову.

— Правильно, товарищ. Они всё могут. Кстати, вы тут давно сидите. У вас ко мне дело?

— Нет. Просто интерес имею. Хожу сюда как в театр,

— Понимаю,— задумчиво сказал Дмитрий Ильич и вдруг увидел его роскошные лохмотья. Он тут же вырвал листок из блокнота и набросал несколько фраз.

Елисей напряженно глядел на Дмитрия Ильича, стараясь в его чертах угадать облик Ленина.

— Вот. Возьмите, товарищ,— сказал Ульянов.— Отнесите в военкомат, получите там обмундирование.

— Я не нищий! — гордо ответил Хамбика.

— От буржуазии можешь подарков не принимать,— произнес Елисей,— но это тебе дарит пролетариат.

Теперь Ульянов взглянул на Бредихина.

— Здравствуйте, Дмитрий Ильич! Узнаете меня?

— Кажется, знакомы,— улыбнулся Ульянов.— Вы тоже ко мне?

— По всей вероятности. Мой товарищ — вот он сидит, Володя Шокарев — привел из белого Севастополя пароход пшеницы в дар евпаторскому населению.

— Шокарев? Сын мультимиллионера?

— Володя, знакомься.

— Вот видите,— обратился Ульянов к Попандопуло.— Не об этих ли выходцах из обреченных классов писал в

«Коммунистическом манифесте» Маркс? В маленьком масштабе этот юноша — граф Мирабо!

Леська глядел, слушал и думал: «Вот оно, народное вече».

Действительно, это была та первозданная демократия, к которой издревле стремится человечество.

— Между прочим,— сказал Попандопуло Володе,— в вашей квартире находится Комиссариат просвещения. Оттуда вывезены все картины, ковры, зеркала, люстры, даже рояль.

— Все это будет возвращено,— сухо сказал Ульянов и снова обратился к Шокареву: — Когда можно будет приступить к разгрузке?

— Когда угодно. Только укажите, куда вы намерены ссыпать зерно.

— Понятия не имею,— сознался Ульянов.

— Если хотите, я мог бы предоставить вам хлебный амбар моего отца на Катлык-базаре.

— Спасибо,— растроганно сказал Дмитрий Ильич, тряся Володину руку.— Спасибо вам, дорогой, от имени рабочего класса.

На улице Леська горячо обнял Володю.

— Ты великий человек, Володька! Тебя вполне можно принять в партию.

В гимназии, куда они пришли, бытовал один Галахов. Он работал за сторожа и за директора. Директор был в Константинополе, а сторож получил повышение: он стал комендантом бани.

Галахов объяснил, что учения в этом сезоне больше не предвидится, а восьмиклассникам выдают аттестаты в Комиссариате народного просвещения.

— Бежим в Комиссариат! — сказал Шокарев.

— Погоди. Скажите, Лев Львович, участвовал я в отряде «Красная каска» или нет?

— А как вам хочется? Я человек беспартийный.

— Тьфу! — сказал Леська.— Пошли.

На даче Бредихиных только что позавтракали, и самовар был еще теплым. Бабушка, дедушка и Леонид усадили Леську и Володю за стол.

— Ревком ведет себя очень умно,— сказал Леонид.— Он занимается только делами первостепенной важности, а мелочишки предоставляет времени.

— Например? — спросил Володя.

— Ну, например, все сапожные, портновские мастер-

ские, кузницы, харчевни, бакалейные магазины, не говоря уже о базарах,— все остается в нетронутом виде.

— А что в тронутом?

— Сельское хозяйство. Маленькие деревушки они сплачивают в так называемые совхозы, то есть коммуны. Это очень остроумно: вместо карликовых наделов — латифундии, но государственные, а не частные.

— А как это происходит? Ведь наделы-то крестьянские! Мужики и восстать могут.

— Могут, но почему-то пе восстают.

— «Почему-то...»

— Но, разумеется, идет и обратный процесс: мужики захватывают имения и делят землю между собой.

— Вот это гораздо естественнее! — захохотал Леська.

— А вы не знаете, Леонид, что с нашей «экономией»?

— Это «Монай», что ли?

— «Монай».

— Чего не знаю, того не знаю.

— А кто ведает этими делами?

— Наркомзем, конечно.

Когда Леська и Володя вышли из дачи и направились в Комиссариат просвещения, Володя остановил по дороге какого-то прохожего:

— Скажите, пожалуйста, где находится Наркомзем?

— В здании земской управы.

— Бывшей земской управы,— поправил Леська.

— Бывшей и будущей,— сказал прохожий и ушел, не оборачиваясь.

— Сволочь! — крикнул ему вдогонку Елисей и обернулся к Шокареву: — А зачем тебе Наркомзем?

Володя слегка покраснел и сказал, запинаясь:

— Хочу... предложить... образовать из нашей экономии... совхоз.

Леська остановился и пристально вгляделся в друга.

— А ты действительно великий человек. Быть тебе председателем Крымского правительства, если ваши вернутся.

Володя смущенно засмеялся.

— Для этого не надо быть великим.

Двери в квартиру Шокаревых были раскрыты настежь. Публика входила и выходила толпами. И так же, как у Дмитрия Ильича, любой гражданин беспрепятственно проходил к комиссару и мог наблюдать воочию всю его работу. Комиссар принимал в небольшой комнате, которая

когда-то была Володиной детской, а потом библиотекой. Комиссар Самсон Гринбах в шинели Огневой дивизии, с красными «разговорами» поперек груди, весело взглянул на вошедших.

— Авелла! — приветствовал он их.— Вот неожиданные гости! А мне говорили, Шокарев, что тебя видели в Италии.

— Там видели моего отца, товарищ Гринбах,— улыбаясь, сказал Володя.

Он произнес «товарищ» в шутку, но Гринбах принял это всерьез. На улыбку Шокарева он не ответил.

— Володя подарил Евпатории пароход пшеницы,— загремел Леська, чтобы сразу же обрубить узел.

— Как! Этот «Синеус», который стоит на рейде, это ваше судно?

— Наше! — закричал Леська.

Все засмеялись.

— Поражен! Истинно поражен! Чего только не делает с людьми революция!

Он пригласил юношей сесть и вообще был необычайно любезен — просто не похож на того Гринбаха, которого Леська наблюдал под Перекопом.

— За аттестатами пришли?

— Именно.

— А как у вас с отметками?

— Двоек нет,— заявил Леська.

— У тебя-то нет, а как дела у Володи?

— И у него нет.

— Отлично.

Гринбах позвонил в ручной колокольчик, в который обычно звонил отец Шокарева, когда бывал болен.

— Свяжитесь с гимназией и, если у этих сорванцов все отметки не ниже троек, выдайте им аттестаты за моей подписью.

— Ну вот, граф Мирабо...— сказал Елисей, грустно вздохнув.— Юность кончилась...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Университет был большим, а город маленьким. Он как бы тонул в университете. Студентов в крымской столице насчитывалось великое множество, поэтому все ленивые гимназисты получили репетиторов, а все некрасивые девушки — женихов. Но на Бредихина не хватило ни дурнушек, ни лентяев, и голодал он зверски.

Есть в Симферополе церковь Петра и Павла, вокруг которой кружатся уютные одноэтажные домики, образующие площадь. Пейзаж этот напоминает станицы по рекам Терек и Сунжа,— разница только в том, что станица из дерева, а петропавловская площадь из камня. В одном из каменных домиков и поселился Бредихин.

Весной 1919 года Красная Армия очистила от англо-французов всю территорию Крыма. Но на Керченском полуострове под прикрытием иностранного флота сошлись четыре офицерские дивизии: Алексеевская, Корниловская, Марковская и Кубанская карательная. Им удалось высадить десант между Феодосией и Коктебелем.

Эта операция была частью общего наступления генерала Деникина. Из опасения попасть в «клещи» Красная Армия вынуждена была оставить Таврию и укрепиться на Каховском плацдарме. Вот почему соседом Елисея по квартире оказался белогвардейский прапорщик Кавун.

Хозяин квартиры Аким Васильевич Беспрозванный, совершенно белый, но с косыми черными бровями, низкорослый пышный красавец старик, сдавал комнаты внаем и этим жил. Обитал он на кухне, спальню занимал Бредихин, а столовую — прапор. Хозяин изредка приглашал своих постояльцев на чашку чая, угощал их бутербродами с луком и рассказывал о своей многострадальной жизни.

— Понимаете? Я получил образование в Сорбонне. Философ из меня не вышел. Получился провинциальный газетчик. Вот мне уже за шестьдесят, у меня больные ноги, а репортера, как волка, ноги кормят. Короче говоря, ничего не зарабатываю. Но я живу жизнью поэта! Перепи-

сываюсь с Бальмонтом, Брюсовым, Блоком, а когда Максимилиан Волошин приезжает из Коктебеля, он всегда останавливается у меня. Ах, Максимилиан Александрович... Если б вы его видели! Он так прекрасен, что Париж поставил мраморный бюст с его изображением в скверике против дома Эйфеля. Никто не знает, что это Волошин, все думают — фавн. А он и вправду фавн. Божок своего Коктебеля. Недаром скала Карадага, вдающаяся в море,— точная копия волошинского профиля.

— А может быть, Волошин — копия скалы? — в порядке уточнения заметил, усмехаясь, Кавун.

— Неправда! Человек значительнее камня. Просто скала предвидела появление Волошина.

Старик на минуту задумался, потом произнес замогильным голосом:

А я, поднявши руки к небу,
Молюсь за тех и за других...

— Вот и я такой же. Только я против тех и других. Оттого-то нас обоих не печатают ни белые, ни красные Но я отнюдь не в отчаянье. Много ли поэту нужно? Пушкин писал: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Этих строк, заметьте, никогда не цитируют. Но вы только вдумайтесь: «хоть один»! Вполне достаточно для славы, которую не следует путать с популярностью. Популярность можно сделать любому, а слава рождается сама. Все свои стихи я посылаю Волошину — вот мой читатель. Тот самый пиит, о котором говорил Пушкин.

— Но ведь жить-то на что-нибудь надо! — сказал прапорщик.

— В том-то и дело. Поэтому неизменно пытаюсь что-нибудь напечатать. Но увы. Да вот как раз сегодня «Крымская почта» вернула мне стихотворение, которое для меня очень дорого...

— Прочтите, Аким Васильич,— попросил Бредихин скорее из вежливости, чем из любопытства.

— Wenn Sie wollen [1],— сказал Аким Васильевич почему-то по-немецки.

Лев Толстой различал три вида старости: величественную, жалкую и омерзительную. Марсель Пруст присоединил четвертый вид: смешноватую. Именно такова старость Акима Васильевича.

---

[1] Если вам угодно.

Хозяин встал. Он слишком благоговел перед поэзией, чтобы читать стихи сидя.

— Без названия! — объявил он патетическим тенорком и вдруг прочитал стихотворение, которое ошеломило Бредихина:

Океаниды бросили меня,
Моих седин девчонки не простили.
Ушли, как волны, весело звеня,
И я стою на берегу пустыни.
  Я вижу даль в голубоватой мгле.
  Там, за песками,— солнце в океане...
  Нет ничего печальней на земле
  Мужской тоски о женском обаянье.

— Складно! Крепко! — отрапортовал прапорщик.

— «Нет ничего печальней на земле мужской тоски о женском обаянье...» — повторил, как эхо, Леська.

— Вам нравится, Елисей? — спросил автор.

— Нравится? Не то слово. Впилась в меня эта фраза. Я теперь от нее не отделаюсь.

Автор самодовольно хихикнул.

— Почему же эту рукопись не печатают? — спросил Кавун.

— Не газетное, говорят, стихотворение. Дайте что-нибудь политическое, говорят.

— Ну и что ж? Ну и дайте?

— Я и дал.

— Можно послушать?

— Пожалуйста.

РЕПЛИКА ВРАЧУ

Не пить, не курить, не влюбляться?
Ну, что ж. И это могу.
Но жить средь военных реляций
С душонкой на рыбьем меху,
  На ночь заглатывать соду,
  На все треволнения — нуль...
  Но как вы спасете меня от пуль,
  Пущенных в Свободу?
  Простите мою суровость,
  Но...
    (Как бы вам изложить?)
  Стихия поэта — совесть,
  И этого не излечить.

Елисей молча глядел на своего смешноватого хозяина.

— Осмелюсь спросить,— начал прапорщик,— неужели вы понесли это в газету?

— Понес. А что?

— И вас не арестовали?

— Кто арестует? Трецек? Это мой древний товарищ.

— А кто он такой?

— О, это замечательный человек,— засмеялся Беспрозванный.— Сейчас он редактор вечерки «Крымская почта». Но было время...— Беспрозванный снова засмеялся.— Вы будете несколько шокированы, но я, грешный человек, люблю гениальность, как картошку: во всех видах.

Жил-был в одесской газете «Копейка» бедный репортер Трецек. Чем больше Трецек работал, тем беднее становился. Вот однажды Трецек придумал такое: взял потихоньку первый оттиск какого-то номера, понес ее в другую типографию, отпечатал в долг десять тысяч экземпляров, сам разнес по газетным киоскам — и к ночи выручил тысячу рублей. Через две недели — у него уже четырнадцать тысяч. Снимем четыре на расходы — и вот вам десять тысяч чистой прибыли. Когда в «Копейке» спохватились и выгнали Трецека в три шеи, он был уже настолько состоятелен, что начал издавать в Крыму собственную газету.

— Мошенник! — брякнул прапорщик.

— Конечно, конечно,— согласился Беспрозванный.— Но примите во внимание и то, что хозяин «Копейки» драл с Трецека семь шкур.

— «Грабь награбленное»,— сказал прапорщик.— Кстати: кто эти люди, которые, как трактует ваше стихотворение, расстреливают свободу?

— Как вам сказать... Это во всех странах.

— Да, но вы пишете в стране Добровольческой армии!

— Ах, это? Да-да... Я сделаю сноску: «К нашему Крыму сие не относится».

— Не считайте меня за дурака! — грубо отрезал прапорщик.— Сами-то вы, часом, не большевик?

— Я? О нет! Разумеется, нет!

— Почему «разумеется»? — спросил Елисей.

— Совсем недавно мы жили при большевиках, и я понял одну вещь: коммунизм — это религия, а всякая религия догматична и не допускает инакомыслия. Но там, где нет инакомыслия, нет и движения вперед.

— Дважды два — четыре тоже не допускает инакомыслия,— сказал Елисей,— но от этого математика не остановилась в своем развитии. Коммунизм — это наука.

— Прекратите вашу талмудистику! — заорал Кавун.— Вы понимаете, какой сейчас момент? В горных лесах между

Судаком и Алуштой появились красные партизаны. Они нападают на наши эшелоны. А кто ими руководит? Симферополь. Кто вдохновляет? Симферополь. Здесь их центр. Значит, каждая личность в этом городе подозрительна.

— Значит, надо арестовать всех! — сказал Леська.

— Я живу в квартире некоего Беспрозванного и хочу знать, кто он такой! — рявкнул Кавун, не обращая внимания на Елисея.

— Человек...— печально ответил Аким Васильич.

— Я тоже человек,— заявил Кавун.— Однако же в наше время человек человеку рознь!

— А вам что, дознание обо мне нужно произвести?

— Будет нужно, произведем!

— Разговор принял странный характер,— поморщась, сказал Елисей.— Это ведь все-таки поэзия, ваше благородие. К ней надо подходить...

— Что вы хотите сказать этим «благородием»? Думаете, я не знаю частушку:

Был я раньше дворником,
Звали меня Володя,
А теперь я прапорщик —
«Ваше благородье...».

Прапорщику не присвоено «благородие».

— Но может быть, присвоено благородство, господин прапорщик? — запальчиво крикнул Беспрозванный.— Я пригласил вас к себе в гости, читаю стихи, душу раскрываю перед вами, а вы хамите мне самым бесцеремонным образом.

Он резко повернулся и, всхлипнув, убежал в сени.

— Плачет, наверное,— тихо сказал Леська.

— А ну его к чертовой бабушке! Много их, красных, развелось. Этот говорит: коммунизм — религия; тот коммунизм — наука. А в общем, вы оба — одного поля ягоды. Всех вас надо на мушку. Вот вы, например. Кто вы такой?

— Студент первого курса юридического факультета Бредихин Елисей... А вы, уважаемый, не смеете меня допрашивать, иначе я привлеку вас к ответственности за самоуправство.

— А может, я не просто прапорщик?

— Ах, так? В таком случае привлеку за самозванство, если вы врете.

— Я себя ни за кого не выдаю,— оробело возразил Кавун.

— То-то. Вот так-то лучше. А то ведь мы, юристы, только и смотрим, как бы кого поймать на крючок.

— Да. Конечно. Это правильно. Так и нужно. Законность соблюдать необходимо. Однако спать пора, господин студент. Спасибо за компанию.

Прапорщик встал, шаркнул сапогом и удалился в свою комнату.

Услышав, что он ушел, хозяин вернулся в кухню.

— Какая гадина! — зашептал Беспрозванный, притягивая к себе Елисея за руку.— Уж и не знаю, как от него избавиться. И вообще ненавижу три социальных слоя: русское чиновничество, еврейское мещанство и украинскую полуинтеллигентщину.

— Вы считаете его полуинтеллигентом?

— А как же? Окончил четыре класса городского училища, потом школу прапорщиков,— кто же он, по-вашему?

— Максим Горький и вовсе нигде не учился.

— Ах, оставьте Горького в покое! И вообще: какова наша жизнь при этом правительстве? Как сказал великий поэт:

Без аромата цветики,
А ягоды без вкуса,
Политика без этики,
Без совести искусство.

— Кто этот великий поэт?

— Я.

Утром Елисей вместо завтрака выпил стакан холодной воды из-под крана. Потом пошел в университет.

Время было деникинское. Юноши частью попрятались, частью были угнаны на войну, поэтому на скамьях в аудитории сидели девушки и калеки. Девчонки пялили на Елисея глазки, но он не глядел на них: после самоубийства Васены он дал себе слово не влюбляться. И все же строки Беспрозванного жгли его медленным пламенем:

Нет ничего печальней на земле
Мужской тоски о женском обаянье.

Сегодня лекцию читал богоискатель священник Булгаков, знаменитый тем, что его ругал Ленин. Приходил Булгаков в рясе с большим серебряным крестом на цепях, но к мясистому краспому его лицу мало подходили длинные кудри и борода, расчесанная надвое. Он смахивал на разбойника Кудеяра. Читал он политическую экономию, и, пока речь шла об истории этой науки, читал хо-

рошо. Но сам факт, что такую революционную науку преподает поп, очень раздражал Елисея.

Глядя на мокрые деревья сада, Елисей вдруг почувствовал на щеке как бы легкое ползанье муравья. Он огляделся: неподалеку, на скамье третьего ряда, сидел Еремушкин — с ним Леська учился в городском училище — и смотрел на него в упор. Еремушкин не имел среднего образования и, значит, не мог быть студентом. Странно...

При выходе из аудитории Еремушкин подошел к Елисею и взял его об руку:

— Есть разговор, Бредихин. Пойдем в Семинарский сад.

— Пошли.

— Авелла! — сказал Еремушкин.— Была с тобою связь через Витю Груббе, потом через Голомба, а теперь будет через Еремушкина.

— Какая связь? О чем ты говоришь?

— Задавай любые вопросы. Увидишь, что я в курсе дела.

— Почему большевики, уходя из Евпатории, не взяли меня с собой?

— А зачем? Сила твоя, Бредихин, в твоем знакомстве с евпаторийскими тузами. Поэтому ты нам и нужен. А если тебя увезти, кто будет работать? Чатырдаг?

— Но они могли, по крайней мере, сообщить мне об этом перед уходом.

— Уход был слишком поспешным. А что касается того, чтобы «сообщить», то не задавай глупых вопросов.

— Ага. Не доверяют?

— Если б не доверяли, я бы... Ты думаешь, я пришел попа этого слушать? К тебе пришел.

— Когда меня примут в партию?

— Когда посчитают нужным, тогда и примут.

— Все-таки не доверяют?

— Балда ты, Бредихин! Ты вот что пойми: тебя нет ни в каких наших списках как раз потому, что ты беспартийный. Это тебе выгодно. А был бы в списках, лежал бы уже рядом с Витей и Сенькой.

— Что значит — «лежал бы рядом»?

— А ты разве не знаешь?

— Нет.

— Витя, Сенька и все его сестры арестованы и расстреляны.

— Расстреляны? Как? Где?

— Еще в прошлом году. Повезли их в теплушке на полустанок Айсул, под Семью Колодезями, открыли дверь и всех перекосили из пулемета.

У Леськи перехватило в горле. Он сделал несколько глубоких вдохов и сдержался.

— Еще вопросы есть?

Леська помолчал. Потом спросил глухим голосом:

— Что я должен делать?

— Вот это разговор другой. Пока что ты должен разыскать своего дружка Володю Шокарева. Он сейчас в Симферополе. Шляется тут, щеголяет в студенческой фуражке, а сам нигде не учится.

— Ну, допустим, разыщу.

— Пока все. Разыщи и продолжай дружбу. А что дальше — сообщу в свое время. Кстати, Шокарев часто бывает в кафе «Чашка чая». Деньги у тебя есть?

— Есть.

Еремушкин ушел. А Леська долго еще сидел на скамье и видел перед собой Виктора Груббе в матросской фуражке с надписью «Судак», Сеньку Немича с его неизменной цацкой, а из сестер почему-то среднюю, Варвару. Убиты... Все убиты... Из пулемета... Леську охватил пафос мщения. Найти Шокарева! Как можно скорее найти Шокарева!

От Леонидовых керенок осталось совсем немного. Леська купил житного хлеба и пошел домой. Дома никого не было. Ключ, как всегда, висел на гвоздике в прихожей. Умирая от голода, Елисей вошел в комнату Кавуна и стал шарить, нет ли чего съестного. Беспрозванного он жалел и не мог позволить себе хоть чем-нибудь попользоваться у старика.

На окне, за ставнем, в чистой белой тряпочке жил-был кусок свиного сала. Леська развернул тряпочку и понюхал. Если б сало имело запах свечи, он оставил бы его в покое. Но пахло оно рождеством и елкой. К тому же было настолько свежим, что в глубине просвечивало розоватым. Леська сбегал за ножом, отрезал ломтик... тончайший... как пергаментный лист из сказки о Шехерезаде... Аккуратно завернул сало в тряпочку и положил на место. Потом пошел на кухню, разыскал чесноку, натер им свиную корочку и, отхватив большой кусок хлеба, откусил малюсенький кусочек сала... Что такое счастье?

Леська углубился в книгу и не заметил, как съел и сало и хлеб. Он читал первый том «Капитала» и приходил в детский восторг прежде всего от марксова юмора в сносках.

«Явное влияние Гейне,— думал он.— Тот же полемический блеск, то же едкое остроумие... Так смеются боги».

Сначала Леська вообще весь том прочитал в сносках. Но юмор юмором, а за последний месяц Бредихин ушел уже довольно далеко и теперь постигал одну из самых важных глав — главу о прибавочной стоимости.

Он услышал за дверью возбужденные голоса.

— Нет, ты обязан это напечатать, будь ты проклят!

— Не могу, Васильич. Ну, понимаешь: не мо-гу!

— Можешь! Должен! Обязан!

Леська выглянул в коридор.

— А! Елисей! Вы дома? Пожалуйте к нам. Знакомьтесь.

— Трецек.

— Бредихин.

Трецек, маленький человечек, жилистый, горбатенький, с волосами, крашенными до фиолетовой радуги, смотрел на Леську печальными глазами.

— Елисей! Вы только подумайте: этот мерзавец отказывается напечатать в своей грязной газетенке замечательное мое стихотворение.

Несмотря на весь свой гнев, Аким Васильевич бранился так беззлобно, что на него нельзя было сердиться.

— Называется

УРОК МУДРОСТИ

Можно делать дело с подлецом.
Никогда подлец не обморочит,
Если только знать, чего он хочет,
И всегда стоять к нему лицом.

Можно дело делать с дураком.
Он встречается в различных видах,
Но поставь его средь башковитых,
Дурачок не прыгнет кувырком.
Если даже мальчиком безусым
Это правило соблюдено,
Ни о чем не беспокойся, но —
Никогда не связывайся с трусом.

Трус бывает тонок и умен,
Совестлив и щепетильно честен,
Но едва блеснет опасность — он
И подлец и дурачина вместе.

— Прекрасное стихотворение! — сказал Леська.

— Вот видишь, обезьяна, видишь?

— Господин студент! Если я это напечатаю, меня вызовут к полковнику из контрразведки и будут орать на меня и топать ногами.

— Пусть орут, пусть топают! — упрямо восклицал поэт
— Еще и оштрафуют!
— И правильно! Стихотворение стоит того.
— Простите! — вмешался Елисей.— А что в этой вещице такого, что может вызвать гнев контрразведочного полковника?
— Как что? А «подлецы», «дураки» и «трусы»? Ведь белогвардейщина все переводит на себя.
— Врешь, негодяй! Полковник даже не обратит внимания на эти строчки.
— А доносы?
— Все равно. Он достаточно умен, чтобы сделать вид, будто ничего не произошло. Да и на самом деле: я ведь действительно не думаю, что мое стихотворение относится ко всем белогвардейцам. Разве Пуришкевич — дурак? Разве Булгаков — подлец? А Деникин — трус? Ты! Ты трус, подлец и дурак. И к тому же зол, как скорпион. Вы знаете, Елисей, я написал на него эпиграмму:

Не под булавкой он пока,
Он ядом жжет со всех трибун.
Эн Эн похож на паука
Не потому, что он горбун.

О, как я вас ненавижу, горбуны духа! Это вы затыкаете нам рот кляпом. Это вы — душители культуры. Именно вы, вы, а не полковник. Тот боится революции — и только, а вас пугает даже самая маленькая вспышка таланта.
— Сумасшедший,— спокойно сказал Трецек.— Он не знает этих людей. Сейчас они могут сделать вид, будто не заметили его стихов. Но потом придерутся к какой-нибудь запятой и сдерут с меня шкуру.
— Ну и что?!
— Он еще спрашивает. Сумасшедший!
— Я требую от тебя подвига! Слышишь, Трецек ты этакий. Подвига! В твоих руках печать. Ты могучий человек. Ты можешь бороться.
— Я? Бороться?
— Неужели ты издаешь газету только для того, чтобы ежедневно жрать в харчевне котлеты де-воляй? Ничтожество ты после этого. Тьфу!
Беспрозванный забегал по коридору туда и обратно так быстро, что у него тряслись щеки. Он выбежал в прихожую, чтобы не разрыдаться.
— Ну, что же мы будем стоять в коридоре? — растерянно сказал Леська.— Прошу ко мне.

Трецек вошел.

— Как вам нравится этот огромный ребенок? — спросил он, вздохнув.

— Да, но устами детей глаголет бог.

— Бога нет, и слава богу,— устало сказал Трецек.

Они помолчали.

— Скажите, господин Трецек... Я очень нуждаюсь в работе. Не могу ли я быть репортером в вашей газете?

— Почему же нет? Можете. Но в штат я вас не возьму. Мне это не по карману. Сколько заработаете — все ваше.

— Согласен. Когда можно приступить?

— Да хоть завтра.

Утром, дождавшись ухода прапорщика, Леська на цыпочках опять проник в его комнату и снова отрезал тонюсенький ломтик сала. Это было его пищей на весь день.

Сначала сбегал в университет узнать, не будет ли сегодня чего-нибудь из ряда вон выходящего. Он посещал только те лекции, которые находил интересными: неинтересные можно и в книге прочитать.

За дверью слышался женский голос удивительной свежести. Елисей приоткрыл дверь и приник ухом к щелке.

— Итак, дорогие коллеги, даю вам неделю на реферат «Суд присяжных». Поступлю с вами, как в гимназии: возьму рефераты с собой. Лучшие будут зачитаны на семинаре. Вы свободны, господа!

Голоса мужчин можно передать контрабасом и виолончелью, детские голоса хорошо ложатся на скрипку, но женский не имеет подобия в оркестре. Правда, Вагнер в «Тангейзере» отдал голос Венеры кларнету, но этим он только огрубил богиню: женский голос неповторим. Тем более этот, такой прозрачный, как стеклянный ключ в ложбинке.

Леська отпрянул: дверь широко растворилась, и в сопровождении группы студентов вышла золото-рыжая женщина с длинными бровями и едва намечающимся вторым подбородком. Она? Неужели она?

Елисей бросился к расписанию. Нашел предмет: «Семинар по уголовному процессу». Дальше шли дни, часы и фамилия: «приват-доцент Карсавина Алла Ярославна».

Леська затосковал так, что даже забыл о голоде. Но все же спустился вниз с толпою студентов: ведь нужно было идти в редакцию «Крымской почты».

Внизу, у самого входа, стоял человек с длинными волосами и усиками, подкрученными кверху. Он был похож на низенького Петра I и узенького Маркова II. Острым взглядом оценивал он студентов одного за другим и вдруг подошел к Елисею.

— Художник Смирнов! — крикнул он так запальчиво, точно вызывал на дуэль.

— Студент Бредихин.

— Мне нужен натурщик.

— К вашим услугам.

— Вы когда-нибудь позировали?

— Ого! Сколько раз!

— Отлично. В таком случае приходите сегодня в три. Сможете? Пушкинская, двенадцать, студия Смирнова.

— Аванса не прошу, но хотел бы для начала позавтракать, иначе, пожалуй, не выдержу,— сказал Леська.

— Неужели так подвели обстоятельства образа действия?

— Представьте.

— Кто бы мог подумать? — комически удивился художник и дал ему купюру в двадцать керенок.

Леська опрометью кинулся в кафе «Чашка чая». Здесь было полно офицерья и дамочек всякого разбора. Кое-где зеленели студенческие тужурки с голубыми и синими петлицами, но Шокарева не было видно.

Леська заказал сосиски с капустой и стакан черного кофе с лимоном. Хлеб подавался бесплатно, и Леська потребовал две порции. Белый он ел с сосисками, а черный, круто посолив, съел так.

Из кафе Елисей пошел в редакцию. По дороге думал об Алле Ярославне. Теперь ему казалось, что ни одна женщина так не захватывала его сердца. Конечно, кроме Гульнары, но Гульнара в Турции и для него исчезла навеки.

«Крымская почта» помещалась в затхлом подвале, где когда-то был овощной склад. Из всех даров земли больше других оставила по себе память квашеная капуста. Редакция в полном составе сидела за столами, далеко не всегда письменными,— эта роскошь предоставлялась только секретарю и Трецеку.

— А, молодой человек! Забыл вашу фамилию.

— Бредихин.

— Вы пришли как раз вовремя. В Симферополь приехал и остановился в гостинице «Европа» известный искусствовед, некто Мейерхольд.

— Тугендхольд! — поправил его секретарь.

— Яков Александрович? Знаю его.

— Какой молодец! Вы слышите, бандиты пера: человек только что вошел — и уже такие успехи. Смотрите и учитесь.

Леське поручили взять интервью, но часы показывали уже половину третьего, и он побежал в студию Смирнова.

Открыла ему горничная.

— Вы к кому?

— К художнику Смирнову.

— Он сейчас занят. А вы по какому делу?

— Я натурщик.

— А-а! Войдите в эту комнату. Можете не стучаться: там ателье.

Леська вошел и увидел человек десять учеников, которые сидели за маленькими мольбертами и писали обнаженную натуру. Натура эта спокойно сидела на эстраде, но, увидев Леську, вскрикнула и убежала за ширмы.

— Что такое? В чем дело? — раздраженно закричал Смирнов.

— Это мой знакомый,— прозвучал из-за ширмы девичий голосок.

— Ну и что? Ваш знакомый — такой же натурщик, как и вы. Немедленно сядьте на место.

— Не сяду.

— Я требую, чтобы вы немедленно продолжали работу. Стыдиться надо уродства, а не красоты, а вы так прекрасны, что даже не смеете ходить в одежде.

— Но ведь Леська — мой знакомый,— снова пролепетал голос, на этот раз очень жалобно.

— Сие нас не интересует.

Шелк на ширмах зашевелился, и на эстраду вышла обнаженная Муся Волкова.

— Здравствуй...— сказала она Леське, глотая слезы.

— А вы, студент, идите за ширмы и раздевайтесь до трусов. Когда девушка выйдет, вы войдете. И кстати, в следующий раз приходите в три, а не в без четверти три.

Где-то часы пробили три.

За ширмами на табурете лежало белье и платье Волковой.

«Что могло случиться? — думал он.— Почему Муся пошла в натурщицы? Неужели у отца нет возможности посылать ей на жизнь?»

— Юноша! Можете войти.

Леська выступил из-за ширм, а Муся, низко склонив голову, пробежала мимо него и скрылась. Елисей занял место на стуле, нагретом ее теплом. Сердце его вздрогнуло, но он тут же подумал об Алле Ярославне и сосредоточился на молодых бездарностях, которые принялись разделывать его под орех.

«Зачем Смирнов с ними занимается? — наивно подумал Леська.— Неужели он не видит, что из них ничего не получится?»

Минут через пять Муся вышла из-за ширм в элегантном сером костюме и, постукивая каблучками, быстро пошла к выходу. У дверей она оглянулась на Леську и, отчаянно кивнув ему головой, исчезла.

«Кивнула все-таки»,— удовлетворенно подумал Леська и тут же заставил себя вспомнить об Алле Ярославне: он не хотел ей изменять даже мысленно.

Тугендхольда он не дождался. Сидел в вестибюле гостиницы часа два, но искусствоведа все не было. Черт его знает, где этот старик ходит. Елисей, который снова получил от художника купюру в двадцать керенок, опять пошел в кафе «Чашка чая», съел яичницу с ветчиной и две порции хлеба. Но сколько ни ел, а Шокарев все не попадался. Пойти в адресный стол? Но навестить Володю в его гнезде Леська не смел: отец, конечно, вернулся из Генуи, и неизвестно, как он отнесся к истории с пароходом «Синеус». Может, еще и выгонит взашей?

К вечеру снова пошел в гостиницу «Европа». Тугендхольд лежал в постели: ему нездоровилось. Но Леську он принял и ответил на все вопросы: он думает поселиться в Симферополе до взятия Петрограда, он намерен издать книжку о Пикассо и прочитать ряд лекций по истории живописи.

— А вы чем живете? В газете работаете?

— Да. И кроме того, я натурщик.

— Вот как! Это с моей легкой руки? Где же вы подвизаетесь?

— У художника Смирнова.

— Смирнов? Гм... Не знаю такого. Боже мой! Леся! Вы у меня нату́рили целый месяц, а я вам не уплатил ни копейки. Вот. Пожалуйста. Возьмите.

— Что вы, что вы, Яков Алексаныч...

— Возьмите, иначе не смейте показываться мне на глаза.

Тугендхольд сунул Леське сто керенок.

— Вы заслужили большего, но у меня больше нет. Зато я подарю вам рисунок Пикассо. Не репродукцию, а рисунок. Дайте мне во-он ту папку.

Это был портрет Тугендхольда, сделанный одним росчерком пера. Тугендхольда на портрете не было, но был превосходно разработанный план его лица.

— Изумительно...— прошептал Леська и выбежал на улицу, прижимая к груди эту драгоценность.

Трецеку интервью понравилось. Он похвалил Леську и пустил его материал в воскресный номер, приказав достать репродукцию с какого-нибудь пикассовского шедевра: газета даст клише.

Много сил стоило Елисею не показывать свое сокровище, но Леська понял, что в этом разбойничьем гнезде он его обратно не получит: портрет с личной подписью Пикассо мог быть мгновенно реализован в любом комиссионном магазине.

Когда деловая часть разговора была закончена, Леська попросил аванс. Это ужасно позабавило Трецека.

— Эй, бандиты пера! — закричал он.— Смотрите, но не учитесь: человек принес первое интервью и уже требует денег.

Дома Леська отдал остаток денег Беспрозванному: он не надеялся заработать что-нибудь существенное. Яичница разожгла аппетит, и Леська метался по комнате, как зверь в клетке.

«Остается только стенку лизать!» — думал Леська.

А потом задумался вот над чем: если он будет каждый день отрезать по ломтику, прапорщик спохватится. А что тогда? Скандал? Но Леська уже не мог пройти мимо сала. Мышь, знающая, что сало в мышеловке, все же тянется к нему. Голод сильнее воли.

Он глядел в окно. Видел церковь Петра и Павла, вспомнил своего деда Петропалыча и в конце концов не такую уж голодную жизнь в родном доме. В Евпатории трудно голодать: взял сачок, выехал на шаланде, наловил крабов, креветок, хамсы — вот и сыт. Правда, зимой хуже, но в рыбных лавках начиная с осени цены падают, и за гроши можно купить целый кулек маринованных пузанков или барабули с лавровым листом и шариками черного перца. А здесь?.. Просить Леонида о помощи Леська стеснялся, хотя на даче дела шли неплохо: отрезанная от России приезжая публика жила в кабинах круглый год. Им

поставили железные печки — «буржуйки», и люди хоть и мерзли, но не замерзали.

Пришел Беспрозванный и позвал Леську пить чай. Старик накупил целую груду колбасных обрезков, которые продавали нищим. Здесь попадалась и чайная, и кровяная, и ливерная. Леська никогда ничего подобного не ел. Настроение было превосходное.

— Лукулл обедает у Лукулла, как говорил Дюма-пэр! — воскликнул Аким Васильевич.

Опьянев от сытости, Леська рассказал об Алле Ярославне, начав историю от Севастополя. Старик неожиданно разволновался:

— В том, что вы в нее влюбились, ничего удивительного. Даже если бы она была гораздо менее красива. Заметьте: мужчины очень часто влюбляются в сестер милосердия, которые за ними ухаживают. То же самое здесь: женщина вернула вам свободу! Надо быть животным, чтобы ее не полюбить. Теперь вопрос: как добиться взаимности?

— Взаимности? Но я и не думаю об этом.

— Глупости! Раз вы полюбили женщину, вы должны овладеть ею. Иначе это просто невежливо, дорогой.

— Почему должен? — взволнованно спросил Леська, пропустив мимо ушей неуместный юмор Акима Васильевича.

— Потому что в этом радость бытия! Полнота жизни. Вы обязаны быть счастливым, Елисей. Вдумаемся: как вы живете? Какие у вас утехи? Я — старик, но у меня стихи. Хоть это! Пусть их не печатают, но я их пишу, и пока пишу, у меня крылья! А вы? Без любви человек дряхлеет. Даже такой молодой, как вы. Тем более такой молодой, как вы! Елисей Бредихин должен обладать Аллой Ярославной, и я — тот человек, который ему в этом поможет...

Леська с замиранием смотрел на Беспрозванного. Старец вдохновился, глаза его заблестели, он как-то даже постройнел и вырос. Он уже сам был влюблен в красавицу.

— Аким Васильич... Милый... Ну о чем вы говорите? Кто она и кто я? Приват-доцент университета, жена какого-нибудь важного человека... и нищий студент.

— Ничего не значит. Я о ней слышал: муж ее действительно большой человек — известный историк литературы профессор Абамелек-Лазарев. Но, во-первых, он старик вроде меня, а во-вторых... плохо, если у нее любовник... Я наведу справки. Доверьтесь мне. Все будет сделано абсолютно тактично.

Леська зашелся нервным хохотком.

— Ну, что вы такое говорите...

— Я знаю, что говорю! Слушайте, Елисей. Вы сказали, она дала студентам задание: написать реферат о суде присяжных. Так? Но вы не напишете этого реферата.

— И не получу зачета?

— Черт с ним, с зачетом. Вы напишете ей письмо.

— О чем?

— О любви, конечно!

Следующий день шел по следам вчерашнего: сначала ломтик сала, потом Тугендхольд, у которого удалось взять для газеты репродукцию с картины Пикассо «Нищие», затем Трецек и, наконец, в четверть четвертого дежурство у парадных дверей студии Смирнова.

Действительно, вскоре на улицу в своем сером костюме вышла Муся Волкова.

— Леся? — сказала она, слегка порозовев.— Ты опоздал на пятнадцать минут. Смирнов уже нервничает.

— Хорошо, хорошо. Успеется. Муся! Я хочу с тобой поговорить. Где и когда мы могли бы встретиться?

— Ну, не знаю...

— В шесть часов я буду ждать тебя в Семинарском саду. Придешь?

— Может быть...

И она ушла, позванивая по асфальту каблучками. Хотя гимназисты вызывали ее на балкон, как телку: «Мму-у-уся!» — Муся была самой изящной девушкой Евпатории. Невозможно пе заглядеться на ее походку — такую естественную и в то же время не то чтобы танцующую, но как бы приглашеппую на танец. Может быть, Волкова несколько тонка, но лицо ее миловидно, а глаза просто необычайны: белые, уплывающие в голубую воду, как у черно-бурой лисицы. Странно, что он не замечал этого в Евпатории.

Отсидев у Смирнова свои два часа, Леська побежал в кафе, не нашел Шокарева и умчался на свидание к Мусе. Было пять часов. Муся пришла в семь. Леська мужественно ждал.

Когда она села рядом, он подумал, что глаза ее похожи не на черно-бурую лисицу, а на вещую птицу — гамаюн.

— О чем ты хотел говорить со мной, Леся? Как я дошла до жизни такой? Хорошо. Скажу. Папа умер от тромба утром, а мама от разрыва сердца вечером. Я осталась одна. Что делать? Жить в квартире, даже в городе, где в один день скончались родители? Распродала все, что

было, переехала сюда, поступила на филологический. Но деньги расползлись, а зарабатывать я не умею. Не на улицу же мне идти.

Она замолчала и, вынув батистовый платочек, вытерла слезы. Потом немного успокоилась и сухо сказала:

— Ты ведь не за этим меня позвал, правда? Ты увидел девушку без одежды и решил за ней поухаживать. Так вот: кто угодно, только не ты.

— Почему?

— Потому что ты видел меня без одежды.

Леська содрогнулся: ведь это почти то же самое, что было с Васеной.

— Я обещаю не ухаживать за тобой. Разве мы не можем быть просто товарищами? Позволь хоть повести тебя в цирк. Я получил задание «Крымской почты» описать первый день чемпионата борьбы, и мы можем сходить туда бесплатно. Неужели упустить такой случай?

Волкова засмеялась.

— Да, действительно. Раз уж бесплатно, то упускать нельзя. Так, значит, ты работаешь в газете?

— Я берусь за всякую работу.

— Хорошо. Пойдем. Все равно вечер сегодня потерян. Хоть я считаю борьбу совершенно некультурным спортом, но один раз посмотреть можно.

По дороге Леська слегка поддерживал Мусю под локоть, когда они спускались с тротуара. Она была очень изящна, и Леська гордился тем, что шел с ней рядом.

В цирке Елисей сидел чинно и объяснял девушке все тонкости предстоящего зрелища.

— Я подозреваю,— сказал он, читая программу,— что чемпион Турции Дауд Хайреддин-оглу, чемпион Румынии Деметреску и чемпион Богемии Марко Свобода — это просто наши крымские татары, молдаване и малороссы.

Муся засмеялась.

— Почему ты так думаешь?

— Нюхом чую.

Сначала публику развлекала клоунада. Рыжий У Ковра подошел к шталмейстеру и сказал:

— Владимир Николаич, сколько у вас пальцев?

— Пять.

— А вот и нет: четыре.

— Почему же четыре, когда пять?

— Позвольте посчитаю.

— Считай.

Рыжий взял левую руку шталмейстера и, загибая за пальцем палец, начал громко считать:

— Один! Раз! Два! Три! Четыре!

Шталмейстер деревянно засмеялся и дал Рыжему затрещину.

— Один лишний! — захохотал Рыжий и убежал за кулисы.

На манеж выехала наездница. Жеребец иссиня-черной масти блистал, как ночное море. Наездница была в цилиндре, блиставшем, как ее лошадь. На девушке черный атласный колет, от пояса шел огромный шлейф, серебристо-серый с черной рябью, прикрывавший конский круп, как попоной. Ноги затянуты в телесное трико. Лаковые сапожки со шпорами довершали ее наряд.

Конь сначала шел испанским шагом, потом под звуки польки перешел на мелкий аллюр, за ним последовала венгерка и, наконец, вальс. Наездница сидела неподвижно, точно она совсем не управляла своим великолепным животным. В этом заключался, очевидно, особый класс дрессировки. Шлейф лежал на коне твердо, словно огромный веер или распущенный павлиний хвост. Наездница сидела твердо.

«Только бы не влюбиться! Только бы не влюбиться!» — с отчаянием думал Леська. Потом, пересилив себя, спросил:

— Муся, ты хотела бы стать наездницей?

— Она тебе нравится?

— Очень.

— Да, она эффектна. Такую увидишь только в цирке. Но если с ней заговорить, окажется, что она некультурна, как паровой утюг.

Леська засмеялся.

«Неужели ревнует?» — подумал он не без удовольствия.

Но Муся не имела на Леську никаких видов; она была всего только женщиной: на всякий случай наездница ей не понравилась.

Перед самым выходом борцов через всю арену в сопровождении директора прошел за кулисы полковник из контрразведки. Ослепительная сабля волочилась за ним по тырсе. В публике зашушукались. Вскоре сабля вернулась в свою ложу, и оркестр заиграл марш «Оружьем на солнце сверкая». Чемпионат вышел на арену. Арбитр в своем купеческом сюртуке начал представлять борцов.

— Чемпион Турции Дауд Хайреддин-оглу! Двести один сантиметр!

Аплодисменты.

— Чемпион Румынии Деметреску!

Аплодисменты.

— Чемпион Богемии Марко Сватыно!

Необычно тучный борец сделал шаг вперед. Но его встретили молчанием. Зааплодировал один полковник.

— Ты поняла, что произошло?

— Нет.

— Полковник, очевидно, решил запретить фамилию «Свобода», и богемца тут же окрестили в «Сватыно». Публика поняла это и протестует молчанием.

В перерыве Леська принес Мусе мороженого, а сам, извинившись, сбегал за кулисы взять интервью. Мишин, организатор чемпионата, он же арбитр его, рассказал сотруднику газеты всякую всячину. Но Леська в заключение как бы мимоходом заметил:

— У вас великолепные ребята, но бороться они не умеют.

— То есть как это не умеют? Чемпионы не умеют?

— Поглядите сами: все сводится к «переднему поясу».

— А вы чего бы хотели?

— Культуры спорта. Где «тур-де-тет»? Где «бра руле»? Где «обратный пояс»?

— Откуда вы все это знаете?

— Я ученик Ивана Максимыча.

— Поддубного?

— Да.

— Самого Поддубного? Чего же вы молчали?

— Так вот я и говорю.

— Говорю... Кричать об этом надо! Напишите в вашем интервью: «Среди борцов — ученик великого И. М. Поддубного...» Э... Вы кто, студент?

— Студент.

— «...студент Таврического университета, который будет бороться под именем «Студент Икс».

— Позвольте, но я еще не давал согласия...

— Пишите, пишите: «Первая схватка с чемпионом Польши Яном Залесским состоится... э...»

— Господин Мишин, вы сами берете меня на «передний пояс».

Мишин засмеялся:

— Деточка! Чего вы боитесь? Залесский ляжет под вами на двенадцатой минуте.

— Да, но мы еще не договорились о гонораре.

— Ну, какие пустяки! Сколько вы хотите?

— Не знаю... Скажите сами.

— Если будете делать сборы, получите триста керенок за вечер.

Леська вернулся к Волковой, охваченный розовым туманом, как летом в шесть утра на берегу моря.

— Если дунуть ноздрями в стакан с мороженым,— сказала Муся,— оттуда пахнёт на тебя ледяным ветерком. Это приятно.

Так могла бы сказать и Гульнара. Леська взглянул на Мусю, и в душе его заныл больной зуб.

Ночью он принес материал Трецеку, и тот снова его похвалил.

— Только почему вы не догадались взять в цирке портрет этого студента? Вы понимаете, какая сенсация: студент местного университета — борец. А? Мальчишки будут хватать газету из рук. Завтра же чтобы мне портрет и биография! Дадим сорок строк. Даже пятьдесят.

Но выжать деньги из Трецека было невозможно.

— Дайте хотя бы на обед.

— Еще что? Мне самому жрать нечего.

— Но в таком случае...

— Надо любить газету, молодой человек. Любить возвышенной, чистой, платонической любовью. Ее пульс, ее лихорадку, самый запах типографской краски. А деньги? За деньги всякий дурак может работать в газете.

Дома Леська застал в своей комнате Акима Васильевича. Он сидел за письменным столом и заканчивал сонет.

— Одну минуту... Вы меня зажгли этой вашей Аллой Ярославной... Я снова стал думать о любви, о Женщине с большой буквы. Вы понимаете, надеюсь? Это... это... Сейчас. Минутку. Посидите.

Старик беспрерывно шарил по бумаге красным карандашом (стихи он всегда писал только красным карандашом). И вдруг загремел:

СОНЕТ!

Все, что кончается на «енщина»
И даже попросту на «щина»,
Слыло презреньем: «деревенщина»,
«Хлыстовщина» и «чертовщина».

Такою же была и женщина...
Недосягаемый мужчина
Уверовал, что просто вещь она
Из мужних золота и чина.

Но вдруг она в берлоге дедовой
Себя преобразила в тайну —
И сразу выросла от этого

В Елену, Ченчи и Татьяну.
С тех пор сиянием увенчана
Презрительная кличка — «Женщина».

А. Беспрозванный

Ну? Почему вы молчите? Если вы меня сейчас же не похвалите, я умру.

Леська глядел на Акима Васильевича и думал: до какой степени этот человек не только внешне, но и внутренне не похож на того колдуна, который живет в его стихах. Внешне гораздо больше похож Трецек, но тот уже никак не колдун... Однако старик ждал — и Леська спохватился.

— Очень оригинально! — сказал он.

— А главное — верно! — подхватил Аким Васильевич, точно речь шла о стихах какого-то другого автора.— Женщина без тайны — не женщина.

Потом самодовольно улыбнулся и сказал:

— Дважды в жизни поэт пишет о любви хорошо: в юности, когда любовь еще впереди и только мечта, и под старость, когда любовь позади и уже легенда.

— Можно переписать этот сонет на память? — спросил Елисей.

— Наконец-то! Я этого ждал. Тем более что в создании моего сонета есть и ваша заслуга. Обычно, когда я пишу, я чувствую себя скованным: опустишь перо в чернильницу, вытащишь, а на нем уже Трецек сидит. Но сейчас я написал эту вещь абсолютно свободно. И это... это благодаря... вашей... Алле Ярославне...

Он выбежал в коридор, но тут же вернулся, сморкаясь в смятый платочек.

— Переходим к другому жанру,— сказал он.— Вот я набросал несколько мыслей для вашего письма о любви. Я буду вашим Сирано де Бержераком.

— Э, нет! О моей любви буду писать я сам.

Старик обиделся и вышел почти величаво.

Леська ничего не заметил. Он кинулся к перу и, чуть-чуть высунув кончик языка в сторону, принялся писать:

«Алла Ярославна!

Я понимаю: в сравнении с Вами я ничтожество. Нищий студент. Но позвольте мне хотя бы думать о Вас! Мечтать о Вас! Ничего больше! Только мечтать!»

2

Утром, наспех проглотив очередной ломтик сала и с ужасом убедившись, что оно основательно похудело, Елисей побежал к Мишину.

— Сегодня у меня встреча с Залесским, а я голоден, как волк.

— Аванс хотите, бедняжечка?

— Ну да. Меня ветром качает.

— Аванса принципиально не даю, но заправиться вам, конечно, необходимо. Позавтракаете вы у меня, а обедать пойдете со мной в гостиницу.

— Но ведь это те же деньги.

— Нет, не те же. Если я дам вам денег, еще неизвестно, как вы ими распорядитесь. Может быть, пойдете на базар играть с босяками в «три листика», а может быть, преподнесете своей милой букет роз.

— О нет, что вы...

— Да я-то откуда знаю?

Днем Елисей пришел в студию с запозданием, чтобы не встречаться с Мусей. Потом обедал с Мишиным в ресторане. Мишин сам распоряжался меню.

— Жидкого вы есть не будете. Зачем нам напузиваться всяким пойлом? Кельнер! Этому молодому человеку три раза бифштекс: один по-английски, другой по-гамбургски, третий по-деревенски.

— А зачем три разных? — удивился Леська.

— Для коллекции.

Кельнер принес три бифштекса.

— По-английски! — провозгласил он и подал мясо, истекающее горячей кровью.

— По-гамбургски!

Этот был залит яйцом.

— А это по-деревенски? — спросил Леська, увидев третий, осыпанный жареным луком.

— А как же! — сказал Мишин.— В деревне только такой и едят.

Вечером в цирке полным-полно. Особенно много студентов.

Леська уже в трусах стоял за кулисами в «антре» и глядел на черно-янтарного коня, которого подвел берейтор с длинной английской челюстью. Вскоре из своей уборной вышла наездница. Неся на руке огромный шлейф, m-lle Кавальери, быстро переступая ногами, шла к своему великолепному зверю. Высокая, статная, классически красивая, она казалась очень значительной, точно несла в себе величие всей культуры Ренессанса. Неожиданно для себя Леська кинулся к лошади и, сцепив пальцы, подставил женщине ладони, как стремя.

— Грацио! — сказала женщина и, взявшись рукой за седло, легко взлетела на коня, не воспользовавшись Леськиной галантностью.

Леська сконфузился и отошел в сторону. Берейтор, бережно расправив шлейф на конском крупе, крикнул резким голосом: «Алле!» Грянул марш. Всадница выехала на манеж испанским шагом. Поглядев с минуту ей вслед, берейтор угрожающе подошел к Леське:

— Ты, парень, к ней не шейся. Не пуговица.

Елисей вспыхнул. У берейтора был удивительно удобный подбородок для удара «свинглером». Но тут подоспел Мишин.

— Знакомьтесь, господа: это студент Бредихин, наш молодой борец, а это известный Анжело. Он же Митюша Сидоров, укротитель львов.

Вот заиграли марш из «Аиды», арбитр скомандовал: «Парад, алле!» — и на арену, построившись в затылок, вышел чемпионат. Он был очень разнообразен: на борцах — черные, красные, голубые, зеленые трико, у иного алая лента и самоварные медали. Один Леська шагал в своих трусиках, точно выбежал на пляж искупаться. Но светло-шоколадное его тело так блистательно отражало яркие лампионы, а неиспорченная мускулатура, играя, располагалась так пластично, что он казался наряднее всех. Пока гремел марш, Леська озаренно думал о том, что он сегодня же купит сала для прапорщика.

Арбитр начал поименно представлять публике борцов. Каждого встречали хлопками.

— Дауд Хайреддин-оглу (Турция)!

Аплодисменты. Великан выступил на полшага вперед и поклонился.

— Стецюра (Малороссия)!

Шумные аплодисменты (в цирке было много украинцев).

— Ян Залесский (Польша)!

Аплодисменты.

— Чемпион Богемии Марко Сватыно! — объявил наконец Мишин.

— Не Сватыно, а Свобода! — крикнул кто-то из задних рядов.

— Да здравствует Марко Свобода!

— И вообще свобода! — подало голос верхотурье.

— Да здравствует свобода! — ревела галерка.

Слово «свобода» варьировалось на все лады. В конце концов цирк устроил идее свободы овацию, и Марко кланялся, прижимая руку к сердцу.

Полковник делал вид, будто он так же глуп, как и сам Марко. Руки его в белых перчатках аплодировали вместе со всей публикой, не очень, правда, горячо, но все-таки.

Елисея выпустили в третьей паре. Противник его, как было сказано в афише, чемпион Польши Ян Залесский. Оба знали, что Залесский обязан лечь на лопатки после первого перерыва, поэтому упоенно «продавали работу»: резвились на ковре, как дети. Здесь были «мосты», «пируэты», «турдететы» — все, о чем Леська мечтал. На двенадцатой минуте неожиданно для себя Леська оказался победителем и под крики болельщиков торжественно удалился за кулисы.

Здесь к нему подошел Шокарев.

— Володя! Дорогой! — искренне обрадовался Бредихин.— Я разыскиваю тебя целую неделю.

— Но ты ведь мог узнать обо мне в адресном столе.

— Мог, но боялся твоего отца.

— Гм... Он, конечно, очень недоволен, но я ему объяснил, что благодаря «Синеусу» мы сохранили квартиру со всеми ценностями, амбар на Катлык-базаре, а главное — «Монай»: не будь там коммуны «Заря новой жизни», крестьяне сожгли бы усадьбу. В общем, подытожили, сбалансировали, и получилось, что игра стоит свеч.

— Ну, вот видишь. Я очень рад.

Пришла Муся Волкова.

— О! И Володя здесь?

Елисей попросил их подождать на конюшне и убежал в борцовскую раздевалку. Володя и Муся бродили вдоль лошадиных стойл и любовались самым красивым зверем на свете — конем. Особенно понравился им вороной жеребец Бова Королевич.

— Он так блестит,— сказала Муся,— что, глядясь в него, можно поправить прическу.

Вскоре Елисей вышел к своим гостям, совершенно сияя от сознания, что у него триста керенок. Они вышли на улицу и направились в кафе «Чашка чая».

За столиком Шокарев светски ухаживал за Мусей, но Леська держался безразлично.

— Леся! — обратилась Муся к Бредихину.— Ты борешься в трусиках, и это выглядит не очень солидно. Все борцы как будто одеты, а ты словно голый. Тебе надо приобрести глухое трико.

— Спасибо. Подумаю.

— Только не черное,— сказал Шокарев.— Черное делает человека тоньше, а борец должен выглядеть как можно более мощным.

— Да, да. Володя прав. Купи себе знаешь какое?

— Красное?

— Белое. Только белое. Это так благородно.

— Все белое благородно?

— Ну, не все, конечно,— засмеялась Муся.

Чтобы переменить эту опасную тему, Шокарев заказал шампанское. Он поднял свой фужер и мягко сказал:

— Гляжу я на вас, ребята, и думаю: какие мы все-таки уже взрослые. Сидим в чужом городе, пьем вино в двенадцатом часу ночи, и никто не загоняет спать. За что пьем?

— За будущее! — сказал Елисей.

— Отлично.

— Хотя у каждого из нас свое будущее, но присоединяюсь,— сказала Муся и пригубила из фужера.— Но раз уж мы заговорили о будущем... Какие у вас идеалы? В чем смысл вашей жизни? Думали вы об этом? Ну, Лесю я понимаю: он сын рыбака и мечтает, конечно, о том, чтобы на свете не было — как это формулируется у большевиков? — «эксплуатации человека человеком».

— Нет, мне этого мало.

— А что же еще?

— Я мечтаю о том времени, когда управлять людьми будут умы, а не посты.

— Разве это возможно?

— Не знаю, но это моя мечта, и я в нее верю.

— А ты, Володя, о чем мечтаешь?

— А я мечтаю о том времени, когда Леська окончит юридический факультет и пойдет ко мне в управляющие.

— На корню покупаешь? — засмеялся Леська.

— Почему бы и нет? Ты человек проверенный.

— В каком смысле?

— В политическом. Ты много раз имел возможность уйти с большевиками, получить большой пост. Вот, например, Гринбах. Ему всего двадцать, а он уже комиссар Огневой дивизии.

— Откуда ты знаешь?

— В Осваге все знают. Кстати: Деникин взял Тулу, а Мамонтов кавалерийским рейдом прорвался к Тамбову.

Он поднял бокал и выпил его до дна.

— Так ты работаешь в Осваге? — спросил Елисей.

— Работаю. И даже имею чин подпоручика.

— Ого! Какая карьера для Владимира Шокарева! — засмеялась Муся.

— Поздравляю,— глухо сказал Бредихин.— А зачем тебе это нужно, типус ты симбурдалитикус?

— Сам не знаю, откровенно говоря. Все молодые люди что-то делают, над чем-то работают, имеют какой-то собственный заработок. Вот и мне захотелось. Помнишь, Елисей: когда вы, бывало, всей компанией шли в баню, я плелся за вами, хотя у нас в доме великолепная ванна с душем.

— Помню, помню. Но баня все-таки не Осваг: за нее не расстреливают.

— Расстреливают? — усмехнулся Шокарев.— Деникин взял Тулу. Будем танцевать отсюда.

— Ну-ну, танцуй, танцуй.

Муся повернулась к Елисею.

— Почему ты не пришел в студию вовремя? Избегаешь меня?

— А тебе не все равно?

Муся не ответила.

— Э, да вы ничего не пили! Обидно. Ну-ка, репетатум! — воскликнул Шокарев и снова налил шампанского в свой фужер.

— Мальчики, пьем!

— Как приятно, что ты меня тоже называешь мальчиком,— сказала Муся.

— Почему приятно? — спросил Елисей.

— Да так. Вероятно, каждой женщине хочется быть мужчиной.

— Только не такой красивой женщине, как ты,— галантно отозвался Володя.

Приятели чокнулись и выпили. На этот раз без тоста.

Вышли из кафе на улицу. За всех заплатил Елисей, не позволив Шокареву даже вынуть бумажник.

— Ладно! Сколько раз ты платил за меня, позволь уж и мне хоть один разочек.

Двенадцати еще не было,— значит, магазины открыты. Леська, предоставив Шокареву проводить Волкову, начал прощаться.

— Володя! — сказал он вдруг.— А почему бы тебе не жениться на Мусе? Она ведь такая прелесть.

— А почему не женишься ты?

— А чем я буду ее кормить?

— Одна сваха,— очень спокойно сказала Волкова,— одна сваха задумала выдать замуж дочь бедного портного за графа Потоцкого, но для этого девушке, которая была еврейкой, пришлось бы перейти в католичество. Сваха долго уговаривала родителей и наконец добилась согласия. «Половина дела сделана,— подумала сваха.— Теперь остается уговорить графа Потоцкого».

— Извини, Муся, но мы ужасно пьяны.

Елисей сбегал в магазин, купил большой кусок свиного сала и, придя домой, тут же заменил им кирпичишко господина прапорщика. В эту ночь спал он с великим наслаждением и чистой совестью, а утром, пригласив Акима Васильевича, задал пир. Поэт тоже не остался в долгу и притащил горчицу.

Сытость предрасполагает к доверию и откровенности. Леська рассказал о Мусе Волковой. Старик насторожился.

— Боюсь, как бы вы в нее не влюбились, Елисей.

— Это исключено.

— Заклинаю вас! Во-первых, вы не смеете соблазнять бедную девушку. А во-вторых, мы упустим Аллу Ярославну.

В университете Леська подошел к приват-доценту Карсавиной. И опять в нем возникло ощущение, какого давно не было: точно это не он вручал свое ошалелое письмо, а кто-то другой.

— Вот,— сказал Леська и положил конверт на кафедру.

— Не густо,— засмеялась Алла Ярославна.

Леська ничего не ответил и отошел. Он видел, как она повертела в руках конверт и, недоуменно поведя бровями, опустила его в портфель, как в почтовый ящик.

«Что я сделал?! — подумал в ужасе Леська.— Боже мой, что я сделал? Это непоправимо!..»

— Ну, что? Разыскал Шокарева? — спросил на улице Еремушкин.

— Разыскал. Оказывается, он служит в Осваге.

— Ну? Вот это здорово! Это ты молодец! Сказал он что-нибудь?

— Говорит, что белые взяли Тулу.

— Врет. А еще что?

— А еще Мамонтов прорвался к Тамбову.

— Это правда.

— Слушай, Еремушкин. Когда тебе нужно, ты являешься в университет. А я куда пойду, если захочу тебя видеть?

— Это вопрос,— раздумчиво сказал Еремушкин.— Это не так просто — дать явку. Но ты прав. Должен же ты меня информировать, если что срочное. Я сообщу своим, а дня через три-четыре заявлюсь сюда.

За время отсутствия Еремушкина ничего особенного в Леськиной жизни как будто не произошло. Однажды прапорщик Кавун явился на кухню и, показывая сало в тряпочке, изумленно заговорил:

— Лежало оно за ставней и разбухло. Но как?! Было два фунта, а теперь с гаком, а гаку тоже не меньше полфунтика. Чудеса!

— Чем же это плохо? — спросил Аким Васильевич.

— А черт его знает! Боюсь его есть.

— А вы отдайте студенту: он переварит и железо.

Прапорщик вернулся в свою комнату и снова ткнул сало за окно.

Став любимцем публики, Леська делал полные сборы и хорошо зарабатывал. Под ним ложились даже солидные борцы, тот же Марко Сватыно, который тянул около семи пудов. Когда Елисей смущенно заметил Мишину, что это в конце концов жульничество, арбитр очень резко оборвал его:

— Ты, Бредихин, в мою коммерцию не лезь. А вообще говоря, в цирке борьба не спорт, а театр. У каждого борца свое амплуа, как у актера. В чемпионате должен быть великан. У нас это Дауд-оглу. Потом один толстяк: в Питере Дядя Пуд, а у нас Марко Сватыно. Один красавец. У нас Залесский. Ну, герой-любовник. Это пока ты. У тебя будет одна ничья с Даудом, а положит тебя «Черная Маска».

— Кто же это? — с неудовольствием спросил Леська.

— Чемпион мира Чуфистов. Он сейчас в Алуште, но я его вызову.

Леськино положение в чемпионате нисколько не вол-

повало остальных бойцов: благодаря «Студенту Икс» они получали высокий гонорар и оставались вполне довольны. Недоволен был один Стецюра. Однажды в борьбе с Елисеем он получил задание проиграть на десятой минуте. Леська, великолепный в своем белом трико, легко работал со своим противником, не подозревая ничего плохого. И вдруг во время особенно изящного пируэта очутился на обеих лопатках: Леська играл, а Стецюра боролся всерьез. Как это объяснить публике, которая дико свистела от разочарования?

Арбитр Мишин, выйдя на арену, зычно провозгласил:

— В поражении «Студента Икс» виноват я. Студент еще вчера заявил мне, что у него температура, и просил разрешения отлежаться, но имя его уже стояло на афише, и я ему отказал.

— Бесчеловечно! — завизжала какая-то женщина.

— Антигуманизм! — кричали студенты.

— Долой Мишина!

Мишин с наслаждением слушал эти горячие выкрики, потом поднял руку и снова провозгласил своим колокольным голосом:

— Реванш состоится через неделю. Я лично ставлю за студента сто рублей николаевскими против любого, желающего ставить за Стецюру. Прошу почтеннейшую публику посетить наш цирк в этот день.

За кулисами Мишин сказал:

— Спасибо, Стецюра. В день реванша я повышу цены вдвое, но тебя оштрафую так, что ты запомнишь меня на всю жизнь.

— Я убью вашего студента,— мрачно ответил Стецюра.

— Это твое дело. Но обманывать арбитра не смеешь, иначе получишь «волчий билет» и ни один чемпионат тебя больше не примет.

В назначенный день Стецюра и Бредихин снова встретились на ковре. Елисей, как всегда, был в белом, Стецюра — в синем, но сегодня на нем почему-то был пояс. Это показалось Мишину подозрительным. Накануне Мишин сказал Стецюре:

— Ты ляжешь после перерыва. Студент возьмет тебя на «передний пояс» и подымет. Ясно?

— Ясно.

— И чтоб комар носа не подточил. Смотри мне!

Теперь Елисей боролся осторожно. Ни «пируэтов», ни «мостов». Борьба проходила скучно.

— Работать надо! — кричали с галерки.

— Давай, давай, студент!

Шла восьмая минута. Елисей готовился к «переднему поясу», и вдруг раздался свисток. Борцы остановились. Мишин ястребом налетел на Стецюру и вырвал из его пояса металлическую пряжку, острый язычок которой был выдвинут наружу: если б Елисей, обхватив противника, поднял его на себя, он распорол бы себе брюшину.

Арбитр поднял пряжку высоко вверх и показал публике.

— Вот на что идут некоторые борцы! Стецюра хотел нанести студенту тяжелое ранение.

С галерки раздался львиный рев. Стецюра бросился за кулисы. Но толпа, перепрыгивая через барьер, хлынула за ним. Мишин развел было руки, чтобы приостановить бурю, но его отбросили в сторону. Стецюра кинулся на конюшню, выключил свет и мимо Анжело и его дамы нырнул в угол стойла вороного жеребца. Толпа заполнила конюшню, но жеребец мирно грыз овес, время от времени оглядываясь на толпу и посвечивая в полутьме фиолетовым глазом.

Стецюру, конечно, выгнали из чемпионата. Трецек хотел даже дать в своей газетке двадцать строк под названием «Борец Стецюра — Джек Потрошитель», и целую неделю народ валом валил в цирк поглядеть на милого сердцу студента, который едва спасся от гибели. Его осыпали цветами, забрасывали записками с просьбой о свидании, бросали в конвертах деньги.

Когда волнение утихло и сборы снова начали падать, Мишин придумал новую сенсацию.

— Елисей! Ты будешь бороться с любым дядькой из публики на звание чемпиона Крыма полутяжелого веса.

— Что вы, Мишин, куда мне?! Здесь ведь будет уже не театр, а самое настоящее.

— Ну и что ж такого? Неужели ты не положишь любого дядьку твоего веса, если он не знает всех тонкостей борьбы?

— Все-таки страшно.

— Не робей! Все пойдет как по маслу. Жюри-то будет мое!

Когда Мишин объявил с арены о состязании «Студента Икс» с любым желающим из публики, он выдвинул условия, которые были жестче самого Дракона с его кодексом:

— Первое: раз борьба ведется за звание чемпиона Крыма, то и бороться со студентом имеют право только жители Крыма. Второе: вес каждого претендента на это звание не должен превышать пяти пудов, поскольку сам студент весит четыре с половиной. Третье: соперник должен знать основные правила классической борьбы. Хватать ниже пояса, подножки, а также зажим органов дыхания запрещаются.

На арену вынесли базарные весы, стол и три стула.

— Почтеннейшая публика! Прошу трех человек занять места за судейским столом!

Из ложи, не мешкая, вышел высокий и тощий полковник из отставных земгусаров (это был сосед Мишина по меблирашкам, с которым арбитр частенько выпивал), за ним — любовница Мишина и одновременно хозяйка меблирашек и, наконец, городской сумасшедший Ефремка. Ефремку в городе хорошо знали и встретили его смехом и аплодисментами.

— Желающие бороться со студентом — ко мне! — гремел Мишин.— Пожалуйста! Не стесняйтесь! Есть же силачи среди вас. Крымская земля, как говорится, не пуста́ стоит.

И вот с трибуны сошли: короткий приземистый татарин и двое русских. Мишин потребовал паспорта.

— Вы мелитополец,— сказал он одному из русских.— Извините, но участвовать в соревновании вы не можете.

Потом он велел двум другим раздеться до пояса, снять сапоги и взвеситься. Тут все было правильно.

— На арену вызывается «Студент Икс»!

Под громкие аплодисменты вышел юноша в белом трико. Он был подобен колонне.

— Борьба ведется пятнадцать минут! — снова объявил зычный голос.— Если схватка не приведёт к прямому результату, победа присуждается нашему борцу. Начали!

Борцы сошлись. Елисей, как полагается, протянул противнику руку, но тот, не здороваясь, кинулся на Елисея и свалил его на бок. Публика засвистала и зашикала.

— Некорректно, да бог с ним,— оглушительно заметил Мишин.— Наших борцов таким манером не возьмешь.

Действительно: Леська стряхнул с себя пять пудов и улегся лицом вниз. Противник пробовал повернуть Елисея то справа, то слева и тяжело дышал. От него пахло квасом и луком. Леська представил себе что-то вроде окрошки. Окрошку он давно не ел: в Крыму ее не знали.

Не сумев приподнять Леську, едок окрошки стал локтем сильно тереть ему шею.

Толпа зашумела.

— Прием запрещенный! — рявкнул Мишин.

— Неправда! — закричал сумасшедший Ефремка, выскакивая из-за стола.— Я видел, как Марко, этот святой, тер голову Залесскому, который чемпион Польши. Сам видел. Это называлось «массаж».

Публика засмеялась и наградила Ефремку хлопками. Народу хочется правды. Хотя бы и в речах сумасшедшего.

Пока противник, ухватив борца за плечи, пытался приподнять античное это тело, Елисей вдруг схватил его руку под мышку и крепко зажал у груди. Затем, не давая опомниться, сделал высокую «свечку» и широкой своей спиной припечатал парня к ковру.

Цирк загремел.

— Господин студент Икс! — обратился Мишин к Леське.— Согласны ли вы сегодня бороться со вторым претендентом, или мы отложим схватку до завтра?

— Я абсолютно свеж,— ответил Елисей, улыбаясь.— И если публика желает...

Публика аплодисментами ответила, что желает.

Теперь против Елисея вышел татарин. От него тоже пахло луком, но в сочетании с бараньим салом.

«Шашлык»,— подумал Леська, и ноздри его раздулись.

Татарин начал с хитрости, как и русский парень, но провел гораздо более своеобразный прием. Сначала он все юлил, бегал от Леськи по всему ковру и даже за его пределами, вызывая хохот зрителей, и вдруг с хищной гибкостью бросился противнику под ноги. Леська, споткнувшись о татарина, упал, а тот мгновенно навалился на его плечи. По-своему это был великолепный борец. Но классика не признавала такого рода увертку. Публика неистовствовала. Арбитр поднял руку.

— Такого на арене еще никогда не бывало. Я не могу сказать, запрещенный это прием или нет. Я обращаюсь к господину студенту. Господин студент! Угодно ли вам считать этот прием запрещенным? Если да, то я сейчас же дисквалифицирую вашего противника.

— Пусть борется дальше,— глухо ответил Елисей, лежа под татарином.

Слова его были приняты аплодисментами: народ ценит благородство.

На третьей минуте Леська перевел противника в пар-

тер, сделал вид, будто замешкался, и, когда татарин вздумал было подняться, молниеносно поймал его на «обратный пояс» и вскинул вверх. Теперь татарин лежал у него на плече. Елисей пронес его по всей арене и, дойдя до середины, швырнул на ковер. Татарин грохнулся, как мешок с песком, и не сразу сообразил, где он.

В течение дальнейших десяти дней цирк ломился от зрителей. На Леську лезли русские грузчики, татарские пекари, украинские хлеборобы. Он втянулся в эту борьбу. Она захватила его гораздо глубже, чем дешевая игра в чемпионате: здесь боролись люди с жизненным опытом, и каждый проявлял какую-нибудь смекалку, чтобы обойти правила. Это был сам народ, который ни в чем не выносил каких бы то ни было рамок. Если б им разрешили вольную борьбу, какая встречается в самой жизни, многие из грузчиков, пекарей, хлеборобов победили бы Леську, но арбитр Мишин и триумвират Лжеполковник — Любовница — Сумасшедший неизменно присуждали победу студенту, и в конце концов довольно справедливо: играя в шахматы, нельзя ликвидировать королеву, сдунув ее с доски.

За кулисы с арены вся в аплодисментах въехала m-lle Кавальери. Соскочив с коня и подобрав шлейф так, что открылись ее высокие ноги в телесном трико, она подошла к Елисею.

— Зачем эта борьба с этими потными мужиками? Вы есть студент. Кажется, да?

— Да, студент.

— О, это так красиво! Студент.

— Но студенту тоже надо питаться, m-lle.

Но тут к ним подошел Анжело — Сидоров.

— Слушай! Я тебе уже говорил: не подбирайся к этой женщине.

— Слушайте! — ему в тон ответил Леська.— Меня зовут Елисей. Понятно? Елисей, а не Лев. Так что потрудитесь не дрессировать меня. Я...

Итальянка засмеялась и коснулась двумя пальцами его рта, как бы приказывая замолчать. Леська поцеловал эти пальцы и ушел, ощущая на губах виноградину. Это уже кое-что...

Но вдруг его вызвали к ректору.

«Вот оно! — подумал Леська.— Карсавина пожаловалась, и сейчас меня будут исключать из университета».

Но Аким Васильевич ничуть не смутился:

— Вас вызывают совершенно по другому поводу. Ни одна женщина не поставит под удар мужчину только за то, что он ее любит. Одно из двух: либо я ничего не понимаю в женщинах, либо мир изменился в корне.

Но мир в корне не изменился, и колдун, пожалуй, действительно понимал толк в женщинах.

— Я очень рад вашим спортивным успехам,— сказал ректор.— Но звание циркача несовместимо со званием питомца Таврического университета. Вам, дорогой мой, придется выбрать между «Студентом Икс» и студентом Бредихиным. Еще одно выступление на арене цирка — и вы поставите себя вне стен вашей alma mater.

Так закончилась блестящая карьера Елисея Бредихина.

Денег у Леськи было много, но он понимал, что они быстро разойдутся, поэтому купил себе зеленый студенческий костюм с орлами, о которых мечтал с детства, внес деньги за второе полугодие в канцелярию университета, снова заплатил Беспрозванному вперед за квартиру и опять остался с пустым карманом. И вновь пошло в ход сало прапорщика.

В университете Карсавина раздала студентам рефераты.

— Вы свободны, коллеги! — объявила она своим ясным голосом.— Студента Бредихина прошу остаться.

Студент Бредихин сидел на скамье в совершенном одиночестве. Сидел, как на скамье подсудимых. Алла Ярославна подошла и принялась глядеть на него с выражением, которого Леська не разгадал.

— Что означает это сочинение? — спросила она официальным тоном.

— Там все сказано...

— Это писал душевнобольной.

— Может быть, мы спустимся в Семинарский сад? — робко спросил Леська.

Карсавина вспыхнула:

— Однако вы, оказывается, записной донжуан!

— Это явствует из моего письма?

Карсавина опустила веки.

— Нет.

(Это была настоящая женщина.)

— Слава богу. Что же меня теперь ожидает? Вызов к ректору? Исключение?

— Как вы осмелились, Бредихин? Кто дал вам право?

— Алла Ярославна! Клянусь вам: я бы никогда не

осмелился. Но я полюбил вас еще в Севастополе, когда вы допрашивали меня в тюрьме. Помните? Я тогда был гимназистом... Весь ваш обаятельный облик, мягкий ласковый голос, теплая рука на моем затылке... И это не было тонкой тактикой следователя, вы действительно выпустили меня на волю!

Карсавина рассеянно смотрела на Елисея, разглядывая его брови, ноздри, губы.

— Так это были вы?

— Да, но у меня к вам один вопрос. Разрешите? — спросил Елисей.

— Спрашивайте.

Леська понизил голос:

— Как вы могли стать следователем у белогвардейцев? Вы! Такая чудесная!

Алла Ярославна сделала порывистое движение.

— Вы коснулись моей раны... Это мучает меня до сих пор... Арестованных было много, следователей мало. И вот министерство внутренних дел мобилизовало чуть ли не всех чиновников юстиции, прихватив и профессуру. Но я делала все, чтобы отпустить на свободу как можно больше людей. Уж вы-то это по себе знаете.

— Но представляли и к повешению? — все так же тихо спросил Леська.

— О нет, нет...

— Вы правду говорите?

— Даю вам честное слово! К тому же мне, как женщине, давали самые легкие дела.

Леська взял в ладони ее руку и поцеловал. Она улыбнулась и сказала:

— А теперь уже вы меня допрашиваете?

— Простите.

Она отняла руку.

— Я должна идти.

— Нужно ли мне писать реферат о суде присяжных?

— А вам не хочется?

— Да не очень. После толстовского «Воскресения» что можно сказать о нем хорошего?

— Матрикул с вами?

— Со мной.

— Разрешите.

Она взяла матрикул, полистала его, нашла свою графу и поставила зачет.

Аким Васильевич был в восторге:

— Поздравляю! Вы для нее уже личность. Она о вас думает. И вообще, что я вам говорил? Аким Васильевич коечто в женщинах понимает. Кстати: сегодня сюда заходила очень миленькая барышня и оставила для вас сверток.

Леська разрыл три слоя папиросной бумаги и увидел синий кожаный пояс.

— Тут и записка есть. На столе.

«Милый Леся! Для белого трико необходим пояс, и обязательно синий. Поверь моему вкусу: это очень элегантно. Прими мой скромный подарок.

Мария».

— Вы имеете исключительный успех у женщин, Елисей, хотя, может быть, сами того не подозреваете. Однако не смейте разбрасываться. Эту девушку, Мусю, оставьте в покое,— вы разобьете ей жизнь. Займитесь Аллой Ярославной, и только ею. Такая женщина сама может свести в могилу всякого.

— Ну, я бы этого не сказал...

— А я сказал!

В университете к Леське подошел Еремушкин.

— Вот тебе адресок: консервная фабрика «Таврида». Это около тюрьмы. Вызовешь мастера Денисова, а он свяжет тебя со мной.

— Спасибо.

Бредихин вошел в аудиторию и сел на скамью, полный воспоминаний о своем разговоре с Аллой Ярославной. Над кафедрой гудел Булгаков, который пытался разрешить проблему промышленных кризисов. Мелькали имена Лавеле, Жюгляра, Милльса, Сисмонди, Родбертуса, фон Кауфмана, даже Туган-Барановского, но имя, которое обязательно должно было фигурировать в этом перечне, отсутствовало. Больше того: когда Булгакову нужно было произнести слово «революция», он говорил: «привходящие обстоятельства». Когда же Булгаков, затронув проблему стоимости, начал опираться на теорию предельной полезности Бём-Баверка, Бредихин встал и поднял руку:

— Я хотел бы задать вопрос.

— Пожалуйста.

— Почему, привлекая Бём-Баверка с его теорией, которая объясняет только частности, вы ничего не говорите о прибавочной стоимости Маркса? И второе: почему, перечисляя имена от Лавеле до Тугана с их домыслами, вы и здесь игнорируете Маркса, а ведь он связывает промышленные кризисы с природой капитализма?

Студенты замерли.
— Как ваша фамилия?
— Бредихин Елисей.
— Так вот, Бредихин Елисей: вы наглотались большевистских брошюр, и теперь в вашем мозгу каша.
— Допустим. Но это не ответ на мой вопрос.
— Хорошо. Наша следующая встреча специально для вас будет посвящена теории Маркса, и вы, господа, сумеете убедиться, насколько она далека от науки.
— А вас больше устраивает теория Джевонса, объясняющая кризисы вспышками на Солнце? — дерзко воскликнул Бредихин.
— Вы очень развязны, молодой человек!
Священник собрал свои шпаргалки и большими шагами, едва не раздирая своей рясы, вышел из аудитории до звонка.
Студенты зашумели, кинулись к Бредихину, изо всех сил жали ему руки.
— Какой молодец!
— Как его фамилия?
— Ну, это будущий профессор.
— Я хотел бы скорее учиться у вас, чем у «отца преосвященного»,— сказал ему студент, левая щека которого все время прыгала.— Разрешите представиться: Валерьян Коновницын — сын бывшего городского головы.
Леська шел домой очень возбужденный.
«Надо будет перечитать Маркса. Подготовиться. Я еще покажу этому попу. Он еще меня узнает. Если мы студенты, то это еще не значит, что мы ни черта не понимаем».
Дома он застал Беспрозванного в великом горе.
— Теперь мне уже вернули стихи из самих «Крымских новостей». Боятся.
Он протянул Елисею рукопись. Леська пробежал ее и улыбнулся.
— Остроумно, но, по-моему, совершенно безобидно.
— Вы так думаете? — дрожащим от оскорбления голосом спросил Аким Васильевич и торжественно прочитал:

Живет на свете существо,
Какое встретится не часто:
Вся философия его
От настроения начальства.

Или вот это:

Политический твой принцип —
Кахетинского и брынзы б.

Ну и так далее. Безобидно? Смотря с чьей точки зрения. Вы, например, не подходите под эти рубрики, и вам как с гуся вода. Но ведь я задел таких людей, для которых философия жизни — это приспособленчество и чревоугодие. Ничего больше!

— Зачем вы носите по редакциям такие вещи, которые нельзя печатать?

Колдун хитро усмехнулся.

— У Чехова в записной книжке имеется одно место. Антон Павлович говорит, что диалог рыжего клоуна с белым — это беседа гения с толпой. Милый Леся, не обижайтесь, но ведь я этот самый рыжий и есть. Ваши реплики очень правильны, но у меня свой расчет. Когда я приношу в газету такие невозможные вещи, я, конечно, знаю, что их не возьмут. Но мне известно и то, что репортеры тут же их перепишут, вызубрят наизусть и разнесут по всему городу. Чем не тираж?

— О, вы опасный человек, Аким Васильич!

— Служу обществу, дорогой мой. Вот так.

В коридоре послышались чьи-то шаги и голос удивительной свежести:

— Студент Бредихин здесь живет?

— Здесь!

Елисей вышел в коридор.

— Боже мой! Алла Ярославна? Какими судьбами?

Услышав имя Карсавиной, Аким Васильевич вырвался вперед, как рысак на ипподроме, расшаркался, представился, чмокнул ей ручку и побежал ставить самовар. Елисей пригласил Аллу Ярославну в свою комнату.

— У вас опрятно, как в девичьей,— сказала Карсавина, оглядывая Леськино жилье.

Леська стоял, обалдев от счастья.

Маяковский еще не написал своего стихотворения о Солнце, которое придет к нему в гости на Акуловой горе, иначе Леська непременно вспомнил бы о нем.

— Ну и наделали же вы дел своей пикировкой с Булгаковым,— сказала она, сняв шляпку и оправляя на ней вуаль.— Весь университет жужжит на самой высокой ноте.

— А почему же он прячет от студентов Маркса?

— Он считает его теории ненаучными.

— Он считает... В таком случае спорь! Опрокинь! Но сначала изложи эти теории. Мы ведь пришли в университет учиться, а не политиканствовать. Я хочу знать все, что делается в науке, которую я изучаю. Булгаков привел це-

лый список теорий, начиная с Лавеле. Но не все же эти теории он считает правильными. Так? Почему же «неправильного» Маркса нужно от студентов скрывать?

Карсавина засмеялась:

— Да потому, что его теория... правильная.

— Милая! — воскликнул Леська и кинулся к ее рукам, чтобы расцеловать их.

Алла Ярославна отстранила его.

— Не так бурно, Елисей Бредихин. Хотя вы были правы по существу, но действовали, как мальчишка. Неужели вы до сих пор не поняли, что история — дама несправедливая и довольно глупая?

Вошел Беспрозванный с самоваром, затем исчез и появился вновь: от старика со страшной силой пахло одеколоном, которым душился Кавун.

— Расскажу вам, Алла Ярославна, одну историю, которая случилась лично со мной. А вы, Елисей, пока разливайте чай.

Прочитав однажды в журнале «Аполлон» стихи Черубины де Габриак, я влюбился в нее заочно и послал ей пламенное письмо. В ответ получаю совершенно возмутительную записку от Гумилева:

«Болван! Эта женщина — литературная мистификация».

Был в это время в Симферополе поэт Максимилиан Волошин. Я показал ему эту записку. Волошин расхохотался.

«Ну, хорошо,— говорю.— Пусть мистификация, но почему «болван»?»

«Потому «болван», что Гумелев сам оказался в дураках. Вот как было дело».

И Волошин стал мне рассказывать:

«Бродили мы однажды с Андреем Белым по берегу моря в Коктебеле. Глядим — трупик ската. Вы видели когда-нибудь ската? Он похож на серый туз бубён с хвостом, напоминающим напильник. Андрей говорит:

«А ведь у него, в сущности, монашеское одеяние. Голова с капюшоном, остальное — ряса. Как могли бы звать такого монаха?»

«Габриэль»,— говорю я.

«Нет. Пусть это будет его фамилией: Габриак. Даже де Габриак. А имя у него такое: «Керубино» — от древнееврейского «херувима».

«А что, если это женщина? Прекрасная молодая женщина, унесшая тайну в монастырь?»

«О! Тогда ее будут звать Черубина де Габриак».

«Превосходно. А какие стихи могла бы писать такая женщина?»

Начали сочинять, перебивая друг друга и пытаясь нащупать характер этой загадочной монахини. В конце концов настрочили несколько стихов. Одну строфу я помню наизусть:

И вновь одна в степях чужбины,
И нет подобных мне вокруг...
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?

Отдали переписать одной девушке, у которой был изящный почерк, и отправили в журнал «Аполлон». Там стихами заведовал тогда Гумилев. Ну, Николай мгновенно сошел с ума; тут же, немедля напечатал их и прислал Черубине на адрес нашей девушки пламенное объяснение в любви. Тогда мы с Андреем решили продолжать нашу игру. Ответили на его письмо со всей сдержанностью, на какую способна молодая монахиня с прошлым, и дошли до того, что по приезде в Петербург вызвали Гумилева от ее имени в ателье художника Головина. Гумилев бросился на свидание, точно акула на железный крюк. Но когда его привели в мастерскую, он увидел в креслах меня, Алексея Толстого и Маковского. Бедняга начал озираться. Тут я встал, подошел к нему и произнес:

«Позвольте отрекомендоваться: Черубина де Габриак».

«Негодяй!» — закричал взбешенный Гумилев.

Я ударил его по физиономии.

«Раздался мокрый звук пощечины!» — сказал Толстой, цитируя Достоевского.

Гумилев тут же вызвал меня на дуэль. Когда мы уходили, я извинился перед Головиным за учиненный в его ателье скандал.

«Пожалуйста, пожалуйста! — пролепетал растерявшийся хозяин.— Сколько угодно!»

Все засмеялись.

— А дуэль? — спросила Алла Ярославна, слушавшая с большим интересом.— Дуэль-то состоялась?

— Ого! Еще какая! — захихикал Аким Васильевич.— Достали пистолеты, карту, выехали за город к Новой Деревне,— все как полагается. Толстой выбрал в рощице лужайку, которая показалась ему наиболее удобной, и пошел к ней удостовериться в ее пригодности для такого романтического дела. Был он в цилиндре и в черном сюртуке. Шел

очень серьезно, почти олицетворяя собою реквием, и вдруг провалился по бедра. Когда же вылез, оказался весь, извините, в вонючей тине: лужайка была свалочным местом.

Все снова расхохотались. Особенно заливалась Карсавина. Она оказалась очень смешливой.

— Ну, вы понимаете,— продолжал в совершенном восторге Аким Васильевич,— что после этого ничего серьезного быть уже не могло.

Алла Ярославна снова надела шляпку и начала натягивать вуаль.

— Вы проводите меня, Бредихин?

— Конечно, конечно...

Она вышла в коридор.

— Извините, что не оставил вас тет-а-тет,— зашептал Аким Васильевич, пригибая к себе Елисея.— Но она так прелестна, что я не смог... И потом — какой прекрасный собеседник!

— Собеседник? Она? — злобно переспросил Елисей.— Но ведь вы не дали никому слова сказать!

На улице Леська взял Карсавину под руку.

— Разрешите?

Она крепко прижала его руку к своей талии и повернула к нему голову.

— Вам надо скрыться, Бредихин,— сказала она тихо.

— Как скрыться? Зачем?

— Я за этим к вам и пришла, но ваш бойкий старичок... Словом, боюсь, что прийти на лекцию Булгакова вы сможете беспрепятственно, но выйти оттуда...

— Неужели это серьезно?

— К сожалению, да.

— Почему вы так думаете?

— Я сегодня исповедала вашего священника. Он разъярен и уже звонил одному нехорошему человеку. Ректор напуган до последней степени: в его университете агитатор, а вы знаете, какое это сейчас страшное слово? За агитацию вешают.

Леська помолчал. Шли они темными переулочками. Леська нарочно петлял, чтобы побыть с Аллой Ярославной подольше. Она не протестовала.

— Как я счастлив, что вы пришли. За предупреждение спасибо, но...

— Послушайте, Бредихин. Вы очень молоды. А в вашем возрасте любовь — это алгебраический икс, под который можно подставить любое именованное число.

Леська несколько опешил. Он вспомнил Васену и тут же Марту, Аллу Ярославну и тут же Мусю... Проклятая юность! Когда она кончится!

У выхода на Дворянскую Карсавина остановилась.

— Ну, здесь мы простимся. Действуйте быстро, Бредихин. Желаю удачи.

Леська ждал, что она его на прощанье поцелует, но у Аллы Ярославны не было этой мысли. Вообще женщины редко способны на чудо. Вот Карсавина — уж на что личность, а не додумалась...

Леська видел, как она уходила в огни синей улицы, и шептал ей вслед:

— Я люблю тебя! Милая! Я люблю тебя!

Так бездарно оборвался его роман с этой замечательной женщиной. Но жить все-таки нужно. Что ему предпринять теперь, сейчас, в эту минуту?

У Леськи была повадка молодого тигра. Старый тигр людей не боится, но молодой никогда не вернется на то место, где его учуяли охотники, даже если там осталась туша свежего оленя.

3

Елисей не возвратился на Петропавловскую площадь. Он пошел к тюрьме, разыскал фабрику «Таврида» и вызвал мастера Денисова.

— Мне нужно видеть Еремушкина,— сказал он Денисову.

— Еремушкин умер.

— Да что вы?! Не может быть! Ведь он только недавно...

— Тшш... Не кричите. Ваша как фамилия?

— Бредихин.

— Студент?

— Студент.

— А-а... Ну, пойдемте.

Пройдя через весь двор, вкусно пахнувший яблочным вареньем, они подошли к маленькому домику. Денисов вошел первым.

— Еремушкин, к тебе студент.

Еремушкин показался на пороге.

— Здравствуй, Еремушкин!

— Чай пить будем?

За столом хозяйничала молоденькая девушка.

— Знакомьтесь! — сказал Еремушкин.
— Фрося.
— Ефросиния Ивановна! — поправил Денисов.
— Это ваша дочь? — спросил Леська.
Хозяйка вспыхнула и улыбнулась.
— Это моя жена! — вызывающе выпалил хозяин.
— Что у тебя? С чем пришел? — сурово спросил Еремушкин.
Леська рассказал ему историю с профессором политической экономии.
— Какое ты имел право чудить? — сдерживая ярость, проскрежетал Еремушкин.— Кто дал тебе указание на дискуссию? Тебе доверили большое дело, у тебя оказался дружок, который служит в Осваге, а ты берешь и по-дурацки все это смахиваешь к чертовой матери.
— Но не мог же я допустить, чтобы этот поп...
— Мог! Должен был допустить! Если б ты рассказал об этом мне, мы бы выпустили листовку, подбросили ее в университет, и ты по-прежнему жил бы припеваючи. А теперь что? Будешь работать на этой фабрике. Повидло варить будешь. Что ты можешь ему поручить, Иван Абрамыч?
— «Веселку», а то что же еще?
Фабрика «Таврида» инженера Бутова варила повидло и мармелад из фруктов заказчика. Сегодня заказчиком был купец Зарубов, а заказ стоил ему семьдесят тысяч «колокольчиками». Обо всем этом рассказал Леське Денисов, когда вел его во второй цех.
Погода скверная: промозглая, осклизлая, какая бывает в Крыму только в декабре. Цех пахнул горячим вареньем вперемешку с горьким дымком. Там было прохладно. Но у котлов, вмазанных в очаги, работала целая стая веселых девушек, и это вносило в каменный сарай чуть ли не весеннее настроение.
— Здесь будешь работать, Бредихин. Видишь: девушки крутят повидло, а когда которая устала, ты возьми у нее «веселку» и крути заместо ее. Только смотри, чтобы повидло не прикипело к днищу, а то брак получается, а брак — это из жалованья.
Денисов ушел.
— Здравствуйте, девушки! Моя фамилия Бредихин.
— Слышали.
— А ваши как?
Девушки прыснули.

— Комиссаржевская.
— Я Гельцер.
— А я Шаляпина.
— Вы что, девушки, смеетесь надо мной?
— Зачем смеяться?
— Все, как на подбор, знаменитости?
— Мы все, как одна, подкидыши,— сказала, подойдя к Елисею, четвертая, оставив свой котел на произвол судьбы.— Все из приюта. Фамилий у нас не было, вот воспитательницы-дуры и назвали нас, как хотели. Еще и насмешки строили. Вот я, например, Лермонтова, а вон тот мальчик — Потемкин-Таврический.

Елисей подошел к ее котлу и принялся кружить веслом по фруктовой массе. Лермонтова стояла рядом и широко улыбалась: зубы у нее росли, как у подростка, в три этажа.

— Крепче шаркай! Ну! А то нагар будет. Крепче! Я кому говорю? Эх ты, недотык! Вот теперь хорошо. Умница. И какой же ты миленький. Студентик! Очень обожаю студентиков. Как увижу, аж дрожь продирает... А если тебе наши фамилии не наравятся, то я даже была б согласная поменять свою на твою.

— Эй, студентик! Хватит Нюське Лермонтовой прислуживать,— закричала Гельцер.— Мне помоги.

Елисей работал за четверых. Но усталости не чувствовал: девушки так ему нравились, что он играл своей «веселкой», как перышком.

В цех вошел Зарубов с инженером Бутовым.

— Это что? Новенький? — спросил инженер.
— Да.
— Как вас именовать?
— Бредихин Елисей.
— А зачем вы работаете в студенческом костюме? Замажетесь по первое число. Скажите мастеру, чтобы выдал вам робу.
— Благодарю вас.
— Постойте... Где я вас видел? Безумно знакомое лицо.
— Не знаю...
— Ба! Это не вы ли боролись в цирке под именем «Студента Икс»?
— Я,— ответил Елисей, почему-то покраснев.
— Слыхал, Федор Алексеевич? Это классный борец.
— Ну?

Зарубов подошел к Леське и стал бесцеремонно щупать его, как петуха.

— Так ты, стало быть, борец?

— Стало быть.

— Никогда еще не схватывался с борцами. Давай, что ли, поборемся?

— А вы умеете?

— Развалю так, что дым пойдет.

— Ну это еще доказать надо. Я чемпион Крыма.

— Ух ты! Вот это здоровенно. Стало быть, ежели я тебя уложу, тогда я и сам чемпион Крыма?

— Выходит, так,— улыбнулся Бредихин.

— Ну, давай встретимся.

— Некогда мне. Вы гуляете, а я весь день на работе.

— А мы в воскресенье. Чего ж тут? Или оробел?

Но тут Зарубова вызвали в третий цех.

— Куда вам против него? — сказала Комиссаржевская.— Видели, какой он толстый да красный?

— Весь кровью налит,— поддакнула Гельцер.— Еще раздавит у вас все ваши печени и селезни.

Леська неопределенно пожал плечами и продолжал кружить свою «веселку». Работа ему нравилась. Во-первых, девочки. Кроме того, яблочное варево давало сидр. Был в нем чуть-чуть хмельной «квасок», и если попивать его с хлебом, а закусывать повидлом, то можно обойтись без обеда. Денисов, правда, ежедневно приглашал его к столу, но Леська неизменно отказывался. Сначала он ночевал у них на кухне, но очень трудно было отбиться от хлебосольства, поэтому Елисей перешел в контору, где и спал на диванчике. Инженера это устраивало: появился бесплатный ночной сторож.

На третий день пришел Еремушкин.

— Наши руководители очень недовольны тобой, Бредихин. Ты завалил такой замечательный сектор работы. Теперь они считают, что делать тебе на фабрике нечего — надо возвращаться в Евпаторию.

— На зиму? В Евпаторию? Да там никого сейчас нет.

— Там полно народу.

— А что я там буду делать?

— Что надо, то и будешь.

— А что надо?

— Я поеду за тобой, Бредихин. Буду тебя инструктировать.

— Хорошо. Только я еще немного поработаю здесь. Накую деньжат.

— Монеты я тебе дам.

— Нет. Я должен привезти под Новый год чего-нибудь съестного, а на это я у тебя денег не возьму.

— Верно. На подарки у партии брать неудобно. Слушай: испачкаешь костюм, а в чем ходить будешь в приличные дома?

— Ах, да! Товарищ Денисов, инженер сказал, чтобы вы мне выдали какую-то робу.

— Робу? Это он тебе при Зарубове сказал?

— Да. А что?

— Так я и думал. Да ведь он знает, что у нас робы нет и никогда не было. Это он выдрючивался, показать себя хотел при заказчике: вот, мол, какая у меня фабрика!.. Ну, хорошо, хорошо, черт с ним. Где твои вещи, Бредихин?

— На Петропавловской.

— Ага. А кто там живет?

— Старик хозяин и прапорщик Кавун.

— Как прапорщик? Почему же он не в казарме, а на частной квартире?

— Не знаю.

— Э-эх, шляпа! Значит, работает прапорщик в таком месте, что... Разведчик, наверное? А?

— А черт его знает.

— Черт его, конечно, знает, но и мы должны знать. Когда он бывает дома?

— Кроме воскресений, поздно вечером.

— А хозяин?

— Тот почти всегда дома.

— Хорошо. Пойду за твоими вещами.

Еремушкин сухо простился с Леськой и ушел. Утром Елисей опять помогал девушкам в цеху и подсчитывал, сколько дней ему надо еще работать, чтобы накопить хотя бы двести— триста рублей керенками.

В этот день в цех снова пришел Зарубов, сопровождаемый инженером.

— Ну и как же, борец? Схватимся или трусишь? — громко спросил Зарубов.

Вдруг Леську обожгла блестящая идея.

— Вам эта борьба только в удовольствие, господин Зарубов, а я профессионал. Борьба — мой хлеб.

— Сколько ты хочешь?

— Если я вас положу, вы платите тысячу керенок, а если вы меня, мой хозяин внесет вам сто.

— Ишь ты какой! Оборотистый!

— Да ведь вы уверены, что из меня дым пойдет?

— Ну, уверен.

— Значит, хозяйская сотня у вас в кармане?

Зарубов взглянул на хозяина. Тот засмеялся.

— Ну что ж. Для такого зрелища мне сотни не жалко.

Федор Алексеич повздыхал и вдруг по-купецки ударил ладонью о полу своей роскошной шубы на золотистой выхухоли.

— Сладились!

Борьба была назначена на утро 31 декабря. Накануне Елисей на все свои копейки наелся кровавых бифштексов и рано лег спать.

Ночью мерещилась фраза Кэшеля Байрона из повести Бернарда Шоу «Карьера одного борца»: «Сегодня мне попался противник такой неопытный, что я насилу с ним справился». Но тут же припомнил он слова Поддубного: «Русский сразу лезет нахрапом, по-медвежьи — заломать хочет. Бойся «переднего пояса».

Еще на заре пришел Еремушкин и принес Леськин чемодан.

— Тут и записка тебе от старика.

Леська взглянул и, не читая, сунул ее в боковой карман пиджака.

— Ты что опять затеял? Борьбу какую-то. Несерьезный ты человек.

— Эта несерьезность может дать мне тысячу керенок.

— Как бы не тысячу синяков.

Утром 31-го на фабрику пришли чуть ли не все рабочие. Девушки разрядились, как на ярмарку. Хозяин взял на себя роль арбитра, хоть ровно ничего в борьбе не понимал. И вот, обнаженные до пояса, Зарубов и Бредихин выступили друг против друга. Елисей весил четыре с половиной, Зарубов — пуда на полтора больше.

Не пожав руки, которую протянул ему Елисей, Зарубов сразу же кинулся на Леську по-медвежьи. Но Леська ожидал этой неожиданности. Скользнувши вбок, он рванул купца в сторону и очутился за его плечами. Больше ничего и не нужно: мгновенно заложив «двойной нельсон» на его бычью шею, Елисей без всяких угрызений совести перевел сцепленные кисти с затылка на череп и так «загнул» своего противника, что через минуту тот уже хрипел на весь переулок. Когда руки наконец разжались, богатырь шатался, как раненый бык. Теперь на Леську нашло

вдохновение. Подставив левую руку под нижнюю челюсть Зарубова, а правой крепко зажав его затылок, Бредихин стал тихонько водить противника вокруг себя. Когда купец второй гильдии Ф. А. Зарубов покорно и кротко пошел с захваченной головой по кругу, Елисей заставил его двигаться быстрее и быстрее и вдруг рывком, взяв голову на себя, оторвал противника от земли. Грузное тело Зарубова поплыло вокруг Леськи так плавно и легко, что Леська почти не чувствовал никакой тяжести. Это была знаменитая «мельница» — редкий, но самый излюбленный прием Поддубного.

В тот же день, купив две бутылки вина, целый окорок и моченый арбуз, который так любили его старики, «Студент Икс» пошел на вокзал.

Вскоре подали состав из семи теплушек. Публика бросилась к вагонам, но вдруг остановилась перед одним, охваченная потрясением: на вагоне слева от двери огромная надпись мелом «Тамбов — Москва». Под ней нацарапано углем: «Мама и Петя! Ищите нас в Рязани, туда уходит случайный состав. Зина, Аня». Рядом, несколько правее, другим почерком: «Николай! Удалось эвакуироваться в Пензу. Пиши востребования. Лидия». Дальше новая надпись: «Дети! Папа убит. Буду ждать вас в Пензе на перроне. Анфиса Михайловна Боброва». А под самой крышей трафаретом густая тушь: «РСФСР».

Этот вагон сразу стал Леське таким дорогим и близким, что из глаз брызнули слезы. За ним он почувствовал трагедию пролетарского государства, которое сейчас подвергается последним ударам Антанты, чтобы прекратить свое существование, может быть, навеки. Ведь Тула взята, а Мамонтов под Тамбовом, и эта теплушка только что прибыла оттуда как трофей. С нее даже не смыли надписей. Зачем? Пусть все видят, что за паника у красных.

— По вагонам! — закричал комендант вокзала.

Леська вздохнул и стал погружаться в теплушку вместе с другими.

Поезд тронулся. Публика принялась шелестеть то газетами, то книжками. И тут Бредихин вспомнил о записке Беспрозванного.

«Елисей, милый!

Как вежливый человек, я должен был бы сказать Вам, что очень по Вас соскучился. Но в Вашей комнате поселилось такое восхитительное, такое бледно-розовое создание, что ко мне вернулась вновь молодость. Никаких подробно-

стей не сообщу — все поймете. Горько и радостно. Пусть это крохи со стола господня, но в моем возрасте всякое даяние благо.

Ваш. А. Беспрозванный».

Затем шло стихотворение:

ДЕМОН И АНГЕЛИНА

Ангел шепчет Евангелье,
Чтоб не попутал бес.
А демон целует ангела,
Презрев законы небес.

И думает: «Что я делаю?
Не нужен я ей. Нелюбим!»
Но у ангела крылья белые
С пухом голубым.

Тут демону бы утоление,
Низвергнутому оттого,
Что не стучал коленями
При имени «божество».

И вот в пустоте вне времени
Повис этот гордый дух.
Как сладко
было бы
демону
Зарыться лицом в пух!

Но ангелу демон не нравится:
Он слишком жаден и груб.
И мелкое сердце плавится
От его огневеющих губ.

И плачет великий. А иноки
Следят за паденьем планет:
Это демон
роняет
слезинки,
Словно он не дух, а поэт.

Дальше приписка:

«P. S. Это письмо я написал третьего дня в расчете, что кто-нибудь придет же за Вашими вещами. А вчера случилась ужасная вещь: читал я стих моей пассии, и вдруг она изрекла: «Голубое — это мещанство». Вы бы слышали интонацию... Какой апломб! Категоричность! И все очарование исчезло. Что делать с этой дурой? Как выкурить ее из квартиры? Ненавижу ее!!!

А. Б.».

Елисей оказался прав: для него Евпатория была пуста. Все связи, какими он когда-либо располагал, исчезли: братья Видакасы и Улисс Канаки — на дне морском. Виктор Груббе, Сенька Немич и все его сестры расстреляны. Катя и Голомб убиты; Гульнара в Турции и все равно что

мертва, «Дюльбер» на зиму закрыт, а Дуваны неизвестно где... Живы ли они?

Елисей почувствовал себя человеком, который проспал столетие, очнулся и увидел те же дома, а в них совершенно других людей.

Но Чатырдаг на месте, и море осталось тем же, евпаторийское родное море...

В это страшное текучее время, когда невозможно было ухватиться за какую-нибудь устойчивую секунду, особенно дорогой сердцу казалась неподвижность большой природы.

Елисей уходил далеко за город в угрюмые дюны и долго оставался наедине с этими песками, горами и морем — такими же древними, как и тысячу лет назад. Крым... Его Крым... Что знали о нем курортники? Пляж, кабинки, «буза». А Елисей, сидя на камне у самой пены, с наслаждением слушал ее шорох.

Как Демосфен раскатывая во рту камни, Евксинский Понт шепелявил ему о мифах; образы их, затянутые туманом столетий, возникали перед ним на берегах, сохранивших свой облик таким же, каким он сложился со дня сотворения мира.

Обитали здесь Посейдон, тритоны, океаниды. Елисею казалось, что он слышит хохот этих дев вон за той, самой высокой дюной. Но это хохотали чайки.

Вслед за мифами пришла легенда: появились киммерийцы, которых, может быть, выдумал Гомер. Край назывался Киммерией и стал известен тем, что о нем ничего не известно. Потом нахлынули кочевые орды урало-алтайской ветви — скифы. Отсюда началась история. Во всяком случае, установлено, что случилось это в VIII веке до Р.Х. Желтолицые наездники, коренастые, косматые, но лишенные от природы усов и бороды, скифы обличьем напоминали женщин. Но по нраву это были звери. В книге IV «Греко-персидских войн» Геродот говорит, что, питаясь мясом, тушенным в лошадином поту под седлами, скифы любили лакомиться и человечиной. С особенной охотой пили они кровь первых же пленных на поле боя. Сдирая с побежденных скальпы, всадники украшали ими уздечки своих коней. Если же скальпов было много, из них сшивали плащи, как из сусличьих шкурок, и щеголяли в этих страшных одеяниях.

Несмотря на всю свою дикость, скифы были очень близки душе Бредихина. Однажды в краевом музее видел он вещи, добытые археологами в скифских курганах: ма-

леньких каменных баб, наконечники стрел, золотые браслеты, и вдруг — «альчики», те самые бараньи бабки, в которые играют и сейчас все крымские ребята, в которые играл и Леська... Что может быть родней?

Потом были здесь греки, римляне, гунны, итальянцы, хозары, татары, наконец, русские. Но сказать о Крыме, что это многонациональный край, значит ничего о нем не сказать. В Крыму ясна сама относительность понятия «нация». Уже скифы, двести лет владевшие Киммерией, под конец вобрали в себя все племена, кочевавшие в Южной Таврии. Особенно же любопытна судьба голубоглазых остготов, пришедших на южный берег с Балтики и организовавших пиратское государство. Хищные готы грабили суда не только на Черном, но и на Эгейском море. Но куда они делись?

История говорит, что пираты в конце концов признали себя вассалами Восточной Римской империи. Но ведь они никуда не уходили. Однако их нет. Но кто же такие «крымчаки» — племя, взявшее иудейскую религию у хозар, а язык у татар? Почему они нередко голубоглазы и рыжеволосы? На этот Леськин вопрос наука пока ответа не дает. А Елисей носил в своей груди все эти расы, нации, племена, и задолго до того, как ознакомился со взглядами партии, он уже был глубоким, органическим интернационалистом.

Елисей бродил по отлогим берегам Евпатории в невидимой толпе скифов, гуннов, хозар и чувствовал себя богаче всякого, кто жил в Крыму и ничего этого не знал, не помнил, не видел. Как ни странно, эти легендарные народы помогли ему скоротать время до весны. Конечно, Елисей жил не только историей и мифологией. Он подзубрил энциклопедию права и статистику, закрепил в памяти политэкономию и собирался съездить в университет, чтобы сдать эти предметы в весеннюю сессию. Но Еремушкин не появлялся, и Леська не знал, имеет ли он право вернуться в Симферополь.

Вот дурацкое положение: в партию его не берут, но он считает себя большевиком и по собственному желанию не хочет сделать ни шагу.

Но, с другой стороны, на какие шиши он поедет в Симферополь? Зарубовская тысяча ушла на домашние расходы, а брать у Леонида он не станет. Значит, надо заработать. Сейчас это очень возможно: в Крыму начинаются полевые

работы, и люди нужны в каждом деревенском хозяйстве. Уложив свою рыбацкую робу в мешок, Елисей отправился в немецкую колонию Майнаки, которая находилась верстах в шести-семи от Евпатории. Хотя было еще очень рано, солнце припекало вовсю. Пришлось снять тужурку и, вывернув ее наизнанку, нести на руке. Но брюки-то остались студенческими! Они скоро выгорят, и получится: штаны светло-зеленые, а тужурка темно-зеленая. Безобразно!

В степи прыгали тушканчики. Эти зверьки, похожие на бескрылых летучих мышей, водятся только в Крыму и в Африке. Леська глядел на них и представлял себе, что он где-нибудь в Нубии, а эти тушканчики напоминают о Крыме, и он тосковал по родине до стона.

Вошел он в первый же по-немецки чистый двор. Хозяин, одетый как последний бродяга, грязный и босой, смерил Елисея острым глазом и спросил:

— Работал когда-нибудь в поле?

— Нет.

— Куда ж ты годишься?

— Если я ударю кулаком вашу лошадь, она околеет. Может быть, вам понадобится такой человек?

Старик засмеялся.

— Пантюшка! — закричал он.— А ну-ка, выведи Зигфрида.

Пантюшка, невзрачный мужичонка, побежал на конюшню.

— Значит, одним ударом? — хихикал хозяин.

Пантюшка вывел под уздцы коня с огромной шеей, сразу же переходящей в колоссальный круп. Это был знаменитый артиллерист германской армии.

— Так, говоришь, одним ударом? — хохотал хозяин.

Леська из вежливости похохатывал, придав смеху смущенную интонацию.

— Пантюшка! Покажи ему, как надо пахать.

— Плугом не пашут, а орут,— сказал Леська.— Пашут сохой.

— А ты откуда такой выискался?—спросил Пантюшка.

Елисей не ответил. Пантюшка и немец переглянулись и прыснули.

— Ну, вот что, чудило,— сказал Пантюшка.— Возьмешься за эти рогульки, и, когда конь зашагает, крепко прижимай плуг к земле. Вот и вся география.

Пантюшка огрел коня крепким кнутом. Чудовище вздрогнуло и тронулось.

Немец и Елисей бежали по обеим сторонам Пантюшки. Потом Пантюшку сменил Елисей. Теперь побежали Пантюшка и немец и наблюдали за глубиной вспашки.

— Ничего! — с уважением сказал Пантюшка.— Очень даже ничего.

— Верно, что ничего,— отозвался хозяин.— А долго ли он выдержит?

Леська выдержал до колокольного звона, который несся из усадьбы и звучал необычайно фальшиво.

— Шабаш! — закричал Пантюшка, который пахал на паре серых в яблоках, обрабатывая второе поле.— Миттаг эссен!

Елисей шел, едва волоча ноги, а Пантюшка хоть бы что: это был парень редкой выносливости, хотя имел, вероятно, вес петуха.

На террасе у входа в комнаты стоял большой стол, вокруг которого восседали рабочие. Слева от Леськи сидела смуглая, с желтыми волосами, девушка Софья, справа уселся Пантюшка.

Вскоре из комнаты вышла служанка Эмма с дымящимся ведром. Она была румяная, пышная, курносая, в снежно-белом чепце и белоснежном переднике. Начала разливать по тарелкам суп. Суп вкусный, жирный, плавали в нем свиные шкварки. После работы с Зигфридом Елисей зверски проголодался и быстро очистил тарелку.

— Еще! — сказал он Эмме.— Нох айн маль.

Эмма пискнула и вбежала в дом.

— Сейчас выйдет на расправу сама Каролина Христиановна,— сказал, посмеиваясь, Пантюшка.

— Это кто такая?

— Жена.

— Баба-яга?

— Баба-то баба, а вот какая — сам увидишь.

Но первой выбежала на террасу Гунда, девчонка лет четырнадцати. Рыжие волосы, торчавшие сзади над затылком, как отрубленный хвост Зигфрида, бледное лицо, большой рот, налитый гранатом. Не хватало только музыки Вагнера из «Полета валькирий». Она вбежала и сурово уставилась на Елисея.

— Дочка,— шепнул Леське Пантюшка.

Вскоре на террасу вышла Каролина Христиановна, совсем еще молодая женщина. Она холодно улыбнулась новому рабочему и сказала:

— Добавка у нас не практикуется. Вы еще будете кушать второе.

Вторым оказалась вареная свинина с картошкой. Ее накладывали доверху в те же глубокие тарелки, из которых ели суп. Кроме того, каждому полагался большой соленый огурец.

Все три женщины — служанка, дочка и мачеха — стояли у стены и смотрели на Леську, покуда он не съел все блюдо без остатка.

— Немцы молодцы! — сказал Пантюшка.— Работать заставляют крепко, но зато ж и кормят — первый сорт. Я здесь даже поправился.

Вторая половина дня далась Леське гораздо тяжелее. Шел он за конем с огрехами, хозяин долго его ругал.

Ужинать Леська не стал. Побрел в свой сарай, повалился на тюфяк и, не раздеваясь, проспал до пяти утра, когда его разбудил своим фальшивым звяканьем бог знает из чего отлитый колокол, висевший на столбе неподалеку от мужского сарая.

Так прошли два дня. Работать с каждым днем становилось труднее. Иногда Леське казалось, что он не выдержит, все бросит и уйдет домой. Но где же тогда достать денег на отъезд в университет? К счастью, на четвертый день выпало воскресенье. Леська спал часов до пяти дня. Во сне ему мерещилась Марта, которая говорила, что добавка не полагается, а латышский тип женщин очень похож на немецкий, потом обхватила руками его голову и поцеловала глаза.

Елисей встал хорошо отдохнувшим, вышел во двор и умылся под рукомойником. Пантюшка сидел у порога женского сарая и выщипывал из балалайки одни и те же пять унылых нот. Рядом — Софья, такая же унылая, как и Пантюшкина песенка. Леська уселся рядом.

— Что это за колокол? Из чего он сделан?

Пантюшка перестал играть, но ничего не ответил.

— Вы знаете,— продолжал Елисей,— когда в Париже варили медь для колоколов собора Нотр-Дам, происходило это на площади, и вот парижане толпами валили к котлам и бросали в варево золотые кольца, браслеты, медальоны. Оттого у этих колоколов такой изумительный звон. Вот бы послушать. А?

Пантюшка молчал. Наконец Елисей с трудом понял, что мешает парочке предаваться наслаждению музыкой. Он крякнул, встал и пошел в поле.

— Вот и вся география! — сказал Пантюшка с облегчением.

Недалеко от дома стояли три перезимовавшие скирды сена. Елисей подошел к ближайшей, выкопал небольшое гнездо, улегся в нем и так пролежал до ужина.

По дороге к дому мчались серые кони, которыми правил хозяин. Рядом с отцом сидела Гунда. Старик возвращался из Евпатории, куда ездил каждое воскресенье в кирку молиться. Он влетел во двор, бросил вожжи и соскочил из брички на землю. Был он в цилиндре, в сюртуке, но бос, как апостол. Гунда вытащила из-под сиденья пару отцовских ботинок и, зацепив за ушки, понесла в дом.

Зазвонил колокол.

За ужином давали то, что осталось от обеда, и чай с плюшками. Сегодня ели плов из баранины. Немцы варили его без перца, но перец ставили на стол. Леська наперчил так, что рот у него горел. Он выпил поэтому два стакана и пришел в приподнятое настроение. На террасе было очень уютно. Уходить не хотелось. И тут он запел:

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня,
Моего коня...

Голос звучал великолепно.

Из комнаты вышла Эмма, потом Каролина Христиановна, за ней Гунда, которая глядела на Елисея сдвинув брови.

Не морозь меня,
Моего коня...

И вдруг Софья подхватила сильным степным голосом:

Моего коня
Белогривого.
У меня жена,
Ух, ревнивая.

Леська пел:

У меня жена —
Раскрасавица...

Софья:

Ждет меня домой,
Разгорается.

И тут все увидели, как Софья у всех на глазах превращалась в красавицу: очи ее зажглись, румянец вспыхнул сквозь смуглоту с жаркой силой, и вся она стала статной, лихой, пленительной.

Пантюшка глядел на нее во все глаза: он только сейчас понял, что она и есть та самая раскрасавица, о которой поется в песне.

Каролина Христиановна смотрела на Елисея с улыбкой Марты Спарре. Поняла ли она, что Леська пел уже только для нее? Когда песня затихла, она сказала сниженным голосом:

— Unser Vater... то есть, извините, наш отец, мой муж, сказал, чтобы вы перестали петь. Он считает, что рабочие петь не должны. София, это и к тебе относится.

На Леську эти слова не произвели впечатления. Он мысленно поцеловал Марту в оба глаза и спросил:

— Чтобы мы перестали?

— Ну да. Конечно.

Елисей снова расцеловал Марту, теперь уже в обе щеки, и спросил:

— Перестали петь песни?

— О да, я сказала.

Теперь Леська поцеловал ее в горло, чуть-чуть выпуклое, как у голубя. Каролина Христиановна неловко повела шеей и покраснела.

Иногда мысли при полном безмолвии бывают такими ясными, точно надписи. И они никогда не лгут, как это часто бывает со словом.

— Значит, я понял вас так,— сказал Леська только для того, чтобы оттянуть время,— что мы должны прекратить пение?

Женщина вздохнула.

Елисей вскочил и вышел во двор.

Уже темнело. Елисей дошел до своего сарая, сел на пороге. И стал с хищностью опытного мужчины думать о том, что теперь между ним и хозяйкой возникла тайна, которая объяла обоих.

Он снова запел. Теперь это был вальс Вальдтейфеля:

Много мук я терпел
И страдать был бы рад,
Если б душу согрел
Твой любимый взгляд...

Так взгляни ж на меня
Хоть один только раз,
Ярче майского дня
Чудный блеск твоих глаз.

Леська пел с таким неподдельным страданием, с такой глубокой печалью, что слезы звенели у него в горле. Вся

неутоленная, бездомная его юность трепетала в его голосе. И тут он заметил силуэт, прижавшийся к столбу с колоколом. Это была Гунда. Волосы ее конским хвостом изгибались над затылком, как у девушек с этрусской вазы.

Леська встал и пошел в поле. Ему хотелось одиночества. В первой же скирде он отыскал свое гнездо, нырнул в него и запел старинный цыганский романс:

Ну да пускай свет осуждает,
Ну да пускай клянет молва,
Кто сам любил, тот понимает
И не осудит никогда.

Он плакал от своего сиротства, оттого, что взошла луна, что крепко пахло сеном, что ему двадцать лет, а у него нет любимой... И вдруг из-за скирды появилась тень с этрусской прической. Опять Гунда? Она быстро и бесшумно присела у подножия скирды, стройная, сильная, очень напряженная, и молча глядела на Елисея.

— Гунда? — спросил он.

Гунда молчала. Леська тоже молчал, усталый и умиротворенный, как это бывает после слез.

— Ты слышала, как я плакал? Но это так... Ничего особенного... Контузия.

Гунда молчала. Леська вспомнил, что никогда не слышал ее голоса. Гунда всегда молчит.

— Гунда...— сказал Леська.— Ты уже большая... Должна многое понимать... Понимаешь ли ты эти строки:

Нет ничего печальней на земле
Мужской тоски о женском обаянье...

Гунда молчала.

— Этой тоской я сейчас охвачен так, что впору выть на луну. Гунда! Ты могла бы меня поцеловать?

Гунда кинулась на Леську, как зверек, и крепко по-детски поцеловала его в губы. Леська не удивился. Он обнял ее и мягко привлек к себе. Теперь Елисей полулежал на сене, а Гунда у него на груди слушала стук его сердца. Он вдыхал аромат ее щеки, шеи и уха. Он почувствовал, как тает крутой камень у него под грудью, тот самый, который возникал в шторме, тот самый, что в бою... Это было тихой, ни с чем не сравнимой радостью. А Гунда глядела ему в глаза. И вдруг вскочила:

— Идет! Сюда идет, проклятая! Всюду она... Она, она...

Девчонка застонала от злости и вмиг умчалась в тем-

ноту. Елисей прислушался. Действительно, шаги. Из-за скирды показалась Каролина Христиановна.

Опа обернулась к Елисею и отчеканила:

— Зачем вы ухаживаете за дочкой? Она еще совсем ребенок. Следует прекратить.

Леська вскочил. Но женщина повернулась к нему спиной и начала уходить в синеву. А месяц был таким огромным, а ночь такой теплой, а летучие мыши чертили такие слепые молнии... Бывают минуты, когда человек принадлежит только себе! Себе и природе!

Леська бросился за ней и подхватил ее на руки.

— Вы сумасшедший! Нас увидят!

Леська понес ее в поле, сам не зная почему.

— Отпустите меня! Слышите? Немедленно и сию же минуту!

— Отпущу, если вы меня поцелуете.

— Nein! — воскликнула она хрипло.

Это немецкое слово хлестнуло его кнутом. Леська оробел и опустил ее на землю. Каролина Христиановна резко отвернулась и быстро пошла к дому. Леська поплелся вслед, растерянно улыбаясь и презирая себя изо всех сил.

Ночь Елисей провел в бессоннице. Утром, еще до колокола, он вывел Зигфрида, напоил его, запряг и начал пахать. К его удивлению, работа показалась ему гораздо более легкой, чем прежде. Конечно, труд оставался трудом, но в нем уже не было ничего невыносимого. Напротив, в какой-то момент Елисей почувствовал даже вдохновение. Он крепко вжимал лемех в почву, и борозды шли ровными и тонкими, как рельсы.

Зазвонили к завтраку. Елисей сел за стол успокоившийся и какой-то даже озаренный.

— Что это ты нынче запахал с самой ночи? — спросила Софья.

— Да так. Не спалось что-то.

— Распелся, вот и не спалось.

На террасу вышла Каролина Христиановна и осмотрела стол: все ли в порядке. На Леську она не глядела и вообще держалась сухо и по-хозяйски.

Позавтракав, работники ушли в поле, и опять Елисей почувствовал удовольствие от пахоты, и хотя к обеду устал, но это была приятная усталость.

— Да... Леська у нас теперь настоящий пахарь,— сказал старик.— В четыре утра он уже ходит за лошадью. Не терпится. Золотой будет работник.

Похвала хозяина пришлась Леське по душе — тут уж скрывать нечего. Но все же мучил его вопрос: откуда у него артиллерийский конь?

Вечером, после ужина, к Елисею подошла Софья.

— Пойдем, Леся, в поле. Споем каку-нибудь, а?

— Пойдем.

Тут же к ним присоединился Пантюшка со своей балалайкой.

— Пантюша, родимый! — сказала Софья.— У че-эка две ноги, две руки, два глаза, два уха — вот и вся география. А трех у него ничего-то и нету.

Пантюшка понял и, обидевшись, отошел в сторону, теребя то одну, то другую струну на балалайке.

Софья обняла Елисея за талию, Елисею пришлось обнять ее за плечи. Так они и пошли в поле. Каролина Христиановна наблюдала эту сцену с террасы, по-мужски упершись кулаками в голый стол и следя глазами за парой, покуда она не исчезла в сумерках. Потом донеслась до нее песня в два голоса:

У меня жена —
Раскрасавица,
Ждет меня домой,
Разгорается.

Ночью Леська лежал и думал о том, как у народа все просто и мудро. Потребность в любви не остается у него неутоленной. Там себя не калечат. А он весь погряз в интеллигентщине со всеми ее условностями и предрассудками. Потом он заснул и слышал во сне запах диких трав, которыми так хорошо пахло от Софьи.

Утром Елисей впряг серых в дышло плуга и принялся было заканчивать поле Пантюшки. Был шестой час. Небо в цветных перьях напоминало стаю фазанов. Даже галки казались розовыми.

Серые кони русского языка не понимали. Леська понукал их криками: «Но-о! Вперед!» — но лошади нервничали и шарахались в стороны.

— Ты скажи им: «Форвертс!» — закричала Гунда.

Она бежала к нему по пахоте в синем халатике и в сандалиях. Несла она кулек из газетной бумаги. Галки взрывались из-под самых ее ног и галдели про нее нехорошими словами.

— Вот! Я принесла тебе табаку.

— Спасибо. Но я не курю.

— Не куришь?

Гунда отшвырнула кулек па межу.

— Я вчера к тебе не пришла, потому что отец немного прихворнул, а мачехе я не доверяю: еще отравит.

— Ну, что ты говоришь?

— А сегодня приду. Хочешь?

— Видишь ли, Гунда. Мы не должны с тобой оставаться наедине.

— Почему?

— Люди могут подумать бог знает что.

— А нам какое дело? Мы никого не грабим.

— Но тебе ведь всего-навсего пятнадцать лет.

— А зачем тогда ты меня нюхал? Ты думаешь, я верю, что детей аист приносит?

— Я этого не думаю, но ты еще совсем девочка. Почти ребенок. Тебе еще рано бегать на свидания.

Гунда беззвучно заплакала. Крупные, алые от зари слезы катились по бледным щекам, но лицо по-прежнему было неподвижно. Она умела брать себя в руки, эта девочка, но за слезы не отвечала.

— Тогда вот что! — сказала она, стиснув брови.— Через два года мне семнадцать лет, и я смогу делать все, что захочу. Подождешь меня эти два года? Мы будем переписываться, а иногда и видаться: я ведь учусь в Евпатории. А потом ты на мне женишься. Хорошо?

Елисей с нежностью глядел на девочку.

— Хорошо. Давай переписываться, а там видно будет.

— Ну, а теперь поцелуй меня на прощание.

— Почему «на прощание»?

— Потому что тебе нужно отсюда уходить. Раз мне нельзя с тобой, то пусть будет нельзя и моей мачехе. Этого я не позволю.

Она подошла к Елисею и протянула губы. Леська наклонился и поцеловал ее в щеку.

— В губы! — приказала она так властно, что Леська не посмел ослушаться.

Она не ответила на поцелуй, повернулась и, не оглядываясь, пошла к дому, угловатенькая, волевая, полная надежд: у нее уже была на примете коробочка с голубой ленточкой, где она будет держать Леськины письма.

А Елисей выпряг серых, отвел их во двор, привязал к

террасе, пошел в сарай, переоделся в свой студенческий костюм и поднялся в дом за расчетом.

Старик сидел за столом, щелкал костяшками на счетах и тихонько напевал воинственную песню благодушным голосом:

Нах Африка,
Нах Камерун,
Нах Камерун,
Нах Камерун,
Нах Африка,
Нах Камерун...

Потом поднял голову.

— В чем дело?

— Получил письмо: тяжело заболел дедушка. Нужно возвращаться домой.

— Дедушка? — недовольно спросил старик.

— Да.

— А бабушка, слава богу, ничего?

Этот юмор не произвел впечатления.

Пока хозяин лазил в комод за деньгами, Леська оглядел комнату. На комоде стоял граммофон, накрытый кружевной накидкой. Его никогда не заводили. Рядом серебряный самовар, также накрытый салфеткой. Его никогда не ставили. Между ними высокая прозрачная четвертина, внутри которой впаян цветной картонный макет какой-то знаменитой кирки.

Леська обернулся и вдруг задохся от застарелой ненависти: он увидел над кроватью в траурной раме увеличенную фотографию Эдуарда Визау. Так вот в чей дом он попал!

— Зачем Эдуард пошел против красных? Был бы сейчас жив.

— А ты откуда про него знаешь?

— Народ говорит.

— «Народ»... Все пошли, и он пошел. А что хорошего у красных? Хлеб отбирали, как будто они его сеяли.

— Германцы тоже отбирали хлеб.

— Ну, то германцы.

— Это как понять?

— На! Получай и уходи. Не люблю я говорить про политику.

— Говорить не любите, а делать ее любите? Кто убил Приклонского?

— Не знаю никакого Приклонского.

Старик отвернулся и торопливо засеменил в другую комнату.

— У вас все политика! — крикнул ему вдогонку Леська.— И жена и лошадь!

Потом отправился на кухню.

— До свидания, Эмма. Дед у меня заболел.

— Да, да. Мы уже знаем. Гунда сказала. Ну, дай бог ему здоровья. Может, все и обойдется.

— А где Каролина Христиановна?

— В своей комнате.

— Можно ее позвать?

— Нельзя.

— Почему? Спит еще?

— Нет. Плачет.

Елисей попрощался со всеми рабочими и вышел на большую дорогу. В степи прыгали тушканчики. Леська оглянулся на усадьбу. В углу террасы стояла женская фигура, по-мужски опершись кулаками на стол.

4

Новости были хорошими. Деникина со страшной силой отогнали от Тулы, а Буденный разгромил Мамонтова под Касторной. Красная Армия снова наступала по всему Южному фронту.

— Еремушкин не приходил?

— Нет,— ответил Леонид.— И вообще никто к тебе не приходил.

— Никому не нужен?

— По-видимому.

— А письма есть?

— Одно. Из Симферополя.

— Ага! Значит, все-таки кому-то нужен?

Письмо было от Беспрозванного:

«Елисей! Милый!

Заходила ко мне Ваша знакомая — Мария Волкова. Она справлялась о Вас, но я ничего толком не мог ей сообщить, ибо Вы решили не писать мне ни звука, в чем весьма преуспели. Эта девушка произвела на меня сильное впечатление. Вы ее недооцениваете. Духовно Мария под стать женам декабристов. Если б я был в Вашем возрасте, я влюбился бы в нее по уши. Да, пожалуй, я в нее уже влюблен. Во всяком случае, она вдохновила меня на нижеследующие стихи:

ты

Если б я убил человека,
Которого ненавидел
Нежно-облюбованной ненавистью,
Настоянной на перце,
Ты спрятала меня бы, сокрыла,
Сказала б:
«Ну что ж.
Раз ты его убил,
Значит, он этого стоил».
Но я люблю тебя не за это.

Если бы пред очами
Лица, облеченного властью,
Я стоял с угодливой улыбочкой,
Душу держа по швам,
Ты ничего не сказала б,
Лишь сквозь меня поглядела б,
Точно я стал стеклянным,
И навсегда
Захлопнула дверь.
Вот за это я тебя и люблю».

«Ну что за могучий старик! — подумал Леська.— Он уже вообразил Муську своей подругой жизни. Но неужели я действительно проглядел в ней то, что усмотрел этот колдун? Жена декабриста...»

Наступила пасха. Бабушка пекла куличи, дед красил яйца, колокола звонили что-то вроде «Славься, славься!». Весна ощущалась и в запахе волны, и в девичьих глазах, и в слухах о близком прилете красных. На душе у Леськи пели бы жаворонки, если б оп встретил хоть кого-нибудь из своих друзей.

И вдруг встретил!

Как-то, гуляя вечером у пляжа, Елисей увидел в «Дюльбере» свет. Отель по-прежнему закрыт. Значит, вернулись Дуваны. Леська позвонил к ним на квартиру из конторы Русского общества. К аппарату подошел Сеня.

— Алло?

— Сенька Дуван! — радостно крикнул Елисей.

Приезд Дуванов сразу же изменил Леськину жизнь. Теперь он бывал у них чуть ли не каждый вечер и видел за столом буквально всех знаменитостей, каких судьба заносила на этот приморский курорт.

Однажды его познакомили с Собиновым. Знаменитый артист, полуседой, красивый, моложавый, пил чай с красным вином. Он был одет в офицерский китель цвета хаки-

шанжан с погонами поручика. Просить его что-либо спеть хозяева не решались, но...

— Леонид Витальевич! У меня к вам великая просьба,— начала хозяйка, Вера Семеновна.— Я не из тех матерей, которые считают своих детенышей обязательно гениальными. Но все же Тамара — кинозвезда, Илюша принят в Третью студию... И вот мне кажется, что у Сенечки появился голос.

— Ну что ты, Вера? Ну, какой у него голос? — пожурил ее Дуван-Торцов.

— Голос, голос! Спой, Сенечка, я прошу тебя.

Сенечка спел романс «Уймитесь, волнения страсти».

— Ну как, Леонид Витальевич?

Собинов расхохотался.

— Голосишко есть, но ни страстей, ни волнения я что-то не обнаружил.

— О, это все с годами придет! — сказала мама.

— Позвольте и мне спеть,— вдруг выпалил Леська.

Все озадаченно на него оглянулись.

— Ну, спойте,— нехотя произнесла Вера Семеновна.

— Что значит — «ну, спойте»? — раздраженно отозвался Дуван-Торцов.— Спойте, молодой человек. Самым определенным образом!

Елисей запел свою любимую — о Кармелюке-разбойнике. И в комнате запахло полынью, и конским дыханием, и степным ветром, и встала окровавленная судьба загнанного и гордого человека, который поднялся с горстью забубенных головушек против страшного мира тиранов.

Я ж никóго не убываю,
Бо сам душу маю,
Богатóго обираю
Та бидному даю;
Богатого обираю
Та бидному даю.
Та при том же, мабуть, я
Сам греха не маю.

Когда Елисей замолк, никто не думал о его голосе,— все видели только Кармелюка с его дикой тоской, а за ней ту красную стихию, которая сейчас охватила страну, а может быть, и Европу.

— Вам надо учиться, юноша, обязательно учиться! — сказал Собинов.

— А зачем?

— А затем, что у вас в груди клокочет золото.

— Не всяко золото в монету.

— Не понимаю вас.

— Он юрист и мечтает стать судьей,— ответил за него Сеня.

— Но почему? При таком даровании...

— Потому что голосов много, а сердец мало. Я прошлой весной сидел в тюрьме и убедился, что России гораздо нужнее хороший судья, чем хороший певец.

Собинов поглядел на него с любопытством.

— Вот какая у нас, оказывается, молодежь! — сказал он с оттенком гордости.— Много слышал о ней, а вот беседовать не приходилось.

В другой раз Елисей застал у Дуванов армянина небольшого роста, но с высоким лбом и огромной синей бородой.

— Знакомьтесь, Леся: профессор Абамелек-Лазарев!

— Очень рад,— сказал Абамелек и, не глядя, протянул Леське волосатую руку в кольцах и перстнях.— Так вот я и говорю: первая рукопись «Бориса Годунова», датированная седьмым ноября тысяча восемьсот двадцать пятого года, была вручена Пушкиным Погодину и, по-видимому, исчезла. Из черновиков сохранились только первые четыре сцены и часть пятой, переписанные с первой. Но все копии, которые нам известны, появились уже после восстания декабристов. Я убежден, что Пушкин в связи с этим событием внес в трагедию кое-какие изменения. Я убежден, например, что фраза Годунова: «И мальчики кровавые в глазах» — говорит вовсе не о том, что в глазах у царя двоится. Она была вставлена позже и явно намекала на пятерых юношей, зарытых Николаем Первым на острове Голодае. Я имею в виду Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского.

— Неужели так? — всплеснула руками Вера Семеновна.

— А что, если первая рукопись будет найдена и окажется, что в ней есть эта фраза о мальчиках? — спросил Леська.

— Великолепный вопрос, который никогда не приходил мне в голову! — вскричал Абамелек, неприязненно взглянув на юношу.— Ум — хорошо, а полтора — лучше.

— Ну а все-таки? — отважно настаивала Вера Семеновна.

— Тогда я скажу, как писал Федор Сологуб:

Творение выше творца,
И мир совершеннее бога.

Все засмеялись. Все, кроме Леськи, который сидел как ошельмованный. Выждав паузу, Леська расхрабрился и через силу спросил:

— Простите, пожалуйста, вы не супруг ли Аллы Ярославны?

— Супруг. А вы откуда ее знаете?

— Приват-доцент Карсавина — мой руководитель по уголовному процессу.

И тут же, решив идти ва-банк, выпалил:

— Моя фамилия Бредихин. Елисей Бредихин.

Он был готов ко всему. Даже к дуэли.

Но имя Бредихина не произвело на Абамелека никакого впечатления.

«Лихо! — подумал Леська.— Значит, Алла ничего ему не сказала о моем письме! Милая... Умница...»

— Что же вы приискали для вашей жены? — спросила Вера Семеновна.

— Да ведь настоящего сезона еще нет. Санатории закрыты. Вот я и подумал: не будете ли вы настолько любезны, чтобы предоставить Алле Ярославне хотя бы один номер в отеле, а лечиться она станет ездить в майнакскую грязелечебницу.

— Рад бы душой,— сказал Дуван-Торцов.— Но посудите сами: можно ли открыть гостиницу ради одного человека?

— Не беда! — сказала Вера Семеновна.— Пусть живет в наших апартаментах. Я предоставлю ей комнату с балконом на море. Это комната нашей старшей дочери, Тамары, но она, как вы знаете, в Петрограде.

— О, мы не смеем вас обременять!

— Такая очаровательная дама, как ваша супруга, может только украсить нашу семью,— сказал Дуван-Торцов.

— К тому же мы получили от атамана Богаевского письмо: он просит предоставить ему весь нижний этаж. Значит, при всех условиях отель скоро будет открыт.

— Это какой Богаевский? — спросил Леська.

— Ну, разумеется, не феодосийский художник! — с раздражением сказал Абамелек-Лазарев, которому Леська определенно не нравился.— Очевидно, речь идет об атамане Войска Донского?

— Совершенно верно.

— А что такое с Аллой Ярославной? — снова спросил Леська.

— Нефрит,— нехотя процедил Абамелек.

— А по-русски?

— Воспаление почек.

— Что значит красивая женщина! — воскликнул Дуван-Торцов.— Даже ее болезнь носит название самоцвета.

Дома Леську ждало новое письмо от Беспрозванного: он писал о том, что, по слухам, Карсавина собирается в Евпаторию, и «присовокупил», как он выразился, стихотворение:

Если двум хорошо друг с другом,
  Кому до этого дело?
Но нет, не смеешь: ты связана с другом
  До гробового предела.
А другу снится твоя подруга...
  Но ведь и сны запретны.
Так и живут с супругом супруга,
  Свято друг другу преданы.
И нежно целуются голубь с голубкой,
  Сидя на общей рейке.
(Она мечтает о соколе глупо,
  А он — о канарейке.)
И, полное тайны и преступленья,
  Стоит родословное древо,
Ревность, уродуя нас постепенно,
  Самая дикая древность.

«Что это? — подумал Леська.— Отпущение будущего греха? Напутствие?»

Стихи взволновали бы Леську, если б он не был весь охвачен таким важным сообщением, как скорый приезд атамана. Весь вечер он мучился тем, что не может вызвать Еремушкина. Но у этого парня был какой-то особый нюх. На следующий же день он разыскал Елисея.

— Есть у тебя для нас что-нибудь интересное?

— Есть. Атаман Богаевский забронировал за собой нижний этаж «Дюльбера».

— Ну и что?

— Не знаю. Может быть, это что-нибудь значит?

— Ничего это не значит. Богаевский... Что он решает?

— Но ведь он атаман.

— Ничего он не решает. Тем более в Евпатории. Но, во всяком разе, прислушивайся в оба уха. Если я буду нужен, приходи на мельницу Шулькина. Знаешь?

— Знаю.

— Моисей учился с нами в городском.

— Знаю, знаю.

— Ну, бывай!

— Слушай, Еремушкин: а как относительно партии? Примут меня наконец или нет?

— Но ведь я ж тебе объяснял, чудак. Тебе выгодно, чтобы ты нигде не значился в списках.

— Если б я хотел жить только выгодой, я бы не имел с тобой никакого дела. Это ты можешь понять?

— Понимаю. Хорошо. Ничего тебе определенно не скажу, а только скажу, что поставлю твой вопрос перед кем надо.

Новое посещение «Дюльбера» принесло Леське радость.

Посреди комнаты на кровати возлежала Карсавина, а Дуваны расположились вокруг нее. В глубине светилась белым халатом сестра милосердия. Это была высокая строгая женщина, похожая на императрицу Александру Феодоровну.

В стороне у стены на маленьком столике сиял никелированный самовар и стаканы в подстаканниках. Каждый подходил к столику, наливал себе чаю и снова садился в свое кресло, держа стакан в руке и позванивая ложечкой. Звон был тихий, разнообразный и напоминал звонницу в далеком старинном городке.

Елисей ожидал, конечно, увидеть Аллу Ярославну в «Дюльбере», он и шел туда уверенный, что увидит ее, но когда увидел... Эти длинные брови... этот едва намечающийся милый второй подбородок...

— А! Вот не ожидала. Знакомьтесь: мой студент. Он часто огорчал меня в университете, но мы все же с ним друзья, не правда ли?

Карсавина протянула ему руку. Леська почтительно, даже благоговейно поцеловал ее пальцы.

— Садитесь, Леся,— сказала хозяйка.— Сенечка, напои гостя чаем. Сам он на это ни за что не решится.

Леське принесли чаю и вручили таблетку сахарина. Леська бросил его в стакан. Сахарин побежал по поверхности, дымясь, как обледенелый ледокол.

— А где ваш супруг? — спросил Леська.

— Артемий Карпыч? Уехал в Симферополь: у него сессия. А почему вы спросили? Он вам нравится?

Леська опустил глаза.

— Да.

— Чем же именно? — продолжала расспрашивать Карсавина, забавляясь его смущением.

— Фантазией. Это, по-моему, очень редкое качество в мире ученых.

— О, вы совсем не знаете ученых! — засмеялась Алла Ярославна.— Это такие гадалки...

Вскоре разговор перешел на военную тему.

— Деникин окончательно подорвал к себе доверие своими поражениями,— сказал Дуван-Торцов.— Сейчас он где-то под Новороссийском, а в это время в Севастополе идет борьба за власть. Говорят, что главнокомандующим будет барон Врангель.

— А что это изменит? — спросил Леська.

— По существу, ничего, но всякое новое имя — надежда.

— Именно поэтому,— сказала Карсавина,— Антанта может усилить свою помощь.

— Помощь эта может быть только финансовой,— сказал Елисей.— Всякая помощь войсками очень опасна: войска легко опьяняются большевистской стихией.

— Откуда ты это знаешь? — нервно ринулся в разговор молчаливый Сеня.

— Я наблюдал в Севастополе французских моряков на демонстрации. Это меня многому научило.

Помолчали. Сестра вышла из своего угла и сказала:

— Больная утомлена. Я должна готовить ее ко сну.

Все встали и начали прощаться.

— А вы, молодой человек, останьтесь,— обратилась она к Елисею.— Я буду менять постель, и вы поможете мне поднять Аллу Ярославну.

— Я еще могу сама.

— Можете. Но я вам этого не позволю! — отчеканила императрица.

Вера Семеновпа расцеловала Карсавину на сон грядущий, Дуван-Торцов со вкусом чмокнул ее в руку, Сеня удовлетворился рукопожатием.

Когда все ушли, Александра сказала:

— Вчера больную поднимал хозяин вместе с сыпом, и делали это так неловко, что вызвали у нее почечные колики. Сегодня мы сделаем иначе: Алла Ярославна будет лежать совершенно ровно, а вы поднимете ее на вытянутых руках. Сможете?

— Надеюсь.

— Я тоже. Пока вы будете ее держать, я перемепю простыни и взобью подушки.

Карсавина лежала, закрыв глаза.

— Отвернитесь! — приказала Леське сестра.— Я сейчас запеленаю Ярославну в простыню... Так. Отлично. Теперь, молодой человек, идите сюда. Приподымите ее, но так, чтобы она, бога ради, не прогпулась. Так... Так... Хорошо. Молодец.

Алла Ярославна по-прежнему лежала с закрытыми глазами. А Леська? Он держал в руках такую драгоценность, которую не с чем было сравнить.

— Ну, вот и все. Кладите ее обратно. Вы слышите? Обратно, я говорю. Осторожно... Осторожно... Так. Хорошо. Прекрасно. А теперь уходите: мы будем спать.

— Благодарю вас, Бредихин,— сказала Карсавина слабым голосом (она, наверно, и вправду очень устала).

Леська поцеловал ей руку и ушел.

Три дня Елисей не навещал Аллу Ярославну: боялся ей надоесть, а может быть, подсознательно хитрил, надеясь, что она по нем заскучает. Но каждый вечер приходил он к «Дюльберу», ложился на прибрежный песок и неотрывно глядел на балконную дверь и окна «Тамариной комнаты».

На четвертый Елисей снова постучался к Алле Ярославне.

— Где это вы пропадали, молодой человек? — с шутливой строгостью набросилась на Елисея сестра.— Мы его ждем, ждем, а он себе где-то разгуливает!

— Неужели... вы меня... ждали?

— А как же? А кто будет подымать Ярославну? Чатырдаг? Все эти дни работали трое: сам Дуван, его сын плюс Вера Семеновна. Но, конечно, никакого сравнения!

— Пожалуйста. Я всегда рад быть полезным...

— Вот и приходите.

— Ежедневно?

— Ну, хотя бы через день.

Карсавина взглянула на Леську смущенно и чуть-чуть улыбнулась одними углами губ.

— Ну, что у вас хорошего? — спросила Леську Александра.— У нас пока ничего. Надеемся через недельку встать и ездить в майнакскую грязелечебницу. А теперь отвернитесь. Пока вы здесь, я буду менять постель.

Она опять запеленала Карсавину и отдала ее Леське. Елисей бережно, но гораздо смелее, чем в прошлый раз, приподнял больную, огорченно думая о том, что сейчас придется ее опустить.

— Так. Прекрасно. Спасибо вам. Теперь можете идти домой.

— Ну, что вы с ним так? — засмеялась Карсавина.— Он ведь все-таки не носильщик.

— А зачем он так поздно приходит? Вам пора спать, и никаких разговоров. Вы же знаете мой характер?

— Простите меня,— сказала Леське Алла Ярославна.— Она такая строгая. Я ее боюсь. Приходите завтра пораньше.

Елисей пришел пораньше. Но и этот день был неудачным.

Больная стонала до крика... На спиртовке кипятился шприц. Сестра готовилась сделать ей укол пантопона.

— Если часто вводить в организм пантопон, человек может стать морфинистом,— сказал Елисей.

— Что вы такое кушаете, что вы такой умный? — едко спросила Александра.

Леська обиженно замолчал.

— Отвернитесь.

Пауза.

— Теперь можно. Но только тшш... Ни звука... Она сейчас заснет.

На следующий день сестры не было, и у постели сидела Вера Семеновна.

— Здравствуйте, Леся! — сказала она.— Выйдите, пожалуйста, на балкон: мы хотим с Аллочкой немного поплакать.

Елисей вышел на балкон.

О чем им плакать, Леська хорошо знал: Дуван-Торцов охладел к своей жене, и она обливала Карсавину слезами от шести до восьми. После этого шла ужинать.

Елисей сел на угол балконных перил и видел близкую воду. Месяц был огромен, как в Турции, и море казалось белым,— древнее эллинское море, которое он так любил, шепелявое чудовище, иногда такое домашнее, родное, а сейчас еще роднее, потому что оно притянуло к себе Карсавину. Как хорошо называет ее сестра: «Ярославна»...

Его позвали в комнату. Веры Семеновны уже не было, была сестра, но почему-то очень торжественная, в белом переднике с красным крестом.

— Подумайте, молодой человек, какой ужас: меня мобилизовали, и я теперь буду работать в военном госпитале.

— Что же в этом ужасного?

— А кто же станет обслуживать Ярославну? Где вы сейчас найдете не то что акушерку-фельдшерицу, как я, а хотя бы санитарку, сиделку, няню?

— Надо будет поискать.

— Да, да. Пожалуйста. Мы вас очень просим.

Когда Елисей уходил, в коридоре поджидал его Сеня.

— Елисей! Мама хочет с тобой поговорить. Пойдем.

Он ввел его в какую-то новую для Леськи комнату, в которой ожидала его Вера Семеновна.

— Леся! Я знаю, что вы хорошо относитесь к Аллочке, а сестра милосердия уходит. Кто же будет ухаживать за больной? И вот мы решили делать это всей семьей. Отца, конечно, придется от этого освободить: он сам еле дышит.

— У него одышка,— обиженно вставил Сеня.

— Да. Одышка. Значит, остаюсь я, Сеня и вы. Мы с Сеней будем сменяться каждые два часа, а вам предоставим вечер. Конечно, вы, как мужчина, не сможете делать всего, что ей требуется. Тогда звоните горничной. Вы согласны, Леся? Я буду вам платить пятьсот рублей в месяц, а Карсавина ничего об этом не будет знать.

— Мама, ну что ты? Ну, как тебе не стыдно?

— А что тут стыдного? Сестра же получала за это деньги? Каждый труд должен быть оплачен.

— Труд, но не чувство,— сказал Елисей.

— Ах, уже есть и чувство? — засмеялась Вера Семеновна.

С этого дня Елисей каждый вечер приходил в «Дюльбер», как на службу. Раз в два дня подымал он на руки Карсавину, Вера Семеновна меняла слежавшуюся простыню и исчезала, а Елисей сидел до тех пор, пока Алла Ярославна не засыпала. Тогда он выключал верхний свет и на цыпочках уходил.

Однажды Алла Ярославна спросила его:

— Вы любите стихи?

— Не уверен в этом. Я их мало знаю.

— Жаль. А я люблю. Кстати, сейчас вся интеллигенция упивается стихотворением Александра Блока. Я его целиком не помню, но вот это:

Россия, нищая Россия, [9]
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Этого нельзя читать без слез. Нравится вам? — спросила она Леську.

— Нет.

— А ведь это, Леся, эпохальные стихи. Они отвечают на самый жгучий вопрос времени. Они утешают нас в том страшном хаосе, который охватил Россию.

— Меня они не утешают. Я не хочу, чтобы любому чародею... Ни Колчаку, ни Деникину, ни Махно! Есть только один чародей на свете — Ленин.

— Почему вы так смело со мной говорите, Леся? Вы ведь совсем не знаете моих политических убеждений.

— Я вас люблю. Поэтому должен быть с вами откровенен.

— Понимаю.— Она подумала и снова сказала: — Но ведь Ленин — опасный человек. Он так много требует от России.

— Не от России, а *для* России.

— Ну пускай для, но это так страшно!

— Что же страшного, если за ним идет вся Россия? Гораздо страшнее все эти Корниловы да Врангели, которых Россия не хочет, но которые навязывают себя России, чтобы все шло опять так же, как было тысячу лет. А что касается хаоса, то никакого хаоса нет. Есть очень определенное, очень четкое стремление миллионов рабочих и крестьян освободиться от власти помещиков и капиталистов. Конечно, нет сахара, поезда почти не идут. Но разве это хаос? Это бесхозяйственность. Вот придет настоящий хозяин — и все появится.

— О, вы прирожденный агитатор! Так и сыплете из брошюр.

— Не жалеете ли вы, что выпустили меня из острога? — улыбаясь, спросил Леська.

Карсавина не ответила. Она вдруг смертельно побледнела и закусила губу.

— Что с вами, Алла Ярославпа?

Она продолжала молчать, но, силясь сдержать стон, глубоко и прерывисто задышала.

— Вам больно? Да? Больно? Что я должен делать? Аллочка Ярославна?

Карсавина молчала. Лишь глаза стали наполняться слезами. Леська наклонился к ней и застонал, как от собственной боли.

— Аллочка Ярославна... Родная... Как мне помочь вам? Я не знаю... Ну, скажите: как? чем?

Вскоре больная затихла: она была в обмороке. Леська бросился к двери, поднял весь дом. Оказывается, есть шприц, есть пантопон, но никто не умеет сделать укола.

Леська побежал в больницу и привез фельдшерицу. Все это время Карсавина металась, не находя себе места.

Утром за кофе Леська спросил Леонида:

— Леонид! Ты умеешь делать уколы?

— Разумеется.

— Научи меня.

— Зачем?

— Понимаешь... У меня такая цыганская жизнь... Кем я только не был: и натурщиком, и гадальщиком, и борцом. Но это же все ерунда. Надо хоть что-нибудь уметь! А шприц — это всегда кусок хлеба.

— Гм... Пожалуй, ты прав.

— Научишь?

— Хорошо.

— Давай сейчас.

— Сию минуту?

— Ну да. Мало ли что может случиться? К чему откладывать?

И Леонид показал Леське, как делать укол почти без боли.

— Прежде всего, нажми кожу в одном месте, а коли в другом. Понимаешь? Все сознание больного устремляется к той точке, которую ты нажимаешь, а шприц кольнет в другой, и та не успела сигнализнуть о боли. Далее: никогда не коли медленно — всегда быстро, с размаху. Третье: вонзив иглу и выжимая жидкость под кожу, оттягивай потихоньку шприц к себе, чтобы струя не разрывала ткань, а имела какой-то порожний канальчик.

«Черт возьми! Старик знает свое дело!» — подумал Леська.

Но «старик» знал больше.

Однажды Леська увидел маляра, который красил две крайние кабинки масляными белилами.

— Что это? Зачем?

— Больничку себе устрою на одну койку,— засмеялся Леонид.— Вот эта кабинка будет операционной, а та — палатой.

— На одного человека?

— А сколько мне нужно? Аборт я делаю в четыре

минуты, а потом два часа пациентка отлеживается. Ну, конечно, в случае осложнения...

Леську передернуло.

— А ты разве имеешь право? Без диплома?

— По законам империи лечить имеет право любой человек. Лечат же знахари, бабки... Надо только, чтобы это проходило в стерильных условиях.

Вскоре на даче появилась Александра Федоровна со своим красным крестом: у нее были отпускные дни, и опа могла работать «налево».

— Ну как, Леся, наша больная? Вы по-прежнему носите ее на руках?

— Это какая еще больная? — спросил Леонид.

— А как же? Красавица Алла Ярославна. Если б вы ее хоть раз увидели, Леонид Александрович, непременно бы влюбились, гарантирую. Но она, бедняжка, больна. У нее нефрит, и довольно острый.

— Так во-от зачем тебе нужен шприц,— протянул Леонид.

Леська смутился и быстро вышел из комнаты, ничего не сказав.

В «Дюльбере» началась та же история, что и в тот вечер. Сначала все шло как будто не плохо, но вдруг снова появилась боль, и Карсавина заметалась головой по подушке.

— Аллочка Ярославна! Я вам сейчас сделаю укол. Я уже научился. Пантопон у вас, кажется, двухпроцентный?

Карсавина испуганно взглянула на Леську:

— Что это вы вздумали? Ни за что!

— Но почему? Это же так просто.

— Экспериментируйте на ком-нибудь другом.

— Ну, Алла Ярославна...

— Нет, нет.

И снова разметалась. И потеряла сознание.

Елисей сделал ей укол. Неуверенно, но удачно. И, сорвавшись с места, выбежал на улицу.

Внизу его поджидал Еремушкин.

— Слушай, Бредихин, вот какое дело. Вчера в Евпаторию понаехали донцы и калмыки, разбили под городом лагерь и сидят. Зачем сидят? Не на курорт же прибыли.

— Ну?

— Так вот, надо выяснить.

— Хорошо. Постараюсь. Хотя, откровенно говоря, не знаю как.

5

Когда Елисей снова пришел в «Дюльбер», по обеим сторонам парадной лестницы стояли юнкера. Подняться во второй этаж можно было беспрепятственно: часовые охраняли только оба коридора первого.

«Так,— подумал Леська.— Атаман здесь».

Атаман Войска Донского сидел у постели Карсавиной, окруженный всеми Дуванами. Елисей ожидал встретить лихого казачину с чубом на ухе, а увидел мужчину средних лет, профессорской наружности. Вытянув одну ногу вперед и несколько поджав под себя другую, он сидел, опираясь на эфес шашки, в классической позе всех генералов, позирующих перед фотографом. Сейчас фотографа не было, но генерал все же позировал, хотя бы уж потому, что на него глядела Алла Ярославна.

— Что же дальше, Африкан Петрович? — вопрошал Дуван-Торцов.— Как, по вашему мнению, будут развиваться события?

— Как? Антанта предложила нам и Совдепии прекратить военные действия. Совсем недавно мы получили ультиматум от верховного комиссара Великобритании адмирала де Робека.

— И вы согласились?

— Барон не возражает, но с тем условием, чтобы нам оставили Крым.

— Неужели это устроит белое командование? — спросила Карсавина.

— Разумеется, нет. Но нам нужно выиграть время. Собраться с силами. Именно того же добивается и Антанта.

— И вы думаете, красные на это пойдут?

Богаевский вздохнул.

— Боюсь, что нет. Ведь Ленин оттого пошел на мировую с Польшей, чтобы перебросить силы с запада на юг.

— Как же вы думаете из Крыма ударить на красных? Ведь не с перешейка же, правда? — спросил Леська дрожащим голосом.

— А вот это военная тайна,— ответил, улыбаясь, Богаевский и тут же сам перешел в атаку: — А почему такой богатырь не в армии? Впрочем, мы в Крыму еще не объявили мобилизации. Но вы можете записаться добровольно. Я устрою вас в казачье юнкерское училище, и перед вами откроется карьера. Мы добровольцев очень ценим. Особенно тех, кто записывается сейчас.

Леська смутился...

— Хорошо. Мы подумаем,— ответила за него Карсавина.

— Почему «мы»?

— Потому что Елисей — мой племянник. Леся! Подай-ка мне пузырек с атропином.

— Вам плохо?

— Не плохо, но как-то неуютно.

— Мадам! — с необычайной галантностью произнес атаман.— Если вам понадобится врачебная помощь, мой военно-медицинский пункт к вашим услугам. Он помещается в левом крыле первого этажа — рукой достать.

— Вот это замечательно! — воскликнула Вера Семеновна.— Вот за это вам великая благодарность! Вы не представляете, как в Евпатории трудно с медициной.

Прощаясь, атаман поцеловал Карсавиной руку и сказал:

— Вы удивительно похожи на мою жену! Просто удивительно!

У Карсавиной появилась новая сестра — Нина Павловна, присланная атаманом. Сам Африкан Петрович навещал Аллу Ярославну довольно часто, и когда после сессии из Евпатории вернулся Абамелек-Лазарев, он не мог не обратить на это внимания.

— О чем же с тобой говорил этот представитель казацкого рыцарства?

— Так. Ни о чем.

— Ну как это «ни о чем»? Что-нибудь же изрек?

— Сказал, что я очень похожа на его жену.

— На жену? Так-таки и сказал?

— Да.

— Ах, мерзавец! Как он смел! Да я на порог его не пущу!

— А что в этом такого?

— Как «что»? Если б он сказал, что ты похожа на его сестру... А то на жену! Этим он уже входит с тобой в какие-то интимные отношения...

— Ну, что ты, Артемий? Леся! Дайте мне, пожалуйста, градусник.

— Почему Леся? Разве я не могу?

— Можешь. Но ты будешь долго искать, а он уже все тут знает.

— Ах, «уже знает»! И часто ты просишь его об этих пустяках?

— Часто. Он бывает здесь почти ежедневно.

— Но ведь у тебя есть Нина Павловна!

— Она у меня совсем недавно.

Абамелек-Лазарев воззрился на Леську и произнес лекторским тоном:

— Однажды за какие-то грехи Зевс покарал Геркулеса: он повелел ему стать рабом лидийской царицы Омфалы и выполнять женскую работу.

— Ну, работа у Леси не всегда женская. Иногда он носит меня на руках.

— Как это понять?

— В самом буквальном смысле.

Артемий Карпович вышел на балкон.

— Зачем вы его дразните?

— Ничего. Пусть привыкает. Уж очень ревнив.

Елисей решил больше не ходить к Алле Ярославне. У нее сестра, приехал муж, она уже не одинока, не беспомощна. Конечно, было бы полезно бывать в обществе атамана, но Африкан Петрович едва ли станет часто навещать Карсавину при супруге.

На всякий случай Елисей пошел на мельницу и вызвал Еремушкина.

Мастер с запыленными волосами поднялся на второй этаж. Елисей стал ждать в небольшом помещении, где кости перемалывались в костяную муку — фосфат. Из большого чана где-то под потолком мослаки, цевки, ребра, бабки проскакивали на кожаный пасс, который доставлял их в барабан, откуда они высыпались уже в мешок в виде муки. Леська равнодушно наблюдал за этим движением и думал о словах Богаевского. И вдруг из чана выпрыгнул человеческий череп и медленно поехал вниз вслед за мослаками. Был он очень величав и философичен. Судя по его коричневому тону, он принадлежал какому-нибудь скифу или гунну.

Мастер дотронулся до Леськиного плеча.

— Вас требуют наверх.

— Смотрите,— сказал Леська.— Человеческий череп!

— Ну и что? — ухмыльнулся мастер.— Перемелется — мука будет.

Череп... Скиф, наверное, купал коня в бухте, и его, наверное, радовало голубое видение Чатырдага там, за этим синим морем. Елисей почувствовал это так, точно сам был тем древним скифом.

— Парень! — окликнул Елисея мастер.— Идешь ты или нет? Там тебя дожидаются.

Леська побрел на второй этаж. Еремушкин и Шулькин стояли у раскрытого окна и напряженно вглядывались в даль.

— Посмотри в окно,— сказал Леське Еремушкин.

Елисей взглянул и увидел вдали белый лагерь, белый, точно стая лебедей.

— Казаки... Донцы и Зюнгарский калмыцкий полк. Можешь нам что-нибудь про них рассказать? — спросил Шулькин.

— Про них не могу, а вообще...

Елисей доложил об ультиматуме де Робека и о комментариях Богаевского.

— О-о! Вот это находка! — тихо и значительно сказал Еремушкин.— Конечно, в Москве догадаются и без нас, но у тебя факты, Бредихин. Молодец!

Лето было в разгаре.

Леська изнемогал в своем студенческом костюме, а купить что-нибудь более легкое не мог. Но у деда в сарае лежал парус № 7, шедший на кливера рыбацких лодок. Это был самый тонкий номер паруса. Елисей бросил его в море, вычистил песком и высушил на солнце. Парус побелел. Тогда Леська отнес его к портному, и тот сшил ему штаны и рубаху с обрезанными по локти рукавами. Рубаха заправлялась в брюки и торчала на плечах, как рыцарские латы. При студенческой фуражке костюм имел почти приличный вид.

К Алле Ярославне Леська по-прежнему не ходил, но не мог же он не бывать в «Дюльбере». К тому же стало известно, что приехал Тугендхольд.

Когда Елисей посетил Якова Александровича, искусствовед сидел на полу во фланелевой жилетке и раскладывал вокруг себя цветные репродукции. Одна из них бросилась Елисею в глаза: совершенно голый, очень смуглый мужчина, похожий на дьявола, впился поцелуем в уста обнаженной женщины. Тело ее поразило Леську, оно было таким нежно-розовым, таким воздушным, какого, наверное, в жизни никогда не бывает, но от этого казалось еще более женским, невыносимо женским...

— Что это? — спросил Леська.

— Буше. «Геркулес и Омфала».

У Елисея замерло дыхание, но он не без юмора подумал: «Хорошенькая «женская работа» у Геркулеса».

Дома его ожидала радость: приехал Шокарев. Правда, пришел он не к нему, а к Леониду, и они о чем-то

шептались, но в конце-то концов Володя принадлежал Леське.

— О чем ты шептался с моим братом?

— А ты не догадываешься?

— Догадываюсь. Но зачем тебе это нужно?

— Демобилизоваться хочу.

— Но ведь Деникин взял Тулу, а генерал Мамонтов...

— Не издевайся, Леся. Мало ли какие ошибки мы делаем в жизни!

— Да, но твою ошибку трудно будет оправдать, даже если ты уйдешь из армии. Евпаторийцы знают все: кто с кем живет, у кого сколько денег в банке, и, конечно, им известно, что подпоручик Шокарев служит в Осваге, хоть он и не носит военной формы.

— Что же мне делать? Уходить с белыми?

— А ты уверен, что они уйдут?

— Теперь уже уверен.

— А я был уверен в этом с самого начала.

— И все-таки я советую тебе также обратиться к брату. Пока суд да дело, Врангель объявит мобилизацию, и тебя забреют.

— Резать я себя не дам, а к барону в солдаты не пойду.

— Как же ты избежишь этого?

— Спрячусь.

— Где?

— У Шокаревых.

Володя засмеялся.

— Ну и хитер же ты, Леська! Я просто восхищаюсь тобой. Недаром я решил взять тебя в управляющие.

— Ах, так! Значит, ты все же уверен, что белые вернутся?

— А кто их знает? Все может быть.

И тем не менее Шокарев сутки пролежал в «амбулатории» Леонида, а потом целую неделю ходил на перевязки.

— Я не борец «Икс». Моя красота от шрама не пострадает. К тому же доктор Бредихин сделал такой тоненький шов, что моя будущая жена легко мне его простит.

— Значит, все-таки решил демобилизоваться?

— Да. И, когда придут большевики, Леонид будет свидетелем, что он сделал мне фальшивую операцию исключительно, чтобы я ушел от белогвардейцев.

— А ты представляешь себе, в какое неловкое положение ты поставишь Леонида?

— Почему же в неловкое? Мы ведь не скажем, что я ему за это заплатил. Налицо будут исключительно идейные соображения.

— Ох, и расстрелял бы я тебя, Володька... С наслаждением расстрелял бы...

— Бы, бы... А кто тебя будет прятать?..

Дни шли за днями, а Леська так ничего и не узнал о намерениях атамана. Но, может быть, об этом знают сами казаки?

Леська дождался приезда Андрона и рассказал ему, чего от него, Леськи, ждет партия. Андрон задумался. Потом сказал:

— Готовь с утра шаланду и сеть.

Шаланда доплыла до собора. Оставив Леську в лодке, Андрон ушел на базар. Через полчаса он вернулся, неся в ящике из-под фруктов множество свежих, еще живых карасей, ставридок и барабули. Карманы его топырились от бутылок. Под мышкой — каравай хлеба.

За мельницей показался казачий лагерь. Андрон забросил сеть. Елисей начал грести к берегу и сильными рывками заставил шаланду прыгнуть на пляж.

К ним тут же подбежали три казака.

— Здесь нельзя! — закричал один из них.

— А где можно?

— Где хочешь, там и можно, а тут сам видишь — военный лагерь.

— Ладно. Сейчас уйдем.

Андрон и Леська вытащили сеть, в которой было много камки и очень немного рыбы, да и та хамса.

— Мелкота! — презрительно сказал низенький, коренастый, которого казаки звали Прохор.

— У нас и покрупней,— отозвался Андрон и показал ему ставридок.

— Купите? — спросил Леська.

— Кто? Мы?

— Ну да.

— А гроши у нас е? — комически вопросил третий, очевидно кубанец.

— А может быть, другие купят?

— Да другие не богаче нас.

— Как же быть? — раздумчиво спросил Андрон.— Не ворочаться же с этим домой.

— Жинка засмеет?

— Угу.

Андрон подумал и вдруг решил:

— Пустим рыбу обратно в море.

Он зачерпнул ладонью карасей и швырнул их в воду, но станичник кинулся к нему:

— Слышь, рыбак! Давай вот что: сварим из них ушицу, а? Твоя рыба — наш котелок. А?

— Ушицу...— как бы неуверенно протянул Андрон.

— А что? — поддержал казака Елисей.— Только у нас ни соли, ни лаврового листа. Зато,— он подмигнул станичнику,— водка есть.

Станичник взволновался еще горячее:

— Соли мы достанем, а насчет лаврового листа,— скусно и без него. Уха, да еще с водочкой... Э-эх!

— А из чего костер разжигать? — спросил Андрон.— Ящик у нас есть, да, пожалуй, одного мало.

— Ящики доставим,— успокоил его станичник.— А нука, Прохор, сбегай к повару, притащи казанóк и ложки. Только никого сюда не пускай! Скажи, мой брательник отыскался. Тут и самим... Гам — и вот он, зуб.

— Да я зараз...

Он действительно очень скоро вернулся. Запылал костер, белый и бледный на солнце, и вскоре пятеро мужчин хлебали уху из котелка, держа хлеб под деревянной ложкой, чтобы ни капли не пропало. Потом по кругу пошла бутылка. После третьего глотка беседа стала такой дружеской и откровенной, точно люди знали друг друга с детства.

— Сидим, загораем,— сказал высокий станичник.— А что с нас думают делать, никто не знает.

— Так уж и не знают?

— Подлец я буду, не знают! Хоть кого спроси. То ли военная тайна, то ли просто некуды нас девать.

На дороге показались два автомобиля. Окутанные пылью, подкатили они к лагерю. Из первого вышел очень рослый краснолицый человек в черкеске и папахе. За ним двое пониже.

— Врангель!

Прохор вскочил и побежал в лагерь. Двое других остались доедать уху. Уха оказалась невкусной, но казаки были очень голодны.

— А нам тоже можно подойти к лагерю? — наивным голосом спросил Леська.

— Подойти можно, а войти нельзя.

Барон Врангель уже держал речь. Голос у него был могучий, а у тихого моря прекрасная слышимость.

— Русские люди! За что мы боремся? Мы боремся за наши поруганные святыни. Мы боремся за то, чтобы каждому крестьянину была обеспечена земля, а рабочему его труд, за то, чтобы сам русский народ выбрал себе хозяина. Помогите мне, русские люди! К нам идут из-за границы новенькие пулеметы, винтовки, седла. Донцы! Россия смотрит на вас с надеждой. Спасите Россию!

Рядом с Врангелем стояли атаман Богаевский и начальник контрразведки генерал Кутепов.

Андрон и Леська решили отступить, пока их не заметили.

— Да... Беляки определенно чего-то затевают, и как раз в Евпатории. А то на кой Врангелю сюда ехать?

Андрон, конечно, был прав. Но что задумали белогвардейцы? Казаки пока не знали.

Дома на скамье под яблоней Леську поджидал Еремушкин.

— Авелла!

— Ну, как дела?

— Пошли на мельницу.

— Зачем?

— Увидишь.

И Леська увидел «товарища Андрея».

— Я хотел бы, товарищ Бредихин, услышать из ваших уст то, о чем вы сообщили нашему связному. Это для нас чрезвычайно важно. Разумеется, ультиматум де Робека в Москве известен: он ведь послан в два адреса — Ленину и Врангелю. Но неужели Богаевский так прямо и сказал, что делается это исключительно для проволочки времени?

— Да. Так прямо.

— Вы не ошибаетесь?

— Нисколько.

— Вспомните, пожалуйста, если можно, слова атамана точно.

Елисей передал все, что слышал, обрисовал обстановку, в которой проходил разговор.

— Спасибо, товарищ Бредихин. Вы сделали для партии большое дело. Теперь к вам великая просьба. Несомненно, белые готовят десант,— кстати, он перед вами,— сказал Ульянов, указывая на лагерь.— Так вот: не сможете ли вы узнать, куда именно бросят эту публику?

— Сделаю все, что смогу, Дмитрий Ильич.

— Будем вам очень благодарны.

— А теперь у меня к вам свой вопрос: почему меня не хотят принять в партию? Неужели я еще не проверен?

— Этого сейчас ни в коем случае делать нельзя, товарищ Бредихин. У вас уникальное положение. До тех пор, пока вашего имени нет в списках, все ваши провалы можно объяснить, простите меня, мальчишеством. Но если ваше имя найдут хоть в одном списке, вы для нас потерянный человек. Конечно, мы постараемся вас спрятать, но работать вы уже не сможете. Однако обещаю вам: как только Советская власть утвердится в Крыму, я первый дам вам рекомендацию.

Леська возвращался с мельницы, как со свидания. Он был полон счастья...

Дома, на той самой скамье, где его ожидал Еремушкин, сидел уже Сеня Дуван.

— Авелла!

— Здравствуй, Леся. Мама послала меня к тебе: ей очень нужно тебя видеть.

— Хорошо...

— У нас опять беда с Аллочкой,— начала Вера Семеновна.— Африкан Петрович почему-то отозвал сестру милосердия, Артемий Карпыч уехал в университет, и мы снова должны просить вас о помощи.

— Если я нужен...— рыцарски поклонился Леська и пошел к Алле Ярославне.

— Куда вы исчезли? — спросила Карсавина.

У нее были две улыбки. Одна — общая, расхожая, дружелюбная, предназначенная всем. Другая — особая, с приподнятыми уголками губ,— для очень-очень редких людей. Этой второй улыбкой она и встретила Леську.

Вся нежность, которая скопилась в груди Елисея, устремилась к ней, но Леська сумел взять себя в руки.

— При вас находились муж, и сестра, и атаман. Зачем еще тут я?

— Много званых, мало избранных.

— Неужели я избранный?—бестактно спросил Леська.

— Это я так, из Евангелья,— неопределенно ответила Карсавина, и голос ее прозвучал суше.

Потом появилась Вера Семеновна. Она позвонила атаману и вызвала сестру. Та сделала укол и ушла.

— Подумайте, Леся,— шепотом заговорила Вера Семеновна, чтобы дать больной уснуть.— Пять дней назад у нас испортился движок, который подавал воду в резер-

вуар. Я наняла двух казаков, чтобы они качали вручную. Они покачали-покачали, а теперь ушли. Завтра в гостинице нечем будет умываться. А у нас Врангель.

— Наймите меня,— сказал Елисей тоже шепотом.— Я как раз сейчас ищу работы.

— Он не справится,— сквозь сон пробормотала Карсавина.

— Справлюсь!

— Да, но ведь два казака...— сказала Вера Семеновна уже погромче.

— Ну и что? Если они вдвоем работали, допустим, шесть часов, то я один буду — двенадцать. Простая арифметика.

— Гм... Попробовать, пожалуй, можно. Тем более что выхода у меня нет: завтра нечем будет умываться.

— А сколько вы платите?

— Триста. Я всегда плачу триста,— сказала хозяйка.

Елисей подумал о том, что за Карсавину из филантропии она готова была платить ему пятьсот. Но за настоящую работу торговалась. Но Леська, конечно, не стал спорить и согласился на триста.

Из комнаты Аллы Ярославны он тут же спустился в погреб, разделся до трусов и взялся за рычаг. Ушел он домой в два часа ночи, а в шесть утра снова стоял за рычагом.

В полдень к нему сошла Вера Семеновна и принесла стакан чаю и сладкую булку. Пока Леська ел, она глядела на него и причитала:

— Лесенька... Милый... Вы побледнели за то время, что вы тут...

— Нет, Вера Семеновна. Это вам так кажется: просто здесь темно.

Елисей ежедневно работал в подвале от девяти до двенадцати дня, потом бежал на пляж, бросался в море, опять возвращался к рычагу и работал до четырех. Для резервуара этого было вполне достаточно. Затем Елисей уходил домой обедать, а в шесть часов являлся на дежурство к Алле Ярославне.

6

Однажды во время купания Елисей увидел на пляже прапорщика Кавуна.

— Что вы делаете в наших местах? — спросил Леська.

— Приехал с донесением к генералу Кутепову.
— Ого! И тем не менее вы все еще прапорщик!
— Скоро представят к подпоручику.
— Поздравляю. А как там наш Аким Васильич? Что поделывает?
— Арестован ваш Аким Васильич.
— Как арестован? За что?
— За большевистскую агитацию. Вот посудите сами — стишки.

ДВА ВОРОНА
(Почти по Пушкину)

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
— Ворон! У меня печать.
Что могу я запрещать? —
Ворон ворону в ответ:
— Разумеется, мой свет,
Всего нельзя, но к этому надо стремиться.

— И за это его арестовали?
— А что? Разве мало этого? Барон Врангель пишет в воззвании буквально следующее.— Тут Кавун, как первый ученик, отчеканил наизусть знаменитую фразу: — «Мы боремся за то, чтобы каждый честный человек мог свободно высказывать свои мысли». Понятно? «Боремся» — сказано, чтобы «каждый» — сказано. А ваш приятель пишет стишки о том, что якобы наша цензура стремится запретить *все*! Как это называется?
— Понимаю. Это, конечно, вы подвели его под статью, а может быть, и под виселицу. Вы лично!
— Не опровергаю,— самодовольно ухмыльнулся Кавун.
Леська опрометью кинулся к Алле Ярославне. У нее сидела Вера Семеновна.
— Как?! — удивилась хозяйка.— Вы не в подвале?
— Вера Семеновна! Дорогая! Арестован честный старик — Аким Васильевич Беспрозванный. В Симферополе. Алла Ярославна его знает. И подумайте, за что? За пустяковое стихотворение. Вот оно! Я его запомнил...
Леська взволнованно прочитал «Двух воронов».
— Этого не нужно было писать,— холодно заметила Вера Семеновна.
— Конечно, конечно! Но за это арестовывать?
— Леся прав. Старик действительно полон обаяния, хотя и чудаковат.

— Хорошо,— сухо сказала Вера Семеновна.— Я займусь вашим сумасшедшим старцем. Как его, вы сказали?

— Аким Васильевич Беспрозванный.

— Беспрозванный... А вы, Леся, ступайте работать, иначе сорвете мне завтрашнее утро.

В четыре Леська снова был у Карсавиной.

— Ну, как? Что-нибудь сделано?

— Все сделано.

— Уф! Просто гора с плеч.

— А вы, оказывается, хороший товарищ, Леся.

— Да нет. Просто жаль старика до боли.

Пауза.

— Вера Семеновна говорит, будто вы похудели на ее работе. Ну-ка, садитесь поближе — посмотрю на вас, какой вы есть.

— Ну и как?

— И вправду похудел...

— Ничего. Мне это полезно. Вместо того чтобы по утрам заниматься боксом с мешком, набитым ракушками, я развиваю свои мускулы за рычагом, да еще получаю за это деньги.

— Все-таки вы очень хороший, Лесик. Как вы взволновались из-за вашего Первозванного! Дайте мне руку.

Она подержала его большую кисть в своей руке и отпустила ее. Но теперь уже Леська взял ее руку в свои ладони.

И тут она взглянула ему прямо в глаза.

— Муй единый! — вырвалось у нее по-польски.

— Аллинька... Дорогая... Любимая... Счастье мое, Аллинька... Я люблю вас, я обожаю вас!

Потом она лежала в счастливом изнеможении, а Леська стоял на коленях у постели; голова его на подушке рядом с ее головой, и они ненасытно глядят друг другу в глаза и улыбаются и думают о том, как это удивительно, что почка совершенно перестала болеть.

Андрон сидел над картой Крыма и рассуждал вслух:

— Ясно-понятно, беляки рассчитывают на десант. Десанты могут быть у них всякие: на Тамань, скажем, или на Азовщину. Но раз они взялись за Евпаторию, то уж наверняка метят на Каркинитский залив. А куда им еще? Не на Одессу же, верно?

— Пожалуй,— сказал Леська.

— Но если на Каркинитский, то самые наиудобнейшие точки могут быть или Хорлы, или Скадовск, которые сидят на хорошем якорном месте. Но к Хорлам подходят только суда с небольшой осадкой... Скадовск сподручнее. Там и берег приглубее, там и пристань в двести сажен длины, а на суше еще и бассейн с каналом глубиной в девять футов. Только Скадовск! Ничего другого в наших краях моряк не посоветует, а без моряков десанта не будет. Как ты скажешь?

Андрон много лет плавал по каботажу и знал берег как свои пять пальцев. Но Леська уже бежал к Шокареву.

Володя очень обрадовался Леське: он тут же разжег примус и вскипятил в медной турецкой кастрюлечке великолепный черный кофе с бронзовой пенкой. Они сидели друг против друга в бывшей детской, которая потом была кабинетом комиссара, а теперь стала библиотекой. Сидели и вспоминали себя гимназистами.

— Помнишь, как Гринбах ответил директору, когда тот сказал: «Бог знает математику на пять, я на четыре, а ты в лучшем случае на три»?

— Еще бы! «То, что дважды два — четыре, бог, вы и я знаем одинаково хорошо».

— Да... Гринбах... Где-то он теперь?

— Может быть, убит?

— Может быть.

Пауза.

— Ты уже демобилизовался?

— Нет еще, но уже подал рапорт.

— А-а...

Пауза.

— А помнишь наши гимназические песни?

Что ты спишь, мужичок,
Спереди и сзади?
Ведь весна на дворе
Спереди и сзади...

Леська подхватил:

Кем ты был и кем стал
Спереди и сзади?

Оба:

И что есть у тебя
Спереди и сзади?

— Еще кофейку?

— Нет, спасибо. Хватит.

— Может быть, простого с ликером или коньяком?

— Нет, нет.

Пауза.

— Так ты уже демобилизовался?

— Я тебе ответил: еще нет, но подан рапорт.

— Да, да. Но сначала нужно, чтобы ты сделал одно хорошее дело.

— Как! Еще одно хорошее?

— Милый! После того как ты пошел работать к белогвардейцам, твой «Сипеус» абсолютно забыт. Теперь ты должен чем-нибудь загладить свою службу в Осваге.

— Загладить...

— А ты что думал?

— Но ведь я демобилизуюсь.

— А нам какая от этого польза?

— Чего же ты еще хочешь?

— Ты должен выведать, куда Врангель бросит десант.

— Какой десант?

— Не прикидывайся!

— Ей-богу, ничего не знаю...

— Врангель собирается бросить десант в районе Каркинитского залива. Мне нужно знать, куда именно.

— Кто же мне об этом скажет?

— В Осваге, наверно, все известно. А неизвестно сейчас — будет известно завтра.

— Ты понимаешь, чего ты от меня требуешь?

— Понимаю. Но и ты понимаешь, что обязан это сделать. Прежде всего для самого себя.

— Как ты меня мучаешь!

— А ты меня! Связался черт с младенцем.

Вокруг Карсавиной снова восседало целое общество: Дуваны, атаман и Артемий Карпович, свалившийся на Леськину голову, как с крыши кирпич.

Атаман упоенно рассказывал о своей юности, стараясь говорить красивым голосом и обращаясь исключительно к Алле Ярославне, а ее супруг перебегал ревнивыми глазками с нее на атамана.

Леська был очень доволен, что не застал Карсавину одну. После той знаменитой ночи он не знал, как войти, что сказать. Но теперь он скромно уселся позади всех.

Сеня встал, подошел к самовару, налил стакан чаю и преподнес Елисею. Кроме товарища, никто не обращал на него внимания. В особенности Алла Ярославна.

— Был я тогда молоденьким юнкером,— рассказывал Богаевский.— Дортуары наши находились на втором этаже. И вот однажды за целый час до подъема я въехал туда на коне и — что бы вы думали? — начал брать барьеры, а «барьерами» этими были кровати моих товарищей. Что там поднялось! Все вскочили, извините за выражение, в дезабилье и забились в угол, а кто не успел, скорчился на постели в три погибели и с ужасом подумал: зашибет его конь или не зашибет?

— И что же? — спросила Алла Ярославна, по-прежнему не замечая Леськи.— Не растерзали вас юнкера?

— Ну зачем же? — зажурчал Богаевский.— Все-таки молодечество. А это у нас, военных, в цене.

Абамелек не выдержал. Ему тоже хотелось покрасоваться перед женой.

— Вот вы говорите «молодечество». А ведь его можно проявить не только в военном деле. Был я еще молодым доцентом и набросал реферат о «Скупом рыцаре». О скупых писали многие: Плавт, Шекспир, Мольер, Гольдони, даже Гофман. У них также звенели цехины и рейхсталлеры, создавая как бы поэзию стяжательства. Но я трактовал Пушкина иначе. О чем говорит он в «Скупом рыцаре»? О борьбе скупого отца и расточительного сына? Да, но это побочная линия. Главная — это рыцарь-ростовщик и ростовщик-еврей. Оба они, в сущности, приравнены. Высокий титул барона ничем решительно не возвышается над низким званием жида. Я сказал бы даже, что он...

— Но самое трудное было впереди,— бесцеремонно перебил его Африкан Петрович.— Вверх-то я въехал. А как теперь вниз? Конь боится пропасти, скользит по лестнице, нейдет. Что делать? И вот представьте: все мои юнкера пришли на помощь. Общими усилиями передвигали коню передние ноги со ступеньки на ступеньку. А вы говорите, дорогая, «растерзали»...

— Замечательно! — воскликнул Абамелек.— Но, извините, я еще не кончил. В своем реферате я обращался к режиссеру Мейерхольду с предложением поставить «Скупого рыцаря» так, чтобы какие-то строки из монолога ростовщика-барона вложить в уста ростовщика Соломона. Ну, хотя бы эти... После слов еврея:

Деньги? — деньги
Всегда, во всякий возраст, нам пригодны,—

вставить слова барона из сцены второй:

Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.

А во второй сцене барон произносит эти же строки, как ему и положено автором. Представляете эффект? А? Это вам не лошадь на втором этаже.

— Потрясающе! — воскликнул Дуван-Торцов.— И, конечно, только Мейерхольд посмел бы отважиться на такой ход.

Абамелек ликовал. Атаман сидел расстроенный и накручивал свой пышный ус на указательный палец.

Тут-то и решил выступить Елисей.

Я уже говорил, что превращение ребенка во взрослого совершалось у Леськи порывами, которые осложнялись отступлениями. Но сейчас это был абсолютно собранный, очень опытный мужчина. Точным глазом боксера он увидел, что Богаевский «раскрылся». Атаман пойдет на все, если дать ему повод восстановить свой «ореол» в глазах Карсавиной. Чутье разведчика подсказало Елисею, что действовать надо сейчас, сию минуту, и бить под самый вздох.

— Я вполне понимаю всю прелесть реферата Артемия Карпыча,— сказал Елисей,— но все это из области эстетики, не больше. В наше суровое время не она решает проблему эпохи. Африкан Петрович рассказал нам интересный анекдот из своей юности, но почему-то не хочет поделиться с нами думами о тех огромных задачах, которые ему приходится решать сегодня.

— О чем вы говорите, молодой человек? — с надеждой спросил атаман.

— Я говорю о том, что сегодня вы, Африкан Петрович, человек истории. От того, как вы сейчас поступите, зависит судьба России.

Атаман покраснел от этих льстивых слов и мягко попытался их отвести:

— Ну, вы преувеличиваете...

— Нисколько! Вот почему ваш рассказ о коне нас не удовлетворил. Мы хотели бы услышать рассказ о коннице. Евпаторийцы взволнованы тем, что под городом на берегу моря разбит лагерь казаков. Евпаторийцы спрашивают: неужели в такие острые дни лошадей привезли на морские купания?

— Да, действительно! — обрадованно подхватил Абамелек.— Создается впечатление, будто этот курорт превращен в мирную казарму для такой боевой части, как донская кавалерия.

Атаман снова попал в центр внимания, откуда ему трудно было бы теперь выбраться, да он и не пытался этого сделать.

— Господа! — сказала Карсавина.— Мы требуем от Африкана Петровича чуть ли не выдачи военных тайн. Это некорректно. Переменим тему. Так что же, Артемий, было с Мейерхольдом? Как он отнесся к твоему предложению?

«Милая...— подумал Елисей.— Как ты мне помогаешь! Неужели сознательно?»

— Мейерхольд о нем даже не узнал.

— Но почему? Ты ведь мог послать ему свой реферат.

— Понимаешь... Не решился. Струсил.

— Но при чем тут военные тайны? — снова вступил в разговор Африкан Петрович.— Что именно вас интересует?

— Нас интересует, что именно вы намерены делать с казаками! — раздраженно ответил Дуван-Торцов.— С нас, обывателей, все время берут контрибуцию на содержание этого войска, и я хотел бы знать, долго ли такое положение продлится.

— Теперь-то уж недолго.

— Но что, что предполагается? Только вчера с меня взяли пятнадцать тысяч рублей. Имею я право хотя бы на какой-нибудь намек?

Атаман смутился и развел руками.

— На базаре говорят,— сказал Леська с самой наивной интонацией,— что предполагается десант на Хорлы. Вот вам и военная тайна.

— Хорлы? — рассмеялся атаман.— Пусть говорят. Нам это выгодно.

— Почему?

— Потому что чепуха! К Хорлам есть только два подъездных пути с моря. Разве это может нас устроить? Да и пристань там всего в сто саженей. Хорлы!

Он снова расхохотался.

«Ура! — весело подумал Леська.— Он себя выдал. Если б не решили организовать десант именно в Каркинитском заливе, Африкан не знал бы так подробно ка-

кие-то захудалые Хорлы. Очевидно, в штабе изучали этот вариант и забраковали его. Остается Скадовск! Ничего другого».

Леська хотел тут же бежать к Еремушкину, но решил все же дождаться Шокарева.

Когда все, кроме Абамелека, ушли, Елисей спросил Карсавину:

— Я вам сегодня не нужен?

— Нет! — резко ответил Абамелек.

На улице Леську поджидал Еремушкин.

— Ну? Выяснил что-нибудь?

— Десант предполагается на Скадовск. Но, может быть, это только догадка.

— Ну-ну, расскажи, в чем дело!

Когда Елисей изложил ему мысли Андрона и реплику Богаевского, Еремушкин сказал:

— Это всерьез. Это очень всерьез.

И тут же засуетился.

— Айда! Иди к своему Шокареву, а я пойду доложить, кому надо.

Леська отправился к Шокареву.

Володя по-прежнему ничего не знал о десанте, но зато снова сварил турецкий кофе в медной кастрюлечке с длинной ручкой. Они сидели теперь на диване в гостиной. И опять началось: «А помнишь?», «А помнишь?».

— А помнишь, как мы играли в самоубийство? Клали в барабан пятизарядного револьвера одну пулю, потом ударяли по барабану пальцем, а когда он останавливался, стреляли наудачу...

— Да. Ты стрелялся. Я стрелялся. А Листиков, подлец, ни в какую...

— За что мы его очень подробно били.

Воспоминания сближали друзей, но дело оставалось делом.

— Ты что-нибудь выяснил? — спросил наконец Елисей.

— Да пока ничего.

— Извини меня, Володя, но ты напоминаешь мне дрессированного льва, который с отвращением на морде прыгает сквозь огненный обруч.

— Ты прав, Осваг — это действительно огненный обруч. Малейшая неосторожность — и можешь заработать виселицу.

— А ты предпочитаешь красный расстрел?

Володя поглядел на Леську затравленными глазами.

— У тебя нет выхода,— продолжал Елисей.— Поэтому нужно рисковать. Риск — это прежде всего надежда.

Дня через три горничная Даша спустилась в подвал к Леське:

— Елисей! Вас требуют Алла Ярославна.

— Артемий Карпыч тоже там?

— Там.

Леська вымыл руки, оделся и взбежал наверх. У двери в комнату Карсавиной он услышал каркающий голос Абамелека:

— Я категорически не хочу, чтобы этот парень у нас бывал! Он в тебя влюблен!

— И я в него,— сказала жена.

— Ого! Может быть, вы уже и целовались? — спросил муж.

— Я его любовница,— сказала жена.

— Я не говорю, что ты его любовница, но этот молодой человек...

— А я говорю, что я его любовница.

На Леську вдруг напал такой страх, что сердце кинулось под горло, и он убежал в свой погреб.

Утром Даша снова спустилась к Елисею:

— Елисей! Вас требуют Алла Ярославна.

— Артемий Карпыч тоже там?

— Нет.

Леська постучался.

— Войдите!

Это был голос Аллы Ярославны, такой ясный голос, какого он у нее давно не слышал.

— Лесик! Как я по тебе соскучилась. Поди сюда.

Елисей подошел. Алла притянула его к себе и жарко поцеловала в губы.

— Садись.

Леська сел. Алла взяла его руку.

— Ну вот, наконец мы свободны. Артемий Карпыч согласился меня оставить.

— Как оставить?

— Навсегда. Мы разошлись.

— Вы уже не муж и жена?

— Понял наконец,— рассмеялась Карсавина.

— Значит... Теперь ваш муж — я?

— Ну нет. Зачем же... Замуж я не собираюсь. Мы будем принадлежать друг другу столько, сколько нам захочется.

— Я хочу — всю жизнь!

— Хорошо.

— Вы это как-то несерьезно говорите.

— Любовь на всю жизнь — это в наших с тобой обстоятельствах несерьезно.

— Почему?

— Да ведь я старше тебя на целых двенадцать лет.

— Это не имеет значения.

— Сейчас — да. Но лет через десять... Женщины очень меняются.

Вошла Вера Семеновна.

— Елисей! Идите на балкон.

— Плакать будете?

— Поплачу немножко.

Леська вышел на балкон. Пляж уже поостыл. Купающихся не было, но было много влюбленных. Они лежали у воды в одежде и, пересыпая ракушки из ладони в ладонь или выпуская из кулака струйку песка, говорили о любви.

Елисей думал о том, что он счастливее их всех, потому что ни у кого нет такой красавицы, как Алла Ярославна. Подумать только: она допрашивала Леську в тюрьме и могла подвести его под пулю. А вместо этого... Но какой-то червячок все же подтачивает Леську под сердцем.

«Конечно, теперь я ее муж. Пускай мы не обвенчаны, но все-таки муж. Ради меня она разошлась с Абамелеком. Но на что мы будем жить? Алла больна. Работать не сможет. А я? В лучшем случае я могу прокормить себя: одна голова не бедна. Но как я смогу обеспечить жизнь Аллы?»

Он подумал о том, что у нее уже нет даже намека на второй подбородок, который так ему нравился. И голос потерял свою свежесть... Ему было так жутко перед будущим, что, когда его снова позвали, он не успел согнать туман со своего лба.

— Бедный Леся! — вздохнула Вера Семеновна.— Он определенно у меня худеет.

Потом утерла глазки надушенным платком и спокойно выплыла из комнаты.

— Отчего мальчику взгрустнулось? — как-то по-матерински спросила Карсавина.

— Вы всегда будете называть меня мальчиком?

— До тех пор, пока это будет мне приятно.

Леська хотел рассказать ей о своей тревоге, но побоялся, что она, пожалуй, сочтет его мещанином. Но жить-то все-таки на что-нибудь нужно?

К ночи снова появилась Вера Семеновна. Оказывается, она чего-то еще недоплакала, и Леську опять отсылали на балкон, но ему это надоело. Он откланялся и пошел домой.

Дома его ждал Шулькин.

— Авелла, Елисей!

— Здравствуй. Ты от Еремушкина?

— Не от Еремушкина, а вместо Еремушкина.

— А что с Еремушкиным?

— Его послали в Скадовск.

— Да что ты? Как же он туда попадет?

— Очень просто: на рыбацком баркасе.

— Понятно.

— Теперь держи связь со мной.

— А что еще предполагается?

— Не знаю, Леся. Сейчас мы все ждем событий в Скадовске.

— Это произойдет скоро?

— По-моему, на днях. Ты заметил, сколько барж и буксиров подошло к нашему берегу?

— Нет. Я ведь живу от мельницы очень далеко.

— Вот-вот. Значит, теперь уже недолго,— сказал Шулькин, явно думая о чем-то своем.

7

Хотя сезон еще не наступил, Евпатория жила насыщенной жизнью. С самого утра пляж был полон. Недалеко от кафе-поплавка, как раз против «Дюльбера», покачивались на якорьках парусные лодки — «Посейдон», «Артемида», «Гелиос». Греки с обнаженными торсами аполлонов и гераклов, живописно полулежа на корме, приманивали более или менее моложавых старушек. А над пляжем стоял чудесный, ни с чем не сравнимый мягкий гомон летнего моря, где лепет, плеск и шипение легкой зыби сливались с детским ликующим визгом и сияющим смехом женщин. Люди наслаждались солнцем, морем, дюнами, и никто не думал о том, что в это время казаки, снявшись ночью на баржах, подошли к Скадовску.

Но Шулькин об этом думал. Больше того, он кое-что знал. Поэтому он пришел в подвал к Бредихину.

— Есть хорошие новости! Казаки наголову разбиты под Хорлами!

— Ну? Вот это здорово! Подробности известны?

— Пока нет. Знаю только, что высадились они в Скадовске и кинулись по суше на Хорлы, но Красная Армия сбросила их в море. На Севастополь драпанули жалкие остатки.

— Спасибо, дорогой. Это хорошо, что ты ко мне пришел.

Елисей подумал о том, что Еремушкин относился к нему сурово. Он приходил только тогда, когда ему что-нибудь было нужно, но никогда не приходил рассказать новости. А ведь он тоже вправе знать то, что они знают. Еремушкин ему не доверял. Это ясно. А вот Шулькин доверяет.

— Я тебе пока не нужен? — спросил Леська.

— Нет. Покуда нет. Когда понадобишься, я к тебе забегу. Ну, мир праху!

Это был коренной евпаториец.

Леська бросился к Шокареву. Еще за квартал ему почудился запах черного кофе.

— А-а! Леся! А я как раз собирался к тебе. Постой, что это за роба на тебе?

— А что? Ты видел ее много раз.

— Неужели?

— В студенческом костюме жарко, да и выгорит он на солнце в одну минуту, а эти штаны с рубахой выдержат самое адское пекло!

— Да, но это даже не парусина...

— Правильно! Это парус номер семь.

— Странно, очень странно.

— Чем же странно? Живу по средствам.

— Ну, займи у меня. Отдашь как-нибудь.

— Не хочу.

— Но ведь ты одет просто неприлично.

— Вполне прилично. Штаны как штаны. Даже с карманами. А на рубахе пуговки — золотые с орлами. Шик! Ну да бог с ним! Ты вот что скажи: зачем ко мне собирался?

— Да, да... Наконец-то мне удалось выяснить, что десант предполагается высадить в порту Скадовском.

Глаза Елисея стали железными.

— Все-таки удалось?

— С большим трудом, конечно, но удалось.

— И это точно?

— Абсолютно точно.

Елисей задохнулся...

— Джинабет! — выругался он по-татарски и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.

Шокарев не побежал за ним, не попытался выяснить, что так возмутило его друга... Все было ясно. Ясно для обоих.

По дороге в «Дюльбер» Леська вспомнил о том, что тем же словом, но по-русски обругал его когда-то Гринбах. Изменился ты, Бредихин, с тех пор. Совсем другой человек.

В «Дюльбере» уже не было часовых. Елисей побрел по коридорам первого этажа. Двери в «люкс», где обитал атаман, раскрыты настежь: там производили уборку.

— Так. Значит, информация Шулькина подтверждается.

Поцеловав руку Аллы Ярославны, он рассказал ей о разгроме белых под Хорлами.

— Ты полагаешь, будто это к лучшему? — задумчиво спросила Карсавина.

— Конечно. Если белым не удастся вырваться на материк, они в Крыму задохнутся.

— Не думаю. Если Крым будет самостоятельной республикой, он сможет существовать, как Болгария или Румыния. Здесь пшеница, баранина, рыба, виноград. А крымская Ривьера с купальнями и лечебницами! Вполне можно жить.

— Красные этого не допустят.

— А вот это — дело другое.

Пауза.

— А почему вам не хочется, чтобы пришли красные?

— Они задушат культуру. Куда, например, денется Блок?

— Куда? Но ведь «Двенадцать» у большевиков самая популярная поэма.

— «Двенадцать» — это уже не Блок.

Леська хотел возразить, но она вдруг прочитала тихим грудным голосом, которым обычно не говорила, но который берегла для стихов:

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Читала она с несколько подчеркнутой дикцией, но хорошо. Под конец голос ее подернулся легкой хрипотцой, и от этого стихи стали еще значительней:

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!

— Чем я должен восхищаться? — сдерживая раздражение, спросил Елисей.

— Возвышенностью чувства.

— Какого? Религиозного?

— Поэтического.

— А что это такое?

— Этого не объяснишь.

— Я считаю поэтическим чувством высшую степень духовного переживания. А переживать я могу то, во что верю. Но если я не верю в бога, то как я могу восхищаться этими церковными заклятиями: «да святится Имя Твое» и «со святыми упокой»? А может быть, вы хотите, чтобы я склонил колени перед богоматерью, которая держит «море и сушу неподвижно тонкой Рукой»? Это после Галилея и Коперника?

— Но разве ты не восхищаешься сказками?

— Да, но я знаю, что сказка — это сказка. А Блок хочет заставить меня верить всерьез. И оттого все здоровое во мне протестует!

Алла Ярославна вздохнула:

— Ты очень примитивен, Бредихин. Это меня огорчает.

Леська молчал.

— Надеюсь, мы не рассоримся с тобой из-за Блока?

— Не знаю. Я вас очень к нему ревную.

Карсавина рассмеялась.

— Ах ты, мой золотенький... Ну, как на тебя сердиться?

Она обняла его голову и крепко прижала к сердцу.

Вскоре у постели больной появился Тугендхольд. Карсавина пожаловалась ему на дурной вкус Елисея.

— Религия здесь ни при чем,— сказал Яков Александрович.— Возьмем иконы гениального Андрея Рублева. Почему они доставляют нам эстетическое наслаждение?

— Нам?

— Да, нам. Я, например, убежденный атеист, но когда я вхожу в мир Андрея Рублева, я становлюсь чище, лучше, мне хочется делать хорошее: все для людей, ничего для себя.

— Я Рублева знаю только по репродукциям,— неопределенно ответил Леська.

— Рублев, несомненно, человек глубоко верующий. Но вера его в бога — это прежде всего вера в добро. Она достигла в нем такого напряжения, что действует на нас до сих пор и совершенно затмевает поповскую идею три-

ипостасного божества и прочей нелепицы. От икон Рублева нам остается только легенда, и мы представляем себе Евангелие таким, каково оно и есть на самом деле: шедевром изящной литературы, как «Слово о полку Игореве» или «Калевала». Таковы же, если вдуматься, стихи Александра Блока.

— Не повторяйте имя Блока нашего всуе! — сказала, улыбаясь, Карсавина.— Этот юноша очень ревнует меня к нему.

— Вот как! И он имеет на это право?

— Все права во всех смыслах,— твердо ответила Алла Ярославна.

— Завидую! — воскликнул Тугендхольд.— Завидую от всего сердца.

И тут же начал прощаться.

— Надеюсь, вы еще заглянете ко мне?

— Может ли художник пройти мимо златокудрых венецианок Тициана?

Когда Елисей навестил Тугендхольда, Яков Александрович принял его сухо. Не то чтобы он влюбился в Ярославну и ревновал ее к Леське, но ему было неприятно, что такая во всех отношениях блестящая женщина приблизила к себе такого заурядного парня.

— Не нужен ли вам натурщик, Яков Александрович?

— Вы имеете в виду себя?

— Да.

— У меня уже есть натура: это Карсавина. Я думаю писать Леду, к которой в виде лебедя слетает Зевс.

— Кажется, такой сюжет уже кем-то использован...

— Не кем-то, а целым рядом великих мастеров: Леонардо да Винчи, Корреджо, Веронезе, Тинторетто.

— Вы хотите с ними состязаться? — вежливо, но упавшим голосом спросил Леська.

— Ничуть. Все, что я рисую или пишу, я делаю только для того, чтобы глубже понимать искусство живописи.

Елисей вышел из отеля и увидел у парадных дверей бричку, запряженную двумя серыми в яблоках. Кони показались ему знакомыми. Возница сидел, свесив ноги на улицу, и очарованно всматривался в пляж.

— Пантюшка!

— А! Елисей!

— Кого привез?

— Барышню Гунду.

Елисей подозрительно взглянул на Пантюшку и, не

прощаясь, взбежал на второй этаж. Действительно, Гунда была у Карсавиной.

— Лесик! Эта девочка утверждает, будто ты ее жених.

— Я? Жених?

— Да,— сказала Гунда.— Ты обещал ждать меня два года, а когда мне исполнится семнадцать лет, мы поженимся.

— Ну, раз он обещал, значит, так и будет,— сказала Карсавина.— Елисей человек надежный.

Гунда встала.

— Спасибо, фрау,— произнесла она с величавостью королевы.— Я довольна беседой с вами.

Потом подошла к Елисею.

— Поцелуй меня.

Леська поцеловал. Гунда на поцелуй не ответила, красноречиво взглянула на Карсавину и ушла, слегка покачивая своим рыжим хвостом этруски.

— Не смущайся, Лесик,— сказала, улыбаясь, Карсавина.— Avant nous — le déluge [1]. А девочка мне понравилась: смелая, волевая, без лирики. Типично германский тип.

— Зачем она приходила?

— Ясно зачем: проверить посты.

Алла Ярославна слегка призадумалась, потом сказала:

— Она, очевидно, никогда не улыбается.

— Правда? — озадаченно спросил Леська.— Я как-то этого не заметил.

— И потом, у нее между передними зубами щель. Это говорит о хищности. Такие женщины очень верны в любви, но если мужчина их обидит — берегись!

— Вы совсем меня не ревнуете,— грустно сказал Леся.

— А зачем ревновать? Впереди еще целых два года.

Она весело глядела на Леську.

— Зато я вас ревную.

— К Блоку?

— Нет, уже к Тугендхольду... Может быть, вам нужны деньги?

— Нет. Деньги у меня есть. А кончатся — продам кольца, серьги, браслеты. Как-нибудь просуществую. До голода мне далеко. А кстати, Лесик, я хотела тебе сказать: ты очень плохо одет. Ну что это на тебе за рубище?

— Парус номер семь.

---

[1] «До нас — хоть потоп» — парафраз выражения Людовика XIV: «После меня — хоть потоп».

— Вот именно. Тебе нужно заказать себе летнюю пару из чесучи. Деньги я тебе дам.

— Спасибо, но я не сутенер.

Карсавина нахмурилась. Потом сказала:

— Ступай в угол.

Леська, смущенно смеясь, передвинул кресло в угол и уселся в него.

Пауза.

— Больше не будешь?

— Буду больше.

Алла Ярославна улыбнулась ему своей второй улыбкой.

— Ну, поди сюда.

— Не пойду.

— ?

— Я еще не отобиделся.

Карсавина так весело рассмеялась, что даже откинула голову с маленькой подушки на большую.

— Осторожно! Не делайте резких движений! — крикнул Леська и бросился к ней.

— Закрой дверь,— приказала она...

Но костюма Леська все же не заказал. Так и ходил по городу на всех парусах.

Жара стояла небывалая. Море было теплым, как ванна, и приходилось довольно долго шлепать по воде, чтобы почувствовать прохладу. Но на берегу в больших цинковых самоварах кипятились кукурузные початки. Рядом на табуретках стояли тарелки с крупной серой солью. Елисей купил один и побрел по улице, грызя янтарные зерна и высасывая сахарную сердцевину из кочана. Навстречу шло немало людей, которые также грызли кукурузу и тоже не видели в этом ничего предосудительного: Евпатория — город южный, и жизнь там протекает на улицах. И вдруг возникло лицо Шулькина.

Они пошли рядом, держа у зубов длинные желтые початки, точно играли на золотых флейтах.

— Есть большое дело.

— Интересно.

— Пошли в купальню.

Юноши заняли вдвоем один номер. Пол в номерах был сквозным, меж досок хлюпала тяжелая зеленая вода, а мокрое дерево пахло всеми устрицами на свете.

Выйдя на открытые террасы, Елисей бросился с перил в море, Шулькин нырнул с лесенки, потом они встретились, заплыли за ограду и здесь легли на спину.

— Наши партизаны,— начал Шулькин,— набрали силу. У них теперь три полка: Симферопольский, Феодосийский и Карасубазарский. Они отвлекают на себя беляков с Перекопского фронта. Ты понимаешь, как это важно для Красной Армии? Фрунзе обещал Ленину взять Крым к декабрю. Партизаны помогают командарму, а мы должны помочь партизанам.

— Понимаю.

— На том самом месте, где стояли казаки,— продолжал Шулькин,— теперь концентрационный лагерь. Туда пригнали пленных красноармейцев. Это остатки разбитого конкорпуса Жлобы. Что беляки думают с ними делать, не знаю, но мы получили задание спасти красноармейцев и перебросить к партизанам.

— Ты мне это так говоришь или со значением?

— Понимай как хочешь. Если не лежит к такому делу сердце, откажись. А вообще говоря, ты мог бы нам помочь.

— Чем?

— Мы про тебя все знаем. Например, то, что ты ходил в Саки к одной крестьянской девушке...

— Она утонула.

— Да, но родители живы?

— Живы.

— Вот они-то нам и нужны.

Леська перевернулся на бок и жадно всматривался в Шулькина.

— Нужно, чтобы ты поселился у них, как будто станешь лечиться в сакской грязелечебнице. Понимаешь? А на самом деле через тебя мы будем отправлять пленных политруков куда-нибудь в Отузы.

Они лежали на мягкой широкой волне, как на прохладных простынях. Время от времени Шулькин подымал голову, чтобы лучше слышать реплики Елисея, от этого тут же тонул, снова вскарабкивался на волну и снова отлеживался, расставив руки для равновесия.

— Ну как? Соглашаешься? Денег на расходы мы тебе, конечно, дадим.

Леська думал об Алле Ярославне.

— Конечно, если ты боишься, тогда не надо.

— Боюсь, но не белогвардейцев.

— А кого же?

— Родителей этой девушки. Ведь она утопилась из-за меня.

— Ах, во-он что! Я тебя понимаю. Я бы тоже боялся. В таком случае нет разговора.

— Я поеду в Саки!

Когда Елисей рассказал Алле Ярославне о новом задании, она спокойно произнесла:

— Я запрещаю тебе это делать.

— Как запрещаете?

— Ты, кажется, считаешь меня своей женой?

— Да.

— Ну, так жена твоя тебе это запрещает.

— Но почему?

— Тебя арестуют, а Богаевского с нами нет. Апеллировать не к кому.

— У меня такая ничтожная роль, что едва ли меня схватят.

— Но если роль так ничтожна, пускай ее исполнит кто-нибудь другой.

— Другому нельзя: у меня связи.

Пауза.

— Сколько дней может продлиться операция?

— Не знаю. Но, во всяком случае, дело затяжное.

— Значит, я останусь одна?

— Я буду наезжать: это ведь всего шестнадцать верст от Евпатории.

— А если твое незримое начальство тебе этого не позволит?

Леська молчал.

— Молчишь? Борешься между любовью и долгом? Решаешь проблему Шиллера?

Елисей молчал.

— Ну, что ж. Решай. А я в сторонке подожду.

— Алла! Дорогая! Неужели вы не хотите понять...

— О чем ты? Я все понимаю.

— Я люблю вас, Алла!

— Благодарю. Глубоко тронута.

— Вы иронизируете?

— Нисколько. Но ты думаешь только о себе.

Леська молчал.

— Ну как? — спросила она после паузы.— Принял какое-нибудь решение?

— Я ничего не решал... Я пришел к вам, чтобы сказать, что я еду.

— Но ведь я прошу тебя не ехать.

— Не могу.

— Несмотря на мою просьбу?

— Да.

— Молодец. Уважаю тебя за это. Ступай, закрой дверь.

Леська кинулся к двери, захлопнул ее и собирался повернуть ключ.

— Ты меня не понял, Бредихин. Я имела в виду, что ты закроешь дверь с той стороны.

— Что вы, Алла.

— И никогда больше здесь не появишься.

— Но почему так жестоко? За что?

— Я не привыкла, чтобы мной швырялись.

Карсавина повернула голову к балкону и глядела на море.

Леська не знал, что сказать, что сделать. Все слова сейчас ничего не стоят.

— Ты еще здесь?

— Да...— хрипло ответил Леська.

— Уходи!

— Алла!

— Уходи, я сказала.

Голос Елисея стал тверже:

— Хорошо. Уйду. Но надеюсь, что вы никому не расскажете о той тайне, которую я вам сообщил?

— Можете быть спокойны.

Елисей постоял, потом медленно начал отходить к двери в надежде, что Алла Ярославна его вернет.

Но Карсавина не вернула.

8

Теперь Елисей оказался в абсолютном одиночестве. Рухнули две самые большие привязанности в его жизни: дружба с Шокаревым и любовь Аллы Ярославны. И в обоих событиях виной была революция. Но Елисей не мог ей изменить.

От Шулькина не было никаких сигналов. Очевидно, Леськино время еще не наступило. Хоть бы скорее!

Иногда Леська бегал из подвала к морю. Но теперь он оставался на пляже дольше положенного срока и не спускал глаз с балкона. Там, за гардинами, лежал самый дорогой для него человек на свете...

Однажды на балкон вышла Даша и повесила чернобурую лисицу на спинку стула проветриться.

В другой раз вышел Сеня. Повертел головой, как пти-

ца, и заскучал. Наверное, Вера Семеновна интимничает с Аллой Ярославной. Как Леська ему завидовал!

Прошло два дня. На третий Елисей послал Карсавиной записку:

«Могу ли я Вас видеть? Умоляю...»

Ответ пришел на обороте:

«Нет!»

С восклицательным знаком.

Неужели это так серьезно? Но ведь не может такая женщина не понимать, что он не в силах поступить иначе? Должна же быть в человеке хоть какая-то боль за человечество? Благородство какое-то!

Так прошел третий день.

День четвертый.

Леська поднимается из своего подвала и, как лунатик, входит по ступеням на второй этаж. Мраморные перила белы до голубизны. Зеркальная дверь. Маленький коридор. Здесь его встретил запах знакомых духов... Вот наконец комната Аллы Ярославны. Окна глухо задрапированы. Розовая мгла. Пока Елисей осваивался с полутьмой, послышался голос:

— Сейчас же уходите.

Леська подошел к постели. Боже мой, как эта женщина осунулась! Только ли от болезни?

— Уходите немедленно.

Леська поймал ее руку, но она с силой вырвала ее.

— Не смейте меня касаться! Ступайте вон! Вы больше для меня не существуете.

— Не уйду.

Карсавина позвонила. Сейчас войдет Даша. Елисей покорно ждал.

— Даша! Этого господина никогда ко мне не впускать.

Елисей вышел. В коридоре провожал его запах карсавинских духов.

— За что она тебя так? — сердобольно спросила Даша.

— Не сошлись во взглядах.

— Как это «во взглядах»? На других девок взглядывал, что ли?

Сойдя в бельэтаж, Елисей остановился у парадной лестницы. Он чувствовал, что не может уйти из дорогого ему «Дюльбера» как ошпаренная собака. Вспомнился номер 24. Там жил Тугендхольд.

Яков Александрович сидел за столом и что-то писал своим рисующим почерком.

— А-а, Елисей? — приветствовал он Леську, не отрываясь от письма.

Леська сел на стул у распахнутой на балкон двери. Тугендхольд писал. Леська сидел тихо. Тугендхольд писал, писал. Леська глядел на его сухое нервное лицо, вспомнил почему-то Беспрозванного и вздохнул.

— Кто здесь? — испуганно вскрикнул Тугендхольд и обернулся.— Ах, это вы? Вы ко мне?

— Да.

— Я слушаю вас.

Яков Александрович встал со стула и подошел к Леське.

— Что-нибудь случилось?

— Побей, но выучи, Яков Алексаныч: что такое вкус?

Тугендхольд ничуть не удивился.

— Ах, милый! — сказал он серьезно.— Если б я это знал! Вкус подобен электричеству: все имеют с ним дело, но никто не знает, что это такое.

— Но ведь не может быть, чтобы вы, искусствовед, никогда не задумывались над вопросом о вкусе.

— Задумывался. И сейчас думаю. Но то, к чему я пришел, меня не устраивает.

— К чему же вы все-таки пришли?

— Боюсь, что вкуса не существует... Это очень грустно, но это так. В определенных слоях общества постепенно вырабатывается понятие о том, что прекрасно и что безобразно. Если вы хорошо усвоили отношение вашего круга людей к вещам, которые считаются прекрасными, и к вещам, кои числятся безобразными, значит, можете считать, будто у вас имеется вкус. Но и он с течением времени изменяется, ибо изменяется и та среда, которая создала его.

— Вы можете это доказать?

— В какой-то мере могу. Возьмем, ну, хотя бы образ библейской Евы. Вот взгляните на эту репродукцию.

Тугендхольд раскрыл папку и бережно вынул из нее гравюру, лежавшую сверху. Очевидно, тема Евы была у него разработана.

— Это рисунок монаха из Лимбурга. Пятнадцатый век. Ева в раю. Она еще девственница: змей еще не искусил ее заветным яблоком. Но обратите внимание: вся она тонкая, легкая, грациозная, однако живот как у беременной. Гегель объяснил бы эту особенность мечтой художника о подъеме народонаселения в маленькой его стране. Разве не схожим образом объяснил он свиные туши и

прочие яства у Иорданса и Снайдерса победой Нидерландов над Филиппом Вторым Испанским? Так возникла традиция. В живописи Яна Ван-Эйка наша прародительница также появляется как бы беременная. И у Лоренцо ди Керди с Венерой, но и это — Ева, та самая, которая вышла из-под пера лимбургского монаха, у Боттичелли в «Трех грациях» такие же формы, особенно у крайних: Ефросины и Аглаи. Средняя, Талия, стоит к нам спиной, но если бы она повернулась... Грация Ефросина, по всей вероятности, писана с Симоны Веспуччи, а если это так, то она была Боттичеллиевой мечтой. Это с нее писал он впоследствии свою знаменитую Венеру.

Итак, вкус к женщинам с подчеркнутым чревом держится, как видите, довольно долго, чуть ли не столетия.

И вдруг появляется Микеланджело. Разрозненные итальянские города ведут борьбу с гораздо более сильной Испанией. Эта держава захватила Неаполь и Сицилию, разгромила Рим и осадила родину художника — Флоренцию. Микеланджело защищал свой город с оружием в руках. Но гораздо большую пользу принес он тем, что создал идеал итальянского юношества. Появляется статуя Давида, который вышел на поединок с Голиафом и победил его. Естествен вопрос: какой же должна была быть итальянская девушка той эпохи? Микеланджело ответил и на это: он создал Еву.

Тугендхольд со страшной силой выхватил из папки цветное изображение обнаженной женщины: гнедая кудрявая грива падает ей на широкие плечи; небольшие крепкие груди; втянутый мускулистый живот, могучее бедро; ноги, где щиколотки — не просто кости, а мослаки...

— Какая сила, а? И потом вот что: голова ее взята почти в том же ракурсе, что и голова Давида. Это гордый поворот упрямства и отваги. А выражения лиц... Они схожи. У Давида легкий испуг преодолевается сознанием того, что он вынужден, должен, обязан выйти на смертельный бой с чудовищем. В облике его опасение сталкивается с волевым началом. У Евы то же самое — глаза широко раскрыты от страха, и в то же время в них отчаянная смелость: будь что будет, а она все-таки нарушит запрет господа бога и вкусит от заветного плода. Вот вам уже совершенный разгром вкуса, завещанного художникам Европы немецким монархом. С его точки зрения эта женщина — образец безвкусицы. Но итальянское общество окунулось в большие события, и возник новый

эстетический взгляд на искусство, новый идеал женственности.

— Простите, но ведь Микеланджело — человек Ренессанса. Значит, он перекликается с античностью!

— Ну и что же?

— Кажется, я говорю глупости, но мне думается...

— Что Ева всего лишь вариация Венеры? Ну нет! Вот вам Венера и вот сикстинская Ева. Венера действительно богиня. Любая черта в ней идеальна. При этом Венера холодна, как мрамор, из которого она высечена. А Ева? Эта жива каждой своей жилкой. При всей наивности ее, при всем ее неведении, в ней беспредельный секс. Перед нами деревенская девка из тех, к ногам которых падали князья и герцоги. Жутко сказать, но, при всем моем преклонении перед Венерой, я пошел бы на край света за... Евой.

— Да, да! И я тоже! — воскликнул Елисей так искренне, что оба они рассмеялись...

С этого дня Леська начал регулярно ходить к Тугендхольду, чтобы рассматривать микеланджеловскую Еву. И каждый раз, как только перед ним возникал ее образ, он чувствовал укол в сердце. Ему казалось, что он когда-то видел эту женщину, и Леська стремился к цветной гравюре Тугендхольда, как на свидание с любимой.

Очень странное чувство овладевает нами в связи с некоторыми шедеврами искусства. У каждого культурного человека происходит встреча с каким-нибудь произведением поэзии, музыки, живописи, которое сопутствует ему в жизни как что-то очень родное, очень интимное. Таким произведением для Леськи стала Ева. Ни Маху Гойи, ни Лавинию Тициана, ни Олимпию Эдуарда Мане, ни колдунью Фелисьена Ропса — никого не мог он поставить рядом с Евой. Все эти красавицы были картинами, а Ева... В ней текла жаркая кровь, он слышал горячее дыхание этих широких ноздрей.

Тугендхольд обратил внимание на влюбленность Елисея в образ Евы. Он сжалился над ним и подарил ему второй экземпляр гравюры. С этим экземпляром Елисей и уехал в Саки.

Увидев Леську за штакетником, Агафья всплеснула руками и заплакала. Потом вытерла фартуком слезы, бросилась к нему на улицу, обняла и зарыдала. Елисей молча поглаживал ее плечо. Что он мог сказать?

Успокоившись, старушка повела его в дом.

— Зачем приехал? — спросила она по дороге.

— Хочу снять у вас комнату. У меня радикулит, врачи велят лечиться грязями, я и приехал.

— Да, да... Я ничего... А вот как сам-то скажет?

Сам пришел поздно. Сначала не узнал Леську в студенческой форме, но сразу же узнал на столе сороковку.

— Здравствуйте! — первым сказал Елисей и встал к нему навстречу.

— Как ты смел сюда заявиться? — грозно спросил хозяин.— Ты есть враг моему дому. Я убью тебя. Топором зарублю — и ничего мне не будет.

— Давайте сначала выпьем, дядя Василь, а уж потом станем ругаться.

Сизов взглянул на бутылку, словно только что ее заметил.

— Ты меня водкой не соблазняй, мерзавец! Ты загубил мою единственную дочку!

— Я ничем перед ней не виноват. Жениться я тогда не мог.

Агафья тем временем налила три стопки и поднесла одну хозяину. Тот раздувал ноздри, как бык: он еще не отбушевался, но водку принял и, не закусывая, приказал:

— Вторую.

После третьей сел за стол и заплакал. Ему налили новую — скорей бы напоить. Он опрокинул пятую и успокоился.

— Зачем прибыл? — спросил он почти трезвым голосом.

— Лечиться приехал. У меня радикулит.

— Утин, по-нашему?

— Утин.

— Ну, а я тут при чем?

— Сколько возьмете с меня за комнату?

Комнату ему, конечно, сдали: съезд в этом году плохой, потому что Крым отрезан от России.

Елисей поселился в комнате Васены. Первый день был днем сплошных страданий. Большая фотография девушки в траурной ленте и с пучком сухого чабреца до боли напоминала ему Еву: светлые раскрытые глаза, темно-рыжая коса через плечо, короткий нос с широкими ноздрями, крупный, сладострастный, извилистый, чуть улыбающийся рот. Так вот почему Ева показалась ему такой живой, чуть ли не знакомой! Боже мой!..

Леська присматривался в комнате ко всему, что касалось Васены. Вот тут висит ее красный сарафан с соля-

ными обводами у выцветших подмышек. Это — ее кровать. Здесь она спала. Может быть, на этой самой подушке. У комода перед зеркалом она расчесывала косу. Рядом лежит коричневый бумажный веер. Такие веера, если они китайские, очень остро пахнут сандаловым деревом. Но веер этот русский и не издает никакого запаха. Раскрыв его, Леська увидел на перепонках надпись химическим карандашом, сделанную мужским почерком:

«Васена!
Я не такой, как все другие.
Я хочу тебя целовать-ласкать».

В пустой зеленой пудренице с фабричной камеей лежала записка:

«Прекрасная Васена!
Я весь влюблен тобой,
Будь ты моя свинюшка,
А я кабанчик твой».

И эти реликвии она хранила! Бедная Васена...

Потом ему попался альбом с фотографиями. Васена любила сниматься. На этой она в сарафане и с граблями. Тут в городском костюме, с букетом цветов. А вот здесь обнимает жеребеночка.

Васена... Как она его любила! Конечно, он должен был на ней жениться. Женился бы тайно, через год окончил гимназию, а, став студентом, жил бы в Саках,— в Симферополь можно ездить только на сессии. Как он до этого не додумался?! Погубил такую девушку... Разбил такое счастье.

В отчаянье он бросился на кровать и замер. Подушка была без наволочки: Сизовы спали на одних наперниках. Но розовый сатин таил в себе маленькие запахи: может быть, так пахли Васенины волосы... Может быть, здесь остыл пар от ее дыхания?

Леська вскочил и тут же написал покаянное письмо Шокареву. Он просил его срочно приехать: ему так нужен друг.

И Шокарев приехал. Автомобиль вишневого цвета остановился у ворот Сизовых. Сбежалась вся деревня. Леська выскочил на крыльцо и так бросился на Шокарева, точно хотел с ним бороться.

— Володя, погости у меня. Я совершенно измучился.

Шокарев удивленно поглядел на Елисея, потом кротко сказал:

— Хорошо.

Шофер вынес из автомобиля всякой всячины. Между

прочим две бутылки вина в плетеных одежках и ящик «дюшес» — так называлась знаменитая крымская груша. Когда шофер вернулся к машине, подле нее стоял уже высокий городовой и записывал номер.

— Чей автомобиль? — спросил городовой.

— Евпаторийского миллионера Шокарева Ивана Семеныча,— гордо отрапортовал шофер.

Городовой почтительно козырнул и набросился на толпу:

— Ну, чего рот разинули? Автомобиля не видели? Ступайте прочь! Ну! Я кому сказал!

Узнав, что в гостях у Бредихина сын знаменитого Шокарева, дядя Василь зарезал гуся, но мог бы зарезать и жеребенка, если бы Володя был татарином: запах чужого богатства не мог не одурить такого скрягу, как старик Сизов.

Леська уложил Володю на кровать и, стоя над ним с грушей в руке, раскрывал перед другом тайну своей любви к Васене.

— Ты только сравни, Володя, эту гравюру с этой фотографией.

— Поразительное сходство.

— Нет, ты серьезно? А может быть, это только мне так кажется?

— Абсолютно серьезно. Однако что же тут удивительного? Венеру создали, мне думается, по воображению: богиня настолько идеальна, что не должна иметь двойников. Но Ева задумана как земная женщина, и такую, как она, можно найти.

— Ты прав, Шокарев: можно, но трудно, ох как трудно! А я нашел. Нашел и упустил. Почему мне так не везет с женщинами, а? Ну скажи. Может быть, со стороны виднее. Что во мне такого демонического?

— Ничего демонического в тебе нет, чудак ты этакий. Просто ты еще молод и не умеешь обращаться с девушками.

— А ты умеешь?

— Нет.

Леська вонзился зубами в грушу, не отрывая глаз от Шокарева.

— Почему ты не женишься?

— Потому что не могу влюбиться.

— А почему не можешь?

— Потому что, если девушка отвечает мне взаимностью, меня одолевает мысль, будто ей нужны мои миллионы.

— Володя! — жарко воскликнул вдруг Леська.— Женись на Мусе Волковой! Она такая несчастная...

— Ну, знаешь ли, это уже слишком. Любовь не филантропия.

— А почему великий Мечников женился на своей чахоточной ученице только потому, что она была несчастной?

— Вот и спроси у Мечникова.

Они рассмеялись.

— А ты помнишь, Володя, вопрос Муси: в чем мы видим смысл жизни?

— Помню.

— А ведь ты тогда не ответил. Отшутился.

— Как тебе сказать... Я считаю, что жизнь лишена всякого смысла. Люди рождаются не для чего-либо. Это не оловянные солдатики. Рождаются они потому, что их родили,— вот и все. А мы сами напридумываем всякие-разные смыслы и носимся с этой пустой мистикой, как дурак с писаной торбой.

— Эх, Володя, Володя... Зачем ты так себя обедняешь? Ведь ты же чудесный человек! Где-то у Герцена я прочитал такую мысль: «В конце концов в каждом человеке доходишь до его горизонта». Согласен. Но не могу согласиться с тем убогим горизонтом, которым ты почему-то щеголяешь, хотя ты абсолютно не циник. Ты оказался способным хлопотать за моего Андрона, хотя он хотел реквизировать твою шхуну. Больше того: ты поднялся до такой нравственной высоты, что подарил Евпатории целый пароход с пшеницей. Не знаю, кто бы из наших толстосумов пошел на этот шаг. Значит, как личность ты явление незаурядное. Но... тебя душат твои миллионы! — кричал Леська, размахивая недоеденной грушей.— Твои миллионы сделали тебя совершенно неспособным к труду. Они внушили тебе, что на тебя всю жизнь будут работать другие. А по какому праву? Ты задумывался когда-нибудь над этим? Твой отец всеми правдами и неправдами наковал состояние. Из него жали соки, а потом он и сам стал выжимать соки. Но у него хоть молодость была. А у тебя? Разве у тебя есть молодость? Только и дела, что шкуру свою спасать.

— Легче, легче, Елисей. Ты что-то уж очень.

— Ничего не очень. Скажи мне, что ты в жизни любишь? Науку, искусство, женщин, вино? Деньги, наконец? Ничуть не бывало. Ты ко всему равнодушен. Как можно так жить?

Вошел хозяин.

— Елисей! Тебя какая-то образина требует.

Елисей вышел на крыльцо. Там стоял оборвыш, до глаз обросший черной шерстью.

— Авелла,— сказал он тихо.

— Паспорт есть?

— Есть.

— Новый?

— Новый. Крестьянин Владимирской губернии. Матвеев Иван Саввич.

— Пошли бриться.

Елисей ввел его в свою комнату.

— Знакомьтесь: Шокарев — Матвеев.

— Очень приятно,— сказал Шокарев.

— Взаимно,— сказал Матвеев.

Елисей налил из термоса в чашку горячей воды, достал свой бритвенный прибор и круглое ручное зеркальце. (Он не хотел, чтобы в зеркале Васены отражалось чье-то чужое лицо: зеркало было полно призраков Васены, он дорожил ими и боялся, что их сдует.)

Хозяин пригласил гостей завтракать. На столе — домашняя жареная колбаса кольчиком, селедка с маслинами и луком, горячий картофель. Шокарев принес бутылку вина, одетую в соломку.

— Э, нет! — запротестовал Елисей.— Такое тонкое вино к завтраку не годится. Разопьем его за обедом.

— А что же пить будем? — растерянно спросил хозяин.

— То самое, что пьется под селедку.

— Да ведь вчерась ее кончили.

— У меня еще есть.

Леська знал, куда ехал, и поставил сотку.

— Сколько их у тебя? — полюбопытствовал хозяин.

— Так я тебе и сказал!

Все рассмеялись.

После первой стопки хозяин спросил Матвеева:

— А вы сами откуда будете? Нашей? Таврической?

— Нет. Владимирской.

— Врешь.

Леська вздрогнул и опасливо поглядел на Шокарева.

— Почему вы так думаете? — спросил Матвеев, твердо уставив на Сизова красные от бессонницы глаза.

— Да ведь владимирские все окают, а ты акаешь.

— Я окончил университет в Москве, а Москва, как известно, акает.

— А-а... Ну, извиняюсь... Что же... Это ничего... Это бывает.

После завтрака Елисей предложил Матвееву свою кровать, Матвеев, не раздеваясь, лег, повернулся к стене и тут же заснул.

Леська с Володей вышли на улицу. Городовой издали подобострастно взял под козырек.

— Между прочим, дядя Василь чуть не разоблачил твоего комиссара,— спокойно сказал Шокарев.

Леська понял, что сейчас юлить нельзя.

— А что я могу сделать? — сказал он с раздражением.— Не я выдаю паспорта.

Они направились в парк и дошли до того пня, на котором Леська сидел рядом с Васеной. Каким тогда Леська был счастливым и как мало это понимал: ведь Васена была еще живой.

— Хочешь искупаться? — спросил Елисей.

— Не знаю,— ответил Володя.

— Как это на тебя похоже.

— А что хорошего в соляном озере? Больницей пахнет.

— А я тебе озера и не предлагаю. К морю пойдем.

Пошли к морю. Идти было довольно далеко. По дороге говорили о пустяках. Елисей явно думал о чем-то своем и нервно озирал пляж. Особенно зорко всматривался он в рыбацкий баркас, который стоял на якоре недалеко от узенькой деревянной пристани.

— Чем тебе понравился этот баркас?

— Мне показалось, что он тот самый, на котором я когда-то плавал.

— А если даже это он, в чем его прелесть?

— Лирика все-таки.

Они разделись и вошли в воду. Шокарев нырнул, выплыл и тут же вышел на берег, а Елисей доплыл до баркаса, обогнул его, поговорил о чем-то с вахтенным и вернулся к Володе.

— О чем ты говорил с этим матросом?

— Выяснял, не мой ли это баркас.

— Ну и как? Выяснил?

— Да.

— Что же оказалось?

— Не мой.

— Конечно.

Обед прошел великолепно. Был кулеш с гусиным салом и сам гусь, а к нему маринованные помидоры. Де-

лать нечего — пришлось откупорить шокаревскую бутылку.

— «Лякрима Кристи»! — объявил Шокарев.

— Да, вино действительно тонкое,— сказал Матвеев.— С соленьями не проходит.

— У нас все пройдет! — лихо захохотал хозяин и опрокинул в глотку стакан, точно воду в широкогорлую лейку.

Потом Елисей, Володя и Матвеев играли в очко. Елисей проиграл Матвееву целую пачку николаевских.

— Старик, ты ведь так разоришься,— сказал Шокарев.— Впрочем, я тебе мешать не буду.

Действительно, когда Матвеев шел ва-банк, Шокарев говорил: «Пас».

Уже стемнело. Леська встал, потянулся всем своим богатырским телом и обратился к Шокареву:

— Володя! Давай покатаемся на твоем автомобиле. Никогда еще не ездил с фарами.

— А без фар ты много ездил?

— Так ведь ты меня не приглашал.

Матвеева посадили рядом с шофером, а Бредихин с Шокаревым расположились на широком заднем сиденье.

— Куда? — спросил шофер.

— По симферопольской дороге,— скомандовал Леська.

Автомобиль покатился по селу, выхватывая из темноты то хату, то обнявшуюся парочку, то звериные огоньки кошки, перебегавшей дорогу.

Леська взял руку Шокарева в свою.

— Какое счастье, что ты у меня,— сказал он.— Ты не представляешь, как я тебе обрадовался! Как Пушкин Пущину.

Шокарев ответил вялым рукопожатием.

Справа на море покачивался фонарь уже невидимого баркаса.

— Остановите! — сказал Матвеев.— Я сойду.

— Вам плохо? — спросил Шокарев.

— Нет. Но вон в той хате живет мой родственник. Пойду к нему. Спасибо, господа, за гостеприимство!

Он большими шагами пошел к морю. Никакой хаты у моря не было.

— Можно вернуться? — спросил Шокарев.

Когда доехали до избы Сизова, Шокарев сказал:

— Ну, кажется, я тебе больше не нужен.

— Ты мне нужен всегда! — пылко ответил Елисей.

— Могучий ты парень, Бредихин, но есть в тебе что-то женское.

— Вот тебе раз!

— Сентиментальность, что ли... Не умею определить.

Шокарев уехал домой.

Под утро кто-то тихонько постучал в окно Леськиной комнаты. Елисей распахнул ставни. Перед ним высился долговязый юноша, такой же небритый, каким был Матвеев. Елисей открыл окошко настежь.

— В чем дело? Что вам нужно?

— Авелла,— сказал юноша.

— Паспорт есть?

— Есть.

— Новый?

— Новый. Евгений Алексеевич Дублицкий.

Леська высунулся по пояс и оглядел улицу — ни души.

— Влезайте в окно.

Юноша влез.

— Побрейтесь, а потом ложитесь спать. Я постелю вам на полу. Раздеваться не надо.

Утром хозяин с удивлением увидел за самоваром молодого человека по имени Евгений.

— Знакомьтесь. Двоюродный брат Шокарева. Приехал сдать мне экзамен: я с ним занимаюсь по истории русской литературы.

— Ну что ж. И такое бывает.

Помолчали.

— Промежду прочим,— снова сказал хозяин,— нынче ночью по селу облава была. Каких-то беглых искали. Бандиты из Евпатории, говорят, сюда драпанули.

— Что же к нам не зашли? — спокойно спросил Леська.

— Заходили было. Да я им сказал, что у нас гостился Владимир Иваныч Шокарев. На собственном автомобиле, мол, приезжал. Все, мол, видели. Ну, и пришлось им дать на пробу стаканчик-другой винца из плетенки, чтобы свидетельство было. Ничего. Понравилось.

Леська засмеялся.

— У нас еще одна осталась. Как бы не вернулись за ней.

— Ну, нет. Больше не придут. Это уж будьте ласковы.

— Дай боже. Лучше уж такое вино для себя беречь.

— Для нас и водка хороша.

Леська понял намек и принес бутылку.

Поздно вечером он побрел с Дублицким по парку. До-

шли до заветного пня. На пне сидел подросток лет пятнадцати и глядел на пришедших испуганными глазами.

— Авелла! — ласково обратился к нему Леська.

— Здравствуйте, Елисей Алексаныч.

— Дорогу знаешь?

— Знаю. Я тутошний.

— Ну, прощайте, Евгений. Счастливо дойти.

Мальчик повел Дублицкого к морю. Елисей пошел обратно.

— А где твой парень? — спросил дядя Василь.

— В Евпаторию уехал.

— Уехал? Да разве в это время поезда ходят?

— А что ему поезда? Проходила дрезина, он поднял руку и за десятку доедет.

К утру следующего дня у него снова оказался гость: Артемий Константинович Сокол, пожилой, очень усатый дядя.

Хозяин уже ни о чем не спрашивал.

В три часа дня к дому Сизовых неожиданно подлетела бричка, запряженная двумя серыми. С брички соскочила Гунда и вошла в дом.

— Гунда? Какими судьбами?

— К тебе.

— Зачем?

— А зачем не пишешь?

Леська увел ее в свою комнату, где на кровати спал какой-то усатый мужчина.

— Кто это?

— Мой кузен. А ты надолго?

— Ну, как я могу надолго? Скажешь тоже... Сегодня суббота, отец прислал за мной лошадей, а я решила заехать к тебе. Восемнадцать верст для таких коней, как наши, не расстояние.

Елисей разбудил усача.

— В чем дело? — тревожно спросил тот и мгновенно сел на постели.

— Едем.

Гость в одну минуту собрался.

— Гунда! — сказал Леська.— У меня к тебе просьба: довези нас до моря.

— Зачем?

— Ужасно хочется окунуться.

— Хорошо.

На улицу вышли втроем. Хозяин глядел во все глаза.

— Это чья ж такая?

— Потом объясню.

— Аккуратная девочка.

Пантюшка сидел на козлах и читал газету.

— Здорово, Пантелей!

— Здравствуй, если не шутишь,— важно ответил Пантюшка, которому очень не нравилась вся эта затея барышни Гунды.

Все же пришлось поехать к морю.

Леська побежал к волне. Гунда за ним. Что касается усача, то он, не прощаясь, быстро пошел почему-то к пристани.

Елисей разделся до трусов.

— Будешь купаться? — спросил он Гунду.

— У меня нет купального костюма.

— Ладно. Как хочешь. Я иду в воду.

Леська разбежался и кинулся в зыбь. Здесь он лег на правый бок и поплыл, зорко наблюдая за усатым дядей. Когда усач взошел по трапу на борт, Леська повернул к берегу. Он размеренно взмахивал рукой и, рассекая пену, шел как миноносец. Над ним кричали чайки, к нему прилипали медузы.

Гунда сидела на берегу и плакала.

— Что с тобой? Гунда?

— Я думала, что ты утонешь.

Неужели она действительно любит его? Леська лег рядом и стал думать о Гунде. Шутки шутками, а девчонка всерьез вбила себе в голову, что она его невеста. Ну да что об этом сейчас думать? Впереди по ее счету целых два года. А пока она очень ему пригодилась: среди бела дня увезла на баркасе товарища Сокола.

— Я привезла тебе мороженого. Пантюшка! Неси мороженого.

Пантюшка принес глиняный горшок со льдом и вынул оттуда большой музыкальный стакан, сквозь который видны были желтые, белые и розовые слои сладкого холода.

— Тут сливочное, лимонное и клубничное. Было еще шоколадное, но я шоколадного не люблю. А ложечка где? Пантюшка!

Пантюшка протянул костяную ложечку.

— Где ты взяла костяную?

— Купила у мороженщика. Из костяной вкуснее. Правда? Ты ешь все! Я уже ела.

— Но для меня этого много.

— Ничего.

— Давай так: одну ложку мне, одну тебе. Хочешь?

Гунде это понравилось. Леська проглатывал свою порцию, потом кормил из ложечки Гунду и опять проглатывал свою. Он глядел на девочку и думал, что сейчас она совершенно похожа на ребенка. Ах, вот что: вместо этрусского хвоста она теперь носила две косички.

— Ты переменила прическу?

— А ты заметил? — Гунда покраснела от удовольствия.— Классная дама запретила мне носить «пфердешванц». Говорит, еще рано. Что она понимает в женщинах? «Рано»...

— Постой, постой. А почему за тобой в субботу присылают лошадей? Разве ты и летом живешь в Евпатории?

— Сейчас — да. У меня передержка по алгебре, а экзамен через месяц, вот я и должна хорошенько подзаняться с репетитором.

Поехали обратно. У ворот стояли Сизов и его жена. Сизов просто сгорал от любопытства.

— Это ваш брат? — спросил он наконец.

— Нет, кое-что получше,— ответила Гунда без улыбки.

Елисей хотел с ней попрощаться.

— Я пойду к тебе. На минутку! — объявила Гунда.

Как только за ними закрылась дверь, Гунда кинулась к Леське на шею.

— Я так по тебе тоскую, так тоскую...

Конечно, она потребовала, чтобы Леська поцеловал ее в губы. На поцелуй она, как всегда, не ответила, но, повидимому, считала, что таким способом она его приручает.

Когда они возвратились к бричке и Гунда уселась на заднем сиденье, Елисей протянул ей руку. Гунда взяла ее и не выпускала.

— Поезжай курц-шагом! — приказала она Пантюшке.

Пантюшка тронул серых, придерживая их изо всех сил. Елисей шел рядом, держа Гунду за руку. Хозяин и хозяйка глядели им вслед. Хозяйка тихонько заплакала.

— А кто у тебя репетитор? — спросил Леська.

— Листиков.

Так вот оно что... Саша Двадцать Тысяч... Да-а... За Гундой дадут, пожалуй, и больше, чтоб не досталось Каролине Христиановне. В Леське шевельнулось что-то похожее на ревность. Но лицо Гунды было совершенно безоблачно: она ни о чем не догадывалась, как желторотый воробышек, на которого смотрит кот.

Прошло две недели. Никто к Леське не приезжал. Он ходил в лечебницу, принимал, здорово живешь, грязевые ванны, истратил все деньги, которые дал ему Шулькин, и решил наконец вернуться в Евпаторию. Что гнало его туда? Неужели тоска о Карсавиной? Но ведь в комнате Васены он почти не думал о своем приват-доценте. «Отчего это? — спрашивал он сам себя.— Слабая любовь к Алле Ярославне или сильная к Васене?» Он часто ставил рядом гравюру с изображением Евы и фотографию Васены на пляже и думал, что Васена именно та девушка, с которой Микеланджело писал образ нашей прародительницы.

И все же Евпатория тянула его с какой-то магнитной силой. А может быть, действительно притягивал сам город, как живой организм? Как близкий друг — ближе Шокарева? Как любимая женщина — дороже Карсавиной?

Он шел по Лазаревской, наслаждаясь зрелищем этой улицы.

Вон за морем туманный шатер Чатырдага, вот по праву руку мечеть Джума-Джами, дальше — скверик справа и скверик слева, еще дальше — аптека Якобсона с зеркалом, в котором Елисей выглядит хотя и не красавцем, но вполне обаятельным мужчиной. «Хорош никогда не был, а молод был»,— вспомнил он Пушкина...

9

Как ночь, пронизанная военными прожекторами, Крым был пронизан слухами о наступлении Красной Армии. Газетам, конечно, никто не верил, хотя они ликовали по поводу того, что белогвардейцы якобы высадили десант на Азовщине и потеснили красных к самой Каховке. Но вдруг во всех пекарнях появился хлеб. Значит, белые прорвались к Мелитополю. Однако вскоре у пекарен снова зазмеились хвосты. Ясно, что теперь красные потеснили белых. Спустя некоторое время очередь раздвоилась: в одном потоке стояли военные, в другом — штатские, причем штатские получали хлеб после трех военных. Это означало, что белой армии совсем плохо: ей уже безразлично, что о ней подумает гражданское население.

В пять утра бабушка обыкновенно будила Леську, и они бежали в пекарню, чтобы стать в очередь. Если опоздаешь, хлеб кончится где-нибудь на второй тысяче. Но очередь сохранится: выйдет на улицу главный с химиче-

ским карандашом и напишет каждому на левой ладони номер. Пронумерованные люди разойдутся часов до трех, затем соберутся снова, и опять образуется очередь, но уже согласно фиолетовым цифрам.

Очередь...

Очередь — огромная колония полипов, коралловый риф, охлестываемый уличной стихией. Очередь жила единой жизнью целесообразного организма: она стояла за хлебом.

У очереди три души. Первая — звериная. Тут идет хищная борьба за место под солнцем, а если буквально, то за кусок хлеба.

— Я здесь еще с вечера стояла.

— Может, с прошлого года?

— Тише, тише, граммофон простудишь.

— А ты что за принцесса? Подумаешь! Надела чепчик и свирепствует в ём.

— Да, да, чепчик, чепчик!

А то еще и такой разговор:

— Поля! Возьмите мне полфунтика: вы ведь все равно стоите.

Чужое горло:

— Поля, не бери! Поля!

— Пусть только попробует взять! Мы тут стоим с пяти утра, а этот...

Вторая душа у очереди — рыбья. Если очередь устоялась, она хорошо изучила всех своих членов и молча стоит у пекарни, видя сны, которые не досмотрела, и возбуждается, лишь когда кто-нибудь извне пытается войти в ее крепко сколоченную семью.

И, наконец, третья душа — человеческая. Когда сны проходят, а до открытия пекарни еще далеко, люди начинают заниматься делами. Студенты читают свои учебники, бабушки вяжут чулки, старики повествуют о том, как поймать рыбу без наживки или суслика одним ведром воды. Некоторые флиртуют. Правда, не всегда удачно. Время от времени раздается плеск пощечины и возмущенный визг женщины:

— Ты что? У тебя жены нету, что ли?

Но в большинстве случаев все проходит благополучно.

Леська все это изучил, ему это все надоело, и вот однажды утром он пошел в Майнаки.

На террасе сидел Листиков и ел бутерброд с маслом, макая его в чашку с молоком.

— Ба! Коллега! — вскричал Листиков весело. — Са-

дись. Ешь. Я здесь на кондиции: у Гунды переэкзаменовка, так вот пригласили меня. Кормят здесь неплохо: я уже поправился на четыре фунта.

— Поздравляю.

— А ты по какому делу? — ревниво спросил Листиков.

Не останавливаясь, Леська вошел в дом. У стола, спиной к двери, стояла Гунда. Она заткнула себе в уши пальцы с веревочками, к которым была привязана медная ложка. Если ложку раскачать так, чтобы она ударялась о ребро стола, в ушах загудит колокольный звон.

Леська улыбнулся и возвратился на террасу.

— Позови хозяина. Скажи: Бредихин пришел.

— Скажу. Я-то скажу. Мне-то что?

Листиков ушел к сеновалу, а Леська уселся на лесенке под террасой. Перед ним бродили куры двух семейств. Черный, в серебре, петух, старый и склерозный, заверещал простуженным бассо-профундо:

— Кукуруза-а-а...

Возмущенно озираясь, петух, оранжевый красавец гусар, выпячивая грудь, разражался чистейшей патетикой в староцыганской манере:

— Кукаре-а-а-ку-у-у!

Тогда белый цыпленок с дамским плюмажем в попке ревниво вскрикивал фальцетиком:

— Кикири...

На окончание «ки» его уже не хватало.

Старик встретил Елисея очень холодно.

— Сейчас работы нет. Надо было на неделю раньше: я уже отмололся.

— Я не за этим. Хлеба у вас купить хочу.

— Хлеб я отдал офицерам, а что осталось, то еле-еле для себя.

Но тут вбежала Гунда.

— Работать у нас будешь? — спросила она, сияя.

— Нет.

— А тогда зачем пришел?

— Хлеба купить надо. В Евпатории его нет.

— Тебе много?

— Да хоть один мешок.

— А на чем увезешь?

— На себе,— засмеялся Елисей.

— Ты с ума сошел? Отец, я отвезу его сама, можно?

— Да ведь ты еще не сторговалась с ним. Сможет ли он столько заплатить, сколько я беру за пять пудов?

— Сможет, сможет!

Гунда хитро подмигнула Елисею.

— А сколько вы хотите? — робко спросил Елисей.

— После, после,— воскликнула Гунда.— Пантюшка! Запрягай серых.

Гунда схватила Леську за руку и потащила к амбару. По дороге она горячо зашептала:

— У меня есть свои деньги. Понятно тебе? Свои. Папа о них не знает. Ты дай сколько можешь, а я доплачу. Ну, ну! Не спорь. Не могу же я допустить, чтобы мой жених остался без хлеба.

Она продала Леське два мешка. Бричка ждала их у террасы. Гунда села на заднее сиденье и взяла вожжи в руки. Елисей принес сначала один мешок, потом второй и поместился рядом с Гундой.

Пока хозяин, поплевывая на пальцы, считал бумажки, на террасу вышла Каролина Христиановна.

— О-о! Кого я вижу! Леся?

— Здравствуйте, Каролина Христиановна.

— За хлебом приехали?

— За хлебом.

— Очень хорошо. Если еще что-нибудь понадобится, милости прошу. Курицы, поросенки...

Гунда хлестнула коней, и бричка понеслась в Евпаторию.

— И зачем только она приплелась? «Милости прошу»... Без отца она тебе и щепки не даст. У-у, противная!

Леська оглянулся. На террасе стояли и глядели им вслед Каролина Христиановна и Саша Двадцать Тысяч.

У Бредихиных Гунда пришлась по душе. Ее напоили чаем с айвовым вареньем и дали с собой целую связку вяленой кефали. Леонид говорил ей «вы», всячески распускал павлиний хвост, Леська в глубине души гордился тем, что у него такая подруга, которая всем нравится.

Потом Елисей пошел с ней к морю. Шаланду его никто не трогал: на диком пляже она никого не интересовала. Он разулся, сдвинул плоскодонку в воду, но так, что корма еще сидела на берегу, потом поднял Гунду на руки. Она забила ногами и громко закричала:

— Не смей!

Елисей, шлепая по воде, опустил ее на банку.

— Глупая! Жених я тебе или нет?

— Ну, жених.

— Отчего же ты лягаешься?

— Жених, но все равно не смеешь.

— Переходи на нос! — скомандовал Елисей и, столкнув шаланду в море, прыгнул в нее и взялся за весла.

— О чем ты думаешь?

— Так, ни о чем.

— Думаешь. Я вижу.

— Как ты можешь видеть, если я сижу к тебе спиной?

— Ты перестал грести.

— Разве?

Елисей снова миналег на весла.

— Довольно грести! — приказала Гунда.— Повернись ко мне лицом.

Леська повиновался.

— Ты меня любишь? — спокойно спросила Гунда.

— Люблю.

— Неправда.

— Почему ты так думаешь?

— Вот я, например, тебя люблю и все думаю, как бы с тобой повидаться. Я даже приезжала к тебе в Саки.

— А я к тебе на Майнаки.

— Ты приехал за хлебом.

— А как бы иначе я объяснил твоему отцу, зачем я приехал?

— Это правда?

— Сама понимай.

— Врешь ты все, Леська. Но хочешь ты или нет, а я тебя люблю, и мы поженимся, когда мне исполнится семнадцать лет.

— Не рано ли? Разве гимназистки выходят замуж?

— А я брошу гимназию.

— Как это бросишь?

— А зачем она мне?

— Останешься недоучкой.

— Подумаешь! Я буду читать Пушкина, Лермонтова, Крылова. И потом, я знаю немецкий язык. Играю на фортепьяно. Много ли женщине нужно? Моя покойная мама и вовсе нигде не училась, а Каролина училась, да что толку? Вышла за старика. А у меня, по крайней мере, будет молодой муж.

Леська глядел на нее задумчиво: как спокойно она ладит свою жизнь. Просто позавидуешь.

— Ну, хватит. Поехали домой, а то отец станет беспокоиться.

Елисей снова взмахнул веслами, и вскоре шаланда пря-

нула на песок. Леська спрыгнул в воду и протянул к девушке руки. Гунда встала, подумала и со вздохом опустилась на его плечо. Елисей понес ее к берегу. Волосы Гунды коснулись его щеки. От них шел аромат, который показался ему солнечным.

Ночью, лежа в постели, Елисей слышал этот аромат. При его зверином чутье к запахам никакие другие мысли не лезли в голову.

Он взволнованно чувствовал в Гунде личность, окруженную ореолом, который ни с каким другим не спутаешь. Чем может кончиться ее любовь? Это натура того же типа, что и Васена, хотя и сглаженная немецким воспитанием. С ней шутки плохи. Если она будет продолжать эту игру в невесты, Леське придется на ней жениться: второго самоубийства он уже допустить не сможет. Спасение его только в том, что она выйдет за Листикова в обмен на двадцать тысяч. Но когда он представил себе Сашку мужем Гунды, он чуть не задохся от ревности.

Ночь прошла как-то нервно. А утром... Утром Евпатория оказалась оккупированной самыми красивыми женщинами России. Белогвардейцы получили новый удар и откатывались в «крымскую бутылку», как они тогда выражались. Первыми отступали тылы, но перед ними неслись крысы, попы и шансонетки. Крысы оседали в деревнях, попы — в епархиальных центрах, шансонетки — на курортах. Среди них попадались и любовницы министров, не успевшие или не сумевшие вовремя очутиться в Париже, Вене, Лондоне. Каждая из них что-нибудь умела: одни пели, другие плясали, самые бездарные читали стишки пикантного содержания. Огромные афиши призывали евпаторийцев посетить эстрадный вечер в иллюзионе «Экран жизни»:

«Сестры-красавицы Женя и Мирэлла».
«Женское танго!»
«Шансонетка Морская Волна — песенки Монмартра».
«Самая красивая цыганка «Стрельны» — Орлиха.
Таборные песни:
Молярка.
Чабо, чабо...
Эх, распашол!»

Осень в Евпатории наступает рано. Сентябрьским вечером уже прохладно.

Шансонетки фланировали по аллеям главного сквера, демонстрируя роскошные котиковые шубы, манто с дымча-

тыми песцами, охотничьи куртки из замши, инкрустированные змеиной кожей. Некоторых сопровождали собаки: у Жени — карликовая левретка, которую она прятала за пазуху и та выглядывала оттуда на миг своей львиной мордочкой, а у Морской Волны — русская борзая, шикарная, как и ее хозяйка.

Народ валил за ними толпами. С Греческой улицы ковыляли дремучие старухи, как это всегда бывало в Евпатории, когда происходили исторические события.

У пляжа стоял народ и часами глазел на парад красавиц, вместо того чтобы идти по своим делам или на службу. Город сошел с ума. Если б из зверинца выбежали все звери, это не так потрясло бы евпаторийцев, как зрелище женщин, каждая из которых могла бы соперничать с Лавинией, Махой или Олимпией.

Елисей тоже стоял в толпе. Иногда он оглядывался на заветный балкон «Дюльбера». Там, опустив тент, часами сидели старик Дуван, Вера Семеновна и Сеня. Отец рассматривал шансонеток в морской бинокль. А с пляжа неслась пошлая песенка, которая вскоре стала в городе очень популярной:

Ах, недаром
Ты с гусаром
Там-тарарам-тарарам...

Но Леську не прельщали живые статуи. Он искал среди них Еву, но ее, конечно, не было и не могло быть.

— Что в Еве прекрасного? — говорил он Тугендхольду, который сидел на балконе бельэтажа и тоже глядел в бинокль, но всего-навсего театральный.— Лавиния, Маха, Олимпия знают, что они прекрасны, и преподносят себя зрителю, как эти шансонетки. Но Ева и не подозревает, как она хороша. Ева просто живет, ну вот просто-напросто живет!

— Верно подмечено! — одобрил Яков Александрович, не опуская бинокля.— Но вы не убивайтесь, Елисей. У каждого из нас есть в мире двойник. Этот двойник настолько точная наша копия, что даже число волос у нас одинаково. Почему же вы не встретите вашу Еву? Обязательно встретите! Только вот беда: такие девушки обычно крестьянки. У вас с ней будут слишком разные горизонты. Счастья она вам не принесет. Очень скоро вас проймет до костей культурная ностальгия: ведь культура — вторая родина.

Но Леське было все равно: только бы встретить! Он готов был бы посвятить Еве всего себя без остатка, даже если б она оказалась глухонемой. В то же время он пони-

мал, что любовь не может утолить всех его духовных запросов. Он это понял по тому, с какой легкостью пережил разрыв с Аллой. Если б она прогнала его по любому другому поводу, он сделал бы все, чтобы добиться прощения. Но революцию он ей не отдаст.

Однако революция, кажется, забыла о Леське. Никто к нему не приходил. Никакие сигналы не тревожили скромной дачи Бредихиных. Шли дни за днями, а Леська ничего не делал. Наконец он решил пойти на мельницу, не дожидаясь прихода Шулькина. Однако чутье подпольщика заставило его действовать осторожно. Он вошел в калитку дома, стоявшего напротив, и постучался в грубое венецианское окно какой-то квартиры.

— Чего надо?

— Простите, пожалуйста, господин Шулькин здесь живет?

— А зачем он вам?

— Да вот взял он у меня как-то алгебру и не вернул, а теперь она мне нужна.

— Арестовали вашу алгебру... А сюда вы не ходите, а то и вас зацапают, да и нам придется несладко.

Леська пошел назад. По дороге, поглядывая на тень сзади, он заметил, что за ним шагал какой-то тип, очень плохо притворяясь пьяным.

«Филер!» — подумал Леська и позвонил в парадное знакомого миллионера.

В детстве, когда играли в пятнашки, достаточно было ухватиться за столб и крикнуть: «Дом!» — и тебя уже никто не смел тронуть. Таким «домом» для Леськи был дом Шокаревых.

Когда Леська позвонил, ему открыла красавица Женя.

— Вы кто? — спросила она с детской простотой.

— Володин товарищ.

— Я тоже товарищ Володи. Пойдемте!

В столовой за шикарными бутылками и роскошными яствами сидели старик Шокарев, Володя и Мирэлла.

— Володин товарищ! — объявила Женя.— А это сам Володя, его папа и моя сестра Мирэлла.

Мирэлла взглянула на Елисея и высокомерно подняла брови.

Женя уселась рядом с Володей. Обе пары уже основательно выпили. Елисей понял, что пришел не вовремя, но на улице ждал сыщик, и Леське ничего другого не оставалось, как принять приглашение и сесть за стол.

Стены синие, тахта красная, зеленая ваза на буфете наполнена горой ярко-желтых лимонов. Мирэлла была в платье из кораллового фая, Женя одета проще: серая юбка и черная кофта с одним серебряным погоном из парчи: в этом проявилась война, принесшая с собой помимо крови еще и моду.

— Неужели вы сестры? — спросил Елисей, усевшись рядом с красавицей Женей.

— Тара́рам! — воскликнула Женя в смысле «еще бы!».— У нас во всем родство. Мари была подругой директора банка. Его расстреляли. А я жена комиссара. Его повесили.

— Женни! Зачем так говоришь? — отозвалась Мирэлла с интонацией классной дамы.— Ничего подобного никогда не было.

Все засмеялись.

— Мирэлла у меня, что называется, prude [1],— сказала Женя.— Она хочет поехать в Англию. Ей бы очень пошла Англия. Что?

Шокарев-старший выстрелил из шампанской бутылки и пролил пену себе на брюки. Кутить он явно не умел, но за женщинами ухаживать научился.

Он налил вина в фужер, преподнес его Мирэлле, и когда красотка взяла бокал за ножку, Иван Семенович, не отдавая его, перецеловал все ее пальцы.

— Умираю пить! — крикнула Женя.

Володя налил Жене и чокнулся с ней. Женя поднесла бокал своей левретке Чижику. Чижик брезгливо отвернулся.

Подали кефаль по-гречески.

— Автокефальная церковь! — закричал Иван Семенович ни к селу ни к городу.

Протомленная в духовом шкафу, окруженная дольками присохшего в жаре лимона и до корочки загоревшими ломтиками помидора, черноморская рыба являла собой венец кулинарного искусства Евпатории.

— Какая прелесть! — пролепетала Мирэлла.— Я никогда ничего подобного не кушала.

— Да, но ее надо с перцем, с перцем! — кричал Шокарев-отец, высыпая на свою порцию чуть ли не половину перечницы.

— Кефаль действительно превосходная! — похвалил Леська.— Такой приготовить ее может только мой дедушка.

[1] Ханжа *(франц.)*.

— А кто такой ваш дедушка?

— Рыбак. Это вас шокирует?

— Тара́рам! — сказала Женя в смысле «ничуть».— Я ведь подкидыш. Может быть, и мой дедуля какой-нибудь рыболов.

— Володя! — загремел отец.— Принеси, дорогой, еще лимончика. Этого мне мало.

Володя встал и пошел к буфету.

Елисей тихо спросил:

— А вы вправду были женой комиссара?

— Ну, не женой, конечно. А впрочем, у большевиков это не имеет значения. Жили невенчанными.

— И долго жили?

— Около года.

— И любили его?

— Любила и люблю,— тихо ответила красавица.

— Кого любила? Кого люблю? — вмешался Володя.

— Лосося! — сказал Бредихин.

— Ну да. Это наша дальневосточная рыба,— поддержала Женя, легко включаясь в игру.

— Лососина — прекрасная рыба,— рявкнул уже основательно пьяный Шокарев-отец.— Но в сравнении с кефалью — ни-ни... Не тянет! Что хотите ставлю: не тянет. Кефаль — это царская рыба.

И вдруг запел:

— «Бо-о-оже, царя храни!»

Володя вскочил и, ухватив отца под руку, крикнул его соседке:

— Мирэлла! Уложите отца спать!

— Зачем спать? — кричал Шокарев-папа.— Куда спать? С кем спать?

Мирэлла взяла старика под руку с другой стороны и отчетливо сказала:

— Иван Семенович! Когда вы шалите, вас это очень старит.

Гигантский карлик мгновенно присмирел и послушно побрел в свою спальню рядом с женщиной, которой достигал едва ли до плеча. Тонкая борзая, такая тонкая, точно у нее был только профиль, вылезла из-под стола и побрела за ними. Чижик тявкнул ей вслед, довольно, впрочем, добродушно.

Когда Елисей вышел на улицу, филера уже не было. То ли устал ждать, то ли решил, что обознался.

Леська шел домой и думал о Жене.

Почему-то запомнилось от всего виденного и слышанного то, что она была женой комиссара.

Дома все шло своим чередом. Тихо и спокойно. Бабушка вела хозяйство, дед ничего не делал, Андрон время от времени прибывал на своем «Чехове», который ходил теперь от Евпатории до Керчи, Леонид время от времени удалялся в свою операционную, куда приходили не только женщины, но и мужчины. Иногда наведывался полицейский, принимал от Леонида мзду и тут же исчезал.

Хотя Елисей и готовился к осенней сессии, работа над учебниками не могла исчерпать его жажды действия. Какую ценность он теперь собой представляет? Пока атаман Богаевский жил в Евпатории, Леська был нужен, даже необходим. Кто другой, кроме него, был так вхож в дюльберовское общество? Но Богаевский уехал, и нужда в Леське миновала. До чего же это обидно!

Дня через три Елисей уехал в университет сдавать экзамены.

10

Когда он явился в дом на Петропавловской площади, Аким Васильевич так ему обрадовался, что Леське невольно вспомнилась левретка Чижик.

Комната была все той же — опрятной и уютной, но хозяин уже совсем не тот.

— Ну, как? Новые стихи пишутся?

— О нет! Я теперь к перу просто не притрагиваюсь. Пока у меня шли баталии с Трецеком, я еще кой-куда годился, но сейчас... после тюрьмы... Нет.

— Быстро же вас там сломали.

— О! Вы так говорите потому, что не знаете, что такое тюрьма. Нет, дорогой мой. С поэзией покончено. Ausgeschlossen! Дайте спокойно пожить до гроба, сколько мне положено небом.

— Но разве это будет покой, если вы больше не прикоснетесь к перу?

— Не искушайте меня, Елисей. Не удастся. Я не из героев. Увы!

У Беспрозванного появился новый стиль: торжественная неуверенность.

Бредихин отправился в университет. Нужно было сдать политэкономию, но как показаться на глаза Булгакову?

По дороге Елисей взглядывал на афиши:

«Дворянский театр.
Выступление члена Государственной думы
В. Пуришкевича:
«Русская революция и большевики».
«Вечер смеха».
«Куплетист Павлуша Троицкий».
«Песенки Вертинского».
«Публицист Розеноер.
Указ барона Врангеля о восьмичасовом
рабочем дне».

«Ого! — подумал Елисей.— Вон куда его метнуло».

В коридоре университета он чуть не столкнулся с Булгаковым. Священник прошел мимо Леськи, путаясь в своей рясе и бороде (было ясно, что он не привык ни к той, ни к другой). Леську он то ли не заметил, то ли не узнал. Но все равно Елисей к нему не подойдет. Как же быть? На этот раз чудо снова посетило Леську, хотя давно к нему не заглядывало: за время его отсутствия откуда-то прибыл политэконом профессор Георгиевский, который принимал экзамены по своему учебнику. Хотя этот учебник тоже игнорировал Маркса, но Леська, умудренный опытом, сумел сдержать свое раздражение и сдал предмет тихо и смирно. Он боялся только, чтобы его не спросили о проблеме промышленных кризисов, потому что здесь без марксизма не обойдешься, но, на его счастье, ему попался билет: «Синдикаты, картели и тресты». Если говорить по совести, нужно было задеть вопрос о концентрации капитала, но Леська обошел его тем, что стал подробно излагать разницу между синдикатом и трестом, трестом и концерном.

Итак, зачет получен. Теперь надо было подумать о хлебе насущном. Леська отправился на фабрику «Таврида».

Когда он вошел в цех, девушки бросились к нему и тут же завопили:

— Бредихина! Муж приехал! Муж! Бредихина!

Вбежала Нюся Лермонтова. Увидев Леську, она всплеснула руками и начала комически падать в обморок. Леська, смеясь, поддержал ее за талию.

— Почему вас называют Бредихиной? Вы ведь Лермонтова.

— А с тех пор, как я навязалась вам в жены, я стала

у девок Бредихиной. А я и насправде соскучилась за вами, как жена за своим мужем.

Она счастливо улыбнулась.

Леська смутился.

— А где ваш котел?

— А вот он.

— Ну, давайте. Начну с вас,— сказал Елисей и взялся за «веселку».

Рабочий день при Врангеле действительно стал восьмичасовым. Но заработная плата снизилась до такой степени, что существовать было невозможно. Зато каждый следующий час до двенадцати оплачивался вдвое, а сверх двенадцати—втрое. Елисей работал четырнадцать часов, ел повидло, пил сидр, которые уже не лезли в глотку, и наливался злобой. Особенно бесил его Розеноер, публицист, провозглашавший Врангелю здравицу за этот наглый обман рабочих.

Нет, Елисей должен, должен связаться с партией. Он задыхался без этой связи. Он чувствовал себя одиноким, заброшенным в общество горилл.

В первое же воскресенье Бредихин пошел на Базарную площадь, где в бывшем трактире помещался Союз пищевиков. Секретарь, увидя студенческую фуражку, поглядел на нее неодобрительно.

— Где работаете?

— На консервной фабрике «Таврида».

— Кем?

— Рабочим.

— Врете. Покажите руки.

Леська показал свои мозоли.

— Гм... Странно. Студент, а работает простым рабочим.

— Всяко бывает.

— Кто вас может рекомендовать?

— Мастер нашей фабрики.

— Кто такой?

— Денисов.

— Денисов? Иван Абрамыч? Но ведь он член правления нашего союза. Если он рекомендует, этого вполне достаточно. Подождите, я его вызову.

Секретарь ушел, но вскоре вернулся.

— Зайдите к нему.

Леська вошел в какую-то комнату и увидел Денисова у роскошного письменного стола.

— Оказывается, вы большой человек, Иван Абрамыч: член правления.

— Зачем тебе нужно вступать в нашу организацию?

— Хочу через вас связаться с партией.

— В профсоюз мы тебя примем: не имеем права не принять. Но к партии тебя не допустим.

— Почему?

— Ты интеллигент.

— Ленин тоже интеллигент.

— А вот когда станешь таким, как Ленин, будет другой разговор. Все!

— Но, товарищ Денисов...

— Я сказал: все!

Денисов снял телефонную трубку, вызвал фабрику «Абрикосов и сыновья», затеял разговор о неаккуратной уплате членских взносов и этим дал понять, что занят и дальше болтать с Леськой не намерен.

Елисей ушел.

Вскоре работа на фабрике оборвалась. Новых заказов не было. Елисей, который все эти дни ночевал в конторе, снова пришел на Петропавловку.

— Ну, как со стихами, Аким Васильич? Так-таки ничего больше не написали?

— Одно все же написал...— сконфуженно ответил Беспрозванный.— Вы знаете, это как куренье: сразу бросить нельзя.

— Значит, одну папироску выкурили?

— Да ведь вот! — вздохнул Аким Васильевич и вытащил из бокового кармана блокнот.— Прочитать?

— Обязательно.

Беспрозванный задохнулся и, крепко зажмурясь, продекламировал:

Ах, что ни говори, а молодость прошла...
Еще я женщинам привычно улыбаюсь,
Еще лоснюсь пером могучего крыла,
Чего-то жду еще, а в сердце хаос, хаос.

Еще хочу дышать, и слушать, и смотреть,
Еще могу шагнуть на радости, на муки,
Но знаю: впереди, средь океана скуки,
Одно лишь замечательное: смерть.

Колдун открыл глаза и уставился на Леську.

— А квартирантов нет? — спросил Леська отсутствующе.

— Нет.

— На какие же деньги вы живете?

— Я заложил часы, шевиотовую пару и даже пенко-

вую трубку. Теперь я могу заложить только ногу на ногу. Но вы, молодой человек, моих стихов не слушали?

— Ах, нет! Что вы!

— Не слушали. Я вижу. Это... это безобразие! Я перед ним всю душу, а он...

— Аким Васильевич! Родной! — вдруг выпалил Елисей безо всякой связи с предыдущим.— Напишите для меня стихотворение. Самое маленькое.

— Стихотворение? Для вас?

— Вы так талантливы! Для вас это не составит никакого труда.

— Какое же вам нужно стихотворение?

— Эпиграмму.

— Ого! На кого же?

— Ну, на эту... Как ее... На белогвардейщину.

— Чур меня, чур меня, что вы! Погубить меня хотите, что ли?

— Маленькое. Всего четыре строчки.

— Но при чем тут маленькое? Ребенок тоже маленький, а когда родится... Нет, нет! И не просите! И вообще... Платон сказал: «Поэзия — тень теней». А это что же?

— Четыре строчки. Вполне достаточно,— сказал Леська, уходя.

— Ничего этого не будет! — крикнул ему вдогонку Аким Васильевич.

От Беспрозванного Бредихин пошел в студию Смирнова.

— Какая теперь студия? — грустно сказал Смирнов.— Ни у кого нет денег, жизнь вздорожала, и сейчас у всех запросы брюха взяли верх над запросами духа.

— А где Муся Волкова?

— О! Она теперь большой человек, манекенщица в ателье мод.

— И на это можно существовать?

— А разве можно было существовать на гонорар натурщицы?

Утром Елисей пошел на фабрику: а вдруг получили заказ? Во дворе стояло довольно много рабочих: все ждали, будет сегодня работа или нет.

— Ну, как? Работаем? — спросил Елисей.

— Неизвестно. У мастера ставни еще закрыты.

Елисей подошел к домику Денисова и крепко постучал пальцем по стеклу.

— Кто там? — послышался сонный голос.

— Бредихин.

— Чего надо?

— Будет сегодня работа или нет?

— Сегодня не будет.

— А завтра?

— Послезавтра будет.

— Почему же вы не объявляете об этом? Люди стоят тут с шести часов, а вы себе сны смотрите.

— А это не твое собачье дело. Ишь ты! Все стоят, дожидаются, и ничего, а этот... Барина из себя строит!

— А вы не грубите! А то я вас как прохвачу в газете, что...

— В буржуазной прессе? — ехидно захихикал голос.

Эта ловкая реплика резанула Елисея до боли.

— Товарищи! — обратился Леська к рабочим, несколько снизив тон.— Сегодня работы не будет. Наведайтесь послезавтра.

Рабочие начали расходиться. Нюся пошла рядом с Елисеем.

— Зачем вы с ним так грозно разговаривали?

— А зачем он заставляет народ ждать, покуда проспится?

— Он всегда такой.

— Ничего. Переучим.

— И потом, вы назвали нас «товарищи». Разве ж так можно?

— А вы что, трусите?

— Да. Не за себя. За вас.

— А чем я вам так дорог?

— Хороший человек. Тем и дорогой.

Елисей остановился и внимательно посмотрел ей в глаза. Он о чем-то думал.

— Скажите, Нюся, как вы относитесь к указу Врангеля о восьмичасовом рабочем дне?

— А что?

— Вы согласны с тем, что это обман народа?

— Согласная.

— И я согласен. А ваши друзья и подруги согласны?

— Не спрашивала.

— А как вы думаете?

— Думаю, что и они тоже.

— Но если так, почему же мы это терпим?

— А что мы можем? Война! На войне генералы хозяе-

ва. Ах, эта война! До чего ж надоела! Хоть бы уж как-нибудь кончилась.

— Почему же «как-нибудь»? Народ столько крови пролил, а вы, пролетарка, говорите «как-нибудь».

Нюся покраснела.

— Ну, прощайте! — сказал Елисей сурово.

— До свиданья,— прошептала Нюся, виновато глядя студенту в глаза.— Вы на меня сердитесь?

— А вы как думаете?

Аким Васильевич хмуро вошел в комнату Елисея и сунул ему бумагу.

— Вот. Состряпал. Не знаю, то ли это, что вам нужно.

Бредихин прочитал:

ЭПИГРАММА

на барона Врангеля

Ты пляшешь Англии в угоду.
Но, как пред ней ни лебези,
Никто моральному уроду
Не скажет: «O, ich liebe Sie!»

— Чудесно! — воскликнул Бредихин.— Вы гений, Аким Васильевич. Но мне нужно резче и понятнее. Эта вещица легко дойдет до интеллигенции, но простой народ ее не осилит. Все-таки кончается она немецкой фразой.

— Да, но какой! После германской оккупации все население знает, что такое «ich liebe Sie». Что-что, а уже это знает.

Елисей зорко взглянул на Беспрозванного.

— А ведь вы правы! Пожалуй, так. Надо только написать в русской транскрипции: «Их либе зи». Ну, давайте вашу эпиграмму.

— Что вы думаете с ней делать?

— Напечатать большим тиражом.

— Вы с ума сошли! Кто же ее пропустит?

Елисей засмеялся.

— Я! Я лично!

Работа на фабрике возобновилась. Бредихин, как обычно, помогал всему строю «весельщиц». Когда очередь дошла до Нюси, он взял из ее рук весло, она тихо спросила:

— Все еще сердитесь?

— Нет! — отрывисто сказал Елисей, но весь день был с ней очень сух.

На двенадцатом часу работы Нюся упала в обморок.

— Устала...— заметила Комиссаржевская, протирая ей виски одеколоном.

— Тут не то! — на сниженном голосе сказала Гельцер.— Влюбилась она в студента, а он к ней ничего не чувствует.

— Неужели обижает?

— Да нет. Никак не относится.

Глубокой ночью Елисей, который спал сегодня в конторе, встал с деревянного дивана и, достав из шкафа целую десть бумаги с копирками, начал печатать на «ундервуде» эпиграмму. Получилось семьдесят два экземпляра. Печатал Леська одним пальцем и ужасно устал.

«Тираж солидный,— подумал он, взглянув на стопку стихов.— Никогда ничего подобного у Беспрозванного не было».

Днем он подошел к Нюсе и взялся за ее «веселку».

— Есть с тобой серьезный разговор.

Нюсю охватило пламенем: он сказал ей «ты».

После работы Елисей пошел провожать Нюсю домой.

Партия Леську не призывала. Но жить без боевой политической работы он уже не мог и решил бороться с Врангелем в одиночку.

— Нюся, хочешь мне помочь?

— Хочу.

— Но это очень опасно.

— Ничего.

— Надо расклеивать по улицам вот такие маленькие бумажки. На воротах, на парадных дверях, на телеграфных столбах — повсюду, где можно.

— Хорошо,— покорно сказала Нюся.— Когда это сделать?

— Сейчас. Ты пойдешь по Вокзальной, а я — по Екатерининской, а встретимся в центре, у Дворянского театра. Вот тебе тюбик с клеем и бумажки. Больше ничего не нужно. Только смотри, чтобы никто тебя за этим делом не застал, иначе — тюрьма.

Она молча глядела в его лицо, и глаза ее в темноте казались огромными.

— Ну, желаю тебе успеха!

Он пожал ей руку и ушел на Екатерининскую. Нюся пошла по Вокзальной.

На окраинах город жил без фонарей, поэтому расклеивать эпиграммы здесь было безопасно. Но чем ближе к центру, тем больше огней, и тут приходилось действовать с большой осторожностью. Все же Леська благополучно добрался до Дворянского театра. Нюси не было.

Елисей притворился пьяным и медленно «шкандыбал» по Пушкинской. Дойдя до конца тротуара, он повертелся, словно забыл, куда ему идти, и, пошатываясь, побрел обратно. Навстречу ему быстрой походкой шла Нюся.

«Милая!» — подумал Леська и только тут увидел, что она действительно миловидна. Косой срез волос на лбу придавал ей лихость, что не совсем соответствовало грустному выражению глаз, но и в этом несоответствии своя прелесть: понятно, что это человек с душой и способен на многое. И вот только эти зубы в три этажа...

— Ну как? Все расклеила?

— Все.

— Сейчас уже очень поздно. Возвращаться тебе в приют далеко. Пойдем ко мне на Петропавловскую, там переночуем.

— Ну, нет.

— Почему?

— Я не шляющая.

— Фу, какие глупости! Я тебя не трону. Ты будешь спать у меня в комнате, а я пойду к хозяину.

— Честное слово?

— Самое честное.

Дома Леська двигался на цыпочках, чтобы не разбудить Акима Васильевича, который жил теперь в комнате Кавуна. Нюся сняла ботинки и шествовала за ним в чулках. Когда они вошли в Леськино обиталище, Елисей увидел на письменном столе записку:

ЭПИГРАММА

Говоря о Врангеле,
Думаю об ангеле:
Жаль, что этот ангелочек
Душу продал Англии.

«Молодец старик! — подумал Леська.— Производство налажено».

Он предоставил Нюсе свою постель, а сам устроился на кухне: не раздеваясь улегся на свое пальто и накрылся бекешей Беспрозванного. Правда, она нестерпимо пахла нафталином, но была тяжелой и теплой.

Нюся разделась и юркнула под одеяло, откуда, как зверек, стала оглядывать комнату. Ничего особенного в комнате нет, лишь над кроватью висели рядом две картинки: на одной — девушка в лифчике и трусах, на другой она же, но совсем-совсем голая, причем казалась более целомудренной, чем полуодетая.

«Наверное, бредихинская любовь»,— подумала Нюся, повернула выключатель, чтобы их не видеть, заплакала тихонько, да так, в слезинках, и уснула.

Проснулась она в диком страхе: что-то живое и тяжелое прыгнуло к ней на ноги. Нюся сбросила эту тяжесть и услышала, как она плюхнулась на пол.

— Крыса!

Девушка закричала в голос. Вбежал Елисей и включил электричество.

Нюся, закутавшись в одеяло и вся подобравшись, забилась в угол кровати.

— Что случилось?

— На меня кинулась вот такая крыса... Я сейчас же пойду домой... Придвиньте ко мне это стуло: там лежит мое платье и карпетки.

— Вы никуда не пойдете: сейчас три часа ночи.

— Все равно.

— Глупости.

— Нет-нет. Я ужас как боюсь крыс.

— Не бойтесь, я буду с вами. Вы ляжете у стены, а я с краю.

— Ну, не будьте же такой вредный!

Елисей пошел на кухню, взял увесистую кочергу, а когда вернулся, Нюся уже оделась.

— Я вас не выпущу,— твердо сказал Леська.

Нюся заплакала.

— Вы хотите меня снасильничать?

— Но ведь я дал вам честное слово, что не трону вас.

— Я вам не верю,— жалобно протянула девушка.

— Да вы мне просто не нравитесь как женщина! Можете это понять?

— Ну-у? Не нравлюсь? — еще жалобнее протянула Нюся.

— Не нравитесь! Спать!

Елисей лег с краю. Нюся посидела-посидела и тоже прилегла. Одетая. Свет они не выключили. Крыса больше не приходила. Но пришел Аким Васильевич и увидел Леську, спящего между кочергой и девушкой.

Из-под одеяла на колдуна глядели два желтых глаза.

— Девушка, кто вы и зачем?

— Я Нюся Лермонтова, а зачем, сама не знаю.

— Лермонтова! А вы знаете, что уже семь часов утра?

Упоенный тем, что в его квартире зазвучал девичий голос, Аким Васильевич покатился на кухню. Вскоре туда явилась Нюся и отобрала из рук Беспрозванного самовар.

— Дайте мне. Вы не умеете.

Аким Васильевич разбудил Леську.

— Ну? Как эпиграмма? Да вы вставайте! У нас в доме девушка, нужно готовить завтрак, сбегайте за колбасой.

Елисей взглянул на часы.

— Э! Теперь уже не до завтрака. Спасибо за новую эпиграмму. Эта значительно удачнее старой, хотя все еще утончена. Надо грубее! Понимаете? Хлестче!

Вечером Елисей, возвращаясь с работы, проверил «огневые точки» по Екатерининской, а Нюся по Вокзальной. Итог был очень поучителен: почти все эпиграммы по Екатерининской содраны, все по Вокзальной остались нетронутыми. Молодец Нюська!

В ближайший свободный день Елисей сбегал в университет сдавать энциклопедию права. В курилке среди студентов уже говорили об эпиграмме, хихикая и ликуя.

— Нет, наши не сдаются, черт возьми! — крикнул какой-то студент, явно выражая общее мнение.

Эта фраза опьянила Бредихина. Значит, не напрасно они с Нюсей поработали. Значит, их жизнь тоже кому-то нужна.

Конечно, Леська понимал, что его работа капля в море. Но море-то существует! Его за туманом не видно, но оно дышит, его дыханием наполнен весь Крым. Партия каждый раз угощает белогвардейцев таким штормягой, что только держись! Взять хотя бы партизанское движение, охватившее Симферопольский, Карасубазарский и Феодосийский уезды. Это не жалкие Леськины листовки. И все же листовки кое-чего стоят. Надо продолжать в том же духе!

В конторе он напечатал одним пальцем новую эпиграмму, а следующей ночью они с Нюсей снова пошли по улицам, но на этот раз Елисей двигался по Вокзальной, а Нюся осваивала Екатерининскую. Однако теперь они встречались уже не у Дворянского театра на виду у патруля, а на пустой Петропавловской площади. Елисей снова пришел первым и некоторое время поджидал Нюсю, прислушива-

ясь и ожидая звона ее шагов. Ему казалось, что ждет любимую девушку, которая спешит к нему на свидание.

Потом они вошли в квартиру — он на цыпочках, она в носках.

Включив электричество, Елисей привычно взглянул на письменный стол: там лежала газета с очерченной синим карандашом фразой Врангеля:

«Я смотрел укрепления Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих».

— Нюся! — сказал он девушке утром.— Я сегодня на фабрику не пойду: у меня здесь дело.

Он вошел к Акиму Васильевичу и сел у него в ногах. Старик проснулся.

— Кто это?

— Надо срочно написать разящее стихотворение хотя бы в восемь строк.

— Ах, не навязывайте мне этой тягомотины!

Леська расхохотался.

— Откуда у вас такое слово?

— Из тюрьмы, конечно.

— Браво! Вы делаете успехи. В таком же стиле напишите едкий стишок. Но теперь он должен быть уже не только против Врангеля, а против всей белогвардейщины, против всего капитализма! Хватит играть в бирюльки! Время, Аким Васильевич, очень серьезное.

Беспрозванный попросил Елисея отвернуться и стал натягивать носки.

Леська сбегал на кухню, разжег примус, поставил чай, нарезал колбасы, хлеба и снова явился к Беспрозванному.

— Позавтракайте и принимайтесь за работу. Я не дам вам поднять голову, пока вы не напишете эти восемь строк.

— А вдохновение?

— Командарм Фрунзе стоит у ворот Крыма! Вот вам и вдохновение.

Старик задумчиво жевал колбасу и прихлебывал бледный чай. Он уже работал. Леська этого не понимал и, грея ладони о стакан своей бурды, агитировал старца, как мог:

— Сейчас самый ответственный миг в вашей жизни. Конечно, ваши любовные стихи прекраснее тех, какие вы сегодня напишите, но никогда не было стихов нужнее. Нужность, необходимость — вот новый критерий искусства.

— Леся, вы мне мешаете.

Беспрозванный вынул блокнот и записал строчки:

БЕЛОГВАРДЕЙЩИНЕ

Эй ты, религии оплот,
В науке вскрытый «Капиталом»,
Владыка всех земель и вод,
Обложенный кабаньим салом!

Едва по-командирски хрюкнешь,
Завоют пушки, накалясь.
И все же, черт возьми, ты рухнешь,
Освистанный народом класс!

— Шедевр! — закричал Елисей.— Шедевр! — Чмокнул Беспрозванного в нос и поспешил на фабрику.

— Ты у нас больше не работаешь! — заявил ему Денисов.

— Почему?

— Потому. Опоздал на целых два часа.

— Ух ты, какие строгости! — засмеялся Леська и, войдя в цех, взял весло у Комиссаржевской.

— Значит, подобру-поздорову не уйдешь? — зловеще спросил Денисов.

— Поговорите с хозяином,— небрежно бросил Елисей.

— А что я, бобик, за хозяином бегать? Раз я тебе говорю...

— Вы для меня не начальство. И потрудитесь, пожалуйста, мне не тыкать.

Девушки ахнули.

Денисов почернел и отошел прочь.

Третья эпиграмма имела огромный успех. Студенчество в курилке гудело и ликовало.

И все же, черт возьми, ты рухнешь,
Освистанный народом класс! —

раздавалось со всех сторон.

— Кто бы мог это написать?

— Говорят, Волошин.

— Ну? Не думаю. Для Волошина слишком уж по-большевистски.

— Пока вы тут гадаете, господа, в Коктебеле у Волошина произвели обыск.

— Не может быть! Какая наглость! У Волошина?

— А ты откуда знаешь?

— У нас в Коктебеле дача. Мама написала.

— Ну, и что же с Волошиным?

— Пока благополучно.

— Ничего не нашли?

— Разумеется. Сейчас ищут в Симферополе. Хватают

кого придется. Взяли, например, студента Петьку Сосновского, который подарил одной курсихе альбом домашних виршей про любовь.

— Виршей, вы говорите?

— Ну да. Но для контрразведки и он поэт.

— Наконец-то его признали.

Студенты рассмеялись.

Елисей спускался по лестнице в глубокой тревоге... Как бы не схватили Беспрозванного. Впрочем, откуда известно, что он пишет стихи? Его ведь ни разу не напечатали.

Внизу у выхода стояли две женщины — старая и молодая. Они зорко присматривались к студенческой толпе и обе разом обратили внимание на Бредихина.

— Этот подойдет.

Когда Елисей поравнялся с ними, старая окликнула его:

— Молодой человек! Можно вас на минутку?

— К вашим услугам.

— Как вы смотрите на то, чтобы получить легкую, по хорошо оплачиваемую работу?

— Ну, что ж,— улыбнулся Леська.— Деньги всякому нужны.

— Отлично. В таком случае запомните адрес: Архивная, два, Коновницыны.

— Запомнил. А в чем будут заключаться мои обязанности?

— Архивная, два, Коновницыны.

— Да, да. Усвоил. А работа, говорю, какая?

— Да никакая! — весело сказала та, что моложе.— Просто беседовать с нашим братом, Антошей. Он тоже студент. Кстати, вы филолог?

— Нет, юрист.

— Жаль.

— Как угодно.

— Ну хорошо, Зиночка. Пускай юрист. Все-таки студент.

— А о чем беседовать?

— О чем хотите. Он у нас очень разговорчивый.

Елисей взглянул то на одну, то на другую.

— Душевнобольной?

— Да.

— Простите, но это мне не подойдет: я смертельно боюсь сумасшедших.

— Но он не сумасшедший! — всплеснула руками молодая.

— Он очень умен, начитан. Вам будет с ним интересно.
— Нет, нет. Тысяча извинений, но нет.

Елисей вышел на Пушкинскую. Мимо пролетел блестящий, точно от ливня, экипаж, в котором, заложив ногу на ногу, роскошно возлежала красавица Женя в огромной шляпе и сине-лиловом платье. Она увидела Леську, улыбнулась ему и крикнула:

— Тара́рам! (В смысле: «Опять живем»!)

Но Леське вообще сегодня везло на встречи. Прямо на него шел офицер, силуэт которого показался ему знакомым. Шокарев!.. Ей-богу, Шокарев!

— Володя!
— А, Елисей! Видел, как проехала эта шлюха, Женя?
— Да, да. Но почему ты в военной форме? Ты ведь демобилизовался.
— Нет еще. Успею. Мало ли что может быть? Ты слышал: генерал Слащев отогнал красных от Юшуньских позиций. Он получил за это высокое звание: «Слащев-Крымский». Какая романтика! Это возвращает нас ко временам Потемкина-Таврического.
— Так-таки возвращает? — засмеялся Елисей.
— Ах да. Я и забыл, что ты абсолютно не лирик.
— Володя, а почему ты в Симферополе?
— Не знаю. В Евпатории так жутко! Это же город на отлете, слепая кишка. И вообще там никого нет.
— А кто же у тебя в Симферополе?
— Во-первых, ты, а во-вторых, Театр миниатюр. Кстати, там сегодня ателье мод демонстрирует одежды. Пойдем? Среди манекенщиц — Муся Волкова.
— Ну что ж. Пойдем.
— Время у нас еще есть. Зашли в «Чашку чая»?
— У меня нет мелочи.
— Ерунда, разменяю,— засмеялся Шокарев.

Было пять часов. Володя заказал чай с красным вином, а Елисей стакан горячего молока.

— А где Иван Семеныч? Тоже здесь?
— Нет, папа в Генуе.
— Опять в Генуе?
— Конечно.
— С Мирэллой?
— С Мирэллой.
— И с пшеницей?
— Само собой.
— А ты как же?

— Теперь он мне уже не доверяет.

— А разве ты снова поступил бы сейчас, как с «Синесусом»?

— По всей вероятности...

— Молодец, Володя. Уважаю. Но почему ты не поехал с отцом в Италию?

— А кто станет следить за имением? Мало ли что может случиться? Генерал Слащев потеснил красных с Юшуньских позиций. Если помнишь, Наполеон даже после Эльбы, больной, надорванный, без войска, сумел прорваться к самому Парижу.

— Неужели ты серьезно ставишь знак равенства между Слащевым и Наполеоном?

— Нет, конечно, но история повторяется.

— Это и Маркс признавал, но он при этом добавлял: «...первый раз она трагедия, а во второй — фарс».

Шокарев засмеялся.

— Пускай фарс, только бы повторилось.

Ателье мод демонстрировало туалеты на эстраде маленького, но очень уютного театра. Зрительный зал блистал офицерскими и генеральскими погонами. В ложе сидел тот самый полковник из контрразведки, которого Елисей впервые увидел в цирке. Рядом с ним — красавица Женя, и по тому, как рассеянно она играла его перчаткой, стало ясно, что их отношения давно наладились.

— Мадемуазель Наталья Анненкова! — объявил рупор.— Платье и жакет пье-де-паон нежно-голубой шерсти!

На эстраду выпорхнула упитанная блондинка, развязно прошлась туда и обратно, повернулась вокруг своей оси, снова прошлась и под аплодисменты ушла за кулисы.

— Мадемуазель Людмила Залесская! Блё-де-шин. Послеобеденное платье из синего шантунга.

Вышла девушка с челкой, стремительно пронеслась через сцену, пикантно постукивая каблучками, затем вернулась, покружилась и так же быстро исчезла, как и возникла.

Аплодисменты.

— Мадемуазель Мария Волкова! Облегающее вечернее платье из бледно-абрикосового крепдешина.

По сцене плавно заструилась шелком Муся, одухотворенная и прелестная.

Шокарев схватил Елисея за руку.

— До чего хороша!

Зал разразился овацией.

— Это называется: «Розовый ибис»! — зазвучал голос из рупора.

— Это называется: «Пир во время чумы»! — ответил ему голос с галерки.

Полковник из контрразведки вскочил и, грозя очами, стал было искать реплику по всем рядам, но Женя, схватила своего кавалера за руку повыше локтя, властно усадила его в кресло.

Новая овация проводила Мусю за сцену.

Затем снова появились блондинка и челочка. Одна в платье из коричневого креп-жоржета (такой же шарф), другая в костюме из серой фланели, отделанной черным шнуром, но публика встречала их вялыми хлопками: она ждала Мусю.

— Мадемуазель Мария Волкова!

Имя это сразу же было встречено аплодисментами.

— Дам-бланш! Платье и манто из белого шелкового габардина, отделанного белой норкой.

— Чепуха! — громко сказала Женя.— Где сейчас найдешь белую норку?

В публике засмеялись. Женя отвесила залу легкий поклон. Но все глаза снова устремились на Мусю.

— Никогда не думал, что она так красива...— взволнованно сказал Шокарев.

— Платье делает с женщинами чудеса,— ответил Бредихин.

— Еще бы! — вмешался чей-то хрипловатый баритон.— Единственное, чем женщины могут служить богу,— это одеваться.

Елисей оглянулся: за ним сидел Тугендхольд.

— Яков Алексаныч?!

— А! И вы здесь?

— Как это все красиво! Теперь вы, наверное, отказываетесь от своего афоризма?

— Какого?

— «Вкуса не существует».

— Почему же отказываюсь? Наоборот. Для японца белый цвет — означает траур, а негры найдут все эти наряды абсолютно бесцветными.

В третий раз прошли Залесская и Анненкова. Опять появилась Волкова: дневной ансамбль — платье белое полотняное с вышитой красной розой, манто шерстяное, огненно-красное.

— Ну, с этим даже негры согласятся,— сказал Елисей, обернувшись к Тугендхольду.

И снова Мария Волкова: теперь она в подвенечном платье. Корсаж сидел на ней как кираса, а низ был собран из белых маленьких оборок органди. Фата охватывала девушку, словно ветерок, флердоранж воронкой увенчивал ее милую головку. Она подошла к самой рампе и глядела в зрительный зал, чуть-чуть приподняв брови. Публика неистовствовала. На сцену бросали цветы, перстни, бумажники, набитые николаевскими и донскими деньгами. Муся не обращала на все это никакого внимания: она глядела в сверкающую черноту и явно кого-то искала.

— Сознайся, Володя: разве она недостойна руки миллионера?

Шокарев ничего не ответил.

По окончании сеанса Володя и Елисей пошли за кулисы и с трудом протолкались к уборной Марии Волковой. Но Муся переодевалась и не впустила их. Леська крикнул ей сквозь дверь, что они будут ждать ее на улице.

— Хорошо! — отозвалась она счастливым голосом.

Минут через двадцать Волкова вышла к ним в своем будничном костюме.

— Какие вы умники, что пришли.

Она встала между ними, взяла обоих под руки и повела их по Дворянской вниз.

— Володя без ума от твоего изящества! — воскликнул Леська.

— А ты?

— И я, конечно. Но он еще больше. Видишь, даже слова произнести не может.

Они дошли до Почтового переулка.

— Ну, мне надо идти к себе,— сказал Елисей.— Очень я рад твоему успеху. Очень. Позволь поцеловать ручку.

— Ты даже не хочешь узнать мой адрес? — спросила Муся.

— Хочу.

— Но теперь уже я не хочу, чтобы ты его знал.

Володя радостно засмеялся.

Елисей пошел мимо почты к Салгирной, а Володя, взяв Мусю под руку, повлек ее снова на Дворянскую: очевидно, в ресторан. Муся оглянулась, но Бредихин уже потонул в тумане.

Подойдя к Петропавловской площади, Елисей увидел то, что так боялся увидеть: у крыльца его дома стоял ав-

томобиль с погашенными огнями, а подле автомобиля высился часовой. Бредихин прошел мимо него с независимым видом и гулко бьющимся сердцем, обогнул церковь и остановился под деревом у ограды, как раз против часового. Тот его не мог видеть. Время от времени он прохаживался вдоль машины.

Через полчаса из квартиры вывели Акима Васильевича и посадили в автомобиль. Потом с крыльца сбежал офицер. Леська узнал его: это был Кавун. Когда машина ушла, Кавун и часовой вошли в дом. Елисей понял, что там идет обыск. Что они могут найти? Стихи? Но не те, о которых идет речь. Впрочем, все равно — раз уж взяли человека, обратно его так скоро не выпустят. Что касается Елисея, то он абсолютно вне подозрения. Но тут Леська вспомнил анекдот Гринбаха: когда ловят верблюдов, поди докажи, что ты заяц.

Бредихин направился на фабрику. По дороге он принялся сочинять новую листовку. Бог не поцеловал его в уста, поэтому листовка вышла в прозе.

> «Все высокие слова утратили у белых свое значение. Что такое патриотизм? Это кровь, пролитая народом за то, чтобы Врангель и его камарилья хлестали шампанское и жрали черную икру.
>
> А что такое — измена Родине?
>
> Это нежелание народа отдавать свою жизнь за то, чтобы Врангель и его камарилья жрали черную икру и хлестали шампанское».

И опять Леська сидит над «ундервудом» и выстукивает одним пальцем свою прозаическую эпиграмму.

И вдруг он почувствовал за окном человека. Занавески были задернуты. Леська пригнулся к полу, подобрался к окошку и взглянул в щелочку: там торчал глаз Денисова. Леська отдернул занавеску.

— В чем дело?

— Что ты тут в конторе срабатываешь?

— Готовлюсь к экзамену.

— А ну покажь.

— А что ты понимаешь? «Покажь»!

— А я говорю, покажь! — грозно зарычал Денисов.

— А ты кто такой — легавый?

Денисов отскочил.

— Ладно. Узнаешь, кто я такой.

Мастер повернулся и пошел к себе.

Так. Как это Леська сразу не раскусил Денисова? Его смутило звание члена правления Союза пищевиков.

Остаток ночи Елисей провел на улицах и к утру очутился перед домом № 2 по Архивной. На двери ящик для писем и медная табличка: «Градской глава Николай Николаевич Коновницын».

Открыла ему молодая.

— А-а, надумали?

— Если я вам еще нужен...

— Нужен, нужен! Входите.

За столом сидели: старая дама, юноша с забинтованной рукой и... Стецюра.

— Здорово, Елисей!

— Здравствуйте.

— Садись, поправляйся.

— Да, да, садитесь, молодой человек. Зиночка, налей господину студенту кофею,— сказала старая дама.

Юноша глядел на Леську в упор.

— Я вас где-то видел. Где?

— Может быть, в университете?

— Да. Припоминаю. Как вас зовут?

— Елисей Бредихин.

— А меня Валерием. Валерьян Коновницын. Я душевнобольной, а этот человек усмиряет меня, когда я впадаю в транс. Он очень хорошо это делает, позавчера даже руку мне вывихнул. Но разговаривать с ним не о чем. Подобно тому как на струнах теннисной ракетки нельзя сыграть элегию Поппера, так из его души невозможно вызвать ни одной благородной эмоции.

— Значит, я могу быть вольным? — по-солдатски спросил Стецюра.

— Если молодой человек согласен остаться...— начала было старая дама.

— Согласен! — прервал ее Стецюра.— Он согласен. А ваш Валерьян мне и самому надоел. Давайте, маманя, учиним расчет.

— Пойдемте в другую комнату,— сказала старушка.

— Прощевай, борец! — иронически бросил Стецюра Бредихину.— Долго тут загорать не будешь. Этот зака́чанный парень...

Он махнул рукой и ушел за хозяйкой.

— Итак, вы студент? — спросил Валерьян.— На каком факультете?

— На юридическом.

— Зина! — возмущенно крикнул Валерьян.— Но ведь я просил нанять мне филолога!

— Мы и хотели, но филологи такие щуплые.

— Видите ли,— начал Валерьян, так упорно глядясь в Елисея, точно видел в его лице свое отражение.— Изо всех изобретений человечества одно из самых великих — любовь. Может быть, человек именно этим и отличается от животного. Звери, птицы, рыбы, насекомые любви не знают. Они сходятся, повинуясь могучему инстинкту продолжения рода. К инстинкту сводится все, даже горячее материнское чувство, толкающее животных на подвиг и на жертву, чтобы спасти детеныша. Но как только детеныш подрос и превратился в переярка, мать предоставляет его самому себе, а если он почему-либо не уходит — показывает ему зубы и прогоняет прочь: у нее теперь новая забота— выметать и воспитать новое поколение. Пройдет год-другой, и, встретив в лесу своего выросшего сына, мать просто не узнает его. Он для нее совершенно чужое существо.

Пока Валерьян говорил, Леська думал о том, что здесь для него тихая пристань. Прапор Кавун никогда не догадается искать Бредихина в доме бывшего городского головы. Значит, он на всем готовом может спокойно дожидаться прихода Красной Армии. От этого сознания у Леськи стало легко на душе. Бездомный нашел гнездо. Оно было чужим, но достаточно теплым.

— Таким образом,— продолжал Валерьян,— инстинкт, заставляющий зверя самозабвенно заботиться о детях, не вырастает до уровня любви именно к данному ребенку. Тут любовь вообще. Гегель сказал бы, что здесь не зверь любит зверя, а природа в нем любит самое себя. Не то человек. Обладая столь же мощным инстинктом продолжения рода, ибо и он принадлежит животному царству, человек облагородил этот инстинкт тем, что внес в свои отношения с особью другого пола оценку *личности*.

— Правда, Валерьян очень интересно рассуждает? — зевая, спросила Зина.— И вообще, у него замечательно возвышенное отношение к женщине.

— Да, да. Замечательное.

— Ах, не в этом дело! — скромно отвел Валерьян восторженные возгласы.— Дело в том, что люди плохо разбираются в конской масти. Ну вот вы, например. Знаете ли вы, какая разница между рыжей, гнедой и буланой? Нет, не знаете. Вы скажете: рыжая, мол, такая, а гнедая чуть темнее, а буланая чуть светлее. Че-пу-ха! Вот сразу и видно, что вы не любитель лошадей. А я их обожаю до дрожи. Рыжая, гнедая и буланая — это кони одной масти! Да, да.

Не смотрите на меня такими дурацкими глазами. Рыжая есть рыжая, у нее грива, хвост и шкура одинаково рыжие. Гнедая — тоже рыжая, но грива и хвост у нее черные, а буланая — такая рыжая, у которой грива и хвост белые.

— Простите, но вы только что говорили о любви. Может быть, вы продолжите свою мысль?

— С удовольствием. Зиночка! Налей господину юристу еще одну чашку кофе. Так вот. Возьмем революцию. Как бы к ней ни относиться, нельзя обойти того, что она мировое историческое явление. Правда? Но каким языком о ней говорить? Разве наши поэты хоть как-нибудь к этому подготовлены? Символизм... Самая модная сейчас литературная школа. Но сегодня она абсолютно на мели. Эпоха отбросила ее в сторону, как океанская буря какую-нибудь очень изящную яхту. Следите за мной. Речь Вячеслава Иванова:

Не пчелка сладкий мед сбирает
С лилеи, данницы луча.

Речь Андрея Белого:

Да покрывается чело,
Твое чело кровавым потом.

В статье Кузмина о Гофмане автор считает прозаизмами даже такие выражения, как «Ты здесь, ты где-то здесь» или «Мы тотчас припомним...». Ну? Доходит до вас моя мысль? Или вы по-прежнему настаиваете на символистском идеале? Разве он хоть в какой-либо степени, в самой минимальной степени, может соответствовать тому, что сейчас происходит в России? Какое дело до этих стихов тем тысячам красноармейцев, которые стоят под самым Перекопом и которые завтра будут решать судьбу России, в том числе и нашу с вами судьбу? Этот язык прозвучит для их ушей невероятной безвкусицей. И так оно и есть на самом деле.

Леську поразила схожесть этой мысли с мыслью Тугендхольда. Там разговор шел о живописи, здесь — о поэзии, но выводы одни и те же.

— Но тогда получается, что вкуса вообще нет!

— Может быть, и так...— прошептал Валерьян, потрясенный репликой Елисея.— Эта идея мне в голову не приходила. Она ужасна. Но... может быть, и так. Я не люблю спекулятивную логику. Я привык исходить из реальных фактов. Вы правы! То, что во времена символизма считалось образцом вкуса, сегодня звучит безвкусицей. Это подмечено гениально! У Перекопа стоит красное войско. Весь

Крым слышит его дыхание. Все в Крыму живет горячим ожиданием его прихода. Каждое дерево, каждая былинка. О людях я уже не говорю. Возьмите любого человека: вся жизнь его сейчас строится в расчете на то, что со дня на день в Крым вторгнется командарм Фрунзе. Ах, Фрунзе... Вы знаете его биографию? Ведь он студент, ничего общего не имевший с ремеслом войны. И вот — командарм. Только революция знает такие чудесные судьбы.

Леська глядел на Валерьяна с глубокой симпатией. Это незаурядный человек. Мыслящий. Он только не в состоянии долго сосредоточиться на одной какой-нибудь теме. И в этом его болезнь.

Пришло время обеда. В течение дня Леська с интересом слушал Валерьяна, который говорил безостановочно. За едой он продолжал говорить. Но говорили и мать с дочерью, привычно не обращая внимания на речи Валерьяна.

— Сегодня на рынке масло вздорожало на пятнадцать керенок,— сказала старая дама.

— А возьмите язык Блока. Посмотрите, как он начал грубеть. Вы читали его «Двенадцать»?

— Читал.

— Но почему вздорожало масло? — возмутилась дочь.— Ну, хорошо, я понимаю — хлеб. Мужики все на фронте, и у нас поэтому неурожай: сеять некому. Но коровы? Ими ведь занимаются женщины!

— У Блока в «Двенадцати» один солдат угрожает: «...Ужо постой, расправлюсь завтра я с тобой!»

— Но может быть, коров съели? — сказала старая дама.

— Пусть. Но где же телята?

— И телят съели.

— Вы заметили в этой строке неприличный сдвиг? Простите, при женщинах не решаюсь пояснить точнее. Никогда не поверю, что такой пластический и музыкальный поэт мог не услышать этого сдвига. Но в том-то все величие Блока, что он пошел на грубость, ибо почувствовал, что сейчас язык поэзии не может пахнуть лилеями. Это Блок. А знаете ли вы молодых поэтов — Маяковского и Есенина? Слыхали о них?

— Нет.

— У Маяковского есть даже такая мысль: «Улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». Кажется, так. Во всяком случае, за смысл я отвечаю. Этот же поэт заявил, что в нашем языке остались только два настоящих слова: «сволочь» и «борщ».

К вечеру Леська выдохся, но Вале́рьян не уставал и продолжал изрекать истины, иногда действительно очень острые и точные.

В конце концов все же легли спать. Валерьян что-то напряженно шептал. Может быть, стихи. Но Леська заснул, едва коснувшись подушки.

Ночью Валерьян растолкал Елисея. Он сидел у него в ногах и глядел ему в лицо, как в озеро.

— Говорят, будто вы назвали меня сумасшедшим.

— Я? Что-то не припомню.

— Мне об этом рассказала сестра моя, Зинаида Николаевна.

— А-а... Да, да. Но я по-обывательски путал всякую душевную болезнь с сумасшествием.

— А что вы обо мне думаете сейчас?

— Я думаю: дадите вы мне поспать или нет?

— Я спрашиваю вас вполне серьезно.

— Я думаю, что вы очень умный, душевно богатый человек.

— Вот-вот. Если кто-нибудь обладает обилием оригинальных мыслей, толпа неизменно объявляет его сумасшедшим, хотя в психиатрии такого термина нет. Параноики, маньяки, шизофреники,— что хотите, но не сумасшедшие. Ах, толпа... У человека много ума, именно поэтому его именуют умалишенным. Какой бред! Ну, спите, спите. Я вами очень доволен.

Валерьян ушел на свою кровать, а Елисей отвернулся к стене и тут же заснул. Проснулся он оттого, что кто-то упорно глядел ему в лицо.

— Кто? — спросонья вскрикнул Леська и сел на постели.

— Я, Валерьян. Дело в том, что вчера я начал рассказывать вам о любви и только сейчас обнаружил, что не закончил своей мысли. Если не ошибаюсь, мы с вами остановились на том, что человек изобрел любовь, внеся в половые отношения оценку личности. Так вот. На первых этажах развития общества люди, как это доказал Морган, сначала понимали брак в виде «промисквитета»: все мужчины сходились со всеми женщинами.

— Знаю. Это я читал у Энгельса,— сонно отозвался Леська.

— О любви, конечно, при такой системе не могло быть и речи. Затем появился брак «пуналуа»: все братья одной семьи жили со всеми сестрами другой. И здесь не могло

быть речи о любви, ибо юноша, вступая в брак, не выбирал себе подруги, а подчинялся решению семьи. Так же, вероятно, скопом решали они вопрос о том, на какого зверя охотиться или куда гнать скот на зимовку.

В окне все еще блестели звезды. Леська взглянул на ручные светящиеся часы: четверть пятого. Но Валерьян — ни в одном глазу.

— Любовь возникла тогда, когда брак стал парным, то есть когда юноша должен был выбрать себе одну-единственную девушку из всех и прожить с ней всю жизнь. Так возникло тревожное желание найти такую девушку, которая соответствовала бы всем его запросам, а эта тревожность породила мечту. Тогда-то и появляется то чувство, которого не знают звери, но которое развилось в человеке, стремящемся к счастью и видящем его в завтрашнем дне. Чувство это — любовь.

Елисей заложил руки за голову и попытался уснуть с открытыми глазами, но Валерьян коснулся самой глубинной Леськиной струны, и Леська поневоле заслушался.

— Философы пессимистического направления в любовь не верят. Шопенгауэр называет любовь «западней природы», ибо человеку только чудится, будто он нашел мечту, воплощенную в этой девушке или в этом юноше, но в дальнейшем он неизбежно разочаровывается. Значит, любовь — обман чувств? Но поэты все же утверждают любовь как самое прекрасное из всего присущего природе человека. И действительно: читая терцины Данте о Беатриче, сонеты Петрарки о Лауре, стихи Блока о Прекрасной Даме, мы невольно потрясены силой их переживаний, которые длились не мгновение, а целую жизнь. И уж само по себе богатство этих переживаний есть великое счастье. Значит, Петрарка с его верой в любовь счастливее Шопенгауэра с его неверием. Разве одним этим не опровергается философия пессимизма?

Елисею уже спать не хотелось. Душевнобольной Валерьян обладал могучей логикой. Пядь за пядью развеивал он тот хаос, который дымился в Леськиной груди. Каждая встреча с женщиной делала его мысли о любви все глуше и глуше. Ни с Леонидом, ни тем более с Андроном он не мог даже обсуждать их. Но появился студент Коновницын и с изумительной ясностью для своего больного мозга начал прокладывать дорогу.

— А как же все-таки быть с мечтой? Всем известно, что Лаура, мать пятерых детей, была совершенно ординар-

ной женщиной и жила очень замкнуто. Значит, Петрарка воспевал ее, в сущности, ее не видя? Да. Но Петрарка творил ее образ по очертаниям своего идеала женщины, и, будучи далекой от идеала, Лаура становится идеальной для всего человечества.

Леська зааплодировал Валерьяну, сам того не заметив.

— Здесь мы подошли к самому главному,— продолжал Валерьян, не обращая внимания на Леськин энтузиазм.— Любовь, повторяю, возникает в нас тогда, когда мы встречаем человека, в котором, как нам кажется, воплощен наш идеал. Но будет ли этот идеал существовать или рассеется как дым, это зависит от нас самих. Петрарка — великий поэт. Его фантазия помогла ему видеть в Лауре то, чего в ней, может быть, и не было. Но, оказывается, такой фантазией обладает каждый человек, ибо в каждом человеке пылает лиризм.

— Или только теплится.

— Или теплится. Разница между Петраркой и рядовым человеком в том, что Петрарка сумел эту фантазию держать в пламени всю жизнь, а рядовой слишком скоро гасит ее в себе, поддаваясь целому рою мелких житейских неурядиц. Значит, если любому из нас выпадает счастье встретить ту самую, которая как бы воплощает наши мечты, задача его в том, чтобы удержать это счастье на высоте.

Валерьян встал. Он подходил к концу и не мог уже говорить о любви сидя.

— Великие поэты изобрели любовь. Они показали миру, как можно из животного инстинкта создать прекрасное, благородное чувство, наполняющее душу сиянием. Это сияние они передали людям из ладоней в ладони. Теперь мы сами в состоянии следить за этим светом, давать ему приток чистого воздуха, оберегать от чада. Любовь надо лепить, как статую!

Леська вспомнил свое ощущение, когда обнимал Каролину. Ему тогда подумалось, будто ладони его лепят статую. Но какая разница между той лепкой и этой, о которой говорит Валерьян? Да... Незаурядный человек. Даже если он и не умеет писать стихи, это — великий поэт. Поэт духа.

11

Уже рассвело. В квартире слышались шаги, хлопали дверцы буфета, звенели тарелки и ложечки, доносился вкусный запах крепкого кофе. Валерьян пошел в ванную,

Елисей ждал его в коридоре. Из своей комнаты вышла Зинаида Николаевна в сатиновом халате, причесанная и пахнущая одеколоном.

— Доброе утро!

— Здравствуйте.

— Ну, как? Трудновато приходится?

— Ваш брат произвел на меня сильное впечатление. Но я все время ожидаю транса.

— Не горюйте. Дождетесь.

— А в чем он выражается?

— По-разному. Чаще всего в попытке покончить с собой. Но третьего дня он намотал на руку мамины волосы и таскал старушку за собой по всем комнатам. Этот Стецюра так взволновался, что чуть его не убил.

— Что же это? Наследственность?

— Нет. Покойный папа был вполне нормален, а маму вы сами видели.

— В чем же дело?

— Он надорвался. Когда началась революция, Валерьян окружил себя книгами политического содержания и стал их штудировать. При этом он не спал около двух недель, если не считать тех минут, когда падал без сознания на фолианты.

Елисей вспомнил солдата в теплушке, который так же, как Валерьян, не выдержал напора новых мыслей.

Неделя прошла благополучно. Валерьян испытывал блаженство от того, что нашел собеседника, умевшего блистательно молчать и слушать. Он держал себя чрезвычайно корректно, по утрам целовал матери пальцы, а сестре щеку и вообще казался прекрасным сыном и братом. Леське приходилось труднее. Первые два дня Валерьян его завораживал своими идеями, но потом оратор начал бесконечно повторяться, и Леську уже качало, как на палубе ледокола. К счастью, Елисей нашел отдушину: когда становилось невмоготу, он принимался петь. Валерьяна это удивило, и он пытался протестовать, но вскоре замолк и слушал, как натянутая струна. Иногда вздрагивал, иногда тихонько плакал. Елисей исполнял весь свой любимый репертуар: русские и украинские песни. Но Валерьян стал требовать арий, а Бредихин их не знал.

— Это некультурно — иметь такой голос и не петь классику.

— Согласен. Но я ведь нигде не учился.

— Вот и нехорошо. Надо учиться. Поступите в музы-

кальную школу Семенковичей, а платить за вас буду я. Впрочем, нет. Тогда вы станете уходить на пять-шесть часов. Нет-нет. Мы сделаем так: я найму для вас домашнего учителя. Пианино у нас есть, так что все будет отлично.

Елисей согласился, чтобы не возбуждать в нем раздражения, а Валерьян подошел к фортепьяно, стоя дотронулся до клавиатуры, и из-под его длинных пальцев побежали вздрагивающие кварты Шуберта.

— Вы знаете? Лист учился виртуозности на рояле по скрипке Паганини.

О голосе Бредихина он уже забыл.

Итак, все шло замечательно. Хозяйки обожали Елисея и за едой подкладывали ему с двух сторон. Но Леську мучила его прозаическая эпиграмма. Надо же ее расклеить. Сейчас это особенно важно!

За ужином он попросил старую даму дать ему выходной день. Мать с испугом взглянула на дочку, та на брата.

— Зачем вам выходной? — страшно побледнев, спросил он Елисея.— Если хотите немного рассеяться,— пожалуйста! Я пойду с вами куда угодно: в театр, иллюзион, цирк. Выбирайте!

— Валерьян, милый... Каждому человеку нужно хоть короткое, но одиночество.

— А мне никакого одиночества не нужно! — запальчиво заявил Валерьян.— При чем тут «каждый»?

— Видите ли... Говоря «каждый», я имел в виду обыкновенного смертного. Вы же человек необыкновенный...

— То есть сумасшедший, хотите вы сказать?

Он вскочил и уставился на Елисея пламенными глазами.

— Что вы? И в мыслях не было,— мягко возразил Елисей.— Мы ведь с вами однажды обсудили этот термин и признали его нелепым.

— Вот именно! — сказал Валерьян и снова сел. Грудь его ходила так, точно он только что поднялся по лестнице.— Но почему же вы не хотите взять меня с собой?

— Куда? К невесте?

Валерьян смутился.

— Да... К невесте, кажется, с друзьями не ходят.— Потом вздохнул.— Какой вы счастливый!

И Елисей вышел на воздух.

— Только умоляю вас: вернитесь к вечеру,— шептала ему старая дама, запирая за ним дверь.— Умоляю вас!

Бредихин пошел в университет. Курилка была пуста. Он расклеил пять листовок. На улице снова встретился ему блестящий экипаж красавицы Жени. На этот раз она его не заметила, но Елисей глядел ей вслед, пока экипаж не остановился у «Гранд-отеля». Потом Леська побрел обратно и вдруг увидел Новикова. Вот с кем можно наладить партийный контакт: они вместе сидели в тюрьме, и Новиков, конечно, доверяет Леське.

— Павел Иваныч! — радостно воскликнул Леська.

— Простите, вы обознались,— сказал Новиков и хотел пройти.

Но Леська ухватил его за рукав.

— Вы меня не узнаете?

— Впервые вижу.

— Я Бредихин. Елисей Бредихин. Вы знали меня еще гимназистом.

— Отпустите мой рукав.

— В Севастопольской тюрьме...— сказал Елисей, понизив голос.

— Вы пьяны? А может быть, провокатор?

Леська опешил. Господин, которого он принял за Новикова, резко отдернул руку и, возмущенно пожав плечом, удалился большими шагами.

«Это Новиков, ошибиться я не мог. Он. Конечно, он. Но может быть, за ним слежка? Может быть, тут же, рядом, торчал филер? Ах, я дурак! Ах, тупица!»

Подойдя к дому № 2, он увидел перед ним толпу, а спустя несколько шагов услышал дикий женский крик из квартиры Коновницыных.

— Что здесь такое?

— Сумасшедший кого-то душит.

— Так что же вы стоите? Спасать надо!

— А как спасать? Войдешь — он на тебя кинется. Ему ничего не будет, раз он не в своем уме.

Елисей дернул ручку парадной двери. Заперта. Он кинулся во двор и через кухню вбежал в квартиру. Крики неслись из комнаты сестры. Леська распахнул дверь — мать лежала на полу без памяти, а Валерьян, накинув кушак на горло Зинаиды, пытался ее удавить.

Елисей схватил его за руку, вырвал кушак и отшвырнул студента в сторону. Валерьян озверел. Он поднял над головой дубовый стул и пошел на Елисея. Бредихин увернулся и сам нанес Валерьяну удар в солнечное сплетение. Тот скорчился и со стоном повалился на пол. С помощью

Зинаиды Елисей уложил Валерьяна на ее постель, потом поднял и унес в спальню старушку-мать. Вскоре старая дама пришла в себя. Втроем они сидели в столовой за пустым столом и прислушивались к звукам из девичьей комнаты. Валерьян сначала страшно стонал, надрывая душу матери и сестры. Потом его рвало. Наконец затих.

— Может быть, он скончался? — дрожащим голосом спросила мать.

Елисей на цыпочках прошел к двери и заглянул в щелочку.

— Спит.

— Ну, слава богу. Но как вы могли так сильно его ударить? Жестокое у вас сердце.

— Но, мама, ведь он меня едва не задушил!

Зинаида Николаевна показала матери шею: она припухла и запеклась кровавыми ссадинами.

— Да-да, но все-таки: что же это будет? Один вывихнул ему руку, другой чуть не выбил из него дух.

— Валерьяна нужно отправить в желтый дом,— строго сказал Елисей, который сам был потрясен всем происшедшим.

— Что вы, что вы! — замахала на него старая дама.— Там на него наденут смирительную рубашку.

— Да уж, нянькаться с ним не будут.

— Жестокий, жестокий вы человек. Такой молодой и такой жестокий!

В коридоре послышались неуверенные шаги: вошел Валерьян.

— Валюша, голубчик! Тебе больно? — кинулась к нему мать.

— Этот человек нанес мне удар в implexus solaris. Если бы он ударил чуть-чуть посильнее, со мной случился бы шок.

— Ах, боже мой! Неужели?

— Я хочу, чтобы этот человек больше не был в нашем доме. Ни одной минуты.

— Слушаюсь, Валерьян Николаевич. Сейчас уйду. А вы, женщины, помните: волков держат в клетке!

— Вон! — заорал Валерьян.— Вон! Я сказал: вон! Понятно? Вон! Вон! Вон!

Елисей вышел на улицу.

— Подождите меня! — крикнула вдогонку Зинаида Николаевна.

Елисей подождал у крыльца. Толпа разошлась. Архив-

ная улица, самая тихая в городе, опять углубилась в дрему. На крыльцо вышла Зинаида.

— Вы спасли мне жизнь,— сказала она.— Мама прислала вам деньги, но никаким золотом нельзя оценить того, что вы сделали. Душевнобольные—они ведь такие сильные.

Она быстро обняла Елисея и поцеловала его в лоб.

12

Куда ж теперь? Это как игра в шашки: туда нельзя, сюда нельзя, а бить некого. Но почему он вдруг испугался Денисова? Ну, была небольшая ссора, но ведь Иван Абрамыч все-таки член правления профсоюза и наверняка коммунист. Не мог же он быть провокатором!

Елисей решил идти на фабрику.

За окошком в проходной сидела Гельцер.

— Здравствуйте. Можно вызвать Нюсю Лермонтову?

Гельцер странно поглядела на Елисея.

— А вы... вы разве... не арестованы?

— А за что я должен быть арестован?

— А за что арестовали Нюсю?

— Она арестована?

— А как же! Из-за вас. Вот что вы сделали с девушкой. Она вас, понятно, не выдала, но ведь все знали, что вы с ней водились.

— Как это произошло?

— Явились из контрразведки, пошли в контору, посмотрели копирки на свет и в зеркало, переписывали на чистую бумагу. Что вы там такое понаписали, бог вас знает. Писатель!

— А дальше, дальше!

— А потом всех нас вызывали поодиночке и допрашивали: не знает ли кто, где вы проживаете?

— Так. А Денисов сейчас на фабрике?

— А где ж ему быть?

— Я пойду к нему.

— Идите.

Елисей прошел во двор. В темноте его не узнали. Он спокойным шагом приблизился к домику и заглянул в окно: сквозь горшки с геранью и фикусом он увидел Фросю Трубецкую: она собирала на стол. Елисей вошел в сени.

— Кто там?

— Иван Абрамыч здесь?

— Он на фабрике. А кто это?

Елисей шагнул в комнату. Фрося уставилась на него испуганными глазами.

— Бредихин?

— А что? Это вас не устраивает?

— Зачем пришли? Вас ищут.

— Знаю.

— А что вам у нас нужно?

— Ивана Абрамыча,— ответил Елисей, задернув занавески.

— Он... Он совсем ни при чем... Ей-богу! Все думают, что он, а он, ей-богу...

— Бросьте, Трубецкая. Вы прекрасно знаете, что он...

Фрося молчала.

— Вы хорошая женщина и не умеете врать. Скажите: зачем он выдал меня и Нюсю? Ведь нас расстреляют.

— Зачем расстреляют? Нет, это вы зря. Я сама ему говорила: ну, обидел тебя Леська, эка важность! Ведь он еще сам мальчишка.

— Так и сказали?

— Ага.

— А он что же?

— Не твое, говорит, дело. Он подрывал мой авторитет или как еще там...

— Но ведь нас расстреляют!

Хлопнула наружная дверь. Вытерев ноги в сенцах, вошел Денисов. Увидев Елисея, он оторопел.

— Тебя ищут, Бредихин.

— Мне ночевать негде. Я как затравленный волк. Явился к вам. Приютите на одну ночь.

— Если ты только за этим, что ж, ночуй.

— Ну вот видите, как хорошо все устроилось,— тревожно залепетала Фрося.

— Да лучше быть не может.

— Кровать у нас, извините, одна, но можно будет вас уложить на табуретках. Тюфяк найдется,— продолжала суетиться Фрося.

— Садись чаевать,— сурово сказал Денисов, не глядя на Елисея.

Хозяйка поставила сороковку, рубленую селедку с маслинами и яйца, сваренные вкрутую.

— Выпьем?

— Могу.

Денисов налил себе стопку.

— А тебе как?

— А мне в стакан, если не жалко.

— Как знаешь,— сказал Денисов.

Мужчины сидели, женщина стояла.

— Садитесь, Фрося.

Фрося робко взглянула на мужа.

— Садись, раз гость приглашает. В ногах правды нет.

Фрося деликатно присела на краешек стула, всем своим видом показывая, что она не виновата.

— Ну, как дела на фронте? — спросил Елисей.

— Хороши. Наши нажимают — спасу нет.

— Вскоре появятся?

— Да уж недолго.

— Фрунзе обещал Ленину взять Крым к декабрю.

— Раньше возьмут,— уверенно сказал Денисов и налил себе стопку, а Елисею снова полный стакан. Леська пил и не пьянел, потому что был очень возбужден, но притворился пьяным.

Вскоре сороковка опустела.

— Фрося, достань другую.

Фрося вышла в сенцы.

— Погоди! — спокойно произнес Денисов. Даже слишком спокойно.— Ты не найдешь.

Он встал со стула и ушел в сенцы. Скрипнула наружная дверь. Елисей выглянул в окошко: Денисов бежал к проходной. Вскоре вернулась Фрося.

— А где Абрамыч? — спросил Елисей.

— Побег в контору: сороковку-то, оказывается, он оставил там.

— Ну, и я выйду на минутку. Извините.

Фрося понимающе кивнула, глядя на него детскими глазами.

— Нужничок у нас, знаете, свой. Как раз за домом. Мы его из курятника сделали.

Елисей вышел, пошатываясь, а потом бесшумно гнался за Денисовым, как тигр за подбитым стервятником. Он прятался в тени складских помещений, и хоть стервятник раза два оглянулся, но никого за собой не приметил.

Наконец он зашел в контору. В окне зажегся свет. Елисей ворвался в комнату и увидел Денисова у телефона.

— Тебе чего? — сурово спросил Денисов, положив трубку обратно на рычажок.

— Где твоя сороковка? В телефоне?

Он подошел к стене и выключил электричество. Дени-

сов замер и вдруг кинулся к двери, но Бредихин подставил ему ногу, и мастер растянулся на полу. В комнате полумрак. Леська различал распростертое тело и ждал. Ждал чего-то и Денисов.

«Наверно, так всегда бывает перед убийством»,— подумал Леська. Он держался на ногах прочно и даже чувствовал необычайную легкость во всем, что делал. Увидев, что Леська ничего не предпринимает, Денисов начал приподыматься. Тогда Елисей ударил его носищем своего «танка» в голову, как в мяч. Денисов снова повалился на пол.

Когда Елисей выходил с фабрики, Гельцер спросила:

— Нашел Ивана Абрамыча?

— Нашел. Старик хотел меня подпоить, а сам пьяный в дым валяется в конторе, как труп.

— Да, выпить он мастер.

— Ну, прощай, дорогая.

— До свиданьица. Дай вам бог!

Елисей решил пойти в деревню Ханышкой к старикам Синани. В Евпатории мигом разыщут, а Синани всегда его примут, властей над ними нет никаких. Как не было германцев, так нет и белогвардейцев: в самом деле, что делать войску офицеров в такой дыре?

Выйдя на Бахчисарайскую дорогу, Елисей почувствовал такую слабость, что должен был спуститься в овражек и здесь отдохнуть. Осень в этом году стояла ранняя. Овражек был полон листвы. Влажные листья отдавали рыбой, а сухие пахли, как пахнут усталые женщины: теплым и таким домашним запахом.

Слегка поворочавшись в этом ворохе, Леська уснул. Во сне неотвязно мучил его вопрос: неужели он так-таки и убил Денисова? Но угрызений совести не было.

Проснулся он на заре. Все вокруг было так же безлюдно. Стряхнув с себя листья, Елисей побрел в глубь Крыма, далеко обходя железную дерогу.

В Ханышкое все осталось таким, каким он его знал. Вот огромный холм раскуривающейся золы. За ним — кофейня, а там и сад Синани.

Старушка сидела у входа в домик и мыла в тазу рыбу. Леське показалось, что он все тот же гимназист, что не было за ним ни тюрьмы, ни сумы, ни убийства Денисова.

Старушка мыла рыбу и возбужденно говорила, обращаясь к крыльцу:

— Бир балабан паровоз американской системы... Солдатлар, офицерлар-ибсн, забарабар!

По-видимому, Эстер-ханым совсем недавно побывала па какой-нибудь станции и была полна впечатлений.

— Бабушка,— позвал он негромко.

Старушка не слышала.

— Госпожа Синани!

— А? Что? Ты кто это?

— Привет вам от Елисея. Помните его?

Эстер-ханым вгляделась в Леську и вдруг всплеснула руками:

— Ой! Это же сам Леся...

Она бежала навстречу, крича по дороге истошным голосом:

— Исачка! Исачка!

Пока старушка обнимала Леську, из домика во двор приковылял Исхак-ага.

— Боже мой! Енисей! Старуха, ставь самовар!

— Нет, нет! Я поставлю сам,— заявил Леська.— Только где ваш Тюк-пай?

— Умер Тюк-пай... — грустно сказал старик.— Сколько человек может жить? Он был уже очень старый. Старше тебя.

Леська вбежал в домик, точно к себе домой, вынес пузатый самоварчик все того же ослепительного блеска и пошел к ручью.

— Какое счастье! Леся приехал. А?

— Да, да, счастье, счастье.

— А зачем приехал? — засипела старушка оглушительным шепотом.

— А тебе какое дело? — заворчал старик.— В наше время такие вопросы не задают. Приехал, ну и приехал. И слава богу!

Леська прошел мимо пустой собачьей будки, и ему стало грустно.

Осенний сад совсем не был похож на тот, каким его видел Елисей прошлой весной. Полуголые тополя, обнаженные яблони. Сугробы железных листьев скрежетали, когда в них копошились ежики или шастали гадюки. Полны плодов были только деревья айвы, поспевшей в этом году особенно поздно. А вот ручей совершенно такой же...

Леська присел на бережок и закрыл глаза. Он ясно увидел белый силуэт Гульнары и алую феску среди зеленой

травы, услышал гордый ее голос и вспомнил ощущение полураскрытых губ.

Издали прошлое кажется красивей и податливей. Леська вспомнил былинку, которая привела к поцелую. Он уже забыл или сделал вид, будто забыл, о том, что этот поцелуй закончился слезами. Ему казалось, что первый поцелуй Гульнары — такая же для нее драгоценность, какой он должен быть для любой девушки. Но вскоре жестокая память подбросила ему фразу: «Я прикажу запороть тебя на конюшне» — и напомнила о прощании с Гульнарой в Севастополе. Какое холодное прощание... Елисей только сейчас понял, что это было прощанием с детством.

Чай пили в комнате: старикам на дворе зябко.

— Ну? Как вы тут живете без меня?

— Как живу? Руки болят, ноги болят, и сама я тоже нездорова.

— Как ты жил, Енисей? — спросил дед.

— Не Елисей, а Енисей,— поправила старушка.

— Я и сказал Енисей.

— Нет, ты сказал — Елисей.

— А как надо?

— А надо Енисей.

— Жил нормально,— ответил Леська.— Как жилось, так и жил. А что Умер-бей?

— Ничего. Живет себе,— сказала старуха.

— Какая это жизнь? Умирает со страху, да? — сказал старик.

— Кого же он боится?

— Зеленых.

— Разве они здесь бывают?

— Здесь пока не были, но рядом село Альма-Тархан. Так вот туда заходили, а теперь к нам зайдут,— проворчала бабушка.— Ну, мы с Исачкой их не боимся: у нас взять нечего.

— Кто же эти зелепые? Просто-напросто бандиты?

— А ты думал! Конечно. Такие разбойники!

— Ну, не такие уж разбойники,— сказал Исхак-ага.

— Разбойники! Грабители!

— Понимаешь, Енисей: они спускаются с гор и хотят купить баранины, да? Кушать же им что-нибудь надо? Но кто сейчас станет продавать скотину? За какие деньги? Керенки? Колокольчики? Завтра придут красные — и все эти разноцветные бумажки могут сгодиться только на обои. Верно я говорю? Но когда зеленым никто ничего не про-

дает, то они устраивают «баранту»: угоняют скот к себе в горы — и дело с концом. А если захочешь бушевать, то и убить могут. Очень свободно.

— А разве белогвардейцы с ними не воюют?

— Воюют, но только не у нас. Тут они полные хозяева.

— Значит, Умер-бей боится?

— А кто не боится?

— Да ведь у него фрукты, а не овцы!

— Ого! Знаешь ты! — вмешалась бабушка.— У него баранов больше, чем яблок.

— Где же они?

— Ну, конечно, не тут,— сказал дед, грозно взглянув на старушку.— В степи, под городом Джанкоем. Целые кошары у него там.

— Зачем ты так говоришь, Исачка? Были в степи. А где война? В степи война, не тут же. Умер-бей умница: он перегнал овец в экономию Сарыча. У Сарыча деревьев мало, а травы много. Ну, и еще, конечно, накупили сена выше головы.

— Перестанешь болтать, старуха?

— А что, разве я не правду говорю?

— Старуха! Перестань болтать, я тебя спрашиваю! Узнает Умер-бей, рога тебе скрутит.

— А что я сказала? Ничего я не сказала.

— А овцы?

— А что овцы?

— А Сарыч?

— А кто знает Сарыча? Подумаешь — Николай Второй! Ты знаешь Сарыча, Леся?

— Кукубея! — обругал старуху муж.

— Шмунчих! — не осталась в долгу старуха.

После чая Леська опять пошел к ручью. Посидел, поскулил немножко, и потянуло его взглянуть на дом, где когда-то обитала турецкая принцесса. Дом был все тот же: низкий и длинный, как овчарня. Леська долго глядел на него из-за деревьев, но никого не увидел.

Так прожил он у Синани два дня. Жить у них было легко и приятно. Как и в прошлом году, Елисей колол дрова, ставил самовар, таскал воду, вообще делал все, что у дедушек с бабушками делают внуки. Но он ничего не знал о фронте: как там сейчас? Прорвала ли Красная Армия оборону белогвардейцев? Или генерал Слащев, получивший

за победу под Юшунью высокое звание «Слащев-Крымский», пробивается к Москве, как ему пророчил Шокарев?

Однажды, сидя у ручья, Елисей услышал в соседнем саду какой-то возбужденный спор. Леська подошел к дому, хоронясь за деревьями и не выдавая себя ни шорохом листьев, ни треском веток. У порога стояла Розия и резким тоном отчитывала какого-то человека в папахе из серой смушки, в стареньком штатском пальто и в желтых сапогах с высокой шнуровкой.

— Я уже вам сказала: хозяин болен. Сколько можно говорить?

— Но хозяин мне очень нужен,— тихо просил человек в папахе.— Надеюсь, он не при смерти?

— Что значит — «при смерти»? Почему «хозяин»?

Леська вгляделся в человека, угадал под его пальто ручной пулемет «Томпсона» и вдруг узнал в нем того самого члена пятерки, с которым реквизировал червонцы в Армянском Базаре.

Елисей вышел из-за деревьев.

— Здравствуйте, товарищ Воронов!

Розия ахнула:

— Леська? Ты еще откуда?

— Узнаете меня, Воронов?

— Нет.

— А помните гимназиста, который помогал вам в одном золотом деле под Перекопом?

— Вспоминаю,— улыбнулся Воронов.— Только забыл ваше имя.

— Бредихин.

— А я уже давно не Воронов.

— Понимаю. Что же вам угодно от хозяина?

— А тебе какое дело? — накинулась на Леську Розия.— «Что вам угодно»! Какой нахал!

— Да вот хотел купить немного овец,— сказал Воронов.

— Ну что ж. Это можно,— благодушно разрешил Леська, не обращая никакого внимания на Розию.

— Ты-то тут при чем? — рассвирепела Розия.— Нет, вы подумайте! Ах, нахал!

— А почем платить будете?—спросил Елисей Воронова.

— Как везде, так и я.

— А какими деньгами?

— Могу всякими. Тебе какие нужны?

— Это зеленые! — взвизгнула Розия.— Бабай, зеленые!

Она вбежала в дом и захлопнула дверь, крича «зеленые» так, словно кричала «пожар». Слышно было, как она накинула крючок на петлю.

— Видали дуру? — спокойно констатировал Воронов.

Крючок, однако, выскочил из петли, и на пороге показался Умер-бей в своей золотистой тюбетейке и в халате с вопросительными знаками.

— Баран йок! — сказал он, глядя на Леську своими красными глазами.

— Вот и я говорю этому человеку, что баран йок,— сказал Леська.— Откуда здесь овцы? Здесь фруктовый сад.

— Фруктовый сад! — запальчиво отозвалась Розия из-под руки деда.

— Но мне говорили, что у вас...— начал было Воронов, недоверчиво оглянувшись на Леську.

— Все вам наврали! — сказал Леська.

— Наврали! — закричала Розия, одобрительно глядя на Елисея.

— Пошли, товарищ Воронов.— Леська крепко взял Воронова за локоть и повел к воротам.— Вы как: на коне? На тачанке? Пешком?

— На тачанке.

— Ну, и я с вами.

— Постой,— засмеялся Воронов.— Это еще надо обсудить.

— Да вы не отмахивайтесь от меня. Я еще могу пригодиться. Прощайте, господин Умер-бей, прощай, Розия.

— Прощай! — недоуменно сказала Розия, не ожидавшая от Леськи такого заступничества.

— Один вопрос напоследок: где сейчас Гульнара?

— А тебе какое... В Турции.

— Вышла наконец замуж за принца?

— Нет. То есть да! То есть нет...

Леська усмехнулся.

— Два «нет» и одно «да». Что перетягивает, товарищ Воронов?

Выйдя на улицу, Леська свернул к Синани попрощаться.

— Зачем уезжаешь, да? — спросил старик.

— Такие вопросы не задают,— сказала старушка.

— А разве я задавал вопрос?

— А кто спросил: да?

Тачанка, запряженная тройкой, стояла за кофейней подле золы.

Воронов сел на заднее сиденье, Леська на переднее с кучером и скомандовал:

— Вперед!

— Куда едем?

— В экономию Сарыча. Знаешь?

— Слышал про нее.

— Ну, вот сейчас и увидишь. Пошел!

Поместье Сарыча было заполнено наспех сбитыми кошарами, откуда неслось блеянье овец и коз. Тут же ютилась избушка на курьих ножках. Здесь когда-то жила Шурка.

Тачанка подлетела к воротам, кучер засвистел в два пальца, и на этот разбойничий свист вышел сторож с овчаркой на цепи. Леська узнал его силуэт.

— Здорово, дядя! — крикнул Елисей.

— Здоров, если не шутишь.

— Какие тут шутки! Умер-бей продал нам овец. Вот мы за ними и приехали.

— А записка от него у вас есть?

— А пулемет видел? Вот тебе и записка.

— Вы партизаны будете?

— Будем и есть.

Сторож раскрыл ворота.

— Сколько вам?

— Да пока немного,— сказал Воронов.— Пятьдесят голов.

Сторож повел к ближайшей кошаре. Партизаны выпрягли двух пристяжных, взнуздали их и верхами въехали в усадьбу. Сторож выпустил овец. Они хлынули бурно, как вспененная река. Всадники подгоняли их криками и плетками. Из дома выбежали чабаны с высокими библейскими посохами, но глядели молча и ничего не предпринимали.

— От Умер-бея! — крикнул им сторож.

Один из конников поехал вперед, отара пошла за ним, сбоку гарцевал другой всадник, а тыл охраняла тачанка с высоко торчащим рыльцем пулемета.

Воронов ни о чем Леську не расспрашивал, а Леська ничего не добивался. Так они въехали в лес. Вскоре овец увели куда-то в сторону. Воронов спрыгнул с тачанки и поманил к себе Леську. Теперь оба пошли пешком и добрались по тропинке до самой верхушки. Отсюда открылось стальное море с таким высоким горизонтом, точно он соперничал с их вершиной. Море было огромным, незна-

комым и страшным. Сразу же охватил ветер, пахнувший снегом, хотя снега нигде не было.

— Вот тут и живу,— сказал Воронов.

— Где же ваше обиталище?

— А вот оно.

— Где?

— Да вот. Вот! Не видишь?

Воронов шагнул в чащу, и Леська увидел пещеру, к челу которой привинчена дверь с толстым ветровым стеклом, снятым с автомобиля. В пещере светло и даже уютно: пол заглушен медвежьей шкурой с проседью, на двух каменных лежанках — оранжевый мех крымских ланей, в стене вырублен проем, в котором светились золочеными корешками книги Маркса и Ленина. Между лежанками стоял желтый кожаный кофр, сверкавший никелированными замками.

— Пока поживешь у меня, а там видно будет.

Воронов вынул из кофра две эмалированные кружки и термос, налил Елисею и себе горячего какао, положил на газету хлеб и холодное мясо багряного оттенка.

— Это дикий кабан. Ешь, да не обломай себе зубки.

Леська восторженно оглядывал пещеру.

— Ну? Нравится?

— Еще бы! Никогда в жизни так роскошно не играл в «казаки-разбойники».

— Хороши игрушки! — улыбаясь, сказал Воронов.— Ты знаешь, что я заочно приговорен Врангелем к смертной казни?

— Так ведь и я смертник.

— Ну? За что же?

— Убил провокатора.

— Нехорошо с твоей стороны, студент. Как же ты на это решился?

— Честно говоря, спьяну. Но если бы не решился...

— Висел бы?

— Пожалуй.

— Ну что ж. Теперь, конечно, все ясно. Тебе прямая статья податься к партизанам. А вот примут ли тебя партизаны?

— А почему бы и нет? Я красногвардеец.

— Э, когда это было! Ты должен себя показать сейчас.

— Дайте задание.

— Дадим.

13

Несмотря на осень, крымский лес не был мертвым. Утром Леська проснулся оттого, что какая-то птичка заводила часы:

— Трррр... Трррр... Трррр...

Потом другая птичка начала работать на «ундервуде»:

— Чик-чик-чичик-чик-чик-чик...

Воронова уже не было. Леська вышел на воздух и сел па большой, круглый, обточенный сверху валун. Море снова стало синим, но по-прежнему высоким и чужим.

Громадные красные сосны, пахнущие спиртом, уносились к небу в каком-то молитвенном благоговении. Рыжие муравьи сердито спешили по своим делам, останавливались друг перед другом, шевелили своими антеннишками и снова продолжали путь или наоборот — один круто поворачивал и убежденно следовал за другим. Это были самые обыкновенные мурашки, и вдруг Леська увидел целую цепочку необыкновенных: головка и грудь как у всех, но вся тыловая часть казалась обкатанной алмазом. Что за диковина? Леська поймал одного, посадил на ладонь и вгляделся: брюшко у муравья было растянуто до предела и прозрачно, внутри же блестела большая чистая капля: цепочка необыкновенных муравьев доставляла воду в муравейник из кадки, стоявшей перед пещерой.

Где-то треснула веточка. За ней еще. Появились два оленя и принялись своими черными глазами разглядывать Леську.

— Стасик! — позвал Леська.— Славик!

Стасик, уже могучий олень с молодыми, но крепкими рогами об одном разветвлении, подошел к Леське и дунул своим влажным храпом прямо ему в руки. А Славик оказался женщиной и подойти побоялся.

Елисей хотел было погладить Стасика, но тот отпрянул, и оба оленя мгновенно исчезли. Лишь по треску валежника Леська догадался, что олени здесь все-таки были.

Снова раздался треск, теперь уже тяжелый и уверенный: это шел человек. Леська спрятался в соснах. К пещере вышел Воронов, огляделся и позвал:

— Эй! Студент!

Леська вышел из засады.

— Испугался?

— Нет, зачем же. Но осторожность никогда не мешает.

— Молодец! Давай садись, будем завтракать.

Воронов застелил круглый камень газетой. Завтрак состоял из того же, что и вчерашний ужин: хлеб и кабанья ветчина.

— Как видишь, вкусно, однако однообразно,— сказал Воронов.— Но спасибо и на этом, правда?

— Разумеется.

— Между прочим, есть для тебя задание. Сегодня ночью Третий полк идет взрывать шахты Бешуйских угольных копей. Врангель оттуда достает топливо для своих поездов. Так вот, надо взорвать. От нашего отряда требуется разведка. Пойдешь?

— Пойду.

— Отлично. Я спущусь к ребятам, а ты меня не дожидайся. Обед принесут — ешь сам.

Хозяин сошел вниз, а Елисей снял с полки «Капитал» и углубился в проблему промышленных кризисов: ведь он так и не доругался с попом Булгаковым и теперь хотел задним числом посадить его в лужу, опираясь на цитаты из Маркса.

Но природа враждебна всякому академизму. На раскрытую книгу упала хвойная веточка, такая пышненькая и сочная, что Леська, не думая, взял ее в зубы и пожевал. Терпкий сок связал ему язык, но во рту долго еще оставался древний вкус колдовского лекарства. Потом очень близко пролетела стая лебедей. Они так далеко вытягивали шеи, что казались вдвое длиннее, а крылья словно росли из бедер. Лебеди кричали на все лады, каждый свое, а один выкрикивал низким человечьим голосом какую-то фразу на незнакомом языке. Леська знал, что летят они на Лебяжий остров, расположенный в Каркинитском заливе. Он с гордостью подумал, что Крым — это и есть один из тех краев, куда птицы прилетают на зиму с далекого Севера. Среди этих лебедей могут быть даже заполярные.

Прилетела какая-то контуженая птаха средней величины. Она сидела на ветке и все время кивала головой, точно у нее тик. Может быть, ее застигло боем?

Леська хорошо знал рыб, но плохо птиц. Ему стало обидно, что он не умеет читать лес. А лес очень интересовался Леськой. Спустя полчаса сквозь чащу пролетел олень, судя по ветвистым рогам — старый. И тут же показался медвежонок. Он был довольно рослым,— наверно, годовалый пестун.

Оружия у Леськи не было, он вбежал в пещеру и, задвинув засов, принялся разглядывать медведя сквозь автомобильное стекло. Но у зверей свой закон: преследовать

бегущего. Это закон леса, моря, неба. Вообще — закон жизни. Пестун поскакал за Леськой и, встав на задние лапы, начал со злобой скрести стекло, оставляя на нем глубокие снежные царапины и превращая его в витраж. Поняв наконец, что это ему не по когтям, медведь залез на валун, одним ударом, по-булгаковски, сбил «Капитал» на землю, улегся и, помаргивая, глядел на Леську, уверенный, что рано или поздно это существо все-таки вылезет из своей берлоги.

Медвежонок был таким милягой... Ужасно хотелось потрепать его мягкие уютные ушки. Леська по-ребячьи показал ему язык, но медведь не понимал символов и ничуть не обиделся, напротив — стал глядеть на него с живейшим аппетитом.

Леська вспомнил театр «Гротеск», китайского медведя, цыганку Настю, сестру милосердия Наташу... Но пестун вдруг вскочил на своем камне, поднял уши, насторожился и, ловко свалившись на землю, постыдно удрал, плотно поджав свой куцый хвостик: показался боец с судками.

— Почему медвежонок вас испугался?

— Потому, что уважает начальство: чин чина почитай.

— Нет, серьезно?

— А серьезно. От меня пахнет железом.

— Как ваша фамилия?

— Я Нечипоренко.

— А я Бредихин.

— Знаю.

— Откуда же?

— Разведчик все знает.

— Вы разведчик?

— И даже ваш начальник: ночью пойдете в разведку под моим командованием.

— Отлично.

— За обед, конечно, извиняюсь: суп из гречки, а на второе вареная картошка в мундирах. Зато завтра шашлык будет.

— Ну, до завтра надо еще дожить.

— Доживем! — весело сказал Нечипоренко.

Леське понравился Нечипоренко. Это был настоящий солдат, из тех, кто шилом бреется, дымом греется. С таким ничего не страшно.

Воронов в этот день больше не появлялся. К вечеру снова пришел Нечипоренко и повел Елисея вниз по очень путаным тропинкам. Елисей увидел колонну бойцов. Нечипоренко пристал к первому взводу, вторым подошел та-

тарин Смаил, третьим был Леська. На коне жаркой масти вперед поскакал командир. Колонна двинулась.

— Мы впереди всех? — спросил Леська.

— Нет. Совсем впереди сторожевое охранение.

Было уже темно, когда колонна остановилась.

— Ну, теперь наш выход,— сказал Нечипоренко.— Пошли. И чтобы тишина.

Разведчики свернули куда-то в сторону. Вел их Смаил. Леська увидел в темно-фиолетовом небе среди звезд очертания копров. Показались вагонетки с курным углем. Тут же огромный, перетянутый тросом барабан.

— До барабана дойти можно,— зашептал Нечипоренко.— Ступай, Смаил, обратно, доложи.

Смаил исчез. Но часовой оказался чутким.

— Кто идет?

Молчание.

— Кто идет? — окликнул часовой громче и, взведя курок винтовки, пошел наугад прямо на разведку. Леську потряс этот каркающий звук ружья. Нечипоренко приложился и выстрелил. Часовой упал. В ту же минуту по двору забегали, стреляя, белые силуэты.

— В бельишке выбежали,— сказал Нечипоренко.

Но вот привидения нырнули в окоп. Оттуда ударили пулеметы.

— Не отвечай,— шепнул Нечипоренко.— Они не знают, где мы.

Действительно, пули дзенькали в стороне.

Разведка лежала, прижав к земле головы. Но вскоре в ответ на огонь окопа посыпались маленькие вспышки: партизаны забрасывали белых гранатами.

И вдруг — взрыв! В ночь поднялся как бы пламенно-золотой собор в облаке воскурений.

— Так. Наша работа вся! — отчеканил Нечипоренко, точно рапортуя.— Айда домой.

Он пополз назад, встал на ноги и бодро зашагал к шоссе. Леська за ним.

— Я не выпустил ни одной пули,— разочарованно сказал Леська.

— А я на целую пулю больше тебя,— засмеялся Нечипоренко.

Пришли под утро. Воронов не спал. Нечипоренко доложил ему о действии разведки.

— Значит, с боевым крещением? — поздравил Воронов Леську.

— Это не считается.

— Почему же? Задание выполнено. Чего еще надо?

— Я могу быть вольным? — спросил Нечипоренко.

— Да, да. Ступай. А мы с тобой, студент, на боковую.

— Приходите вниз обедать! — пригласил их Нечипоренко.— Завтра шашлык, а его надо кушать с огня...

Они проснулись около трех часов пополудни и тут же, умывшись, отправились на званый обед.

— Глаза не надо завязывать? — спросил Леська.

Воронов засмеялся.

— За что ты мне нравишься, студент? Добродушный ты парень! И еще за другое, не показываешь своей образованности. А я, знаешь, терпеть этого не могу. Вообще ненавижу интеллигенцию, она всегда чего-нибудь выкамаривает из головы. Вот, например, я. Учился, учился. Понял наконец, что земля не блин, а шар. Ну и отлично. И хватит. Так нет же! Прочитал недавно в одном журнале: оказывается, земля не шар, а... эллипсоид вращения. Так-таки и сказано: эллипсоид, да еще вращения. Мало ему, что эллипсоид. А если эллипсоид, зачем же мне забивать голову шарами? Скажи сразу: так, мол, и так,— и все! И чтобы на всю жизнь. По-моему, это не наука, а баловство. Шар, эллипсоид,— что это дает человеку?

«Вот она, полуинтеллигентщина,—подумал Елисей.—Немало еще придется с ней повозиться. Наделает она делов».

Вскоре донесся крепкий запах чада и жженой крови. Открылись два костра у печки, сложенной из ракушечного камня и обмазанной кизяком.

Над костром возился Смаил, наблюдая за шашлыком, нанизанным на сабли. Помогала ему женщина в красном платке: она подбрасывала в огонь сушняка... Оба были так увлечены своим делом, что не обратили никакого внимания на пришельцев. За кустами возник большой сарай, срубленный из неошкуренных бревен. На гвозде у двери висел оранжевый мех крымского оленя. Леська вздрогнул: может быть, это Стасик или Славик?

В сарае играли на гармони. Воронов остановился и с наслаждением слушал музыку.

— Вальс,— сказал он, подняв палец.— Люблю я вальс «Оборватые струпы»,— и тут же поправился: — «Оборванные».

Потом вошли. Леська увидел два ряда нар, были они осыпаны свежей хвоей, на которой, как на постелях, по-

леживали партизаны. Сквозь махорочный дымок прорывался крепкий сосновый дух.

— Вот вам новый товарищ! — провозгласил Воронов.— Допустим его до шашлыка?

— Коли достоин, допустим.

— Да как сказать... Пока добыл он для нас пятьдесят голов овец.

— Подходяще.

— А почему не сто?

— Сто мы не съедим,— сказал Елисей.— Завоняются. Пускай пасутся у хозяина, все равно наши будут.

— И то правда.

Вошел Смаил, неся вместо подноса огромную фанеру, на которой поблескивали сабли с шашлыком. Он опустил фанеру на пол и соскоблил шашлыки плоским немецким штыком, напоминавшим косу. Партизаны, спрыгнув со своих нар, уселись вокруг оленины в кружок и принялись ложками черпать куски горячего мяса.

За Смаилом вошла женщина, внесшая такую же дымящуюся фанеру для второго кружка.

— О! И Елисей к нам препожаловал,— сказала она певуче.

— Софья? Какими судьбами?

— А чем я тебя плоше?

— Вот уж, ей-богу, не ожидал... Кого, кого, а уж тебя...

— Рече ба́ить. Садися, а не то... Я твоего шашлыка беречи не стану, а тут — вишь как: все съедят.

— Ну, ступай, Сошка, ступай,— проворчал Воронов.— Чего на студента уставилась?

— Да ить шабренок вроде.

Елисей с наслаждением слушал ее ярославский, не испорченный Крымом говорок. Она начинала фразу скороговоркой, а кончала затяжно и чуть-чуть вопросительно. Уходить Софья не хотела: крестом сложив руки, она глядела на Елисея синим своим сиянием.

— Ну, пошла, пошла! — мягко прикрикнул на нее Воронов, как на кошку.

Софью бросило в жар, и, укоризненно взглянув на Воронова, женщина вышла из сарая.

Воронов присел ко второй фанере и позвал Елисея.

— Ложка есть?

— Всегда со мной.

Партизаны рассмеялись.

— Неужели всегда?

— Даже во сне,— сказал Леська.— А вдруг каша приснится!

— Так чего ж ты не ешь?

— Не могу. Бродят по здешним местам два ручных оленя — личные мои знакомые, Стасик и Славик. Боюсь, что это один из них.

— А ты не бойся,— сказал парень в тельняшке, уписывая за обе щеки.— Бояться партизану не положено.

— Сошка! — позвал Воронов.

— Ну, я,— отозвалось из-за двери.

— Неси студенту чего-нибудь другого. Он у нас вроде Лев Толстой: мяса не ест.

— Друзей не ем,— поправил Елисей.

Софья прислала с татарином кусок слоистого сыра «качковал» и гроздь розоватого винограда.

Когда обе фанеры опустели, партизаны взялись за курево. Леська отвалился к наре и запел:

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня,
Моего коня.

Гармонист Нечипоренко схватил баян и тут же включился в песню, хотя никогда ее не слышал:

Не морозь коня,
Белогривого...

И вдруг за дверью зазвучал сильный женский голос:

У меня жена,
Эх, ревнивая...

Дверь распахнулась, и в проеме показалась Софья. Платка на ней уже не было, а были две косы, уложенные венком.

У меня жена —
Раскрасавица,—

пел Елисей.

Ждет меня домой,
Разгорается,—

пела Софья.

Песня увлекла партизан. Они восхищенно глядели на эту пару.

— Браво!

— Бис!

— Повторить!

Нечипоренко тронул лады, и Елисей снова запел:

Ой, мороз, мороз...

Но теперь уже подхватили все. Все, кроме Воронова. Он мучительно слушал песню и тут же вышел из сарая, как только она отзвенела. Леська пошел за ним.

— Вы что это, товарищ Воронов? Что с вами?

— Душно там.

— Разве? А по-моему, хорошо: пахнет сосной не хуже, чем здесь.

Воронов молча направился к пещере. Елисей за ним.

— Откуда Сошку знаешь?

— Работали вместе у немца Визау. А что?

— Слушай, студент. Я понимаю, как это бывает, когда вместе работаешь в поле. Но теперь ты про Сошку забудь: моя она теперь. Понятно? А я делиться не стану.

— Успокойтесь. Я на нее не претендую.

— Ты-то, может, и не, а она, понимаешь, да! Видел, как причесалась? При нас всегда ходила степкой-растрепкой. «Зачем, говорю, так ходишь, нечесаная?» — «А я, говорит, чесмышок утеряла». Чесмышок — это у них гребешок.

Весь вечер Воронов молчал. На заре, когда оба еще покоились на своих лежанках, пришла Софья, постучала в стекло.

— Зачем пришла? — сурово крикнул Воронов.

— Впусти сперва, не то медведь задерет.

Воронов встал и как был, в подштанниках, подошел к двери и отодвинул засов.

— Ну?

— Термоса сменити надобно.

— Врешь! Термоса носит Нечипоренко.

— А у него нога распухши.

— Врешь, врешь!

Леська наскоро оделся под одеялом и вышел на полянку, оставив их наедине. Уже заметно светало. Моря не было — вместо него стоял дым, как на поле брани после артиллерийского обстрела.

Сначала из пещеры доносился тихий, но возбужденный разговор. Потом послышался горячий рык Воронова:

— Но почему же ты не хочешь быть мое-ю?

— А вот и не хочу!

— Студента хочешь?

— Тебя не спрошуся.

И вдруг прозвучала веская пощечина.

Софья выбежала из пещеры и, взглянув сквозь слезы на Елисея, понеслась вниз. Леська не помня себя кинулся в пещеру.

— Как вам не стыдно? Как вы смели? Это отвратительно! Бить женщину, которая не хочет быть вашей.

— До тебя небось хотела.

Леська осекся.

— Ты вот что, студент: завтра поедешь опять к Сарычу и заберешь новый гурт. Голов пятьдесят — больше пе потребуется. А когда пригонишь, тебя проводят к Черноусову. Там решат, как с тобой быть,— сказал Воронов.— Мне ты здесь не нужен. Еще на дуэль меня вызовешь.

Леська сбежал к сараю. Из него вышла Софья с рюкзаком за плечами и с дрючком в руке. Партизаны высыпали гурьбой и остановились у двери.

— Ушла я,— сказала Софья, увидев Леську.— Нешто можно после этого? Я ему не баба... У меня ить тоже гордость... Партизанка!

— Куда же ты идешь?

— К Черноусову. Приходи туда, родимый! Тебе тоже опосля меня с Вороном не жити.

Она помахала рукой сначала Елисею, потом партизанам и стала спускаться по тропинке.

— Обидел ее начальник,— тихо сказал Нечипоренко.— А какая хорошая была. Своя в доску и всегда с приветом.

— А бить партизана не дозволено, хотя бы он и женщина,— проворчал парень в тельняшке.— Это ежели так пойдет, мы все разбегимся.

— И при чому тут мы уси? — отозвался боец в синем башлыке, по-видимому кубанский казак.— Чоловик с жинкой посварылись, а мы тут неповинные.

Довод показался убедительным. Разговор оборвался, партизаны вернулись в сарай. Это был как бы комендантский взвод при Воронове, и бойцы робели пред командиром даже за глаза.

День прошел нудно. Елисей до такой степени возненавидел Воронова, что не мог дождаться утра.

— Не дуйся, студент! — протянул при встрече Воронов.— Жизнь вещь не простая. Идеи новые, быт новый, а душонка старая, прежняя.

Леська молчал.

— Как я мог ударить Сошку, а? Такого человека, а? А вот же ударил.

— Не обращайтесь ко мне! — грубо отрезал Елисей.— Хам! Начальника вы бы не посмели ударить? Вот то-то!

Воронов тяжело вздохнул.

— Ну ладно. Садись ужинать.

— Не буду я ужинать.

На заре к Елисею пришел Нечипоренко с винтовкой на ремне, за ним стояло еще трое вооруженных.

— Мы за барашком. Вы готовы?

— Готов. Готов.

Елисей вышел из пещеры и начал спускаться вниз. Шли они не тропами, а сквозь чащу: Смаил прекрасно знал все переходы.

На лужайке, у самого шоссе, ждала тройка гнедых. Нечипоренко прилег у пулемета, два бойца разместились по обе его стороны. Смаил взобрался на козлы и уселся рядом с Елисеем. Татарин свистнул — тройку понесло.

Пока ехали, ни о чем не говорили. Елисей видел пред собой глаза Софьи, взгляд ее сквозь слезы и страшно страдал от бессилия. Будь на месте Воронова офицер, Леська знал бы, что делать, но избить начальника краснопартизанского отряда, который ведет борьбу с белогвардейцами, он не мог. Идеология не позволяла.

По дороге встречались татары на дрогах. Завидя тачанку, они еще издали снимали шапку. Так же вели себя и одиночные пешеходы. Один из них бросил Бредихину на колени грузную кисть винограда. Леська вздрогнул: ему показалось — граната.

Тачанка неслась. Белогвардейцев нигде не было: шоссе считалось партизанским и называлось «Дорогой смерти».

У одного из поворотов вышли два оленя и спокойно стали разглядывать коней. Слава богу, живы. Один из бойцов рванул было винтовку, но Елисей пригрозил ему пальцем.

— Это ручные.

Тачанка исчезла в пыли, а Стасик и Славик продолжали глядеть на дымную дорогу.

Вон показалась экономия Сарыча, Елисей велел остановиться.

— Ждите меня здесь — я пойду один. Тут возможна засада. Не думаю, чтобы Умер-бей не принял никаких мер: мы ведь угнали так мало овец — для каждого ясно, что партизаны придут за новыми.

Елисей знал, что у избушки сидит на цепи собака, поэтому старался так обойти забор, чтобы ветер дул на него. Пришлось идти довольно долго. Наконец он выбрал подходящее место, перелез через ракушечную стену и тихонечко начал ползти к избушке. Овчарка была спущена, но спала и прозевала Леську, а когда заметила, то прежде всего учуяла сахарную кость, которую Леська выставил

вперед. Пес успел только разок брехнуть, но кость была уже у него, и зверь занялся делом.

В окно выглянул сторож.

— Чего тебе?

Сторож, конечно, Леську не узнал, но по тому, как отшатнулся, было ясно, что он все понял.

Леська вскочил на подоконник.

— От Умер-бея,— тихо сказал Леська.

— За овцами?

— Ага.

— Умер-бей перегнал их на другое место.

— Правду говоришь?

— Накажи меня бог!

Леська задумался и вдруг обернулся: за ним стоял Алим-бей с пистолетом.

— Ну, я же с самого начала знал, мерзавец, что ты большевик. Никодим! Обыщи его.

Никодим вышел из хаты и опытным жестом обшарил грудь и карманы Елисея.

— Ничего у него нет.

— Ты арестован, Бредихин.

К Алим-бею подошли четыре солдата с винтовками.

— Отведите его в дом.

14

Сарыч жил на европейский лад: столовая, через которую провели Елисея, чернела мореным дубом. Огромный буфет, похожий на католический орган; стол, смахивающий на рояль; могучие стулья с высокими резными спинками, напоминающие театральные троны. Впрочем, зеленый плюшевый диван из другого реквизита нарушал стиль этой комнаты так же, как и Умер-бей в неизменном своем халате и тюбетейке.

Увидев Леську, он сказал что-то по-татарски. Алим-бей перевел:

— Бабай удивляется, какой ты неблагодарный. Он тебя поил и кормил, а ты привел к нему партизан.

— Передайте бабаю, что я сделал это не для себя. Партизанам тоже надо есть. А они не грабили — хотели уплатить, сколько полагается. В Коране сказано: «Голодный во всем прав».

Цитату из Корана Леська тут же придумал, а Умер-

бей не знал этой книги наизусть. Когда Елисея уводили, старец задумчиво глядел ему вслед, покачивая головой.

Леську втолкнули в какую-то кладовую. У двери поставили часового. Вскоре Леська услышал жаркую перестрелку — то ли партизаны пытались его спасти, то ли солдаты Алим-бея напали на тачанку. Потом все затихло. Остались шаги часового.

Через час в кладовой стало невыносимо душно. Елисей принялся стучать в дверь.

— Чего тебе?

— Я задыхаюсь.

— Ничего. Не подохнешь.

Прошел еще час, Леська разделся до пояса, но легче не стало.

На четвертом часу он потерял сознание.

Очнулся в столовой на диване. У ног сидел часовой с винтовкой, за столом пили чай Умер-бей, Алим-бей и Розия.

— Если бы не я, ты бы уже умер в этой своей кладовке,— сказала Розия.

— Спасибо. Но если уж ты так добра, развяжи мне руки.

— Ни в коем случае! — закричал Алим-бей.— Он убежит!

— Ты убежишь? — спросила Розия Леську очень серьезно.

— Нет.

— Вот видишь?

— Ты веришь в его благородство?

— Да. Верю! — заявила Розия.— Леська всегда был очень нравственным мальчиком. Единственно, что влюбился в Гульнару, а кто в нее не влюблялся? В любви никто не виноват.

Она решительно подошла к Елисею и распутала его узлы.

— Садись. Будешь чай пить?

— Сестра! Не сходи с ума!

— Не твое дело. Это мой друг детства.

Леська удивился, но сел за стол и получил от Розии чашку чая с лимоном. Оказывается, при всем своем высокомерии, при всей строптивости, Розия очень добрая девушка. Когда Леська взял чашку, его разбухшие пальцы не удержали ее, чашка опрокинулась на скатерть.

— Ничего, ничего,— заговорила Розия скороговоркой, подбежала к Леське и стала растирать его руки.

— Ну уж это просто безобразие! — заорал Алим-бей.— Ты бы уж просто расцеловала его.

Розия сильно покраснела, нахмурилась и, стараясь не смотреть на Леську, продолжала свою работу.

Алим-бей плюнул и выбежал из комнаты.

— Розия,— тихо сказал Елисей.— Ты помнишь «Кавказский пленник»?

— Помню.

— Ты могла бы поступить, как эта черкешенка?

Розия отшатнулась и стала глядеть на него испуганными глазами.

— Понимаю,— грустно сказал Елисей.— Одно дело чашка чаю, а другое...

Елисей встал, пошел к дивану, опустился на него, прижавшись к валику, и тихонько запел, но так глубинно, что вся грудь его гудела колоколом:

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноокую девицу,
Черногривого коня.

Сначала это пение после всего, что произошло, показалось совершенно диким. Уж не сошел ли с ума этот паренек?

Но песня звучала.

— Петь не дозволяется! — сказал часовой.

— Молчи. Я тебя! — прикрикнула на него Розия и беззвучно заплакала, отвернув от Леськи лицо. Потом встала, вытащила из буфетного ящика карандаш, бумагу и быстрым, аккуратным почерком написала:

«Леся! Я всегда тебя любила, с самого детства, а если ненавидела тебя, то за то, что ревновала тебя к Гульнаре. Но я ничего, ни-че-го не могу для тебя сделать».

Эту бумажку она подала Елисею.

— Таких вещей делать не дозволяется! — сказал часовой.

— Не твое дело! У себя в тюрьме можешь заводить какие угодно порядки, а здесь хозяйка я!

— Почему вы? Это имение Сарыча.

— Мы его купили.

Елисей, прочитав записку, вернул Розии. Она порвала ее на мелкие кусочки и бросила в полоскательницу.

— Теперь мне будет легче умирать,— сказал Елисей, слабо улыбаясь.

— Почему?

— Меня много лет угнетала твоя ненависть. Я не мог понять причины.

— Что же это тебе дает?

— Одним хорошим человеком больше. Ты не герой. Ну что ж. А все-таки. Твою чашку чаю буду вспоминать и на виселице.

Розия выбежала из комнаты.

К вечеру Леську отправили в пустую кошару, задвинули засов и поставили часовым татарина: русским Алимбей не доверял. Пошел дождь. Татарин спрятался под стреху. Вдруг послышались шаги.

— Кто идет?

— Это ты, Ягья? — спросил по-татарски старушечий голос.

— Ну, я. А ты кто?

Две женщины подошли к нему вплотную: старуха Деляр и Розия. В руках у них тарелки с чебуреками.

— Мы принесли ужин. Тебе и арестованному.

— Арестованному нельзя.

— Но ведь ему тоже надо поесть,— сказала Розия.

— Не имею права. Уходите.

— Слушай, Ягья,— сказала старуха материнским тоном.— Не будь злодеем. Допусти покормить человека.

— Уходите, а то дам выстрел в воздух, и все солдаты сбегутся.

— Ах, так? Ну, тогда вот что, Деляр: не дадим ему чебуреков.

— Ай-яй-яй! — сокрушалась Деляр, уходя вместе с Розией.— Ай-яй-яй...

Женщины ушли. Ягья опять забился под стреху, как дикий голубь, и думал о том, как вкусно пахли чебуреки. Вскоре, однако, снова послышались шаги.

— Кто идет?

— Деляр.

Старуха подошла к часовому.

— Розия рассердилась, а мне тебя жалко. На! Кушай!

Деляр отбросила салфетку и протянула Ягье тарелочку с чебуреками.

— Только ешь скорее, а то меня хватятся.

Часовой сгреб одной лапой все чебуреки с тарелки и прошамкал, набивая рот:

— А ты уходи. Здесь находиться никому не разрешается.

Деляр удалялась так медленно, что долго слышала смачное чавканье часового.

— Ну? — спросила Розия.

— Сожрал.

— Слава богу. А он не умрет?

— Не думаю.

Розия взяла книжку, прилегла на диван и принялась читать, то и дело взглядывая на стенные часы. Когда пробило двенадцать, Розия накинула на плечи пальто и, выйдя во двор, направилась к часовому. Часовой лежал у порога в полном одурении и тяжело посвистывал в обе ноздри.

Розия перешагнула через его тело, отодвинула засов и тихо позвала:

— Леся?

Елисей вышел из кошары.

— Уходи отсюда! Скорей! — зашептала Розия.

— Спасибо, Розия! Как я тебе благодарен!

Розия заплакала.

— Прощай, Леся.

— Спасибо.

Розия обхватила его шею и поцеловала в щеку. Леське представилось, что это Гульнара, и он жарко расцеловал все ее лицо.

— А теперь беги! — шептала Розия, вздрагивая.

— Постой... А как же быть с часовым?

— А что?

— Ведь его расстреляют за то, что он заснул на посту.

Розия молчала.

— Мы сделаем вот что,— сказал Елисей.

Он подхватил часового под мышки и поволок в кошару,

— Он может проснуться...— зашептала Розия.— И потом, у тебя нет времени...

Часовой не проснулся: он что-то прорычал во сне, но Леська уже задвигал засов снаружи.

— Пусть подумают, будто я его оглушил, и ломают себе голову, как это могло произойти.

— Пойдем, я провожу тебя до станции. Только быстренько!

— А зачем тебе это? Я и сам дойду.

— Нет. Могут быть неожиданности, а меня тут все знают. И никто тебя не заподозрит.

Они пошли к огням станции Альма. Розия взяла его за руку и привела в темноте к маленькой калитке. Потом они перешли через рельсы и вступили на перрон.

— Ты куда поедешь?

— Не знаю. Все-таки в Симферополь. Больше некуда.

— Посиди на скамейке, я куплю тебе билет.

«Во всякой беде бывает маленькая, но удача,— думал Леська.— Все получилось, как в песне: черноокая девица и черногривый конь».

Действительно: Розия вышла на перрон в тот самый момент, когда на станцию Севастополь ворвался локомотив, окутанный черным дымом.

«До чего ж хороша жизнь!» — снова подумал Елисей и пошел Розии навстречу.

Арестовали его в вагоне.

Симферопольская тюрьма гораздо обширнее Севастопольской. Но Леське от этого не легче, потому что камера, в которую его ввели, так же битком набита, как и в Севастополе, то же лежбище моржей на цементной льдине.

Когда попадаешь в тюрьму впервые, кажется, будто от тебя откололся весь мир. Но во второй раз уже многое знаешь и нет самого страшного: неожиданности.

Елисей остановился у косяка и спокойно стал разглядывать камеру. Нар у нее не было, зато на отсыревшей стене зеленело огромное пятно плесени, придававшее камере живописный вид. Потом Елисей перевел глаза на публику.

— Чего уставился, парень? — окликнул его близлежащий босяк, желтый и жилистый.

— Знакомых ищу.

И вдруг раздался голос:

— Леся Бредихин!

Елисей повернул голову к углу, откуда донесся зов.

— Аким Васильевич?

— Я, я! Подите к нам.

Леська, высоко поднимая ноги, шагал через тела, как журавль. Беспрозванный вскочил и, прижав Леську к груди, захлюпал:

— Извините... Проклятые нервы... Извините... Я сейчас... Знакомьтесь, Елисей.

— Здравствуйте, земляк! А кстати, это к вам я как-то пристал на Дворянской?

— Ко мне, дорогой, ко мне.

— Здорово вы меня тогда отшили.

— Еще бы! Вы могли меня погубить.

Аким Васильевич смотрел на Леську глазами, полными восторга.

— Как приятно, что вы здесь.

— Спасибо! Глубоко тронут.

— Да, да...— продолжал Беспрозванный, не уловив иронии в словах Бредихина.— Когда вы со мной, у меня всегда как-то светлее на душе.

Леська сбросил бушлат, лег на него боком и стал оглядывать соседей.

— За что тебя взяли? — спросил Елисея босяк.

— А тебя за что?

— Я украл на базаре свинью.

— А-а... У меня хуже: я, кажется, убил свинью, которая прикидывалась гусем.

— Что-то непонятно говоришь. «Гусь свинье не товарищ»,— это я слышал, а в чем у тебя мораль?

— Красные разберутся.

— Ну, как стихи, Аким Васильевич? — обратился Елисей к Беспрозванному.— Идут?

— Одно написалось. Вернее, приснилось. Хотите послушать?

Леське этого не очень хотелось, но Беспрозванный и не ждал ответа. Как всегда, закинув голову, он прочитал сомнамбулическим голосом:

Сижу в тюрьме. Не раскрыли явку.
Явку не раскрыли, хоть я в тюрьме...
На стене пятно, похожее на Африку...
У меня ж одно на уме...

Думы мои сегодня узкие.
Все об одном. Все об одном.
Хнычут и плачут во сне узники,
Такие мужественные днем.

Мужество... Да... Не сразу найдешь его.
Сумей усмехнуться, идя на дно.
Мужество узников стоит недешево:
Жизни стоит оно.

Стонет блатак, здоровенный, жилистый,
Руки за голову заложив,
А пятно на стене все растет и ширится...
Как четко очерчен Гвинейский залив!

И я, засыпая, вижу себя
Под милыми пальмами Африки,
Где пляшут, строй барабанный беся,
Кафры, кафрицы, кафрики.

Но, где б ни ступил, за мной по пятам
Родины голос лирический...
И вылезает гиппопотам
Из марки моей гимназической.

Проснусь. Тюремное утро горит
Во всей своей тяготине.
Но горькая радость во мне говорит,
Что все-таки я на родине.

— Прекрасно! — похвалил Васильича профессор.— Однако тюремная жизнь явно сказалась на вашем стиле: язык определенно изменился: «блатак», «тяготина» — это все не ваши слова. «Думы мои сегодня узкие». Прежде вы сказали бы «сегодня узки».

— Что же это, плохо или хорошо?

— Не знаю. Надо подумать.

— А зачем врать? — спросил босявила.

— Как это — врать? О чем вы?

— А вот это стихотворение. Вранье — спасу нет!

— А в чем вы его видите, вранье-то?

— Дайте нам сейчас Африку, и мы все, сколько нас тут есть, за счастье будем считать. А этот фраер: «Ах, ах, родина!» Хороша родина, которая сажает тебя в решето!

— Вы этого не понимаете! — заволновался Беспрозванный.— Дмитрий Карамазов у Достоевского приговорен был к каторге, ему давали возможность бежать в Америку, но он, как русский, с негодованием отверг такую перспективу.

— Ну и дурак был, хоть и русский.

Вокруг захохотали.

— Вот повезут тебя под Семь Колодезей,— прервал его босяк,— распахнут твою теплушку к чертовой матери да пройдутся по тебе пулеметной очередью, вспомнишь тогда Африку. Нет, господин писатель. Ты нам сочини такие стишки, где правда глаза бы ела, как дым. А это что? Дешевка.

Три арестанта внесли банные шайки жидкой каши, смахивающей на суп. Люди встрепенулись, застучали ложки.

Ночью Леська слышал свистки паровозов: тюрьма находилась невдалеке от вокзала, и в нее врывалась вся гамма железнодорожных шумов. Это было необычайно тягостно: каждый свисток, каждый вдох и выдох локомотива, шуршание колес и перестук их на стыках рельсов напоминали о свободе, о просторе, о далеких краях, где растут золотистые дыни, где рассыпаются соловьи.

Леська подумал, что блатак прав: как он хотел бы сейчас очутиться на черном материке! Во-первых, там тепло... Женился бы на негритянке... Они прекрасно сложены, но слишком толстогубы. А он выбрал бы себе такую, которая хоть немного похожа на русскую. В любом

народе можно найти таких, которые напоминают людей другой расы, нации, племени. Леська нашел бы такую и стал бы работать у ее отца, как этого хотела Васена. Хорошо, если б они жили у моря. Гвинейский залив... Там в прибрежных водах раковины огромные, как суповые вазы. Съешь одну такую — вот и обед. Правда, водятся там и акулы. Ну и что же? Он всегда будет брать с собой нож, когда станет выходить на байдарке в море... А с акулой справиться не так уж трудно. Надо только следить, чтобы она не оказалась за спиной. Дед рассказывал, что акула рыба трусливая: никогда не пойдет на тебя в лоб, всегда норовит с тыла. А впрочем, на кой черт ему акула? Разве мало в Гвинейском заливе всякой другой рыбки? Какой? Леська не помнил. Как жаль, что он слабо изучал в гимназии Африку, хотя и имел пятерки. Сейчас бы это пригодилось...

В тюрьме дорожат снами. Какие бы вы ни видели сны, даже самые гадкие, все же дело происходит в них на свободе.

...Самое горькое в тюрьме — пробуждение. Арестанты побежали к рукомойникам.

— Напоминаю! — воскликнул профессор Новиков, который был старостой седьмой камеры.— Вам дано всего пять минут, и я отвечаю за эту цифру.

Рядом с Леськой плескался какой-то юноша. Увидев Елисея, он отрывисто спросил:

— Бредихин?

— Бредихин. А что?

— Я присутствовал при вашей стычке с профессором политэкономии.

— Вы студент?

— Да.

— Как ваша фамилия?

— Сосновский.

— А, Сосновский. Тот самый, которого взяли за альбомные стихи?

— Ну, не совсем-то альбомные. Я по-ребячески играл в слова. Вырезал из длинных слов названия наций. Например, индус, негр, перс.

— Что же тут криминального?

— При обыске нашли у меня экзерсисы: «Индустрия», «негр-амотность», «перс-пектива».

— Занятно. Ну?

— Ну и пришили мне дело. Оказывается, я хотел сказать, что при нашей общей неграмотности планы капи-

тализма индустриировать Россию на европейский лад открывают грустную перспективу.

— Ерунда какая!

— Едунда-то ерунда, однако вот сижу.

— Эпоха сошла с ума! — изрек Беспрозванный.

— Не сваливайте на эпоху то, что имеет имя, отчество и фамилию! — вмешался Новиков.— Купание закончено! Джентльмены, прошу вернуться в камеру.

— А как насчет прогулок? — спросил Леська.

— Прогулки отменены,— ответил Новиков.— Когда я вспоминаю картину Ван-Гога, изображающую круг арестантов на прогулке в тюремном дворике, меня гложет желтая зависть.

— И трудовой повинности нет?

— Нет. В Крыму теперь не существует тюрем — есть пересыльный пункт из города Симферополя в «штаб Духонина» [1].

Арестанты позавтракали жидким чаем с белым хлебом,— ржаного в Крыму не сеют,— и опять улеглись на полу, погибая от безделья.

В десять арестантов погнали в ретирады, после чего все снова улеглись в камере на ночевку. Сосновский примостился подле Бредихина. С вокзала доносились свистки и пыхтение паровозов.

— Вы знаете, Бредихин, как можно изобразить поезд одними грузинскими фамилиями? — улыбаясь спросил Сосновский. И тут же изобразил:

«Шшшапшиашвили. Шшшаншиашвили, Шшаншиашвили, Шшшаншиашвили.

Цицишвили, Цуцунава, Цуцунава, Цицишвили,

Читашвили, Чиковани, Чанчибадзе, Чавчавадзе,

Тактакишвили, Тактакишвили, Тактакишвили, Тактакишвили.

Эу?-у-у-ли...»

Вокруг засмеялись.

— Смеетесь? — сказал Новиков.— А вы прислушайтесь к характеру этих шумов с вокзала! Обратите внимание: сегодня поездов гораздо больше, чем вчера, и движутся они с севера на юг, то есть с Перекопа на Севастополь. Разве не ясно, что идет спешная эвакуация?

Вся камера, как по команде, подняла головы и при-

---

[1] «Штаб Духонина» — расстрел.

слушалась: железнодорожный гомон переходил из одной волны в другую, почти не утихая.

— Великий драп,— сказал Новиков.

— Верно!

— А если верно, то нас начнут расстреливать.

— Ну? Это зачем же?

— А что с нами делать? В чемоданы и за границу?

Арестанты закопошились, некоторые вскочили, да так и остались стоять, ошеломленные словами старосты.

Вскоре отворилась дверь, и чей-то могучий бас выкрикнул:

— Все номера с первого до пятидесятого — в отъезд!

В камере гробовая тишина. И вдруг раздался взволнованный голос Новикова:

— Они никуда не поедут!

— Это кто говорит?

— Член подпольного ревкома.

— Член ревкома и все номера от первого до пятидесятого — в отъезд!

— В отъезд? Значит, на расстрел? — сказал Новиков.— Не выйдем.

— Не выйдем! — истошно закричал Беспрозванный.

— Убирайтесь вон!

— Вон!

— Во-о-н!

Дверь захлопнулась.

— Что же теперь будет?

— Не выйдем, и все. Здесь расстреливать не станут.

— А ты почем знаешь? А ежели прикатят пулемет?

— Сквозь двери пулемет нас, лежачих, не тронет, а если в открытую, то мы же его затопчем: нас двести человек.

— Пулеметов не прикатят, а без харчей оставят — это уж так.

— Чихать нам на харчи! — сказал босяк.

— Он прав! — поддержал Новиков.

— Без воды человек может обойтись восемь суток, без пищи — около сорока. А за это время красные обязательно подойдут.

Всю ночь камера не спала. Курили, вздыхали, стонали, охали. Поезда всю ночь свистели, лязгали, дышали, звенели, убегая с севера на юг.

В шесть утра будить было некого: никто не ложился. Умываться не вышли, только выпустили босяка и Сосновского выливать параши.

Ни завтрака, ни обеда, ни ужина в этот день не приносили. К ночи снова открылась дверь, и опять тот же бас тюремщика:

— Номера с первого до пятидесятого — в отъезд! Шагом марш!

Арестанты молчали. Тогда заговорил Новиков:

— Слушайте, гражданин тюремщик! У вас, наверное, жена и дети. Пожалейте их. Придут красные, выпустят нас на свободу, а уж мы вас разыщем даже на дне морском. Тогда не взыщите.

— Господа! — обратился к арестантам чуть дрогнувший бас.— Я человек маленький. Исполняю свой долг.

— Какой долг? Людей расстреливать?

— Вон отсюда! — загремела камера.

— Вон!

— Во-о-он!

На крики седьмой камеры отозвались другие во всех этажах. Все две тысячи узников ревели, орали, рыдали, вопили, сорвавшись в стихию страшной острожной истерики:

— Во-о-он!

Утром часовой повернул ключ в замке, отодвинул засов и, крикнув: «Мое фамилие Васюков!» —побежал, продолжая кричать: «Васюков!», «Я Васюков!» Староста переглянулся с товарищами и осторожно направился к двери. За ним чуть ли не на цыпочках двинулась вся масса арестантов.

— А чего мы, собственно говоря, трусим? — спросил Леська.

— Не струсишь тут,— отозвался Платонов.— Только выглянешь, а там, может, пулемет стоит. А?

— Проверим! — сказал Леська и кинулся к двери.

Но староста сам приоткрыл дверь и выглянул в коридор: пусто. На полу валялась винтовка. Новиков схватил ее и крикнул:

— За мной!

Камера, как боевая рота в наступлении, хотя и вооруженная одной-единственной винтовкой, ринулась за часовым. Он бежал через внутренний двор к воротам, ведущим в кордегардию. Ему дали добежать до калитки, а когда она пред ним открылась, арестанты устремились к ней. Калитка не заперта...

— Как быть с тюремщиками? — спросил Платонов.

Тюремщики смотрели на бунтовщиков белыми глазами.

— Товарищи! — закричал Леська.— Пошли освобождать женский корпус.

Он вбежал в первый этаж. За ним другие.

— Ключи! — крикнул он надзирателю.

— Пускай сам отпирает! — раздались голоса арестантов.

— Сам, собака!

Надзиратель, ничего не соображая, помчался куда глаза глядят. Елисей — за ним. Догнал. Подставил ножку. Дрожащими руками обшарил его. Нашел ключи.

Женщины выбежали к мужчинам, обнимали их, незнакомых, целовали, плакали. К Леське на грудь кинулась Нюся.

— Милая...— нежно сказал Леська, расцеловал ее и, подхватив под руку, вывел из тюрьмы на улицу.

— Приходи в приют! — крикнула Лермонтова и побежала к фабрике. Леська помахал ей фуражкой и вернулся в острог.

В кордегардии уже столпилась чуть не вся тюрьма: все искали папки со своим делом и наспех жадно тут же читали письма доносчиков и показания лжесвидетелей.

— Бредихин! — окликнул Елисея Новиков.— Ваше дело у меня. Возьмите.

Он швырнул ему папку. Леська распахнул ее, но ничего особенного не вычитал, кроме протокола о его аресте по обвинению в принадлежности к партизанскому отряду «Красная каска». Поразил Леську, однако, его порядковый номер: 32736. Оказывается, сквозь тюрьму прошел целый город. Елисей вырвал из первого листа свою фотографию и бережно вложил ее в студенческий билет, на котором, между прочим, было напечатано, что, встречая членов императорской фамилии, студент обязан снимать головной убор.

— Павел Иванович, прощайте! Платонов! До свидания!

— Куда?

— Домой! В Евпаторию!

Вокзал кишел офицерьем, которое осаждало коменданта и штурмовало любой состав, прибывавший на станцию. Здесь корниловцы, дроздовцы, шкуровцы, марковцы сражались за жизнь с большей отвагой, чем на Перекопе. От былого высокомерия не осталось и следа. Ужас перед Красной Армией гнал их в Севастополь, Евпаторию, Феодосию, Керчь — всюду, где можно было устроиться хоть на самой плохонькой морской посудине.

Но бой шел на вторых и третьих железнодорожных путях, где стояли вагоны третьего класса и рыжие теп-

лушки. Первый же путь был свободен: он охранялся пластунами; и вот, не останавливаясь на станции, по этому пути пронесся поезд генерала Слащева-Крымского, состоявший из одних пульманов. Блеснув зеркальными стеклами, он показал красный фонарь и скрылся в дыму своего локомотива.

Пока офицеры, обалдев от блеска, глядели на прощальный огонек поезда, Леська увидел евпаторийский состав и начал карабкаться в теплушку, но какой-то хилый подполковник в синих очках спихнул его сапогом.

— Вы тут, студент, не примащивайтесь.

— Но я евпаториец...

— Прочь с глаз! — заорал подполковник.

Леська бросился к следующей теплушке, но там у самого входа сидели казаки, свесив ноги наружу, и спокойно лузгали семечки. Один из них тихонько играл на гармони. Леська взглянул на их лирические лица и побежал дальше. Но все уже было забито людьми, чемоданами, кофрами, саквояжами, мешками, сундучками. Наконец он добрался до локомотива. Машинист высунулся из окна и, прищурясь, глядел на дикую сутолоку перрона.

— Ребята, подвезите.

— Куда тебе?

— В Евпаторию.

— Много тут и без тебя.

— Товарищи...— тихо сказал Леська.— Я не драпающий. Я бегу из тюрьмы.

Машинист поглядел на студента зорким взглядом и так же тихо сказал:

— Влазь, но только с той стороны.

Леська обежал паровоз и остановился у чугунной лесенки. Вокруг никого не было. Кочегар, молодой парень в дырявой тельняшке и коричневой зюйдвестке, злобно на него зашипел:

— Вира! Чего замерз? Хотишь, чтоб увидели?

Леська взобрался на паровоз и присел на корточки. Вскоре к паровозу подошел комендант.

— Ефимов! — обратился он к машинисту.— Давай Евпаторию, но нигде не останавливайся: встречных не будет.

Состав тронулся с места и медленно пошел, сначала шипя, потом сипя, чавкая и поддакивая:

— Эу-у!-у!-у!-ли!

Леська тихонько засмеялся.

— Вставай, приятель, ноги затекут.

Елисей встал и протянул Ефимову руку.

— Спасибо, товарищ Ефимов.

Он принялся глядеть в окно. Ветер подхватил его давно не стриженные волосы. Мимо пронеслись знаменитые симферопольские тополя. Вскоре пошли полустанки. Отлетела в прошлое станция Княжевич. Леська не любил этой станции, которой из подхалимства дали имя таврического губернатора. А вот и Сарабуз.

Обычно маршрут Симферополь — Евпатория совершался в течение четырех часов, хотя между этими городами пролегли всего-навсего шестьдесят верст. Но поезд Ефимова должен был пройти это расстояние в полтора часа. Вот уже миновали Саки. Море задышало Леське в лицо глубоким и прерывистым своим дыханием, а главное — он едет домой! Домой из тюрьмы! Среди всей этой катастрофы он останется невредимым. Он будет жить на родине, а вся эта золотопогонная сволочь, которой так лихорадило Россию, уплывет на чужбину и поведет там жизнь подонков.

С вокзала Елисей направился в город вместе со всем белогвардейским сбродом. Невдалеке шагал подполковник в синих очках. Ничего, мы еще с тобой встретимся, вашсок-бродь! Подполковник, задыхаясь, нес два чемодана: черный с никелем и желтый из свиной кожи. По дороге открылся тюремный за́мок, ворота которого были распахнуты настежь. Ах, свобода! Как замечательно жить на свете!..

Когда дошли до Лазаревской, пришлось задержаться: подводы, экипажи, мажары, ландо, пролетки, телеги, мотоциклеты, легковые автомобили и грузовики, сшибаясь, сталкиваясь, цепляясь друг за друга колесами, мчались к двум пристаням, с которых катера перевозили на пароходы толстосумов, иереев и высокое начальство самых разных городов.

Леська добрался до пляжа у пристани Российского общества пароходства и торговли. Она была запружена публикой. Два парохода не могли принять всех. Начался бой за место на катерах. Крик, ругань, истерика. Задние напирали на передних, передние срывались в воду, плескались в ней, как крысы, или сразу тонули. Никто никого не спасал. Леська увидел подполковника с синими очками: тот ошалело глядел на толпу, сквозь которую не прорваться. Потом завизжал и кинулся с кулачками вперед, пытаясь пробить себе дорогу в жизнь, но его тут же

отшвырнули штатские, которых он уже не мог расстрелять. Тогда подполковник, сбросив шинель, прыгнул в воду: он хотел добраться вплавь до катера, но для этого нужно было прежде всего снять сапоги с подковами... Чемоданы его остались на пристани. Какой-то грек ударил по желтому сапогом и отшвырнул его в море. Какой-то цыганенок подхватил черный с никелем и спокойно унес его к себе на Цыганскую слободку.

Леська подошел к самой воде. На ней плавали камка, четырехпалые кожистые яйца морской чертовки и керенки, керенки вперемежку с донскими колокольчиками. Никто их не выуживал, не вылавливал. Рядом с Леськой очутился маленький прапорщик. Безумным взором оглядел он пристань, катер, пароходы на рейде, все понял, истошно крикнул: «Ах!» — и, рванув из кобуры револьвер, сунул его в рот, как трубку. Трубка полыхнула дымом.

Леська стоял и потрясенно глядел на всю эту картину. Он воочию видел Историю.

По дороге над самым пляжем медленно двигался вишневый автомобиль: в нем сидели Володя Шокарев и Муся Волкова. Леська помчался наперерез:

— Володя! Володя!

Автомобиль остановился.

— Елисей...

— Ты... Вы уезжаете?

— Как видишь.

— Зачем! Володя! Что тебя ждет за границей? Подумай. Ну, деньги... Опять деньги... А родина? Подумай! Такого драпа еще не бывало. На этот раз это уже навсегда.

— Негодяй! — завизжал вдруг Шокарев, и лицо его исказилось.— Ты меня замучил своими советами! Ты меня... Два года... Мерзавец! Тьфу!

Шокарев плюнул Елисею в лицо.

— Володя! — дико вскрикнула Муся.

Володя ткнул шофера в спину.

— Пошел!

Муся с отчаянием оглянулась на Елисея.

Леська вернулся к воде. Стараясь не глядеть на труп офицерика, он вымыл лицо и вытерся носовым платком.

Потом поднялся на дорогу и побрел к «Дюльберу». Он видел вишневый автомобиль, который остановился у входа на пристань, видел, как Шокарев спрыгнул на землю и помог сойти Мусе Волковой, как шофер понес их

чемоданы к пляжу против греческой церкви, как из церкви вышли рыбаки и сдвинули в море лежавшую на берегу шлюпку, как подняли на руки Володю и Мусю, усадили их на банки и повезли к пароходу.

Только сейчас Елисей почувствовал, до какой степени устал. Волоча ноги, побрел он по Дувановской, мимо театра. Навстречу мчалась пролетка, заваленная красными, зелеными, желтыми чемоданами. Леська узнал реквизит антрепренера Бельского. Да вот и он сам рядом со своей супругой.

— Леся! — закричал Семен Григорьевич на всю улицу. Пролетка остановилась.

— Прощай, Леся! Милый! Ты остаешься? Счастливый мальчик.

— Но ведь вы тоже можете быть такими же счастливыми.

— Ах, какое уж тут счастье! Мы актеры, а большевики не признают никакой эстетики. Это власть низов, разгул черни. Что они понимают в искусстве?

— Вы называете эстетикой вашего дрессированного медведя? — хрипло спросил Леська.— Это его вы хотите спасти от большевизма?

— Сеня! По-моему, он говорит нам гадости! И вообще, нам пора ехать. Прощайте, Леся.

— Некуда вам ехать. Вы увидите, что творится на пристани.

— А что там творится?

— Плавать умеете?

— Не понимаю.

— Подъедете — поймете.

— Сеня, поедем! Это совсем не тот Леся, которого мы так любили. Извозчик, погоняй!

Елисей направился дальше. Он дошел до конца улицы, оставил по левую руку шведский маяк, где когда-то гнездилась кардонная батарея, и свернул на дюльберовскую набережную.

Перед отелем стоял народ и молча глядел на балкон второго этажа. Здесь не было ни одного офицера, ни одного человека с чемоданом. Это была типичная евпаторийская толпа: жестянщики, чувячники, комиссионеры, чебуречники, цирюльники, приказчики, рыбаки. Среди них — древние старухи с Греческой улицы. Увидев их, Леська понял, что произошло что-то очень серьезное. Он тоже взглянул на знакомый балкон, но ничего не увидел.

— Зачем стоите? — спросил он какого-то старичка, по-видимому бухгалтера.

— Понимаете? Все курортники разбежались. Удрали и сами хозяева. Отель стоит совершенно пустой. Но в этом пустом отеле осталась одна-единственная больная женщина. Теперь сообразите: белые сегодня уйдут, завтра войдет передовой отряд красных. А вы знаете, что такое передовой отряд, когда он врывается в город? Они найдут женщину, одну в роскошной гостинице, и она не успеет им ничего объяснить.

Елисей отошел в сторону. Может быть, все произойдет не так, как предсказывает бухгалтер. Но, может быть, и так?

— Люди, а? — неуверенно протянула какая-то девушка.— Может быть, надо спасти эту женщину?

— Можно бы спасти,— отозвался мужской голос.— Да ведь она небось барынька, а у меня разносолов нет. Картошкой ее кормить не станешь, верно?

— Верно! — отозвался другой.— Тем более она больная. Еще и помрет у тебя, гляди!

— Вот и главное! Будь она здоровой, драпала бы сейчас за милую душу, а ты ее спасай,— сказал третий, не скрывая злобы.

Вскоре толпа стала таять. Последними ушли старые гречанки, и Елисей остался наедине с «Дюльбером».

Он думал об Алле Ярославне, которую сейчас увидит, о Шокареве, о подполковнике в синих очках, о прапорщике... Думал о революции. Он любил эту грозную стихию, как что-то живое, очень личное при всей ее эпохальности. Он выстрадал ее. Она была его жизнью и несла ему такие надежды, какими Россия никогда не обладала. Россия... Россия, объятая революцией... Было ли на свете более возвышенное время?!

В это время я жил.

Переделкино
1964

ПРИМЕЧАНИЯ

«О, юность моя!» — Роман был закончен И. Сельвинским в 1964 г. и через два года впервые в сокращенном варианте опубликован в журнале «Октябрь», №№ 6, 7. Отдельным изданием — в более полном виде — выпущен издательством «Советский писатель» в 1967 г.

«О, юность моя!» — произведение во многом автобиографическое. В деталях биографии главного героя, в его житейских испытаниях и трудностях, страстях и раздумьях — немало общего с жизненной судьбой Сельвинского, рассказанной самим поэтом[1].

Но главный герой романа и его автор отнюдь не двойники. При всей внутренней родственности Леськи Бредихина гимназисту Сельвинскому их разделяет весьма важная черта. Из биографии Леськи автор убрал все, что связано со становлением его самого как поэта. Встречающиеся в романе стихи принадлежат вымышленному персонажу, непризнанному стихотворцу Акиму Беспрозванному.

Такое намеренное отстранение автобиографизма в сфере поэтической, видимо, можно объяснить тем, что замысел романа был сперва во многом иным. Вынашивался он Сельвинским несколько десятилетий. По словам самого поэта, он мечтал создать большое полотно о событиях своей юности, рассказать о людях, которые оказали на него в ту пору определенное влияние, о ярком юношеском чувстве, оставившем глубокий след в его жизни.

Главным героем этого произведения должен был быть поэт. Сельвинский собирался показать окружавшую его литературную среду тех лет со всем разнообразием характеров и мировоззрений. План задуманного произведения был широким, с многоорбитным пересечением человеческих судеб.

К 1936 г. у поэта сложился замысел романа и определилось его название — «Семья Медведевых». Тогда же был написан и его конспект.

Обстоятельства, однако, сложились так, что работа над эпопеей «Челюскиниана» отодвинула в сторону роман. А начиная с 1937 г. Сельвинский обращается к темам совершенно иного плана — к материалам и коллизиям русской истории и пишет траге-

---

[1] См. сб. «Советские писатели». Автобиографии в двух томах, т. 2, Гослитиздат, 1959.

дию «Рыцарь Иоанн». В те же годы у него созревает замысел исторической трилогии. К 1940 г. вчерне написана ее первая часть — «Ливонская война».

Великая Отечественная война надолго перечеркнула все давние планы поэта. К мысли о романе Сельвинский вернулся лишь после своего шестидесятилетия и, увы, после второго инфаркта. В начале 70-х годов, параллельно с созданием новых лирических стихов и завершением работы над ранее начатыми поэтическими драмами и трагедиями, Сельвинский вплотную приступил к роману, который теперь он назовет «О, юность моя!».

В окончательной его редакции одни намечавшиеся ранее герои и сюжетные линии отсутствуют, иные появляются как бы мимоходом, в то время как в первоначальном плане они должны были занять важное место в изображении начальных ступеней жизни героя, в формировании его эстетических принципов, взглядов на отношение искусства к действительности.

Автор выровнял некоторые острые повороты и конфликты первоначального замысла «Семьи Медведевых» и, в частности, отказался от подробно разработанного прежде, психологически проникновенного развенчания декадентства в предреволюционной поэзии.

Зато, путешествуя в юность, поэт как бы аккумулировал убывающие силы и то, что оставил в плане, писал легко, радостно, вдохновенно, о чем свидетельствуют и письма тех дней к автору этих примечаний.

Главной сюжетной и идейно-нравственной основой романа стало неодолимое движение революции. В нем проверяются на стойкость, мужество и преданность родине симпатии и антипатии юного поколения, надежды, романтические устремления и лирические порывы героев.

За хроникой пережитого в романе дан широкий простор раздумьям о времени, настроениям и описаниям неуемной влюбчивости его главного героя Леськи Бредихина.

Одна из особенностей романа в том, что сквозь молниеносные перемены умонастроений и чувств героев показано, сколь спрессованно для них было время в ту начальную пору революции, когда стремительно (иногда за одну ночь) менялась власть в маленьком курортном городе, а с нею положение и судьбы людей.

Бредихина, едущего с рабочим отрядом защищать от немцев Перекоп, наполняет чувство сопричастности к дыханию эпохи:

«Это было время, когда народ все воспринимал впервые, как воспринимают юность. Несмотря на бои, на драную одежонку, на худые обмотки, бойцы чувствовали себя счастливыми. Жили с самого детства утлым бытом — кругом нехватка, будущего нет, если

рабочий — сопьешься, если мужик — пуп сорвешь. И вдруг такая о них забота: вводят в понятие, заставляют думать обо всем земном шаре, а потом еще и концерт. Когда это они жили такой жизнью?» (стр. 122).

Лиризм изобразительной структуры и тональности романа — ключ к его идейно-психологическому и философскому пониманию. Отзывчивость к окружающей красоте природы, власть поэтической наблюдательности для Бредихина и его друзей — символ той могучей доброй силы, которая питает живительными соками их революционно-гуманистические умонастроения, которая поможет им выбрать свое место в революции на стороне народа.

Вместе с тем автор показывает, как обволакивающая сила идиллического любования красотой способна порою смести и затушевать остроту восприятия социальных коллизий и антагонистичность классовых противоречий. И только идейно-нравственное столкновение противоборствующих социальных сил, неизбежно происходящее в действительности, разрушает миф о всеобщности и всевластии искусства для искусства, разбрасывает людей по разным сторонам баррикад.

При всех вольных и невольных смещениях пережитого и прочувствованного в далекой юности, но вспоминаемого на склоне лет, при некоторой натуралистичности, художественное полотно романа правдиво передает сбивчивую поступь и смятение юных «переходников» — ровесников нашего века, которые в неудержимом стихийном порыве бросились навстречу революционной буре.

Путешествие поэта в собственную юность, согретое жаром сердечных переживаний и лиризмом доброго взгляда из сегодняшнего дня в минувшее, встретило признательность читателей и нашло положительный отклик в печати.

Роман «О, юность моя!» — последняя веха в раскрытии одной из главных кровных тем творчества Ильи Сельвинского — «интеллигенция и революция».

Роман печатается по книжному изданию 1967 г. с некоторой правкой текста, сделанной автором при подготовке Собрания сочинений.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И. СЕЛЬВИНСКОГО В ШЕСТИ ТОМАХ

А смерти нет *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 233
«А то еще бывает так...» I 465
«А я думаю так...» I 546
Автопортрет I 48
Аджи-Мушкай I 390
Акула I 486
Алиса *(Из рукописей моего друга, пожелавшего остаться неизвестным)* I 180
Анкета моей души *(Лирическая поэма)* I 617
Анри де Руссо *(Из цикла «Лувр»)* I 304
Антисемиты I 332
Арктика IV 165
Афоризм караимского философа Бабакай-Суддука I 101

Бабакай и луна I 99
Бабакай и теория предопределения I 100
Бабакай и халат I 100
Баллада XX века I 597
Баллада о барабанщике I 103
Баллада о Лааре I 387
Баллада о ленинизме I 356
Баллада о слонах I 616
Баллада о танке «КВ» I 359
Баллада о тигре I 277
Белый песец I 262
Береза («Березка в розоватой коже...») I 490
Береза («Ты, березонька рябая...»; *из «Трех песен»)* I 158
Берест *(Из «Трех песен»)* I 158
Бетховен I 532
«Благослови легкомыслие...» I 78
Бой в тридцать секунд *(Из беседы с летчиком Ч.)* I 363
Большой Кирилл *(Третья часть трилогии «Россия»)* V 555
«Бояться смерти что бояться сна...» I 531
Бриз I 46
Бурый дым I 541

«Был у меня гвоздевый быт...» I 540
«Был я однажды счастливым...» I 507
Быстрее берез I 503

В автобусе I 311
В бистро I 312
В зоопарке I 433
«В каком бы часу я ни лег, но в пять...» I 263
В картинной галерее I 129
«В косы вплетены лучи...» I 190
«В любой душонке улеглась...» I 143
В одном парижском кино I 320
В операционной I 445
Валентине Терешковой I 539
«Вам говорю, блюдолизам...» I 461
Великий океан I 249
Весеннее I 491
Весна в зоопарке I 589
Вилибрюд I 53
Влюбленные не умирают I 215
Внучка моя Ксаночка I 583
«Внучку спрашивает дед...» I 588
Война I 56
Вопрос I 586
Вор I 102
«Вот и мы живем не страдая...» I 434
«Вот предлагает девочка цветы...» I 287
«Все говорят, что я добрый...» I 564
«Все девки в хороводе хороши...» I 444
«Все нервы о тебе поют...» I 194
Всем! Всем! Всем! *(Апокалипсис XX века)* I 611
«Вы забежали к нам накоротке...» I 212

Гаданье *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 233
«Где-то на пределе красоты...» I 198
Гете и Маргарита I 208
Гимн женщине («Каждый день как с бою добыт...») I 216
Глухомань I 523
«Годами голодаю по тебе...» I 201
Голова Венеры *(Из цикла «Лувр»)* I 302
«Граждане! Минутка прозы...» I 469
Грачи прилетели *(«Из фронтовой тетради»)* I 369
Гром I 54
Гуно — Лист I 501

Давайте помечтаем о бессмертье I 511
24/X — 1933 I 274
Две кукушки I 192
Двойники I 225
Девочка в окошке I 480
Девушка играет на контрабасе I 299
Декретированный заяц *(Басня)* I 337
Диалектическое рассуждение о безыдейности иных идей I 603
Динозавр I 535
Дискуссия I 495
Диспут политический I 331
«Для всех других ты просто человек...» I 206
Дорогу, Космос: летит Земля! I 640
Дрема I 77
Друг ламутского народа I 264
Дуэт с японкой I 288
Дыня I 82

Евпаторийский пляж I 134
Еврейская мелодия I 210
Еврейский вопрос I 333
Европа I 328
Ее платье I 147
«Если взять на ладонь рыбешку...» I 193
«Если жарко думать о жене...» I 383
«Если много кровоточин...» I 527
«Если умру я, если исчезну...» I 171
«Есть поцелуи — пустяки...» I 130

Жена I 163
Женщинам мира и еще одной женщине I 347
Женщины России I 528
Жизнь I 552

Завещание I 518
Зависть I 196
Закат I 41
Заклинанье I 195
Заметка о Фаусте I 148
«Занимаюсь от злости немецким...» I 266
Записки поэта III 161
Звонарь I 592
Земноводный змий I 496
Зима в Подмосковье I 550
Зимний пейзаж I 488

Из дневника («Да, молодость прошла...») I 451
Из записной книжки *(После смерти Светлова)* I 521
Из поэта игрек I 241
Из поэта икс I 239
«Итак, в тюрьме я снова...» I 81
«Итак, весенний вечер...» I 138

«К вопросу о русской речи...» I 124
К портрету моего внука I 544
«Каждая девушка — это чудо...» I 121
«Каждому мужчине столько лет...» I 214
Казачья колыбельная I 376
Казачья шуточная I 379
Как битва змеи с поросенком I 293
Как быть? I 127
Как кого зовут? I 590
«Как музыкален женский шепот...» I 146
«Как охотник ловит серебристую...» I 170
Как умолял я о чуде *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 230
Каким бывает счастье I 537
Какое в женщине богатство! I 149
«Какое сложное явленье — дерево...» I 566
Карусель I 466
«Кладу на тебя заклятье!..» *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 230
Клен *(Из «Трех песен»)* I 159
К. Моне. «Женщина с зонтиком» *(Из цикла «Лувр»)* I 303
«Когда пред высокой стоишь красотой...» I 213
«Когда я был молод...» I 240
«Когда я впервые увидел Эльбрус...» I 238
«Кого баюкала Россия...» I 430
Колыбельная I 591
Командарм-2 III 5
Кондор I 39
«Кони мои лихие...» I 520
Конь I 64
Красное манто («Красное манто с каким-то бурым мехом...») I 51
Красное манто («Снова оно, багровое в клетку...») I 67
Красные рыбы I 309
Крик уличного торговца I 310
Крым («Бывают края, что недвижны веками...») I 415
Крым («Как бой барабана, как голос картечи...») I 407
Крысы идут на водопой I 335
Ксаша и буква «О» I 584

Ксаша и папа I 593
Ксаша и приставка «ЖЕ» I 585
Кто мы? I 420
Кукла I 510
Кусты сирени в марте I 561

Лавка уличного башмачника I 284
Лазурь-цветок I 403
Лебединое озеро I 398
«Легко ли душу понять?..» I 487
Ленин («Оттого что Ленин жил на свете...») I 447
Ленин («Политик не тот, кто зычно командует ротой...») I 556
Лесная быль I 479
Лесные страхи I 494
Лесовик I 43
Лето I 492
Ливонская война *(Первая часть трилогии «Россия»)* V 11
Ликование *(Из «Космической сонаты»)* I 636
Литературный диспут I 330
Люди, влюбляйтесь! I 245
Люди всегда молоды I 513
Льдинище луны I 634
L'heure bleu I 308

Мадам Эн-Эп I 83
Мамонт I 464
«Мечта моей ты юности...» I 207
Мечтание *(Из «Космической сонаты»)* I 635
«Милый! Если тебе неможется...» I 236
Министерство иностранных дел I 326
Могила Неизвестного солдата I 338
Могучие неясности I 562
Молдавская песня I 209
Молитва I 500
Мотькэ Малхамовес *(Новелла)* I 105
Моя знакомая русалка I 165
«Мужчина женщину не любит...» I 144
«Муравьи беседуют по радио...» I 178

На концерте I 298
На скамье бульвара I 126
Над картой Европы 1943 года I 385
Натюрморт I 484
Наша биография I 97

Наша память — кинематограф I 577
«Не в клетушке, не в темнице...» I 441
«Не верьте моим фотографиям...» I 448
«Не желаю Вам беды...» *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 232
«Не знаю, как кому, а мне...» I 476
«Не я выбираю читателя...» I 450
Невежество и тупоумие I 571
«Нет, любовь не эротика!..» I 246
«Нет, я не тот, кого ты ждала...» I 173
«Ни прошлого, ни будущего нет...» I 554
«Никогда не перестану удивляться...» I 122
Новелла о затяжном сне I 242
Ночная пахота I 458

О дружбе I 268
О любви («Есть в судьбе моей женщина...») I 235
О любви («Сердце мое налито любовью...») I 55
О музыке, но не только I 651
О природе печали *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 232
О родине I 438
О синицах I 573
О славе («Здесь больше не верят славе...») I 336
О славе («Кто из нас помнит имя...») I 517
О труде I 516
О, эти дни I 61
О, юность моя! VI 7
Обида I 569
Ода воде I 543
Одиночество I 522
Однажды у телевизора I 558
Океанское побережье I 534
«Он, много раз меняя жен...» I 220
Оптимист и маловер I 530
Орла на плече носящий III 375
Осень («Битые яблоки пахнут вином, и облака точно снятся...») I 63
Осень («Битые яблоки пахнут вином, сад — как церковь...») I 62
Осень («Гнедые да буланые дубы...») I 471
Осень («Золотая звонница березы...») I 525
Осень («Как звучат осенние прелюды...») I 498
«От имени земного шара...» I 648
«От листвы осенней банный дух...» I 485
Ответ г. Уинстону Черчиллю I 600

Откровение I 481
Отчизна («Любовь к отечеству была...») I 442
«Ох, и выбрал же квартирку...» I 75
Охота на нерпу I 251
Охота на тигра I 254

Паганини I 533
Памяти Хемингуэя I 568
Панна Польша I 295
Панно в кафе «Белый бал» I 307
Пао-Пао III 93
Парламент I 325
Пейзаж («Белая, белая хата...») I 432
Пейзаж («Я был в Японии...») I 291
Первый поцелуй I 123
Песня («Волна балтийская легка...») I 413
Песня («Вот яблоня в цвету...») I 574
Песня («Выходил воевода на улицу...») I 49
Песня *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 229
Песня казака I 374
Песня казачки I 378
Песня о восьмом слоне *(Из Бертольта Брехта)* I 610
Песня про синего коня I 117
Песня 72-й Кубанской казачьей дивизии I 372
Письмо («Ты спрашиваешь, друг мой, отчего...») I 405
Письмо к интеллигенции мира I 626
Письмо уральских девушек I 504
«Плохие поэты обычно фальшивы...» I 508
По душам I 650
«Понимаю, что жалит гадюка...» I 71
Попугай I 50
Портрет Лизы Лютце I 151
Портрет моей матери I 271
Поэзия I 345
«Поэт, изучай свое ремесло...» I 470
Предвесеннее I 559
Прелюд («Вот она, моя тихая пристань...») I 462
Прелюд («Если по клавишам бить кулаком...») I 227
Прелюд *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 228
Прелюд («Черный лебедь, похожий на ноту...») I 427
Привет демократической Германии *(Из альбома зарисовок)* I 606
«Проем тюремного окна...» I 72
Прозрение *(Из «Космической сонаты»)* I 637
Прощание I 563

«Пускай не все решены задачи...» I 475
Путешествие по Камчатке IV 5
Пушторг II 219
Perpetuum mobile I 509

«Разве может любовь обижать?..» I 199
Разговор с дьяволом Парижа I 322
Разлука *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 229
Ранняя осень I 524
Реплика («Не спрашивай, зачем под старость лет...») I 211
Реплика Ю. Тувима I 297
Республика Вьетнам I 608
Розы I 218
Романс («Если губы сказали: «Нет!»...») I 202
России I 366
Русская девушка I 156
Русская пехота I 394
Рыбка I 132
Рысь II 7
Рыцарь Иоанн III 185
Resurgam! I 555

С чего начинается весна? I 542
Самая колдовская I 646
«Сами своей рукой...» I 133
Сверчок I 283
Севастополь («Я в этом городе сидел в тюрьме...») I 409
Сентиментальный дуб I 567
Сентиментальный пейзаж I 334
Серебряная свадьба I 176
Сивашская битва *(Соната)* I 111
Сирень I 140
Сказка («Из перламутра раковин — зеницы...») I 42
Сказка («Толпа раскололась на множество группок...») I 468
Сказка о зайце, который победил волка *(В назидание хищникам)* I 642
Сказку съели I 549
Словно айсберг I 499
Слон и мыши *(Басня)* I 599
Случай I 125
Случай на улице Ринг I 300
Снег, снег! I 551
Солдатики I 58
Сон *(«Из фронтовой тетради»)* I 369

Сонет («Бессмертья нет. А слава только дым...») I 429
Сонет («Воспитанный разнообразным чтивом...») I 459
Сонет («Душевные страдания, как гамма...») I 188
Сонет («Обыватель верит моде...») I 506
Сонет («Обычным утром в январе...») I 505
Сонет («Слыла великой мудростью от века...») I 478
Сонет («Я испытал и славу и бесславье...») I 463
Сонет («Я никогда в любви не знал трагедий...») I 179
Сомнение *(Из «Космической сонаты»)* I 636
Ссора I 57
«Старцу надо привыкать ко многому...» I 579
Стихотворцу-неудачнику I 203
Стишок для детей, а также и для их родителей I 460
Столб I 483
Страх *(«Из фронтовой тетради»)* I 370
Страшный суд I 623
Сумерки *(Из сюиты «Моленье о чуде»)* I 228
«Счастливый не слышит природы...» I 545
«Счастье — это утоленье боли...» I 493

Тайна Бетховена I 557
Тайфун 20-34 I 276
Тамань I 396
Танец в кафе «Белый бал» I 306
Т. А — овой I 161
Телефон I 145
Тигр I 489
Тинторетто. «Сюзанна в бане» *(Из цикла «Лувр»)* I 303
Трагедия I 467
Трактор С-80 I 455
«Трижды женщина его бросала...» I 472
Триолет I 47
Трицератопс I 547
Труд *(Философский эскиз)* I 435
«Ты — гордая, как все, что расцвело!..» I 197
«Ты не от женщины родилась...» I 189
Тюремный дворик I 80

«У истории плохая память!..» I 440
«У молодости собственная мудрость...» I 538
У современности свои права I 497
Удивительно! I 131
Уж небо осенью дышало... I 576
Ужас тюрьмы I 74

Узник I 76
Уличные окна I 477
Улялаевщина II 25
Умка Белый Медведь IV 23
«Уронила девушка перчатку...» I 128
Утешение I 79
Утро I 40
«Учат меня стариканы...» I 73

Фашизм I 350
Фашизм — это война I 339
Февраль I 560
Физики и лирики I 645
Франциско Франко I 602
Femme de guarante ans I 219

«Ходит в доме сказочка...» I 587
«Хоть бы присниться тебе, проклятой...» I 230
Хрючкин в Париже I 313
Художница I 514
Hôtel «Istria» I 314

Царь да бунтарь *(Вторая часть трилогии «Россия»)* V 189
Цветные стекла I 45
Целинники I 453
Цыганская I 66
Цыганская 2-я I 103
Цыганский вальс на гитаре I 104
Цыганский распев I 200

Человек выше своей судьбы I 482
Человек и смерть I 526
Человек умирал... I 221
Человеческое I 381
Черепаха I 290
Читатель стиха I 259
Читая «Фауста» V 555
«Что ни столетье — мир суровей...» I 580
Что правильно? I 594
Что такое Англия? I 327
«Что такое «золотое счастье»?..» I 474
«Что такое любовь?..» I 237
Чудо св. девы I 318

Швеция	I	342
Шествие гномов	II	286
Шиповник	I	204
Шумы	I	456
Шутка	I	419
Элегия («Было много божественных грез...»)	I	59
Элегия («Я живу на орбите...»)	II	572
Эпизод	I	380
Это был небывалый случай	I	575
Это надо любить	II	529
Юмореска	I	548
Юность *(Венок сонетов)*	II	85
Юность («Вылетишь утром на воздух...»)	II	60
«Я в детстве рос без игрушек...»	I	425
«Я живу в столице, ты в тайге...»	II	175
«Я знаю женщину: блестяща и остра...»	II	52
«Я люблю свою родину тихо...»	I	565
«Я мог бы вот так: усесться против...»	II	217
Я на яворе, на клене *(Песня)*	I	174
«Я слоняюсь в радости недужной...»	II	191
Я это видел!	II	352
Японские стихи *(Юмореска)*	II	292

Список иллюстраций

1. О. Форш, И. Сельвинский, Г. Петников, К. Паустовский. 1958 г. Ялта.
2. Илья Сельвинский среди студентов Литературного института. 1967 г. Переделкино.
3. Илья Сельвинский и Корнелий Зелинский. 1967 г.
4. И. Л. Сельвинский с женой Б. Я. Сельвинской. 1967 г. Переделкино.

СОДЕРЖАНИЕ

О, юность моя!

Часть первая 7

Часть вторая 295

Примечания 497

Алфавитный указатель произведений, вошедших в Собрание сочинений И. Сельвинского в шести томах 500

Список иллюстраций 511

Илья Львович Сельвинский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор *З. Кондратьева.* Художественный редактор *Ю. Боярский.* Технический редактор *О. Ярославцева.* Корректор *Г. Асланянц.*

Сдано в набор 2/III 1973 г. Подписано к печати А02052 7/III 1974 г. Бумага для глубок. печати № 1. Формат 84×108[1]/32. 16 печ. л. 26,88 усл. печ. л. 28,81+1 нак.=28,97 уч.-изд. л. Заказ № 740. Тираж 50 000 экз. Цена 2 р. 50 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28

2 р. 50 к.